



ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ  
книга вторая  
ПЛАЦДАРМ



## Annotation

Во второй книге романа «Прокляты и убиты» описана переправа через Днепр и бой за Великокриницкий плацдарм у села Великие Криницы.

---

- [Виктор Петрович Астафьев](#)
    - [Накануне переправы](#)
    - [Переправа](#)
    - [День первый](#)
    - [День второй](#)
    - [День третий](#)
    - [День четвертый](#)
    - [День пятый](#)
    - [День шестой](#)
    - [День седьмой](#)
    - [Все остальные дни](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
-

# Виктор Петрович Астафьев

## ПЛАЦДАРМ

*Вы слышали, что сказано древним:  
«Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду».  
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на  
брата своего напрасно, подлежит суду...*

*От Матфея, 5, 21—22*

## Накануне переправы

В прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней и до полудни белело под деревьями, за огородами частоколов, в заустенье хат, передовые части двух советских фронтов вышли к берегу Великой реки и, словно бы не веря себе, утихли возле большой воды — самой главной преграды на пути к чужим землям, к другим таким же рекам-преградам. Но те реки текли уже за пределами русской земли и до них было еще очень-очень далеко.

Главные силы боевых фронтов — армии, корпуса и полки — были еще в пути к Великой реке, они еще сбивали по флангам группировки и сосредоточения фашистских войск, не успевших уйти за реку, дающих возможность отступившим частям закрепиться там, построить очередной непреодолимый оборонительный вал. В редких полуистребленных лесках и садах, боязливо отодвинувшихся от оловянно засветившейся осенней воды, опадали листья, с дубов они сползали, жестяно звеня, скоробленные, лежали вокруг деревьев, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби и, гоняясь друг за другом, выметывались из кущи леса, искрами вертелись в прозрачном воздухе, вернувшись в лес, весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, начинающий на солнце волгнуть, истомленный лист. За издырявленной огнем, полуразрушенной деревенькой-хуторком, разбежавшимся по берегу реки, в мятых, полуубранных овсах вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев; семена ножками, ровняя по-пехотному шаг, петух направился к воде, пятная заиндевелый, сверкающий берег крестиками следов. Прячась за камешками, комочками, суетливо скатился на берег табунок отяжелевших куропаток, что-то домашнее, свое, птичье наговаривая. Пересыпая звуки, пощелкивая клювами, куропатки попили воды из реки и здесь же, у кромки берега, сомлело задремали под солнцем, припав пуховыми брюшками к обсыхающей мелкой траве.

Пришедший к реке Лешка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц, начерпал в котелки водички, пил из посудинки, кося глазом на уютно прикорнувших куропаток, почти вдвое увеличившихся, потолстевших

от того, что растопорщили они короткие крылья и перо, пуская в подпушек, к телу бодрящую прохладу.

Река оказалась не такой уж и широкой, как это явствовало из географии и других книжек: «Не каждая птица долетит до середины...» Обь возле родных Шурышкар куда как шире и полноводней, в разлив берегов глазом не достанешь.

Противоположный берег реки, где располагалось вражеское войско, пустынен и молчалив. Был он высок, оцарапан расщелинами, неровен, но тоже сверкал инеем, уже обтаявшим и обнажившим трещины, провалы и лога, вдали превращающиеся в ветвистые, пустынные овраги. Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящие в поля, к селениям и садам, овраги с шерсткой бурьянов, кустарников и отдельных, норовисто и прямо растущих ветел, да по кособору разбежавшемуся приземистому соснячку, выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, меж растительной дурнины и кустарника тянулись линии окопов, вилючие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам, накрытым опавшей листвой, огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки, сверкнула и на мгновение зажглась лешачьим глазом буссоль, или стереотруба, взблеснула каска, котелок ли, может, и минометная труба, по заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись в оврагах люди. На пустеющих, недоубранных полях появились кони, у самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, затопилась кухня. Веселый дым — топят кухню сухой сосновой ломью — заполнял ветвистый распадок какой-то речушки, дым шел не вверх, не в небо, он вместе с вилючей речкою стелился по извилистой пойме и вытекал потоком из широко распахнутого, зевастого распадка к реке, скапливаясь над большой водой, густел, превращаясь в одинокую, неприкаемую тучку.

Там, на далекой, такой далекой, что и памятью с трудом достанешь, на родной Оби, по низкобережным просторам, к осени, когда пойдет «в трубу вода», — так же вот обнажаются земные жилы и жилочки, наполненные водой, и такой они образуют узор, такое дерево из множества загогулин, отводок, проточек, русел и просто луж, что не дай тебе Бог по неопытности забраться в глубь материка с лодкой: можешь так заплутаться, что и не выплывешь назад, к тому, единственному стволу этого многоверстного дерева, которое,

объединив и срастив ветви все вместе, корнем, стволом ли глубоко проламывает берег Оби. Вся разбредшаяся по земле вода единой массой, объединенной силой сливается с родительницей, вволю погулявшей на просторах, и вот перед зимою, успокоенная, мутная, — все это водяное дерево, коих тысячи тысяч, — вся вилючая вода ручьями и ручейками, стекающими сорами,<sup>[1]</sup> подпячивает к Оби на пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, да кое-где высоким, на бамбук похожим тальником и цепким смородинником, вольно все лето на просторах жировавшую рыбу. Кишит, толкается, кипит в осенних сорах рыба, спеша до заморозков, до льда выйти в Обь, залечь на глубины. Много беспечной молодежи обсыхает и гибнет осенью, но еще больше успевает скатиться на зимовальные, сонные места, залечь в глубинах.

В эту пору, в сентябре, в низовьях Оби начинается сенокос и жирование птицы, сбивающейся в табуны. Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам. Без лодки, без трапа, без досок, без прутяных матов и настилов на берег не сунешься. Птице же — самое раздолье, по вязкой пульпе бродят, роются, будто в черной икре, лебеди, гуси, утки, болотные курочки, кулики и чайки, выбирают клювами из клейкой жижи корм, вороны и чайки бандами налетают на луга, выедавая в мелких лужах, в обсыхающих сорах рыбью мелкоту. Корма так много, что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь, сытой усталостью объятые, тут же, в грязи, но чаще в траве, на кустах дремлют, набираясь сил и тела перед отлетом в далекие страны.

Покосники по берегам Оби валят тугую траву-пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя промысел рыбы, запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сети, солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор — полтонны отборного муксуна, чира, нельмы заваливается в бочки, вкопанные в берег. Пальба по птице не умолкает, по сидячей птице стрелки почти не бьют, поднимают ее на крыло, садят в черную лохматую тучу — дробь не пролетает мимо, сыплется, шмякается в грязь ожирелая птица. В эти же короткие дни осенней страды надо набить кедрового ореха, набрать ягод: смородины, черемухи, по болотам — клюквы и брусницы — знай разворачивайся! Какая возбужденная жизнь наступает, какое бессонное, азартное время добытчика охватывает северное население. Один раз, вернувшись домой с реки, отец проспал двое суток

беспробудно. Отдохнув, нахлеставшись веником в бане, широко и опойно гуляют обские мужики, да и бабы за компанию водку пьют, песни поют, дерутся, мирятся.

На этой реке, чужой, настороженной, ничего похожего на Обь нет. Ничего! Недаром засосало под ложечкой, как только вышел Лешка к воде и глянул на тот берег. На враждебный. На Оби-то, на Оби, бывало, еще малого Лешку закутают в плащ, в нос лодки, точно в гнездо, засунут и поплывут, поскрипывая лопашнами. Благодарно притихнет в груди сердчишко — он тоже участник в осеннем празднике, в сенокосной, рыбацкой и охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шири реки, где-то сливающейся с небом и утекающей в него, захватывает дух.

Нет, нет, нет! Здесь тесно, здесь бездушно, здесь отчужденно, хотя и ярко. Лишь птички домовито переговариваются. Но вот косач, защелкав крыльями, снялся с берега и, черным снарядом вонзившись в лес, взорвался там ворохом пестрого листа.

Захрустели сохлые травы, загремел камешник. Разве оглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть наедине, повспоминать!

Явились вояки шайкой, растелешились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славянин, на колхозной пище возросший, — ребра, что у одра, на шее желоб — ладонь войдет, — начал блинчики печь каменными плиточками по воде.

— Немцы по воду придут — не вздумайте стрелять, — на всякий случай предупредил Лешка.

— А че? Появится какой — херакнем! — заявил тот, что «пек» блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок, на цепочке болтался значок «Ворошиловский стрелок».

— Одного херакнете, потом никому нельзя будет за водой прийти.

— Х-хе! Мы приехали воевать или че?

— Навоюетесь еще, навоюетесь, — пообещал Лешка, а про себя добавил: «Если успеете», — и пошел с полными котелками к лесу, все оглядываясь на реку, все шаря глазами по противоположному, деловито и спокойно существующему берегу.

Над Иванами-славянами скопились чайки, кружились, пикировали, норовя спереть мыло. «Ворошиловский стрелок», тщательно целясь, пулял в чаек камнями, птицы, играя, взвизгивали, подпрыгивали, увертывались.

«Что с ними, с этими вояками, будет завтра или послезавтра?» — вздохнул Лешка. По всему было видно, что дело с переправой не задержится: новые части, свежие подразделения выносило и выносило к водной преграде, густо прибывало к берегу Великой реки. Берег распирало силою.

А ребяташки... Что ж ребяташки?.. Смешно!

Лешка вспомнил, как под Харьковом, в каком-то лесу бежал по своей линии связи и, соединив порыв, проверившись с промежуточной, неторопливо шагал «домой». Видит: в соснячке два обезжиренных бойца в новых гимнастерках обнялись и плачут.

— Че вы?

— Ой, пропали мы, насовсем пропали, дяденька!..

Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел, нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода. Командир же роты — зверь. Чего доброго — и пристрелит. «Так вот сразу и пристрелит!» — усмехнулся Лешка.

— А че ему стоит?

— Давайте искать конец вместе.

— Давайте. Не уходите, дяденька, не уходите!

Разрывы от мин неглубоки. Прошлись вокруг одной, другой воронки — нету конца. Поднял Лешка голову — а конец-то вот он! Над головой, на сосенке висит — забросило взрывом. Пуще прежнего заплакали парни-связисты:

— Ой, спасибо, дяденька!

— Да я ж ровесник вам!..

— Нет, мы с двадцать пятого года!..

У войны свой счет делам, годам и дням.

Самое интересное, что и сам Лешка по привычке к свежакам-воякам относиться, как «дядька». На Брянском фронте, сказывал Финифатьев, прибыли они на передовую, там, едва окопанный, полк стоит, растянувшись вдоль Оки на восемь километров. Траншеи по колено, блиндажики и ячейки, отекающие от вешних вод, с одним накатиком, но больше и вовсе без прикрытия, глина ногами растоптана, брустверы травой заросли. В траншеях, запущенных, давно не чищенных, — подсыхло, неровности, комки, ископытые от обуви. А пылищи! А вонищи! Всю зиму после боев под Москвой, на берегу Оки просидел стрелковый полк, недоукомплектованный после декабрьского



наступления. Заспавшийся, полуголодный полк никуда и ни в кого не стрелял, ни с кем не воевал. А немцы с ним воевать не хотели. Они укреплялись, строили оборону аж в три линии. Первая по берегу Оки с бетонированным покрытием на огневых точках, с бетоном укрепленными стенами траншей, дотами со всем обеспечением, даже с электричеством, дзотами, блиндажами, с отлаженной связью, системой огнеметов, химической службой. Вторая и третья линии тоже укреплены и оборудованы по всем правилам военной науки. Приедут наши проверяющие чины из близкой столицы, поглядят в бинокли, в стереотрубы на вражеский берег, сверят данные авиационной разведки по картам и еще какие-то сведения, отважными советскими контрразведчиками добытые, — и в штабной блиндаж — пировать. «Ни хуя! — слышится из блиндажа, — мы им дали под Москвой и еще дадим! Артиллерия наша, бог войны, всю эту ихнюю оборону в прах расщепает...»

Пока она, наша славная артиллерия, не расщепала врага, фрицы и иваны ходили за водой на Оку, подштанники и портянки полоскали, перекликались:

— Эй, Иван! — кричали из-за реки фрицы, — переплывай на нашу сторону — у нас шестьсот граммов хлеба дают!

— А пошел ты, дорогой фриц, сам знаешь куда! У нас кило хлеба дают, да и то не хватает.

Шутки шутили до тех пор, пока не начали прибывать свежие части и кто-то из комсомольцев-добровольцев, начитавшийся книг, допрежь всего бестселлера соцреализма «Как закалялась сталь», и внявший воплям неистового публициста: «Хочешь жить — убей немца!», «Где увидишь, там и убей!» — завидевши на другом берегу врага, спустившегося с ведром за водой, схватил винтовку и подстрелил его. А по лесам-то, по окрестным уже густо-прегусто набилось войска — для наступления. И войско все шло, все летело, больше ночами, тайно, как казалось нашим хитрым стратегам. И все они, войска-то, хотят пить, морду мыть, пищу варить. Вечерами, дождавшись потемок, цепями бредут и едут к Оке за водой, нескончаемые вереницы военных, неся на жердях ведра, баки, термоса, катят кухни на конной и машинной тяге, заезжают прямо в реку, повара котлы моют, кони воду пьют, отфыркиваясь, солдаты портянки полощут. Ока — всем спасение и отрада, потому как в лужах,

с весны в лесах и в полях оставшихся, головастики кипят, ручьи пересохли, ближайšie колодцы вычерпаны до дна, прудики загажены.

Бредут, едут люди к воде безо всякой опаски и не знают, что, вняв зову патриотических идеологов, комсомолец-доброволец долбанул врага, за что уже и награду получил — командир роты по фамилии Щусь лично морду набил, командир взвода товарищ Яшкин за такое усердие компостер поставил сапогом в зад.

Сошлись, съехались беспечные братья-славяне массой к реке. Немцы, не умеющие размениваться на мелочи, осветили берег, да как-ах жажнули из минометов, да как подчистили бережок из пристреленных пулеметов... И залилась, запела, завопила передовая сотнями голосов — всю ночь раненых с берега увозили, трупы собирали. За водой к Оке сделалось ни проехать, ни пройти. Посты на пути к ней выставлены. Черпали воду из луж с головастиками, из загаженных прудов, процеживали сквозь рубахи и новые портянки. Заботливая военная санитарная служба всюду листовки поразвесила: «Не пейте сырой воды!». А ее ни сырой, ни вареной. Народу же и работы с каждым днем все больше — начали, наконец, строить глубокую оборону, прознав, что «вражеско» войско намеревается наступать на курском выступе, так, не ровен час, и брянский фланг прихватит.

Силы Гитлер согнал — видимо-невидимо. Наша же копающая, пилящая, рубящая сила к самому времени наступления противника, к летней жаре, сплошь обдристалась, переполнила госпиталя и больницы. Копали колодцы, доставляли воду из глубинных тылов, где бдительные санслужбы столь щедро сыпали в ту воду вонючей, обезвреживающей заразы, что ни супу похлевать, ни картошки поест — все химией провоняло.

И на берегу Великой реки будет всякое. Немец примолк, притаился, но все зрит, соображает, ждет. Слава Богу, хоть здесь пока не слышно: «Да мы их расхерачим, распиздячим!» — хоть гонор-то этот, самоуверенность-то дурацкая в крови и слезах утонули, уже и пузыри вонючие вечного блудословия и хвастовства лопнули.

Артиллерийский полк, приданный стрелковой дивизии, которой до недавнего времени командовал генерал Лахонин, ныне назначенный командиром стрелкового корпуса, прибыл к реке ночью и ночью же рассредоточился по прибрежным лесам. Где-то поблизости располагался ранее притопавший стрелковый полк, которым

командовал пожилой полковник со странной, но сразу запоминающейся фамилией — Бескапустин. В полку том первым батальоном командует капитан Щусь, тот самый, что муштровал первую роту в Бердском резервном полку. Двигаясь по войне, он споро продвигался в званиях, в должностях, не придавая, впрочем, никакого тому значения. И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая, сохранилась — первый батальон второго стрелкового полка, первая рота, которой нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже бердский офицер — Барышников. Еще здесь командирами рот были старые, кадровые сибиряки: казах Талгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не выводили — какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже по Бердску знакомые ребята: Вася Шевелев, Костя Бабенко; Гриша Хохлак в звании сержанта командовал отделением, был помощником помкомвзвода. Однако весной ранило Гришу Хохлака. Прибыв в Поволжье, сибиряки длительное время стояли в наспех заселенных, но больше в пустых разграбленных селах в одночасье погубленной и выселенной в Сибирь и Казахстан республики немцев Поволжья.

В добротных домах, в аккуратно и даже нарядно строенных селах хорошо пожилось солдатикам неподалеку от клокочущего фронта. Здесь многие бойцы прошли боевую подготовку, здесь же были организованы краткие курсы для младших командиров, и солдаты, которые посообразительней, сделали младшими командирами, некоторые, в боях уже, приняли боевые взводы, и, съездив в Саратов на переаттестацию, «унтера» вернулись оттуда со званиями, пусть и невысокими, но все ж офицерскими. Тогда же дивизия и доукомплектовывалась, в приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались «спецы». Лешка как опытный связист, был переведен в гаубичный артдивизион, но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними. Многие уже успели пасть в боях, позатеряться в госпиталях, отстать от фронта на кривых, ухабистых дорогах войны. Одним из первых погиб так здорово работавший в осиповском совхозе на комбайне на пару с Васей Шевелевым надежный, основательный парень — Костя Уваров. Все он сожалел, что не попал к танкистам, — водителем танка ему уж очень хотелось быть. Кто знает, угоди он в водители, так, может, дольше и жил бы.

Первый бой дивизия генерала Лахонина приняла в Задонской заснеженной степи, встав на пути немецких войск, прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лахонина была крепко сбита, отлажена и с честью выполнила задание, остановив какие-то, слепо уже, визгливо, на исходном дыхании, наступающие части врага.

Потери в дивизии были малоощутимы. Командующему армией дивизия генерала Лахонина — боевой, собранно действующий «кулачок» — шибко приглянулась, и он держал ее в резерве — на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступавшие войска, влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивей драпали доблестные войска, сминая все на своем пути, прежде всего свои же штабы, где высокоумные начальники натерели уже наступать сзади, отступать спереди. Слух по фронту катился: замкнув кольцо, немцы разом заневодили косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу двадцать штук советских генералов, и вместо одной шестой армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, размесили в жидких весенних снегах шесть советских армий — немец математику знает.

На стыке двух армий с разорванной обороной, куда противник наметил главный удар, встала свежая дивизия Лахонина. Пропустив через себя орду драпающих иванов, дивизия встретила и задержала более чем на сутки тоже разрозненно, почти беспечно, нахрапом наступающие части противника. Немцам бы, как обычно, пойти в обход, окружить упорный кулачок советской обороны, но они начали перегруппировку с тем, чтобы нанести сокрушительный удар дерзкой стрелковой дивизии и приданным ей частям. Если удастся сбить этот заслон — путь для дальнейшего наступления открыт. Но, по согласованию с командующим армией, генерал Лахонин силами одного полнокровного полка нанес встречный удар по сосредоточению фашистской группировки. Не ожидавшие этакое нахальства от русских, немцы запаниковали было, однако, выяснив малосильность шального по ним удара, отогнали русский полк, но с наступлением задержались. Тем временем генерал Лахонин отвел все еще боеспособную дивизию на подготовленную в тылу линию обороны. На ходу пополняясь, дивизия перешла к жесткой, активной обороне. И

фашистское, вялое уже, из последних сил ведущееся наступление, окончательно выдохлось. Обескровленная непрерывными боями с превосходящими силами противника дивизия Лахонина снова отведена была в резерв, штопалась, лечилась, пополнялась, стояла вдали от фронта, вплоть до очередного ЧП — под Ахтыркой. Гвардейская армия умного генерала Трофименко зарвалась-таки и тоже залезла в очередной мешок.

Противник нанес стремительный, отсекающий удар от Богодухова из Харьковской области и из-под Краснокутска Полтавской области с тем, чтобы отрезать, окружить и наказать в очередной раз за беспечность и неосмотрительность русскую армию. Командующий фронтом приказал полуокруженной армии оставить Ахтырку, соседней же, резервной армии обеспечить более или менее организованный отход войск.

Наторевшая на «затыкании дырок» дивизия Лахонина снова вводится в действие, бросается в коридор, в пекло и несколько часов, с полудня до темноты, стоит насмерть среди горящих спелых хлебов, созревшей кукурузы и подсолнухов. Девятая бригада тяжелых гаубиц образца 1902–1908 года, оказавшаяся на марше в самом узком месте коридора, поддерживала пехоту, сгорая вместе с дивизией Лахонина в пламени, из края в край обьявшем родливые украинские поля. Казалось бойцам, в те жуткие, беспамятные часы они отстаивали, заслоняли собою всю землю, подоженную из конца в конец. Под ярким, палящим солнцем спелого августа, до самой ночной тьмы, которая родилась из тьмы пороховой, из смолью горящих хлебов и земли, тоже выгорающей, части, угодившие на так называемую наковальню, принимали смерть в тяжком, огненном сражении.

Бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии Лахонина и из девятой гаубичной бригады, оставшиеся в живых, разрозненно, по одному, по двое выходили ночью из дыма и полымя на какой-то полустанок.

У девятой бригады, которая была на автомобильной тяге, осталось два орудия из сорока восьми. Одно орудие на сгоревших колесах выволоч с разбитых позиций колхозный трактор. У артиллерийского полка, приданного стрелковой дивизии, не осталось ничего — здесь орудия все еще были на конной тяге, кони пали и сгорели в хлебах вместе со своими расчетами. Орудия либо втоптаны в землю

гусеницами танков, либо тоже сгорели в хлебах и долго маячили по полям черными остовами, словно бы крича разъявленными жерлами стволов в небо.

Тем, кто остался жив и в полубезумном состоянии прибрел на полустанок, казалось, что не только артиллерия, но и вся дивизия, весь свет Божий сгорели в адском пламени, соединившем небо с землей, которое бушевало весь день и нехотя унималось в ночи.

Обожженные, черные от копоти люди попили воды, попадали на землю. Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими из полымя бойцами. Уцелело и несколько коней. Нещадно лупцуя садящихся на зад, падающих на колени животных, вывозили раненых людей, подбитые орудия с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка.

Лешка доньне помнит, как его, спавшего после боя в каком-то огороде, под обгорелыми подсолнухами, на мягкой, как оказалось, огуречной гряде, среди переспелых, ярко-желтых огурцов, разбудил Коля Рындин. Командир роты, старший лейтенант Щусь оставил Колю при кухне — ворочать бачки, таскать носилки с картошкой, мешки с крупой, с хлебом, ящики с консервами, возить воду, пилить дрова. «После боя накормишь всех нас». — «Конешно, конешно», — торопливо соглашался огрузший, начавший сесть Коля Рындин, которого, как только круто становилось на передовой, командир непременно отсылал на кухню. Все понимая, стесняясь «льгот», Коля Рындин ломил, будто конь, неблагодарную работу. Ротный повар лучшего себе помощника и не желал. Словом, Коля Рындин лез из кожи, чтобы «потрафить товаришам». И Васконяна Щусь берег, как умел и мог, прятал, изловчившись, пристраивал его в штаб дивизии переводчиком и делопроизводителем одновременно.

Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Васконяну относился снисходительно. Когда Васконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похихатывал, как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Васконяну сделалось не до шуток. Мусенок — начальник политотдела дивизии, считавший себя грамотней и важней всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, терпеть непоколебимого грамотея не мог, а уж когда Васконян

сказал об истории ВКП(б), что это не что иное, как «филькина грамота», «документ тотального мышления, рассчитанный на не умеющих и не желающих мыслить рабов», политический начальник чуть не опупел от страха, смекнув, что такую крамолу может позволить себе только такой товарищ, у которого за спиной имеется надежный щит, поэтому при первой же возможности начальник политотдела выпер опасного грамотея из штабного рая, опасаясь, однако, заводить «дело» — не сдобровать бы Ашотику.

Щусь рычал на Васконяна, когда тот явился обратно в роту, а тому горя мало. Он и корешки его — осиповцы вместе себя чувствовали уверенней и лучше. Понимая, что от дури ему всех не спасти — много ее, дури-то, кругом, — Щусь держал при себе грамотея писарем, потому как в писари он только и годился, да и писарь-то — морока одна; путается в бумагах, отсебятину в наградных документах несет, но уж похоронки пишет — зареветься — сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет.

Коля Рындин с Васконяном и наткнулись на оборванного, исцарапанного, закопченного Лешку, спящего на гряде, на переспелых разжувльканных огурцах. Растрясли, растолкали товарища. Лешка не может глаза разлепить — загноились от воспаления, конъюнктивитом назвал Васконян Лешкину болезнь. Круглая, яркая, многоцветная радуга, словно в цирке, кружится перед Лешкой, и в радуге две безликие фигуры вертятся, плавают, причитают голосом Коли Рындина: «Да это ты ли, Лешка?»

«Я, я!» — хотел сказать Шестаков, но распухший, шершавый язык во рту не ворочался, зев опекался, горло ссохлось. Протягивая руки, Лешка мычал, не то пытаясь обнять товарищей своих, не то просил чего-то. Ребята поняли — воды. Протянули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину — полные горсти у Лешки ссохшейся, черной крови — острыми узлами проводов до костей изрезаны ладони связиста. Коля Рындин поднес к губам болезного котелок с теплым чаем, но запекшиеся черные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся лакать воду из посуды, что собачонка. Коля Рындин совсем зашелся от горя. Васконян взнял лицо к небу, бормоча молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт, да когда кантовались в Поволжье, неизменный его друг Коля Рындин.

Красавца, обугленного, с красно-светящимися глазами, друзья притартали к командиру роты. Щусь, тоже черный, оборванный, грязный, сидел, опершись спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог. Коля Рындин причитал, докладывая, что вот, слава Богу, еще одного своего нашли.

— Ранен? — прохрипел старший лейтенант.

— Не знаю, — чуть отмякшим языком выворотил Лешка, постоял, подышал, — все болит... — смежив ничего не видящие глаза, со стоном ломая поясницу, Лешка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром. — Вроде как молотили меня... или на мне... как на том комбайне...

— А-а, — вспомнил командир.

Вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому, кувшинками и ряской покрытому ставку — мыться, бриться, воскресать. Сказывали, собралось народу аж две сотни — из нескольких-то тысяч.

Когда их, чуть отмывшихся, оклемавшихся, выстроили, командир дивизии, генерал Лахонин упал перед ними на колени, силясь чего-то сказать, шевелил судорогой сведенным ртом: «Братцы-товарищи!.. Братцы-товарищи!.. На веки веков... На веки веков...»

«Экой спектакль, ей-богу! Артист из погорелого театра...» — морщился давний друг генерала майор Зарубин, но, увидев, что у форсистого молодого еще генерала голову просквозило сединой, тоже чуть было не расчувствовался.

Генералу Лахонину за тот бой присвоили звание Героя Советского Союза, посмертно еще двум артиллеристам, командиру третьей стрелковой роты и одному замполиту артдивизиона — забывать нельзя партию. Все остальные бойцы и командиры, оставшиеся в живых, также отмечены были высокими наградами. Командир спасенной армии, генерал Трофименко, умел благодарить и помнить людей, делающих добро.

Лешка за Ахтырку получил второй орден «Отечественной войны», на этот раз — Первой степени. Ротный Щусь вместе с ним получил аж два ордена сразу: за бои под Харьковом — «Отечественной войны», и за Ахтырку — «Красного знамени».

Дивизия и девятая артбригада попали вместе на переформировку и с тех пор, считай, не разлучались.



После двухмесячного блаженства в недалеком тылу боевые соединения прибыли по назначению в передовые порядки, сосредоточиваясь для форсирования Великой реки, влились в стрелковый корпус генерал-лейтенанта Лахонина.

Уцелив глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, сильно уже переделом, сдобно желтеющем свежими пнями, Лешка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки.

— Здорово, вояка!

Коля не спеша обернулся, забряцав двумя медалями, смахнул с подола гимнастерки опилки:

— А-а, землячок! Жив, слава Господу, — подавая руку, произнес он. — А наши все тут, по лесу, и Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаш ишшо кака радость-то — Гриня Хохлак из госпиталя вернулся!

— Да ну-у?

— Тут, тут. Счас они все спят. Наутре притопали. Дак ты потом приходи повидаться.

— Обязательно. Ну, а ты, Коля, как?

— Да вот, Божьими молитвами, жив, — помолчал, поворочал в топке кухни кочергой, подбросил дров в топку и присел на широкий пенек. — Надо, чтоб хлебово и чай сварились до подъема людей.

— А повар-то че?

— Повар спит и еле дышит, суп кипит, а он не слышит, — улыбнулся Коля Рындин.

— Хорошо ему. Нашел батрака.

— Да мне работа не в тягость. Не пил бы только.

— А че, закладывает?

— Кажин день, почитай. Вместе с нехристом-старшиной Бикбулатовым нахлещутся, фулиганничают, за бабами гоняются...

— Что, и бабы тут есть?

— А где их, окаянных, нету? Попадаются. Товарищ старший лейтенант, Алексей Донатович, бил уж в кровь и повара, и старшину. Он очень даже нервенный стал, навроде ба пожилым мушшыной сразу сделался. Из вьюношей без пересадки в мушшыны. Чижало ему с нашим братом. В Сибире было чижало, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, ране всех подымается... Товарищ капитан! Алексей Донатович! Ты как до ветру сходишь, суда заверни — гость у нас.

Вскоре из-за деревьев, в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился Щусь, издали приветливо заулыбался:

— Здоров, Шестаков! Здорово, тезка! Рад тебя видеть живым. Как идут дела?

— Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот, — и хмыкнул: — Сержанта сулятся дать. Глядишь, я и вас обскакаю в званиях, в генералы выйду...

— А что? Тот не солдат... А ну-ка, полей-ка, Николай Евдокимович.

Щусь стянул с себя гимнастерку и рубаху, сердобольный Коля Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам, в середине багровый, по краям синюшный, цветом и формой похожий на бутон медуницы, ровно бы помеченный когтями дикого зверя — следы от швов. На Дону попало. Комиссован он был на три месяца. В Осипово съездил и сотворил Валерии Мефодьевне второго ребенка, на этот раз парня, Василия Алексеевича. Побывал он и в двадцать первом полку, в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку в смысле жилья маленько подладились, построено несколько казарм-бараков, подвалы совсем раскисли и развалились, с едой же обстояло еще хуже, чем в прошлые времена, муштра и холод все те же, мается под Бердском народ уже двадцать пятого года рождения — Россия не перестает поставлять пушечное мясо. Отмаялся старшина Шпатор, кончились земные сроки Акима Агафоновича. Умер он неловко, в вагоне пригородного поезда — ехал зачем-то в Новосибирск, сел в уголке и тихо помер, на повороте качнуло вагон, мертвый свалился на пол, валялся в грязи, на шелухе от семечек, среди окурков, плевков и прочего добра. Не поднимали, думали, пьяный валяется, и катался старшина до тех пор, пока ночью вагоны не поставили в депо, уборщицы, подметающие в них, и обнаружили мертвого старика. За всю службу, за всю маету, за тяжелую долю, выпавшую Акиму Агафоновичу, явлена была ему льгота или Божья милость — полковник Азатьян велел привезти из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами — в кармане гимнастерки Шпатора с обратной стороны военной накладной написано было химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатор просил не снимать с него нательный крест и

похоронить его рядом с мучеником — солдатом Попцовым либо с убиенными агнцами, братьями Снегиревыми. Но к той поре щель, в которой покоились братья Снегиревы, уже сровнялась с ископыченным военным плацем, а где закопан Попцов, никто не помнил.

Похоронили старшину возле лесочка, среди могил, в изрядном уж количестве здесь расселившихся, несмотря на то, что в учебном полку, как и прежде, не хватало боеприпасов, все же дали залп над могилой, пусть и жиденький, из трех винтовок.

Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему присвоили звание старшего лейтенанта, а вот когда он сделался капитаном, Лешка и не ведал — редко все же видятся, хоть и в одной дивизии воюют.

— Ну, что там, на берегу? Мы ничего еще не видели, в потемках притопали, — спросил капитан, вытираясь сухим, застиранным рушником, услужливо поданным Колей Рындиным.

— Пока все тихо, — ответил Лешка, — но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать.

— Н-на... Но мы же секретно, тайно сосредотачиваемся.

— Ага, тайна наша вечная: куда едешь? Не скажу. Че везешь? Снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтоб сходили вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта, начнет палить. Ну, я пошел. Потом еще зайду — охота с Хохлаком повидаться.

— Зарубину привет передавай.

— Сами передадите. Я думаю, он когда узнает, что вы прибыли, придет посоветоваться, как дальше жить. Основательный он мужик, вежливый только чересчур, не матерится даже. Я первого такого офицера встречаю в нашей армии.

— Думаю, и последнего.

Заместитель командира артиллерийского полка, Александр Васильевич Зарубин, все еще в звании майора, с малым количеством наград — два ордена и медаль, правда, полученная еще в финскую кампанию, будь она трижды неладна, та подлая, позорная война, — снова полновластно хозяйевал в полку, потому как чем ближе становилась Великая река, тем больше в рядах Красной армии делалось воинов, не умеющих плавать. Вроде бы родились люди и

выросли в стране, сплошь покрытой сушей, в пространствах пустынь и степей, навроде как бы в Сахаре или в пустыне Гоби, а не в эсэсэре, изрезанном с севера на юг, вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками, испятнанным озерами, болотными прудами, имеющем в нутре своем два моря и по окраинам упирающегося в моря, а с дальнего боку омываемом даже океаном под названием Тихий. И больших объявилось изрядно — просто армия недомогающих масс. Но еще больше суетилось тех мудрецов и деляг, кои так заняты, так заняты: чинят, шьют, паяют, химичат, какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их в фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные, комсомольские конференции и все азартней агитируют пойти за реку и умереть за Родину.

За фронтом тучей движется надзорное войско, строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами под номерами 1, 2, 6, 8, 10 и так далее — всех номеров и не сочтешь — сплошная математика, народ везде суровый, дни и ночи бдящий, все и всех подозревающий.

Командир артполка Ваня Вяткин снова залег с обострением язвы желудка в санбат. Там у него свой врач — богоданная жена, никак не могут, ни она, ни вся остальная медбратия одолеть ту проклятую язву.

Зарубин уже привык к роли затычки, да, по правде сказать, не придавал особого значения этакой повальной симуляции — выполнял неукоснительно свой воинский долг и делал это без лишнего шума и бесполезных потерь — на войне и без того шумно и губительно.

Наблюдениями и мыслями своими майор Зарубин поделился со своим давним другом и нечаянным родственником — Провом Федоровичем Лахониным. Дружба и родство у них были более чем странные, если не сказать — чудные. Познакомившись в военном санатории в Сочи со своей будущей женой Натальей, тоже происходившей из военной семьи, произведя ребеночка «на водах», чопорный, лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и неспособный, предстал пред грозны очи родителя Натальи, начальника замшелого, в забайкальских просторах затерянного гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного: «Ты испортил мою дочь?» — «Я», — пикнул лейтенантик.

Что кавалер не смылся от оплошавшей девушки, не юлил, не отпирался по распространенному обычаю армейских сладколюбцев — располагало.

Родитель поинтересовался дальнейшими намерениями молодых:

— Чего делать будете?

— Пожалуй... если надо?

— Как это понимать: «если надо?»

— В буквальном смысле.

— Ты дурака-то не валяй! Молодчиков полон гарнизон... Тут только девка рот открой — ее как галушку хап — и нету!

Грозный обликом, в мундир облаченный командир, отстегал свою родную дочь широким ремнем. Жену, бросившуюся защитить единственное дитя, тоже хотел по старорежимному правилу отстегать за то, что не укараулила дочь, но, поразмыслив, намерением попустился — жалел он свою жену, истасканную им по военным клопяным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражение с японцами на Хасане ее втянул, в качестве санитарки. Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались и вскоре ребенка сотворили. Где? Да там же, «на водах» в Сочи, может, в том же самом греховодном военном санатории.

Одним словом, отправились на реку Чикой начальник гарнизона с лейтенантиком, с ходу поймали пудового тайменя — и душа помягчела. Когда похлебали ушки, под ушку-то дернув хорошо, песню боевую запели, обниматься начали. У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина «Солнечный удар», который она еще в молодости, до запрещения и изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух. Так вот тут тоже солнечный удар. Сочинский. Против великой литературы не попрешь. Военный санаторий не закроешь. Сотворили ребенка — воспитывайте. Растили Ксюшку, однако, дед с бабой, нежили и баловали ребенка, потому как зятя перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубины как мужчина и женщина испепелили любовный пыл, более им делать было нечего, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств.

Как молодого вдумчивого артиллериста Зарубина Александра Васильевича отослали изучать особенности новейшей баллистики в

саму академию, аж в Москву. Наука оказалась тонкая и длинная. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и со званием старшего лейтенанта, то застал в доме своем заместителя, чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и дедки, а здесь, держась за лавку, по комнате шлепал голозадый пареван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепехи на пол и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газетой «Красная звезда», отрешенно молвила:

— Вот... куем кадры... — положила кошелку с хлебом на стол, потискала ладонями лицо, — для Красной Армии... — начерпывая в кухне воду из кадки в таз, громче добавила: — Не переводя дыхания второй уже лягается в животе, да так, что с крыльца валюсь, боец тоже...

— Молодец!

— Кто молодец-то? — проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом любопытствовала Наталья.

— Все молодцы! Ксюшка-то у бабки с дедкой?

— Та-ама!

— Не приезжал отец пороть ремнем?

— Приезжал. Да как пороть-то? Я пустая почти не была. Законом советским защищена. Вот в кого такая уродилась, спрашивал.

— Ну и чего ты ответила?

— Ответила-то? В твоего деда, в моего прадеда, ответила. Он же казаком был. Бабку-бурятку из кибитки украл. Турчанки да персиянки далеко... Так он бурятку свистанул. «Понятно, — вздохнул мой папа. — Кочевой, вольный ветер! Дикая кровь». «Она, она, проклятая», — подтвердила я. Собрал папа Ксюшку и был таков!

— Стало быть, и мой путь прямичком к деду с бабкой.

— Обопрись! Вон заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился. А он тебе поведаст, как тут воинский долг исполнял.

Лахонин Пров Федорович, моложавый, красивый, не глядя на забайкальскую глушь, на пыльные бури, весь начищенный — куда Зарубину против такой сокрушающей силы. Да и Наталья вроде бы чем-то уже надломленная, сказала: дуэли не будет — она недостойна того, чтобы один из блистательных советских офицеров ухлопал

другого, да и учтено пусть будет уважительное обстоятельство — скоро станет она многодетной матерью, родители ж ее в возрасте, замуж с таким приданым ее не возьмут, да и не хочется ей больше замуж.

— Мама меня маленькую все пугала замужем: такой, мол, он большой замуж-то, лохматый, зубы у него кривые, лапа с когтями... — повествовала Наталья. — А я вот бесстрашная удалась.

С чем всегда у Натальи в порядке, так это с юмором.

Обедали вместе: два мужа и одна жена. Наталья поллитру мужикам выставила, себе — бутылку молока — она все еще кормила ребенка и вроде бы не должна была забеременеть, «замена» какая-то должна быть. «На меня никакой биологический процесс не действует! — махнула Наталья рукой, — из кочевников происхожу».

Когда-то еще школьницей, затем студенткой Наталья подвизалась на ниве искусства в гарнизонных клубах и приносила оттуда забористые анекдоты. Например, о том, как в тридцатые годы на общем колхозном собрании постановлено было: к каждой советской бабе прикрепить по два мужика. Один отсталый старик возмутился таким постановлением, но старуха, подбоченясь, заявила: «И че такова? И будете жить, как родные братья...»

Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула:

— Господа офицеры, я не хочу, чтобы вы жили как родные братья, чтоб остались друзьями — хочу, — вы ж у меня разумники-и! — и горстью нос утерла.

Редкий случай: соперникам удалось остаться друзьями.

Родители Натальи один за другим скоро покинули земной гарнизон, переселились в мирное небесное место. Ксюшка веревочкой металась за отцом по военным гарнизонам. Наталья в письмах писала, где, мол, два, там и трое, вывезет — воз-то свой не давит. Но Ксюшка уж больно строптива, плечиком дергает: «Не хочу!»

Но приспела война, и, хочешь не хочешь, отправляйся, дочь, в Читу к маме. Как они там, в далекой Сибири, в студеном Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ: «Привет из Читы! Здравствуй, любимый мой папочка!» О мамочке ни слова, ни полслова, будто ее на свете вовсе нет. Вот ведь оказия! Он, взрослый человек, давно простил жене

все, да и чего прощать-то? «Без радости была любовь, разлука без печали». А девчужка-соплюха характер показывает.

«Ничего, ничего, — успокаивал Зарубина Пров Федорович. — Тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых...»

Встретясь, боевые командиры первым делом интересовались друг у друга, давно ли были письма из дому? На этот раз оказалось — давно. Продвинулись к реке стремительно, тылы поотстали, военные почты с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой — тоже.

— Слушай! — словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал, — ты все майор и майор?

— Да вот забываю звездочки в военторге прикупить.

— Пстой, пстой! Ты юмором-то меня не дави. Все равно Наталью не переплюнешь! Она, брат, в письмах как напишет про деток да про себя. Обхохочешься.

— Боюсь, что не до юмора сейчас ей.

— Конечно. Но не одной ей. Слушай, кумовья-политотдельцы-сексоты тебя грызут. Отчего? Ну... Ну, в общем-то, понятно. Характерец! Не ко времени ты и не к месту, что ли?

— Тебе лучше знать. Да и не беспокоит меня личное мое благополучие.

— Не беспокоит, не беспокоит...

Они сидели в горенке белой хаты, в совершенно не тронutom немцем лесном хуторке. Здесь, по окраинам березановских болот добрые люди в сорок первом году прятали и спасали раненых советских бойцов и до недавнего времени располагался штаб партизанской бригады, которая переместилась за реку и готовилась ко встречным, вспомогательным действиям. И еще Лахонин сказал, должна быть выброшена в помощь партизанам десантная бригада. Отборная, с начала войны в тылу сидела да с учебных самолетиков сигала, готовилась к ответственной операции.

— Вроде бы все затевается грандиозно и ладно. Силы громадные сосредоточены, переправившись через реку, хорошо бы с первого же плацдарма рвануть на простор, к границе, а там и до логова недалеко.

— Отчего в совсем неподходящем месте готовится переправа? Опять врага обманываем, опять хотим врасплох его застать?



— Я пока еще всего плана операции не знаю, но догадываюсь, что первый удар здесь не будет главным. Великокриницкий плацдарм — скорее всего вспомогательная операция.

— Удар, еще удар! — так запутаем врага, что самим потом дай Бог распутаться. И такие понесем потери, что без запутывания обошлось бы вдвое, может, и втрое легче.

— Да, да, хотим хитро и сложно воевать. К хотенью побольше бы ума и уменья, да вспомогательные службы отладить.

— У нас же вон как отлажены карательные службы, столько средств и людей на них тратится, что больше никуда не хватает.

— Слушай, тезка Суворова, ты хоть там-то, среди своих-то укрощай себя. Ведь на каждого вояку по два стукача, на командира до пяти.

— Ничего, как-нибудь обойдется. Всех не перебреешь, как говорит нами вскормленный дивизионный парикмахер.

— Вот он-то, болтун, вроде недотепа, — и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусенок в тридцать седьмом, будучи корром «Правды», пересади́л весь челябинский обком.

— Как не знать. «Незаметно доводится до сведения». Он, Мусенок — друг и чуть ли не родственник Мехлиса. Они неустанно боролись и борются с врагами народа. У Мусенка ж заместителей и бездельников — толпа, они, будто тунгусы, подбрасывают и подбрасывают топливо в костерок.

— Мехлис, Мехлис. Притих он после того, как погубил три армии под Керчью. Манштейн двумя танковыми корпусами и несколькими полевыми дивизиями, подчинив их себе на ходу, показал Мехлису, что редактировать газету, пусть и «Правду», в каждом номере вознося под облака бога своего, и воевать с фашистами — две большие разницы. За подобный позор, за неслыханные потери любого из нас к стенке прислонили бы, но Мехлис и адмирал с красивой фамилией Октябрьский — выскочка и жулик — малым испугом отделались. Слушай, да ну их к аллаху! Снова предлагаю тебе должность начальника оперативного отдела.

— И я снова отказываюсь. Нечего семейственность на фронте разводиться.

— Вот гляжу я на тебя и удивляюсь: вроде неглупый мужик, но не понимаешь, что мне умные, свои люди здесь нужны.

— Из дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел.

— Ага, ага, пусть в дивизии одни ханыги останутся. А я вот возьму и приказом тебя переведу.

— Ладно. Так и быть. Но после того, как я сплаваю за реку. Не морщись, не морщись. У меня разряд по плаванию.

— Небось в бумагах записал?

— Записал. А что?

— А то, что умный, но тоже дурак. Только с обратной стороны, — махнул рукой Лахонин и, выйдя на низкое, из каменной плиты излаженное крылечко, где возле порога у земли веселым хороводом выпорхнули и кружились беззаботные цветы маргаритки, сложив руки, прокричал в лес: — Эй, Алябьев! Пора! — и пояснил весело, потирая руки. — Этот композитор, умеющий играть подгорную на балалайке, мужик надежный.

— Оттого, что надеется подле тебя уцелеть.

— Ох и язва ж ты! Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне бы тебя надо ненавидеть, а я вот... Слушай, — приобнял он Зарубина, — побереги ты себя там, а?

— Ты вроде как избегаешь меня, а я начальнику штаба Понайотову сказал, что ночевать у тебя останусь.

— И ночуй. Отдохни ладом. В таких куцах. Я отлучусь до ночи. Потом с тобой наговоримся. Ругаться больше не будем. Эй, товарищ старший сержант! — снова покричал он в кущи. — Подать начальству умыться!

Из куц нарядной горлинкой выпорхнула с кувшином, тазом, с вышитым рушником на плече лучезарно улыбающаяся девица с ямочками на спело алеющих щеках, с погонями старшего сержанта на плечах. Поливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стороне майора. Полила и ему. Лахонин, утираясь, хмуро буркнул:

— Радистка Уляша. Вот переведешься ко мне, я тебе трех копировальщиц подкину. Царицы!

— Благодарствую. Уцелеть еще надо. И вообще...

Зарубин чуть не ляпнул про Наталью. Но что Наталья? Наталья есть Наталья, одна она на этом свете, детьми обложенная, уляш же — связисток, машинисток, копировальщиц — в корпусе не перечеть.

«Вот то-то и оно, — говорил весь вид генерала Лахонина, — а я мужчина еще молодой и пока еще живой...» Ели молча, старательно, из глубоких тарелок с цветочками — приборы на столе, ложка суповая с вензелем на черенке, нож и вилка тоже с вензелем, все серебряное.

— Сталин выдал. Чтобы аппетит у генералов лучше был, — пошутил Пров Федорович.

«Если операция сорвется, выдаст он вам еще по вилке да по ножу, кому и веревку в придачу». — Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдет:

— Композитор где-то украл. Ловкость рук и никакого мошенства, как говорил наш любимый герой Мустафа.

— Н-да, — думая о чем-то своем, произнес генерал. — А ты знаешь, слышал я где-то, что чуваш-артист тот, что играл Мустафу, оказался на фронте и погиб.

— Чего хитрого? Если академиков в ополчение загоняли, артистов и вовсе не жалко. Их у нас — море. Вот сам говоришь, штаб сплошь из комиков состоит.

— Ох, Александр Васильевич! Александр Васильевич! — помотал головой Лахонин, — пропадешь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанься. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастерку, все твое выстирают.

— Может, еще и новое белье прикажешь выдать... перед переправой. Тогда всей дивизии выдавай.

Генерал пристально посмотрел на Зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство: «Спасибо!». Из пустого лесного пространства мужской и женский голос дуэтом ответили: «На здоровьишко!»

Лахонин возвратился поздно, велел подать ужин и вина. «Водку жрать не будем. С водкой какой разговор? Пьяный разговор. А с винца рассудок яснее, мысль искристей становится. Да и работы у меня завтра...»

Размягченные вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати, накоротке вернулись все к той же фронтовой теме — недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится.

— Показали мне тут недавно бумаги о настроении военных масс на передовой. Одну особо выделили. Солдат по фамилии Пупкин или Пипкин, у которого язык, как и у его командира, — Лахонин прокашлялся, помолчал, сделав многозначительный намек. — Так вот, этот солдат глаголет среди своих собратьев: мол, тот враг, что перед нами, ясен, как светлый день, а вот другой — вечный враг... Словом, вышел солдат-мудрец на вечную тему.

— Ну, а ты что думал? Русский человек сплошь и совсем подавлен? Он, солдат, — тоже из народа русского, а народ наш горазд и дураков, и мудрецов рожать.

Тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема: почему такие же смертные люди, как и этот говорун-солдат, посылают и посылают себе подобных на убой? Ведь это ж выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля, от гитлеровской военной конторы, до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршальской воли тянется нить, по которой следует приказ идти человеку на смерть. А солдатик, пусть он и распоследняя тварь, тоже жить хочет, один он, на всем миру и ветру, и почему именно он — горемыка, в глаза не выдавший ни царя, ни вождя, ни маршала, должен лишиться единственной своей ценности — жизни? И малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам, тем, что впереди, и тем, что сзади, исхитриться должен солдатик, устоять, уцелеть, в огне-полыме, да еще и силу сохранить для того, чтобы в качестве мужика ликвидировать последствия разрушений, ими же сотворенных, умудриться продлить род человеческий, ведь не вожди, не цари его продляют, обратно мужики. Цари и вожди много едят, пьют, курят и блядуют — от них одна гниль происходит и порча людей. За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, Сам взошел на крест. Не дотянуться пока до Него ни умственно, ни нравственно. Ни Бога, ни Креста. Плыви один в темной ночи. Хочется взмолиться: «Пострадай еще раз за нас — грешных, Господи! Переплыви реку и вразуми неразумных! Не для того же Ты наделил умом людей, чтобы братьям надувать братьев своих. Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна, а в

этой армии к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы...»

Христос воскрес! — поют во храме,  
Но грустно мне... Душа молчит.  
Мир полон кровью и слезами  
И этот гимн пред алтарями  
Так оскорбительно звучит.  
Когда б Он был меж нас и видел,  
Чего достиг наш славный век,  
Как брата брат возненавидел,  
Как опозорен человек!..  
И если б здесь, в блестящем храме,  
«Христос воскрес!» — Он услышал,  
Какими б горькими слезами  
Перед толпой Он зарыдал.

Долго лежали во тьме товарищи по оружию, слушая себя и ночной лес. Шуршит по крыше и стене падающая листва, и, словно пули, тюкают в черепицу плоды лесных дичков, желуди. После щелчка в крышу в деревьях поднималась возня, ночующие горлинки взлетали с испуга и снова долго шебутились, устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками пересыпающимся в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стеколке окна, и электродвижок, жужжащий в лесу, в расположении штаба корпуса, делался слышнее — спят птицы, кабаны чавкают за хатой, вздумаешь выйти по нужде, потопай прежде.

— Чьи стихи-то? — подал голос Лахонин. — Мережковского? Так его вроде бы повесили или расстреляли?

— Не успели. Убег за границу.

— А не убег бы, непременно за такие стишки голову.

— Его наши идеологи и атеисты пробуют уничтожить, называя реакционным писателем-символистом, проповедником утонченной поповщины и мистики.

— М-на, это ж легче, чем стишок запомнить. Я вот не помню, когда книгу в руки брал, а ты вот...

— Да тоже помаленьку дичаю. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены, великие певцы поют, у наших идеологов руки коротки всем рот заткнуть. Я, Пров Федорович, часто теперь стал вспоминать Бога и божественное, да куцы мои познания в этой области.

— Чего же тогда обо мне говорить? Ох-хо-хо-ооо! Как обезображена, искажена наша жизнь... — Лахонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул: — А гвозди вбивать в руки и ноги Христа посланы были все-таки рабы. И на страшном суде их командиры с полным основанием могут заявить, что непричастны к кровавому делу.

— Да, да! Во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего тезку, Александра Васильевича. Истаскал за собою по Европе, извел тучи русских мужиков, в Альпах их морозил, в чужих реках топил, в Оренбургских степях пугачевский мужицкий мятеж в крови утопил и — герой на все времена... Русские вдовы и сироты до сих пор рукоплещут, Россия поклоняется светлой памяти полководца и надевает цепи на музыкантов, шлет под пули поэтов.

Снова слушали ночь и лес. Тишина потревожилась самолетом. Ночное небо зеленым огоньком прочертило где-то не так уж и далеко, вроде как с испугу выстрелило орудие, и, словно в другом мире, безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросило, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, и плыла черно, мелькала на окне осенняя листва.

— М-на-а-а, воевать с такими мыслями...

— Оно и пню понятно, без мыслей всюду легче.

— Надо уснуть. Во что бы то ни стало уснуть. Завтра... Нет, уже сегодня, раб-бо-о-о-оты-ы-ы!

— Мы уже все это называем работой! А что, вечный командир Пров Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных, а вон уж какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, коих мой тезка по Европам волочил.

— Научим мы, научим и наших, и ихних трудящихся на свою голову.

— Не знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, чтобы фронт не колебал?

— Не знаю. А что, с собою за реку взять хочешь?

— И взял бы.

— Не знаю, не знаю. Не до того. Мне бы переправу с меньшими потерями провести.

— Переправа, переправа, — вздохнул Зарубин. — Слушай, мы ж все-таки мужики военные. Ты, если что...

— Ты мне это брось! — вскинулся на кровати Лахонин и отбросил окурок, заискривший на полу. — Наталья мне вовек не простит, скажет, нарочно подставил... Я тебе еще раз предлагаю...

— Нет, нет и нет! Вот рассветает, надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется? Пошлешь нового командира, он людей не знает, полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставлю. Надеюсь, меньше.

— Ах, уснуть бы!

— И усни.

— Уснешь с тобой.

— Зачем звал?

— Затем и звал, чтоб разбередиться. Человеческим словом перемолвиться. — И, отвернувшись к стене, генерал буркнул:

— Ты все же побереги себя, Наталья ж...

— Не надо про Наталью, Пров Федорович. Мы — военные, перед своими женами вечно виноваты. Я вот о Наталье сейчас больше думаю, чем прежде. Тебе-то что? У тебя Уляши.

— Язва! Я тоже не заговоренный. Если что, падай в ноги Наталье и кайся за двоих, нет, за всех нас, за дураков военных, нам бы, как монахам, запретить жениться.

Лахонин поднялся раньше Зарубина. «Пусть его!» — расслабленно подумал майор и снова уснул, и не слышал, когда уехал генерал.

На столе, под стаканом, по края наполненным черным вишневым вином, белела вдвое сложенная записка: «Если сумеешь, появишься до переправы, если нет — с Богом! Пусть нас надолго хватит. Пров».

Увидел своего генерала Зарубин уже издалека, когда тот вместе с командующим армией и многочисленной высокочиновной свитой

объявился на берегу реки. Обычно чиновные люди на передовой появляются в пилотках, плащ-палатках, а тут, как на параде, блестят золотом, сверкают звездами погон, шеборшат красными лампасами — сразу появилась в небе «рама». Чуть погода зазвенели в небе два «фоккера», следом за ними на горизонте нарисовалась пятерка немецких штурмовиков. Но из-за леса шустрой стайкой выскочило до десятка краснозвездных истребителей, завертелись они, запрыгали кузнечиками в небе, застрочили, завыли, сбили штурмовика, и он, к радости густо расселившегося на берегу войска, упал вместе с боезапасом и взорвался на противоположном берегу. Остальные машины побросали бомбы куда попало и повернули восвояси. Очистив небо над рекой, истребители, волоча за собою радостные дымы, газовали на аэродром, довольные, что на глазах у высокого командования свалили штурмовика и все уцелели при этом.

Минометы, орудия, все огневые средства противника так и не показывали себя, хотя, конечно же, немцы видели толпу золотопогонников на левом берегу и пальнуть им, конечно же, по ним очень хотелось.

Поглядев в стереотрубы и бинокли на правый берег, коротко и важно о чем-то посоветовавшись, высокое начальство уехало, выполнив, как догадался Зарубин, важную миссию по дезориентации противника, упорно убеждая его в том, что именно здесь, в этой речной неудобности, в непроходимом почти месте будет нанесен главный удар.

Капитан Щусь и Лешка Шестаков, его на берег приведший, сидели на розовато-бурых камнях, до самой воды устлавших берег плитами и плитками того же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрошен камешник, по урезу и вовсе в дресву и песок растертый. Чубчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче-острая. Щусь в природе вообще не разбирался. Лешка же с пойменно-тихой реки родом и не догадывался, что камни эти есть останки древних утесов, кои там, на дне реки еще не стерты, и вода на дне скоблится о гряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивало песок-курумник, смытую земельку с полей — и получился остров с тремя-четырьмя ветлами тополей, обломанных бурями, росшими вширь с одного боку. Под тополями вихрились кустарники, как бы подстриженные садовником. Растительность эту обгрыз, подровнял скот, зимние зайцы, дикие косули.



Под «своим», левым берегом, меж островком и берегом протока обмелела, почти пересохла. Остров сплошь ископычен, на самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания, только татарники, ядовитый коровяк, белена да сорная полынь сорили семенем по воде, отоптанные, костяно белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветви, леторосные отводки, сейчас вот, к осени обрадованно зазеленевшие. По острову, в лунках засохшей ископыти, словно в каменных сахарницах, белел иней. Жители прирезали или угнали весь скот, что уцелел, много скотины подорвалось на минах. По округе устойчиво плавала тяжкая, всюду проникающая вонь.

Странные и нелепые вещи происходили и происходят на войне. Немцы, отступая за реку, свалили столбы, поистребили лодки, корыта, сожгли или переплавили все, что называется деревом и может плавать, но загородь загона на островке цела — хотели убрать или сжечь напослед, понадеялись друг на друга иль «не заметили», оттого что на самом виду дерево, некорыстное, из кривых, огрызенных ветел и жердей, но дубовые столбы прочны, сухи.

«Та-ак, — сказал бедняк, — отметил Щусь, — на безрыбье и это рыба». И еще раз прошелся стеклянными очками бинокля по реке, по островам. На приверхах, между островками, ширина реки не более двухсот-трехсот сажен, но течение здесь стремительное и на стреже бурливое. Место для переправы выбирали толковые ребята, самое узкое, самое удобное, на течение, на эти вот, грозно ворочающиеся, пенисто вьющиеся буруны они внимания не обратили — им-то здесь не плавать, они по карте стрелы нарисуют: кому где плыть и куда высаживаться — прокукарекано, а там хоть не светай!

Берег противника жил притаенно и почти мирно. Пропылит вдаль машина, займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпилек церкви с уцелевшим, искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, в овраги или к речке, и снова все шито-крыто.

Щусь видел в бинокль все гораздо подробней, чем Лешка своими раскосыми, полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по-за берегом и земным всхолмлением, от которого по оврагам же и зеленым разломам уютно гуляла, вилась петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Криницы.

Внизу кустились, красно и желто догорали кустарники осенним листом, там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей, едва уж различимой дали, за рыжим берегом, за холмами усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте означенная высотой под номером сто. По речке, на карте название — Черевинка, двигались, делали свои необходимые дела военные, люди ловко сообщались со всем берегом через устья и вывалы оврагов, ветвисто спускавшихся в пойму речки, зевасто, голо открытые взрытыми разломами в самую Великую реку.

За седловиной-горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила к едва различимой, рябщей вдаль моросью фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон седловины выскочили игрушечные хатки, клуня — место от наземных наблюдений скрытое. Ближе к реке, по скату седловины, прибавилось темных полос и пятен — заметил Лешка, — то там, то тут взблескивало оружие, мелькали лопаты, темные полосы свежей земли — это новые траншеи, ходы сообщений; вдруг возникла и игрушечно покатила колобком круглая каска, возле реки копошились люди, вытаскивали темное туловище из воды. Вытащили, перевернули на камни, будто большую рыбу, бледным брюхом кверху, теперь уж точно видно — лодка, до левого берега донесло стук и треск, лодка развалилась, днище, борта и все остальные обломки люди, будто муравьишки, поволокли за обрывистый мыс, в пойму речки.

Раскурочили на глазах лодку фрицы для того, чтоб знали иваны — плыть им будет не на чем. Немцы пробовали выпилить даже прибрежные зеленые леса, как вырубил они их возле железнодорожных линий, сгоняя на работы мирных селян. Но украинцы — пильщики никудышные, да и спешили немцы за рекой укрыться, вот и не успели свести подчистую леса, спалить хутор, убрать загон с острова.

— Чем же, чем же все-таки прельстило наших стратегов это гиблое место? — ломал голову командир батальона. — Безлюдностью? Глушью? Узкой водой? Островами. Нет и нет. Чего-то есть тут, закавыка какая-то. Протоки у пологих островков, на каменистом месте, не очень глубоки и не вязки — острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще дальний прицел? Левый берег реки на большом протяжении лесист, допустим, подъезды, подходы удобные в расчет

брались, и сами деревья, дубняки, клены, ясени-верболазы — при нужде и сырое бревно на плоты пойдет, если его спаровать с сухим — уже плотик, или, как в Сибири говорят, салик. В хуторке пока еще не разобранный до конца стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой, в замок увязанной, щелястой матицей — все сгодится, все в дело пойдет...

Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел: «У бар борода не бывает, усы!» — шумно ахнул в воду, трактором ее взбуровал, призывая воинство следовать его примеру. Васконян, зажав в горсть добришко, со страху, не иначе, сделавшееся сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и вдруг, бросив на произвол судьбы добро свое, ринулся к реке, все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей, но в воду вошел он легко, без брызг и тесным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекладывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри, ко дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезши на берег за мылом, Васконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать, в бассейне и когда бывал в черноморских санаториях, стиль, которым он сейчас пользовался, называется «бгас».

«Слава Богу, хоть этот отчаюга не утонет!» — усмехнулся комбат.

Булдаков брэнчал от холода зубами, однако балаболил насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. «У нас в Анисее тепле и не бывает, — врал он напропалую. — Мы ишо в заберегах начинаем купаться и, покуль лед не станет, из воды не вылезам».

Верный его спутник, сержант Финифатьев, годами самый старший в первой роте, как всегда, внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудам его характера. Сам Финифатьев, намылившись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя: «О-о-о, мамочка моя! Хоть вымыться перед смертью-то!..» — «Каркай больше!» — орали на него.

Мылись солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехтя. Финифатьев нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ею спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости — не грязь, вроде бы кожа черная сдиралась со спины. И солдатики начали тереть друг дружке спины травой, завывая от облегчительной боли. Тела солдатские бледны. Вымывшись, шагают они по берегу

боязно — любой камешек, корешок, даже соломинка больно колют изнеженные в обуви ноги.

Лешка тоже помылся и вопросительно глянул на Щуся. — «Я потом, потом», — отмахнулся капитан. Не купался лишь Гриша Хохлак — его из ближайшего полевого госпиталя высунули на фронт со свищом на ране. Из незакрытой раны белым червячком выползали мелкие осколки костей и оборвыши лангеток. Сказали — скоро пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых, так и говорили — «потоку». Встретив своего соквартиранта по Осипову, Хохлак отчего-то засмутился, поднимаясь с камешника: «О-ой, Лешка!»

Шестаков обнял давнего друга, по спине его похлопал. Но скоро Хохлак освоился, не чувствовал уже себя гостем среди солдат, чего-то тоже выкрикивал, ковылял к воде, кому-то бросал обмылок, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье — снова среди своих солдат, снова домой явился. А как он воссиял, когда Щусь сказал, что побывал в Осипове и что его, знатного баяниста, там помнят, Дора так вся иссохла по нему. «Я знаю, — потупился Хохлак, — мы переписываемся с ней. Редко, правда».

Сборище солдатское все густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студеной воды. Враг не выдержал людской радости. Воду бело вспорол пулеметной очередью, сыпко защелкали по камням пули, взрикошетив, выбили пыль на речном спуске, берег быстренько обезлюдел, припоздалый звук пулемета смел с него остатки людей.

— Булдаков! — окликнул Щусь самого большого специалиста в окружающем войске по всяческим хитроумным операциям. — Тебе задание — занять ригу на окраине хутора, снести к ней с острова и закопать, снести и закопать! — отдельно повторил капитан, — все дерево со скотного загона. И никого! Никого! Я понятно говорю!

— Чего тут не понять? — отозвался Булдаков.

Бойцы, жаждающие разогрева после купания, побежали разбирать загородь на островке. В мирной жизни это деревянное барахло никакого значения не имело, но сейчас этот обмылок земли, затопляемый веснами, и дерево, в него вкопанное, ох как много значили! Сто, где и полтора метра можно без горя идти до огрызенных тальников, прятаться в колючей дурнине — дальше, если память не потеряешь, шуруй на приверху, от нее, именно от нее

бросайся в плывь на пониз по течению. Ухватившись за жалкие обрубки дерев, за бревешки, за доски от спиленного загона и, если судьба тебя не оставила и Господь Бог не забыл, — подхваченный струей, ты через каких-нибудь двадцать, может, и через пятнадцать минут окажешься на приверхе заречного острова, почти уже и под укрытием правобережного яра, далее — ходом, ходом через протоку — и ноги сами вынесут тебя под навес яра, в развалистые ямы, в ущелья оврагов...

«Ах, как все славно! Какая угаданная дорога! Спланированные действия. Но немцы острова-то пристреляли, каждый метр берега огнем разметили, они все и всех там смешают с сохлым коровьим говном, и на песке замесят тесто из человеческого мяса».

— Шестаков, тебе будет особое задание. Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубиным согласовано. Соображай! Крепко соображай, понял?!

— По-о-нял! — протянул Лешка и про себя уныло сбалагурил, «чем дед бабу донял...»

— Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор? — спросил Лешка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже.

— Да, как всегда, — сухо отозвался Зарубин.

— Ясно, товарищ майор! Кто на ту сторону?

— Я, вычислитель, командир отделения разведки Мансуров, один из комбатов, командир взвода управления дивизиона с группой прикрытия, ты и твой сменщик.

— Он плавать не умеет, товарищ майор. Еще утром разучился.

— Многие разучились, но плыть придется... Ты где-нибудь форсировал водяной рубеж?

— Приток Дона, название не помню. И ерик один. Увяз, помню, в нем, едва выбрался на берег, а там в ежевичнике ужи кишмя кишат, лягухи по берегам с лапоть величиной... Я как заору и обратно в ерик... Пузыри пускал. Ребята вытащили... — Майор пошевелил углом рта, улыбнулся. — На подручных средствах по этакой реке несерьезно, товарищ майор. Это не ерик.

Лешка прибыл в артиллерийский полк из госпиталя, где валялся половину зимы с разбитой голенью правой ноги. После госпиталя, как водится, болтался по резервным частям и пересылкам, и до того там дошел, что ни о чем уж не мог думать, кроме еды. В первую же ночь по прибытии в артполк, заступив на пост, нюхом резервного доходяги и бердского промысловика учуял он в хоззвездовской машине съестное, запустил руку под брезент, нащупал мешок с сухарями. Долго не думая, складником распластал один мешок, добыл три крупно резаных сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не изгрыз, как поднялась тревога. Ворюга был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж.

Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лешка ни попытался смухлевать или сжульничать — тут же и попадет. В школе, бывало, все курят, но как только дадут ему зобнуть — вот он, учитель! В двадцать первом полку, правда, малость напрактиковался, но забылся ж тот боевой опыт.

В штабной блиндаж он шел покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутенка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином. Во, влип! Вечером Мусенок проводил партсобрание или политбеседу в полку. На Лешкину беду, шофер Мусенка, разгильдяй Брыкин угнал «газушку» на техосмотр и не вернулся к сроку. Мусенок задержался в полку допоздна и определился спать в хоззвездовской машине. Спал он чутким сном пугливого тыловика, попавшего «на передок», и услышал, как хрустит что-то под ним. Подумал, враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут, и с ликующим облегчением изловил злодея. Лешка вознамерился поддеть на кумпол человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта, но план осуществить не успел, увидев погоны со звездами.

Майор Зарубин и начальник штаба Понайотов спросонья долго не могли уяснить, отчего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Понайотов сразу начал зевать, на соломенную постель обратно полез: «Стоило будить!» Майор Зарубин не имел права лезть на постель, хозяин, отец-командир, терпеливо слушал он Мусенка и в общем-то согласен был — воровать советскому солдату позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надобно злодея поставить и дать возможность коллективу строго его

осудить, но при повторении подобного — и под трибунал его, голубчика, подвести...

«Ну, это уж слишком!» — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя — сейчас Мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубина долил сон, а Понайотову не спалось. Хмурясь, он свернул сигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату, безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат в мешковато осевшем на нем ветхом обмундировании, стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целый и надгрызенный сухари. И Понайотов, и майор догадывались: солдат этот думает только об одном: отымут в конце беседы у него сухари или не отымут. Понайотов, почесываясь, ухмылялся, слушая Мусенка, нервно бегающего по блиндажу: два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек тем не менее катил огромные булыжины слов насчет законов советского общежития, про долг каждого советского гражданина, про исторический этап.

Между тем солдатик, к полному удовольствию Понайотова, изловчился и разика два уже куснул от волглого сухаря, и когда, бегая, Мусенок оказывался к нему спиной, торопливо, безо всякого звука жевал.

«Во, умелец! Во, ловкач!» — восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл в резервный полк, а из него доходягу сделали. Майор поражался, и не раз, тому, как парней, взятых в армию из деревень, от рабочих станков, с фабрик и заводов, подвижных, здоровых, сообразительных, в запасных полках за два-три месяца доводили до полной некондиционности, ветром их шатало, тупели они так, что и ту боевую подготовку, которую получали в школьных военных кружках, совершенно забывали. Не одна неделя потребуется, чтобы вернуть бойцу его собственный облик, чтоб он воевал и сам соображал, как надо лучше делать работу, чтоб не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним — не щенок все-таки — воин.

— Что это такое? — перекрывая голос Мусенка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнилаев, спавший вместе с

командирами, подскочил с постели и зарпортовал: «Ропера пристреляны! Ропера пристреляны!» — Что это такое, спрашиваю?

Мусенок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал:

— С супом сухари доешь. Затопи печку и ложись. — Пока укладывался, шурша соломой в углу, возвышал голос, чтобы слышал Мусенок. — Будете наказаны! Строго!

Понайотов уже уснул, но ухмылка шевельнула его губы: «Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался...»

Услышав, как удалился негодующий Мусенок, майор, стучая себя по рту кулаком, произнес:

— Сон нарушил, идиот, как там тебя? — спросил из-под шинели.

— Шестаков.

— В порядке наказания подмени телефониста, потом на кухню — отъедаться. И что это, ей-богу, такое, чуть чего — воровать.

— Социалистическое добро нерушимо! — подхватил телефонист, копируя начальника политотдела, и майор смолк, уснул, видать.

Надев привычные вязки от трубок телефонов, солдатик Шестаков метал ложкой супчик, стараясь не бренчать котелком, мочил в хлебопекарный сухарь и радовался удачному завершению лихого дела.

Кухня надоела Лешке быстро — каторга, да и крепче он себя почувствовал, головокружение прекратилось, искры из глаз перестали сыпаться, шум в ушах приутих. Явился на наблюдательный пункт, к майору уже человек человеком: ботинки зашнурованы не через дырку, обмотки плотно, даже форсисто сидят на голеньях, гимнастерка постирана, с подворотничком, туго подбит, подпоясан боец, на левой стороне груди медаль, боевой орден, на правой значок гвардейский алеет.

— Ну вот и славно! Вот и хорошо! — Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы тогда дать его Мусенку схарчить, пропала бы еще одна, уже бессчетная человеко-единица на фронте. — На гражданке связистом были?

— Да, товарищ майор.

— Поэтому к Щусю не отпущу. У меня связистов не хватает. Не больно-то на эту должность стремятся.

Скоро майор выделил Лешку: проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка.



Понайотов, работающий на планшете, протянул портсигар — из дружеского расположения.

— Не курю. Мать за меня накурилась.

— Отцепите орден. И медаль тоже отцепите. Бумаги какие, книжку красноармейскую — все здесь оставьте, — приказал Понайотов.

— Хорошо.

— И вот что, Шестаков, — вступил в разговор Зарубин. — Если мы доберемся до того берега без связи — толку от нас никакого. Стрелять без связи мы еще не научились. А радиосвязь наша... Э-эх! Да и радист-паникер утонет и рацию утопит.

— Товарищ майор, опыт в таких делах — какой опыт? На севере я вырос. С детства на воде. Вот и посоветую: как и во всяком трудном деле, понадежней подберите людей, пусть теплое белье с себя снимут, но не бросают, сдадут пусть старшине. Так. Сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать? Прямо не знаю. Вы, товарищ майор, диагональную гимнастерку смените — намокнет — рукой не взмахнете... Всего не предусмотритишь, товарищ майор. В кашу, главное, не лезьте — схватят, на дно утянут.

— А ты что ж...

— Мне, товарищ майор, придется отдельно от вас. Со связью надо отдельно.

— Делайте, как лучше.

— И машину мне надо.

— Зачем? — уставился Понайотов.

— Лодку надо раздобыть. Подручные средства — это несерьезно. Река большая. Вода осенняя. Катушку со связью можно использовать вместо кирпича на шее.

— А если лодки не будет? — построжел Зарубин.

— Тогда безнадежно.

— Ну, а другие? Другие части как же на подручных собираются? — спросил Понайотов, пристально глядя на солдата.

— Они погибнут. Доберется до цели самая малость. Кто везучий да кто ничего не понимает. Только сдуру можно одолеть такую ширь, на палатке, набитой сеном, или на полене. Памятки солдату и инструкции о преодолении водных преград я читал, их сочинили люди,

которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкциям. Ну, я пошел. К вечеру, может, управлюсь.

— Давайте, Шестаков, давайте, — в голосе майора сквозило смятение.

Многие, и он тоже, не до конца сознавали серьезность операции. Правый берег так близок, день такой мирный, задание такое простое: переправиться, закрепиться, прикрыть огнем пехоту...

По обережью реки, по уже прореженным военной ордой лесам и кустарникам рассредоточилась туча людей, но плавсредств около войска почти не видно. Снова надежда на авось, на находчивость и храбрость людей, на их неиссякаемую самоотверженность — заместитель командующего армией, хиленький такой, с детства заморенный мужичок, с детства ненавидящий «сплататоров», потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых командиров на место репрессированных образованных специалистов, бахвалился тем, как он своей дивизией брал город Истру, одержал первую блистательную победу под Москвой, положив начало приостановлению немцев на столицу, Сталин щедро вознаградил оставшихся в живых спасителей, дивизия была названа Истринской, на груди рассказчика два ряда орденов, медалей и поверх багрового иконостаса Золотая Звезда с уже потускневшей красной колодочкой. И по делу награды — остановить врага в критический момент, отбросить его от крыльца белокаменной — это ли не заслуга?!

«По горло в воде Истру переходили, меж разбитого льда двигались, на льдинах, ровно на плотках плыли. Изрядно ребятушек погибло, изря-адно. На край льдины насядет народ, льдина на ребро, которая перевернется синим исподом и накроет бедолаг. Много там, в этой ракивной Истре, народу подо льдом, о-ой, много. Да и на берегу усеяно».

«Но ведь Истра рядом с Москвой — столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева, в Москве — лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериалы на стройках».

«А кто мне время на подготовку отпущал? — сердился новоиспеченный полководец. — Прямо с эшелону в бой кидали, в Истру эту говенную, бездонную. Я летось в Кремль по делам ездил, дак попросился Истру посмотреть. Че, если русский солдат покруче выпьет, с похмелья перессыт».

В лесу шуршали пилы, смертно скрипя и охая, валились деревья. Бойцы таскали бревешки в укрытия, связывали их попарно старыми проводами, веревками и даже обмотками. Будь дерево сухое — такой вот легкий плотик надежной бы опорой на воде стал. Но сухого сплавматериала пока нет. Были загоны на островке, но орлы из батальона Щуся перетаскали в ригу, укрыли, нарисовали на подпиленных столбах череп и кости. Кто-то из весельчаков-хохлов крупно написал: «Не чипай, бо ибане!»

Кружилась и кружилась, словно бы в маятном, заколдованном сне, «рама» над рекой, над берегом, над лесом, залетала в тылы. Там по ней лупили зенитки, усыпая чистое осеннее небо барашками веселых облачков-взрывов. Завтра, с утра пораньше жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника как молчали, так и молчат, пристреляет орудие-другое репера, сделает привязку — и молчок. А славяне и рады нечаянному осеннему миру, шляются толпами, повсюду кухни дымят, кино в лесу вечерами показывают, прямо на воздухе. Прибывший из госпиталя боец Хохлак из щусевского батальона баян развернул, играет раздольно, красиво, вокруг него уже пары топчутся, откуда-то и военные девушки возникли, нарасхват идут.

Хватился Зарубин проверить наблюдательные пункты — поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекают скопления противника, огневые точки — явился на наблюдательный пункт полка, а там ни командира отделения Мансурова, хорошего, но кавалеристого человека нету, ни телефониста, один наблюдатель остался, да и тот в глубокой, прогретой щели уютно дремлет, примотав стереотрубу проволокой за ногу, чтоб не украли.

По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, гребут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник — чего подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жердь продернули — прут тушу килограммов на двести-триста «домой». И попались. Строгие чины, поддерживаемые партвоспитателем Мусенком, настаивают двоих мародеров на виду у войска расстрелять — для примера, но кончится это скорее всего штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла, и ее спрятали в глуби лесов.

Еще когда ехали к реке, Лешка верстах в двух от берега заметил обмелевшую, кугой заросшую бочажину. Бочажина была кошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято, полосы поперек и наискось по черной траве. Осока объедена, в заливчиках, под зеленью кустов белел живучий стрелолист и гречевник, среди смородины и краснотала плавали обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнел черемушник, ольховник, мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшее вторым этажом, завешано нитями плакучего ивняка, повилики и опутано сонной паутиной. Топорщился можжевельник, навечно запомнившийся Лешке еще по ерику, где клубились ужи, очень даже могло быть, что кущи эти тоже набиты змеями. Прибрежные заросли укрывали когда-то красивое потайное озерцо-старицу, летами расцветенную белыми лилиями. Возле таких озер всегда обитает и скромно кормится нехитрой, полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах, как существо колдовское, но отзывчивое, бескорыстное, хотя и совершенно бедное. У дедка такого обязательно водится такой же, как он, замшелый древний челн. Колдун прячет его в кустах от ребятни и забредающих в тенек парочек, от веку любящих кататься на лодках, выдирать из воды лилии, чтобы, полюбовавшись ими, в лодке и забыть их, потому как у парочек срывание цветов — лишь красивая записка перед делами еще более заманчивыми.

Обской парнечок-дождевичок, Лешка Шестаков, в жизни, может, еще и не разобрался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змей и вепрей, — более, говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнувшая гнильем старица, по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток-чирушек. Лешка схватился за автомат, но вспомнил, что он на войне, да и утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив на воду пригоршню легкого листа, исчезли с глаз.

Лешка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку, по ней и лодчонку, благословясь, откроет. Но тропинок на берегу старицы было много, чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то жирующей здесь скотины. «Вепрь! — вспомнил Лешка школьный учебник, — дикая свинья здесь бродит» — и в самом деле чуть не

наступил на прыгнувшего ввысь, захрюкавшего кабана. Лешка от неожиданности вскрикнул. На Нижней Оби никаких вепрей сроду не бывало, там и свиней-то не держали, потому как холодно, только оленю, коню да корове тем место, да и то невзыскательным к корму, — особой, морозоустойчивой породы.

Лодки нигде не было. Лешка все больше и больше мрачнел. На свету, в деревьях ничего не найти — немцы народ дотошный. Неужели и сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйски преградил могучий хряк. От природы черный, он весь был еще и в насохлой на нем грязище, стоял и вроде как бы раздумывал: отступить ему или порешить солдатика? Глазки хряка смолисто заблестели, красненько вспыхнули, хряк борцовски хукнул, переступил быстро задними ножками, ища упору для броска.

— Ты че? — закричал Лешка, поднимая затвор автомата, — изрешечу-у, кривое рыло!

— Хурк! — грозно откликнулся кабан.

— Уходи с дороги, морда! — не своим голосом взревел Лешка и дал очередь в небо, срезав пулями ветку.

Лесные дебри поглотили животину. Тропа, по которой вепрь удрал, вывела солдата к отводке старицы, зверина хватанул по отмели, утопая по пузо в грязи. Желто дыша и пузырясь, канава наполнялась плесневелой жижей. В отдалении, смяв осоку, лежал и блаженствовал в грязной жиже еще один кабан, блестело осклизлое брюхо. Отчего-то этот кабан не ударился в бега за отступающим хряком. Лешка выловил ольховую палку, потыкал в недвижимое тело и ссохшимся голосом произнес:

— Лодка!

По заломленным веточкам, по едва примятым, травую схваченным следам он сыскал под навесом низкой, обрубленной вербы два старых осиновых весла, ржавое, гнущее ведро. — Помер, видно, дедок-то. А может убили? — вздохнул Лешка, принимая лодку, но не как награду, как неизбежность, — теперь уж от шушеры не отвертеться. Сняв одежду, ежась от сырого с ночи, в затени застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребяташки,

«согревая воду» в Оби, тут же выпрыгнул поплавок и громко ругаясь, — никто ж не слышит, — перевернул и повел лодку к мелкому месту. Житель севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тине, овчиной обьявшей ноги, шевелил пальцами от ласковой щекотки. Душная, серая муть с клубами густой сажи тянулась за тяжелой лодкой-корытом, на следу ее вспархивали и, чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толлом, общественным нужником. Гнилые водоросли оплетали ноги. Отгоняя от себя омерзение, навечно уж приобретенное им в южном ерике, Лешка вдруг натужно заорал перенятую у Булдакова песню:

А умирать нам р-р-рановато-о,  
Пусть помрет лучше дома ж-жана-а-а-а!..

Артельно затащили сорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли ее на окраину хутора, укрыли все в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча, растаскивалась слежавшаяся, оплесневелая солома: ею славяне укрывали деревянный разобранный костяк риги. Возле бесценного судна часовым стал сам хозяин — Шестаков, точнее, не стал, а лег — набив полное корыто ботвы от картофеля, сверху набросав соломы. Вокруг лодки скрадывающей, охотничьей поступью запохаживал Леха Булдаков, напевая: «У бар бороды не бывает», напряженно соображая: куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лешка поднес к квадратному рылу кулак. Потратив на конопатку дряхлой посуды старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лешка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался ее раскачать — посудина слабо простонала, из шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключины подтекли ржавчиной. Но и это тупозадое, убогое сооружение, слепленное из двух досок по бортам и двух осиновых плах, — днище, кроме Булдакова, пытались уцелить какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу-документ показывали — «из штаба» — имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства. Налетел усатый

фельдфебель, брызгая слюной, дергаясь искривленной шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти со многими номерами. Лешка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшись вокруг, на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса:

— Там, по старицам, лодок навалом! Кройте! А то все расхватают!..

Боясь шибко тревожить посудину, оттащили ее по деревянным покатам, подальше от греха, за грядку камней, поросшую шиповником и жалицей, накидали в посудинку камней, сверху замаскировали осокой и кустами. Лешка никуда не отлучался от своего агрегата, помогая солдатикам готовить катушки со связью, изолировал узлы, вязал подвесы, смазывал солидолом ходовую часть катушек, перебирал до винтика телефонный аппарат, но все не сходя с берега, держа плавсредство в ближнем обзоре. Коля Рындин отвалил удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом. Привалившись к камням, Лешка уплетал кашу, заглатывал солдатскую пищу, почти не чувствуя ее вкуса, и не понимал; наелся он или еще хочет есть? Приходил Зарубин, порадовался приобретению, похвалил за находчивость солдат, шуганул с берега начальника связи Одица, у него, мол, одни только катушки на уме, а кто о рациях позаботится?

По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо — двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых прибрежных пустошах. Гуще и гуще перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений, углублялся ров, опоясавший все побережье, седловина и ниже ее отголоском темнеющие косолюбки сделались пятнистыми — исколупали немцы высоту Сто, оборудуя огневые позиции, наблюдательные, командные пункты и всякие другие, необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще нарядней засветилась пойма речушки Черевинки — осень все настойчивей, все ближе подступала к Великой реке, нежила мир Божий исходной солнцезарностью бабьего лета.

Пыль, непряденной куделей мотающаяся по земле, расплзлась над берегом, тучками катила к воде, и по-над рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце применительно к нижнеобскому лету в полдень пекло почти по-летнему. Лешка разулся, распоясался,

похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сделались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи.

Низко, нахраписто пронеслись два «фоки», взмыв над Лешкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов, малокалиберных зениток «дай-дай!», — улетели куда-то. Со старицы заполошно, вдогон, раз-другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по небу грязные пятна взрыва.

«Интересно, Обь у нас стала или еще только забереги на ней?» — лежа на пересохшей, ломающейся осоке, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замерзшим мелким сора́м, как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, пареваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рушились в них.

— Эй, вояка! Ты не знаешь, где тут наша кухня? — прервали Лешкины размышления два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные.

— Где наша — знаю, а вот где ваша — не знаю. Наверно, там, — показал он опять же в сторону старицы. — Там кухонь густо сбилось.

— Ну дак спасибо тогда, — сказали бойцы и, побрякивая котелками, двинулись дальше.

Провожая взглядом этих двух бойцов в выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, севших до половины головы и как бы пропитанных автолом, — свежий пот, выше пот уже подсушило и пилотки от соли как бы в белой, ломкой изморози, Лешка вдруг остро затосковал. Изработанный, усталый вид этих бойцов с засмоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на котором начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, обратил его в тревогу, или что другое защекотало под сердцем, и когда солдаты спустились в балку, размешанную гусеницами и колесами, он отрешенно вздохнул: «Убьют ведь скоро мужиков-то этих...»

Почему, отчего их убьют, — Лешка ни себе, ни кому объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз



вернуться памятью на Обь, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой, но в это время из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов. Зенитчики на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лешка залез в каменья и, когда затих гул самолетов, унялись зенитки, вылезать на свет не стал: «Уснуть надо. Обязательно уснуть — время скорее пройдет, соображать лучше буду».

Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собою управлять и был еще здоров, не размицкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом, оттого и уснул быстро, и ничего ему не снилось.

Войска все прибывали и прибывали, пешие и конные, на машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежие части, в истлевшей за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего обмундирования через месяц, тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в приречных дубняках, в буковом лесу у старицы — на плоты их свалили, тяжелые, непригодные для воды, но не было поблизости других деревьев, вот и смекали дубок объединить с вербой, старой балкой от хаты либо телеграфным столбом — все доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено, местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками вершинника: в вырубках, по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установлены батареи, за старицей, под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионов реактивных минометов.

Самолеты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили прошмыгнуть в глубь русской обороны, посмотреть, что и куда двигается. Двигалось много всего, и все в одном направлении — к Великой реке. Сосредоточение войск совершалось ночной порой, и гудели, гудели моторами приречные уютные места, вытаптывалась трава, сминались кустарники, бурьян, на берег выбегали испуганные кролики и зайцы, грязным чертом выметывались кабаны, щелкая копытцами по камням, не зная, куда деваться, метались беззащитные косули. Солдатня открыла безбоязненную охоту, из кухонь и от костерков доносило запахи свежей убоины.

«Надо будет утром написать домой письмо», — решил Лешка.

Не один Лешка Шестаков был откован войною и обладал даром, предсказывать грядущие события, несчастья, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали: скоро, скорей всего уже следующей ночью начнется переправа, или как ее в газетках и политбеседах называют, — битва за реку.

В реке побулькавшимися, отдохнувшим людям не спалось, собирались вместе — покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том, о сем, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.

Ашот Васконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что, скорее всего, это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами, он за что-то был сердит на них или, скорее, отчужден, и чем ближе сходилась с так называемой «боевой семьей», с этими Лешками, Гришками, Петями и Васями, тем чужей становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот, вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со всепрощающим юмором, о сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности же возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам — много ли, мало ли довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться в вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех, тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам.

Васконян Ашот начинал понимать: люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом, вроде бы безликом, на смерть идущем, сером скопище. Но серое скопище, в одинаковой

одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение. В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу: «Война и тайга — самая верная проверка человеку», — говорят однополчане-сибиряки. Васконян в боях бывал мало, с самого сибирского полка Алексей Донатович Щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь. Ребята, те еще, с кем он побратался в сибирской стороне, одобрительно относятся к действиям и хитростям своего начальника.

Будучи последний раз в каком-то мудрено называемом отделе штаба корпуса, Васконян попал под начальство человека, осуществлявшего связь с французами, он что-то, где-то и кого-то агитировал через армейскую или фронтовую радиотрансляционную батарею с рупорами. Агитатор дурно говорил по-французски. Васконян заподозрил в нем французского еврея или русского француза да и сказал ему про это. «Француз» пожаловался в какой-то еще более секретный отдел. Особняк с презрительной насмешкой молвил:

— А-а, старый знакомый! Ты когда укоротишь свой поганый язык? Когда уймешься? Или тебя унять?..

Васконян ему в ответ:

— Извольте обращаться на вы, раз старший по званию и к тому же офицер. Что касается языка, то он у вас испоганен ложью больше, чем у меня, и я считаю, вам, а не мне надобно униматься и как можно скорее, иначе опоздаете.

— Куда это я опоздаю?

— К страшному суду, вот куда.

Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем.

— Надо бы тебя под суд упечь, да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор, есть тут бумаженция из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне.

— Вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела?

— Ступайте вон!

Рвась к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Васконян делал «глупости». Но как это опытные вояки и комбат Щусь,

армейский человек, не поймут, что только здесь, среди своих ребят, Васконяну место, здесь он «дома». Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей, родители раздражали его своей навязчивой опекой, но его отдаляют и отдаляют от ребят, он же их до трепета в сердце любит, на переправу напросился, показав комбату и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец, насморк добыл, зато класс выдал!

«Ну и черт с тобой!» — махнул рукой Щусь.

Пока Васконян ошивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины. Французский еврей или русский француз понавез ящики книжек, да все с грифами, да все не по-русски писанные, — для важности, видать. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвостье, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае, если армия полностью перейдет на снабжение России.

«Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание, иного выхода из положения нет. Гитлер еще до начала военных действий в России утверждал, что война здесь будет вестись вовсе не по рыцарским правилам, это будет война идеологий и расовых противоречий, вестись она будет с беспрецедентной, безжалостной жестокостью. Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных правил и норм, будут оправданы фюрером, Германией и прощены историей. Да Россия и не имеет никаких прав, так как она не участвовала в Гаагской конференции по правам человека. Фюрер мыслил разделить ее европейскую часть на отдельные земли-королевства, устроить что-то похожее на Британскую и Римскую империи, населенные рабами под господством расы господ-немцев. Возникнет новый тип человека — вице-короли, но для этого необходимо захватить обширные территории, умело ими править и эксплуатировать, до поры до времени скрывая от мира

необходимые меры: расстрелы, выселения, истребление нетрудового элемента...»

Васконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым, вечным небом составляют дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разуму и усмотрению, и все ведь делается во имя и для блага своего народа, доподлинной гуманности и справедливости. Нацизму противостоит большевизм — фрукт с начинкой новой морали, свежей гуманности, отвергающих нацистский и всякий прочий гуманизм. Странно только, что мораль и гуманизм утверждаются разные, методы же их утверждения одинаковы — во имя лучшей половины нации, худшую по усмотрению немецких и советских специалистов — на удобрение, в отвал. Через кровь, через насилие навязывание бредовых взглядов о мировом господстве и во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием, хотя в принципе и инакомыслия-то нет, с одной стороны завоевание мира во имя арийской расы, без марксизма, с другой стороны — завоевание мира ради утверждения идей коммунизма с помощью передовой марксистской науки, учение-то сие, кстати, создано в Германии и завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой самоэмигрантов, которым ничего, кроме себя, не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо.

В то время, как Ашот Васконян глядел в ночное небо, где вроде бы свершался праздничный карнавал — то его, небо, просекало и обшаривало голубыми, белесо рассыпающимися в выси прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими, на жемчуг похожими пузырьками пуль, — медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов тащили во тьму мерный гул и сонное, добродушное урчание моторов; самолеты эти, словно с возу мерзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись, и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала.

Ашот Васконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть. А комбат Щусь, сидя на валуне, хорошо нагретом за день, еще и еще прикидывал, как, где и когда легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и

батальон прибыло незначительное — «колупай с братом», — как определял военный контингент острослов Булдаков, — больше из госпиталей, раненные по второму, кто и по третьему разу, да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу и на лапчатых утят похожие оттого, что обуты в ботинки не по размеру, выводок солдат уж двадцать пятого.

«Годки», еще недавно шалившие в бердских казармах, шерудившие сидора новобранцев в карантине, изображали из себя честных, неподкупных людей, били морды пойманым с поличным охотникам за съестным. Оно, конечно, хорошо, что поучили старшие младших — пакостить в своем подразделении — распоследнее дело, впереди тяжелые бои и испытания товарищества на прочность, если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, у кого и безнадежны. Тут, на войне, спайка — одно из главных условий выживания, спайка и круговая порука. Вон они орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили — ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что надежда-товарищ всегда рядом, всегда поможет, в любом опасном деле. А коли край подойдет, последней крошкой поделится, раненого тебя спасет.

Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала сталистой твердью на стрежи, но под правым, высоким берегом пугающе черна, могильна. Взлетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег. Недвижен, меркл, объявился он на минуту, пополооскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы, днем невидимые из-за мерцания солнца иль широкого пространства воды — камень с плешивой макушкой, уснувшую на нем чайку; короткой зарничкой мелькнула пойма Черевинки; кустик бузины и тальника за устьем речки, в жерле оврага обозначились, днем их там еще не было.

«Точка! Замаскирована пулеметная точка, — отмечал комбат. — Укрепляется немец, ждет, но сам же, себя же маскировкой и выдает...» — когда отдаленный свет очередной ракеты достигал шиверов, воду тревожило, морщило, в беспокойно ворочающейся стрежи реки играло: желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился, искручивался спиралями. Тревожилось сердце

комбата — свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глуби реки, выявлял стрелу ее — на этой-то стреле, в заманчиво блистающем зраке больше всего и погибнет народу.

Днем, на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба соседнего, резервного полка, пожилой усталый человек — новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом-то совещании-инструктаже окончательно выяснилось: плавсредств ничтожно мало, ждать же, когда их изладят да подвезут — недосуг, момент внезапности и без того упущен, противник спешно укрепляется на правом берегу, надо начинать операцию и... помогай нам Бог. Непременный, всюду и везде с пламенным словом наготове, присутствующий на совещании начполитотдела дивизии Мусенок тут же выдал поправку: «Наш бог — товарищ Сталин. С его именем...» Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидания. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусенок. Командир стрелкового полка, Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез, но трепло это неумное ничего знать не хочет...

Грузноватый от годов и тела, человек добродушный и в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой спросонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как и его командир, пожилой, малоповоротливый ординарец заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штаб комсостав полка чаю обрадовался. Всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Понайотовым из артиллерийского полка, пили со вкусом чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки — у него ревматизмом корежило ноги — время от времени громко отпыхивался и, ровно бы самому себе, бубнил: «Н-ну, художник! Н-ну, художник! Когда этот говорильный автомат и изломается?!»

Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров. «Ну, что скажете, орлы мои — художники?»

«Художники», уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненные, высказывали общее мнение: надеяться приходится снова на себя, только на себя и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии.

— Все правильно, все правильно, — подтвердил командир полка, артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, — но наступать-то, воевать-то нам...

Полковник Бескапустин дал задание: первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает — немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться в глубь обороны противника по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты Сто. Рота из полка Сыроватко, под командой старшего лейтенанта Оськина по прозвищу Горный бедняк — за столом приподнялся, качнув головой, стриженной под бокс, довольно щегольской офицер и всем сразу приветливо улыбнулся, — рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе заречного острова, с него, по мелкой протоке — вперед и только вперед, под укрытие яра, и сразу во тьму оврагов. На левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться — он, конечно же, хорошо пристрелян — сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге, с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого, массового наступления. Артиллеристам задание одно — обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны



переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки — бригады номер девять.

Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич — командир девятой гаубичной бригады, с самой Ахтырки так и следующий за гвардейской стрелковой дивизией и, в конце концов, отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лахонина.

РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал. Давно, еще с первых великих пятилеток в стране Советов заведено: бросать на строительство, на прорывы и, чаще всего, на уборку тучного урожая — людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка «Заветы Ильича» жалеть технику и людей, приехавших иссужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет.

То же самое и с резервом главного командования — только они поступят в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все, вплоть до мыла в бане, — после своих родимых частей. Ту же девятку взять с ее гаубицами образца девятьсот второго — восьмого — тридцатых годов. Девятьсот второй год — дата рождения, восьмой и тридцатый годы — даты модернизации орудия, так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банником, — можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях, в этом холмисто-овражистом месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления.

Если будет где и что вычислять.

— Всего не предусмотреть, товарищи, — сказал в заключение командир дивизии, — тем паче при ночной операции. Собственная

инициатива, своя сообразилка должны помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть — чтоб сообразилка не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться, остальные товарищи свободны.

После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять нагрянуло большое начальство, и опять не замаскированное, а в кожаных регланах, в хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами, волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту. И тут же вверху зашустрили истребители, охраняя небо от немецкой авиации.

Лешку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и службой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось к картузам. Неожиданно к Лешке подскочил старый его перевоспитыватель и наставник с радушно расшеперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся.

— А где ваши награды, товарищ боец? — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерке. «Пропил!» — чуть было не ляпнул Лешка.

— Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания, — сделав угодливо-глупое лицо, отвечивал Лешка, будто и не узнавал Мусенка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, — потому как плыть на ту сторону следует налегке.

— Звание мое — полковник. Я начальник политотдела дивизии, — пояснил маленький человечек, в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусенок деловито поинтересовался:

— Как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет. Он ждет. Страшно будет. Ох, страшно! — у человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках свищей, широкий, налимий рот с глубокими складками бабы-

сплетницы в углах, голос с жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его.

— Так точно, товарищ комиссар, страшно. Но как есть мы советские бойцы, а вы — наши руководители, выходит, наш совместный святой долг в достижении цели: вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться, мы на том — бить фашиста.

Удивленно выпучив отечные, пестренькие глаза, Мусенок не знал, как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным.

— Член партии? — наконец нашелся он.

— Никак нет, товарищ комиссар. Сочувствующий я.

— Подавайте заявление. Примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны! — Мусенок игрушечно козырнув ручонкой, засеменял, догоняя начальство, и с ходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уж форсировал, все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы.

Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, скрытым, негодующим матом крыл всю эту челядь и полковника Бескапустина заодно — куда-то смылся или спрятался этот хитрован.

— Чего выкаблучиваешься? Чего языком бренчишь? — приотстав, навалился он на Лешку. — Мусенок недотепой прикидывается, но память у него о-го-го! Штрафная рота вон в лесу, рядом, место в ней всегда найдется.

Лешка хотел сдерживать, не все ли, мол, равно, где подышать, но в это время за рекой гулко, будто в колодце бадьей, забулькало над головой, запели мины. Разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусенок и еще какие-то малиновопогонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бившей его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал — не то щекотило в носу дымом, не то этак он выказывал презрение к своей свите, да командир корпуса Лахонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой камней, исчерканных колесами, Лешка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Оби, порадовался, что «свой» генерал не плюхнулся наземь, он продолжал

что-то говорить и показывать тому, коренастому, с планшеткой, усмешливо косясь на Мусенка. Одетый в кожаную куртку с мехом и летчицкий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны Мусенка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема.

На кухне царило небывалое оживление; тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Бикбулатов, вся хоззвездовская братия вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и воротили рожи, прятали глаза, считая ушедших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из тыловиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лешка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили, готов ли провод с подвесами, на кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда, полупьяный Бикбулатов откозырял: «Будет сделано!» — и передал приказ, чтоб никто не пил выданную водку, — после ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание.

Тревога и сосущая боль не покидали Лешку. За себя он был спокоен. Он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить, но тот, внутри каждого опытного фронтовика заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога...

И чем больше тревожился Лешка, тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в кукле-матрешке, укрощал шустрого, веселого солдата Лешку Шестакова, где надо, оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубокого скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности — малую, несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать — выдавали порой Лешку. Он умел сходиться с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал, оттого и чуждался людей пристальных.

Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его

скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая, все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его.

В переправе, по слухам, будет участвовать около тридцати тысяч, считай — двадцать верных. Судя по приготовлениям, по тому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье, старица забита машинами с понтонами на прицепах — интересно, куда делся из своих уютных кущ тот секачкабан? Уконтромил и съели его, поди-ка, славяне. За старицей разместились как раз штрафная рота, и Лешке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика.

Передовой, ударный отряд начнет переплавляться с приверху хуторского острова — это и без высокоумного начальства ясно, табуном поплывет через шивер, на заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и заречного острова не достигнув, но все же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды, — и обрушить на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу, сразу, с ходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, паля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл: очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот, пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно, опять же рывком, быстро, до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему, с патронами, с гранатами, где и минометишко, и пушчонку перетащить бы...

«Ха! Стратег, едрена мать! — сказал себе Лешка, — там тоже головы с шеями сидят и чего-нибудь да думают. Реши вот свою задачу, очень даже простую, среди такой массы народу, под огнем, связь переправь и не утони».

С этой мыслью Лешка и отправился в хутор, забитый до основания народом, уже все переделавшим, отужинавшим и тоже отправляющимся на собрания либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная: «Вот когда прикончим фри-ы-ыца, будем стрычься, будем бры-и-иться...» — «А пока!» — разнбойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лешке знакомый тенорок Герки-бедняка.

Мартемьяныч — замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же Едренте — был побрит, с новым, сгармошенным подворотничком, ответив вялым кивком на приветствие командира отделения, сержанта Финифатьева, не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавши пучок травы и нагребши листьев под зад. Достав из полевой сумки исписанные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся.

— Так начнем, стало быть, товарищи! Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом — об успешном выполнении задачи сегодняшнего дня, тоись, об форсировании Великой реки, на какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку...

Он ничего мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего в полку. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки и даже своеручно нарисовал два «боевых листка», создавал партгруппы, организовывал громкие читки газет, но люди так уставали, а немцы так долбили по переднему краю и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустословия, ушел с передовой и долго там не показывался, однако к бойцам относился терпеливо и даже задумчиво, старался не замечать многое из так называемых нарушений «боевой дисциплины», чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловались самогонкой либо тянули в деревнях съестное, трясли фрукты в садах.

Подполковник все же нашел себе занятие — он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способности. Замполитом он как бы уж только числился и вел все эти словесно-

бумажные дела, никому не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах.

По голосу, по сердитой виноватости, явно проступающей на скуластом и широколобом лице Мартемьяныча, можно было угадать — ему неловко. Оставаясь на левом, безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть, он же вынужден талдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл: «Не посрамить чести советского воина», «До последней капли крови», «За нами Родина», «Товарищ Сталин надеется» — и тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это — брех, пустозвонство, но принужденными слушать его.

На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пятеро желающих не явились на собрание — по уважительным причинам, среди них и Шестаков. «Надо будет поговорить с кандидатами...» — подумал Мартемьяныч. Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлениям. Как обычно, выступали поручители, коротко и невразумительно говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифатьев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то тунгуса, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил: «Раз сулятся семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию». Финифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг, несколько сгладил неловкость своевременной шуткой насчет того, что иной раз полезно смолчать — за умного сойдешь, от выступления неграмотного и политически неотесанного инородца, ввернув слова о единстве советских народов, о готовности всех поголовно национальностей дружной семьи Советов итить вместе и отдать жизнь за Родину. Выступали кандидаты, благодарили за доверие, в протокол все записывалось. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию — достаточно было подмахнуть заготовленные, на машинке напечатанные заявления — и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях, измотавшись в боях, позабыли, что подмахнули заявление в партию, уже после войны, дома, куда в качестве подарка присылалось «партийное дело», с негодованием и ужасом узнавали,

что за несколько лет накопились партийные взносы, не сеял, не орал солдат, какую-то мизерную получку всю дорогу в фонд обороны отписывал, но дорогая родина и дорогие вожди, да главпуры начисляли и наваривали партийцу проценты и с солдатской получки. Пуры ведать не ведали, что солдаты копейки свои не на табак изводили, а на пользу родине жертвовали, и вот, возвратившись в голодные, полумертвые, войной надсаженные села, опять они же, битые, изработанные, должниками остались. Вечные, перед всем и всеми виноватые люди как-то вывертывались, терпели, случалось, дерзили и бунтовали, пополняя переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря. Когда Мартемьяныч отбубнил свою речь и ответно, по поручению собрания, командир отделения разведки, старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили: «Не посрамим!», «Чести не уроним!», «Доверие Родины оправдаем!» — все, и замполит прежде всех, почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Финифатьев решил пока не говорить в роте о своем важном назначении — начнет братва зубы скалить, наперед всех Олеха Булдаков. «Раз ты политрук, значит, самый есть сознательный, бери самую большую лопату и самый маленький котелок, в атаку тожа первой. Заражай нас примером! Укажуй правильный путь!»

Ох-хо-хо! И когда это я поживу, как человек, без оброти, на самого себя из-за шорохливости характера и долгого языка надетой. Радуюсь тому, что сами никуда, ни в какие руководители не угодили, бойцы опрокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов его аккуратно свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья — пасеку вояки позорили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. «На смерть человек собирается идти, а пчелы боится!» — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык, старый партиец Финифатьев нехорошо сострил:



— Машите, машите руками-то, так пчела всю нашу партию заест...

Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой:

— Посерьезней, товарищи, посерьезней. Такое дело предстоит... Хотел бы спросить про адреса.

— Лодка в порядке, — сказал Лешка майору Зарубину. — Остался пустяк — переплыть реку.

— Место выбрал? Где будешь ждать?

— Да, выбрал. Но думаю, не мне, а вам меня придется ждать.

— Добро. Потом на карте покажешь, где.

Майор ушел. Мартемьяныч, переждав деловой разговор, пригласил Шестакова.

— Садись или вались, как удобней... — Лешка думал, выговор ему будет за неучастие в собрании, но Мартемьяныч говорил со всеми бойцами по делу, надо, мол, чего домой переслать или помощь какую похлопотать там? Сказывайте. — И тише, как бы себе, молвил: — Когда уж эта война и кончится?.. Ну, отдыхай, живой вернешься, успеешь вступить в наши ряды, — сказал он связисту. — Не буду надоедать больше, — и ушел, обвиснув со спины. «Добрая ты мужицкая душа! — Провожая его взглядом, кручинился Шестаков. — Тысячи чинодралов остаются, ухом даже не ведут, а тебя совесть гложет».

Господа офицеры гуляли. Веселился ротный Яшкин, Талгат, комбат Щусь и его замы — Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Неля и Фая, да еще радистки и одна визгливая хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу.

«С нами Бог и тридцать три китайца!» — говаривал когда-то Герка-горный бедняк. И Лешке снова почудилось, что в хоре слышится отчим-гуляка, но было бы слишком уж просто: взять, войти в хату и во фронтовой толчее встретить папулю! «Наваждение это!» — порешил Лешка, поспешая навестить осиповцев.

Леха Булдаков ни с того ни с сего навалился медведем, притиснул гостя к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало.

Покликали сибирских стрелков. Сползлись все, даже Коля Рындин явился, распечатал консерву, нарезал хлеба, принес печеных картошек, соль бутылкой на доске растер, перекрестился и выпил, жмурясь, косил глазом; все ли в порядке у него на столе — ящике из-под снарядов. Хорошо посидели ребята, повспоминали, пробовали даже запеть. Гриша Хохлак настрой на «Ревела буря» давал, но песня не заладилась, да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в распоряжение штаба батальона.

А правый берег все молчал, не шевелился. Комбату не спалось. Солдаты — вольный народ, заботами не обремененный, угрелись под плащ-палатками, шинеленками, телогрейками, дрыхнут себе, сопят в обе дырки; оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавший место для спанья под полевой кухней — теплой и безопасней там, что ли?

О том, что и солдаты некоторые не спят, Щусь хоть и догадывался, однако не тревожился особо — выспятся еще. Солдат с редкой и чудной фамилией — Тетеркин, попав в пару с Васконяном на котелок, удивился: «Я ишло таких охламонов не встречал!» — и с тех пор таскается за Васконяном как Санчо Панса за своим воинствующим рыцарем, моет котелок и ложки, стирает портянки да, открывши рот, слушает своего господина и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принес откуда-то сена, застелил его плащ-палаткой, велел лечь Васконяну, укрыл его сверху и сам залез в постельное гнездо, да вскорости и уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное, доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Васконян умиленно радовался тому, что Бог послал ему еще одного доброго человека.

Мирно ворковала в ночи, под звездами небесными, еще одна богоданная пара — Булдаков с Финифатьевым. Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам, нечаянно же там и добавил.

— Де-эд, ты будешь спать или нет? Завтре битва.

— Коли битва, так ковды разговаривать в ей будет...

— Де-эд, ты же в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать двадцать пять часов в сутки, я токо двадцать. Мое время истекло. Уймись, а?

— Какой ты, Олеха, все же маньдюк!.. Уймись, уймись. Тебе б токо пить да дрыхать, а вот у меня предчувствия...

— Де-эд. Я выпил, спать хочу, пожрать, поспать — вот для чего я существую. И ишшо де-эд! Я девок люблю. А где девку взять? Хотел у офицеров одну увести, да где там, самим не достает. Помнишь, дед, поговорку. «Солдат, девок любишь?» — «Люблю». — «А оне тя?» — «Я их тоже...»

— А хто их, окаянных, не любит?!

— Гэ-э-э!..

— Де-эд, если будешь шарашиться, я придавлю тебя!.. У бар-р бороды не бывает!..

— Господи, спаси и помилуй нас от напасти! — взмолился старый партиец Финифатьев — он боялся дурацкого присловья Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. — Хер уж с тобой! Спи! С им, как с человеком...

Свело военной судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне, когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск с вологодчины прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых рот, норовил и от третьей отлынить — не вышло — мели под метелку.

Булдаков, сроду не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, пристал с вопросом:

— Вологодский, что ли?

— Вологодской. А ты?

— Тоже вологодской.

— Правда, вологодской?

— Правда, вологодской!

— Й-еданой! — ликующе воскликнул Финифатьев.

Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу. Много супу, но жидкого.

Финифатьев радовался услужливости незнакомца, не зная еще, что было это в первый и в последний раз, чтобы увалень Булдаков по доброй воле и охоте сделал какую-то работу. Украсть — всегда пожалуйста! Но топтаться в очереди, землю копать, тяжести таскать — извините. Хлебая, Булдаков зачастил ложкой, забренчал, засопел, да

все норовил со дна, взбаламутить хлебово... «И таскат, и таскат!» — загоревал Финифатьев.

— Ты ежели так лопатой работаш, то боец хоть куды!

— А ты, однако, моим командиром будешь? Вон у тебя два сикеля на вороте!

— Ну, ак шчо, ковды назначат, дак. Я те, маньдюку, покажу политику, ись из одного-то котелка выучу, вести себя дисциплинированно заставлю.

— У бар борода не бывает. Усы! — заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона.

Финифатьев тоже посмотрел и ничего на потолке интересного не обнаружил, с досады плюнул, но когда в котелок обратно сунулся, ложка во что-то уперлась в твердое — в котелке сухарей, что камней.

— Ешь давай, товарищ командир, укрепляйся, чтоб мной командовать, силы большие требуются.

— Ак шчо — исти — не куль нести, — сказал Финифатьев и вежливо зацепил сухарик, другой.

Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл еще горсть сухарей. И так до четырех раз.

Крепко поели напарники, Финифатьев уж сам вызвался мыть котелок, но волшебный котелок не пустел — Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек, закурил. Некурящий Финифатьев пощелкал семечки, раздумчиво молвил, величая партнера о множественном числе:

— Однако, робяты, сухари-те вы где-то сперли?

— Да ты че?! — вытаращил и без того выпуклые глаза Булдаков. Сухари нам генерал Ватутин за победу под Сталинградом выдал! Лично! По мешку на вагон!

Финифатьев поглядел, поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и ловкач большой. И не вологодской он вовсе, даже и не вятской, мордва скорее всего, либо чуваш — уж больно личность молью побита и глаз нахальной... Может, и черемис? «Ей-бо, черемис!» — и сказал об этом Булдакову.

— Бурят я, товарищ командир.

— А подь ты знаш куда?! Шаришшы белы навекат, у бурята же глаз узенькай, черинькай. Че, я не знаю?

— Я английский бурят!

Финифатьева и на самом деле назначили командиром отделения. Булдаков, конечно же, в это отделение и определился. И попил же он кровушки из своего отца-командира! Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется, может, и ведро.

— Это за какие же такие грехи мне такого прохиндея в товаришсы Господь послал? — не раз спрашивал у Булдакова Финифатьев.

— За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я, и с колхозу воровал. Воровал?

— А хто с его не воровал? Колхоз, он за тем и есть, штобы все токо и воровали.

На какой-то станции Финифатьев насобирал в вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая: покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, которое Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал от бывалых солдат и вот решился на мошенничество, хотя и представить себе не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Финифатьев этакой откровенной надуваловки, хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать по-мелкому, как и все советские колхозники, давно навык, иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запаху, не иначе, застучал вологодского мужика пройдоха Булдаков.

Взявши брусок «мыла», почти что уже готового к реализации, Булдаков повертел его, понюхал и укоризненно молвил:

— Учит вас, дураков, совецка власть, учит уму-разуму и никак не научит. Печатка где?

— Кака печатка?

Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано, откуда оно произошло, сделано где — допустим, на фабрике имени Клары Цеткин, Леха упорно именовал борчиху за счастье мирового пролетариата Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но, подавленный всезнаньем Булгакова, не перечил. Тот совсем его доконал, сказавши, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается и по ленточке должно быть написано «РСФСР». Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Финифатьев приуныл было, но Булдаков завез ему лапой по плечу, да

так, что в суставе мастера долго потом ныло, сказал, что он сей момент все организует, сбытом займется сам лично. Уж он-то не продешевит!

Не сразу, не вдруг, но Булдаков отыскал Феликса Боярчика в толпе вагонного народа. Художник тихо и мирно спал на полу, положив под голову свой совсем почти пустой вещмешок. Нары по ту и по другую сторону вагона были сделаны из трех плах, и Боярчик со своим малогабаритным телом, боясь провалиться в щель, предпочел нарам пусть и грязный, избитый, зато устойчивый вагонный пол.

На всем протяжении пути воинского эшелона население его неумолимо промышляло: меняло, торговало, воровало, мухлевало на продпунктах, норовя пожрать по два раза. Еще едучи по Сибири, неустрашимые воины добыли досок и сколотили настоящие нары, но уж места там Боярчику не полагалось, там царили добытчики, мастера по всякой тяге, картежники, песельники, люди, склонные к ремеслу и искусству.

И вот же интересное дело: три доски, на половину вагона выдаваемые, не могли быть нарами, никак они не соединялись. Ловкий народ или складывал из досок нары в одной половине вагона или начинал делать налеты на лесопилки, встречающиеся на пути, попутно прихватывая все, что плохо лежит. Когда заехали в степные приволжские районы — доски и всякое дерево вовсе уж на вес золота пошли.

Так на протяжении всей войны мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить.

Боярчик со сна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется, уяснив, охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившейся на пути лесопилки, и из консервных банок штампы — он даже вдохновился и увлекся занимательным делом. Художник же истинный!

Вдруг разгорелся идейный спор: Финифатьев, закаленный партиец, досконально постигший политику партии на практике, предлагал по ободку мыльного бруса выводить не РСФСР, а СССР — солидней! Фабрику означить имени товарища Ленина или лучше Сталина — доверия больше. «Кто у нас знает эту, будь она неладна, Клару?» — Булдаков уперся: нет и нет! Надо писать загадочным «литером» с гост. пост. РСФСР. Раз Клару Целкину писать не хочется,

пусть будет фабрика имени Сакко и Ванцетти, и пояснил притихшему умельцу:

— За Сталина, да и за Ленина, коли попадешься, припаяют десять лет дополнительно — не погань святые имена. А за Сакку эту и за Ванцетти — морду набьют, и все дела. Тем более, что они, кажись, обе померли. Перву выручку пустим на приобретение сырья.

— Как это?

— А купишь еще одну печатку духовного мыла.

— Ну и голова у тя, Олеха! — восхитился Финифатьев. — Тебе бы директором быть, производством ворочать, а ты ширмачишь...

— Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директором меня назначат, я тебя к себе парторгом возьму.

— Ак че, не дрогну — дело привычное. Я в этих парторгах-то с юности, почитай, верчусь.

— И задарма все! А я те знаш, каку зарплату назначу.

— Ты назначишь! Пропьешь и производство, и мундир.

— А ты, парторг, зачем? Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня.

— В петле! Ох, Олеха, Олеха! Ох бес сибирский! И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложено: «Меня мамочка рожала — вся деревня набежала...»

— У нас поселок, Покровка... Слобода Весны нынче называется.

— Вся Покровка набежала. Мама плачет и орет: «У ребенка шиш встает!..»

— Известно, он у меня боево-ой! Ты работай, работай. Совсем в парторгах разленился!

— Тьфу на тебя, на саранопала. Ты бы вот с мое поработал!

Стучат колеса. Несется поезд по стране, добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера. Сойдясь в пути на фронт, два этих совершенно разных человека держались друг дружки, были опорой один другому, как Тетеркин с Васконяном и множество других солдат держались парами — парой на войне легче выжить, и ранят тебя если — напарник не бросит.

Финифатьев еще поговорил маленько, получил еще одно заверенье, что Булдаков его на переправе не бросит, поможет ему переплыть на ту сторону. Леха наврал Финифатьеву, что имеет разряд

по плаванию, — от Васконяна он это красивое слово услышал и присвоил, заверял, что был даже чемпионом Сибири.

— По карманной тяге чемпион, — впал в сомнение Финифатьев и, уже засыпая, вздохнул: — Вот эть какая-то несчастная жэнщина тебе в бабы достанется...

Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и в небе. Реже летали самолеты, крупнее сделались звезды, и меж ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркалу освинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой, и где-то далеко-далеко время от времени занимался гул, доносило раскаты грома и начинала внутри себя ворочаться земля, отзываясь в сердце тошнотным щемлением, непохожим на боль, но прижимающим дыхание. Там, за рекой, в глубоком тылу, немцы взрывали Великий город. Не веря уже ни в какой оборонительный вал, не надеясь на благополучный исход дела, враг-чужеземец торопился сделать как можно больше вреда чужой стране, принести больше страданий людям, которые никакого ему зла не сделали, пролить как можно больше чужой крови.

Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела, ведь их же, страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа простить за них. В прежние, стародавние времена, после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, став на колени, молились, просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написано на каждой железной пряжке немца: «С нами Бог», — но пряжка та на брюхе, голова — выше. Там, где гремело, зажглось небо из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче самого огня, порская, рассыпалось горящими ошметьями — геенна огненная пожирала земные потроха.

Майор Зарубин, смолоду страдающий гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чаю. Офицеры курили, гуще всех палил трубку полковник Бескапустин. Майор угорел от табака, уснул с головной болью и вот среди ночи проснулся, полежал не шевелясь, затем поднялся, набросил на плечи телогрейку, отправился на берег реки, заметил недвижно сидящего на камне человека:



— Не помешаю?

— Садитесь.

— Не спится, Алексей Донатович?

— Не спится. Прежде я крепок был на сон.

— Молодость. Беззаботность.

— Да-да. А сейчас у меня порой бывает ощущение, что мне уже сто лет.

— И у меня то же самое.

Замолчали. Глядя на все шире разгорающийся вдали пожар, на реку, которой достигали слабые отблески горящего неба, но была она от этого еще холодней и отчужденней, лишь тень крутого, вражеского берега означалась в воде резче, сам же берег, осадив вниз, под яр всю черную густоту ночи, обрисовался по урезу чернильной каемочкой. В той колдовской темени угадывалось шевеление, какое-то железо время от времени взбрыкивало, высекались мелкие синие искры из камней.

— Вам все-таки надо заставить себя хоть немного поспать. Утром, я думаю, немцы начнут бомбить и обстреливать наш берег и в первую голову разнесут хутор, так опрометчиво оставленный. Народ они хотя и подлый, — не отрывая глаз от горящего неба, продолжал Зарубин, — но вояки они расчетливые. Они знают, что днем у нас начнется выдвижение к реке плавсредств огневых позиций, что нам не до наблюдений будет, поэтому надо из хутора всех людей увести в лес, велеть закопаться, а то живут, как на сенокосе, спят под открытым небом. Своих наблюдателей я не снимаю. Пусть остаются.

— Копию схемы наблюдений велите мне прислать. Может пригодиться. Ну, я, пожалуй, пойду. Надобно и в самом деле соснуть.

Зарубин остался на берегу один и видел, как выводил к реке поить лошадей чей-то коновод, должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяге. Видел, как из батальона Щуся огромный солдат наливал в кухню воду, долго ее промывал травяным вехтем внутри, выпустил грязную воду, ведрами прополоскал котлы и, налив воды, поволокся пешком за кухней в ближние кусты.

Где-то совсем близко ударила и сразу смолкла перепелка, обеспокоенно зачифиркали, запересыпали в горле монетки утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, с реки подала голос чайка и, призраком паря, закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню.

Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле, катящаяся на исход. Подумав о том, что там, в Забайкалье, уже давно наступило утро и Наталья, накормив детей, распределила свое отделение по местам, кого в школу, кого в поле с собой взяла картошку копать, кого приструнила, кого приласкала, кому и поддала — всем внимание уделила. Работает сейчас, копается в земле и думает о них, своих мужьях-дураках. Наталья — звереныш чуткий, она почти всегда угадывает какой-то своей, бабьей интуицией или элементом каким, неслышно в ней присутствующим, надвигающуюся на ее мужиков передрагу. В такую пору пишет она одно письмо на двоих, зато длинное и насмешливое. А как тут, на фронте, более или менее терпимо, писать перестает. «Ничего не жрет, когда переживает, — ворчит Пров Федорович, — изведется к чертовой матери из-за нас, оболтусов. Бабы российские по одному мужу сохнут, что былинки, а тут, как в Непале, мужей у бабы... И один другого лучше, и за всех переживай!»

Александр Васильевич нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. Все, что надо сделать, он уже сделал, распоряжения отдал, предвидеть же все на войне невозможно, тем более при переправе через водную преграду, каковой на пути нашей армии еще не было, тем более при нашей-то заботе и подготовке, где изведешься весь, сердце в клочья изорвешь, добиваясь хоть какого-то порядка.

Пусть идет как идет. Их, полевых командиров, смысл существования есть в том, чтобы доглядывать, подсоблять, маленько хотя бы зачищать ошибки и просмотры командования, так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию.

Но там вон, за рекою, тоже засели плановики, опыт наступления и обороны имеющие большой, их задача — не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше, всего бы лучше — поголовно. Кто кого? Вот простой и вечный вопрос войны, и ответ на него последует скоро. Вон уж посветлело за спиной небо. Из Сибири, из родных мест, от Натальи и детей светлым приветом катит утро, над рекою густеет туман, белой наволочью ползет к берегам, успокаивая реку тихим дыханием, бестелесной плотью соединяя берега, которые задумывались Создателем для единого земного мира, но не для враждебного разъединения.

Туман держался до высокого солнца, помогая армии, изготовившейся к броску, в последнем приготовлении, продляя покой и жизнь людей на целых почти полдня. Но как только посветлело на земле, в небо мошкой высыпали самолеты и с грозным гулом покатались к реке, забабахали зенитки, зачастили установки «дай-дай!», понеслись в небо пулеметные струи. Небо сплошь покрылось пятнами взрывов. Навстречу воздушным армадам выскочил взвод истребителей со звездами, следом второй, третий, поднялась в небе карусель, истребителей отнесло в сторону, бомбардировщики начали опорожняться на берег, треск камней, огонь и дым взрывов, грохот зениток, удары минометов и орудий, все смешалось в общее месиво, в земной хаос и ужас — бой начался. Нырнув к наблюдателям в ячейку, майор Зарубин припал к стереотрубе и начал округлять, закольцовывать красным карандашом огневые точки противника. Взвод разведки завязал бой на противоположном берегу. Огонь взвода жидок, долго ему не продержаться. Полковник Бескапустин махнул капитану Щусю рукой — роту лейтенанта Яшкина на переправу. Командир второго полка Сыроватко бросил через реку роту под командой Шершенева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. А раз так, раз зарвались — хоть зубами держите полоску правого берега, укрепляйтесь на нем. В восемнадцать ноль-ноль начнется артподготовка и через полтора часа — переправа главных сил — такой приказ поступил из штаба корпуса в дивизию, из дивизии в полки.

Видя, как плотнеет огонь над рекою, как щипает взрывами берег, остров и все, что есть по эту сторону реки, как сама вода кипит и подбрасывает вверх, мутная, грязная, вытряхивающая из водяного султана камень, щепье, лохмотья, ошметки, разом подумали оба командира полка: пропал взвод, пропадут роты без поддержки, и поддержать их пока невозможно...

Но именно в эти лихие минуты из-за леса, из-за тополей, почти над самыми головами прошли эскадрильи штурмовиков. Летаки уже с реки звезданули из ракетных установок по вражескому берегу, насорили на оборону противника крупных «картошин» — и все это кипящее варево присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов...

Правый берег, затем и левый начало затягивать копотью, дымом и пылью.

Отработавшие звенья штурмовиков сменили в небе другие эскадрильи. В небе шел непрерывный воздушный бой истребителей, падали самолеты то за рекой, то в реку. Один подбитый «лавочкин» дотянул до нашего берега, упал как-то совсем уж неладно, в районе ротной кухни. Летчик не успел раскрыть парашют и растянул свои кишки по обрубышам и обломышам изувеченного бомбежкой дерева.

Коля Рындин снял с сучьев останки убиенного.

Обедом бойцов кормили под грохот и вой снарядов. Коля Рындин и сам пообедал плотно, впрок, сдал кухонное хозяйство совсем изварлыжившемуся повару и отправился к своим товарищам. Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать.

Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегами, высыпались условные ракеты — стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега, но сколько и чего осталось от первых двух рот и взвода разведки — никто не знал.

## Переправа

В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переваливалось через края посуды, на закате светило, зависало над рекой, и, угасая, умиряясь, кипя уже в себе, не расплескивало огонь, словно бы взгрустнуло, глядя на взбесившиеся берега реки. Двухногая козявка, мечта огонь молний, доказывала, что она великая и может повелевать всем, хотя и вопит со страху: «И звезды ею сокрушатся, и солнца ею потушатся». Но пока «солнца потушатся», да «звезды сокрушатся», исчадие это Божье скорее всего само себя изведет.

Быстро-быстро, вроде как раздосадованно, солнце скатилось за горбину высоты Сто и скрылось в дыме передернутой дали.

Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за горами камней, собранных по полям и на окраинах огородов, проросших крапивой, отличником, диким терном, мальвами, ярко радующимся самим себе там, где их не достало огнем, не секло пулями.

За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин — Герка-горный бедняк и, расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее его воинство.

— Значит, главное — вперед. Вперед и вперед. За спину товарищей под берегом не спрятаться, ходу назад нету. Видел я тут заградотрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали — у них работа поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзади беда. Среди нас много народу млекопитающего. Поясню, чтоб не обижались, — млекопитающих, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить. Пулю ртом поймашь, глотай, пока горяча, которая верткая, через жопу выйдет... Х-ха-ха-ха! — закатился сам собою довольный Герка-горный бедняк. — Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну,

а... — Герка-горный бедняк почесал соломинкой переносье, бросил ее, пошарил в затылке. — Я тоже не заговоренный. Тюкнет меня, все одно вперед и вперед...

И началось!

Как повелось на нашем фронте, поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенными, но больше погубленными полями и нивами зашипело, заскрипело, заklubилось, взбухло седое облако — будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом о железо, подбито, повреждение швыркая, швыркая, швыркая горячее; казалось, сейчас вот, сию минуту с оси сойдет или уже сошла земля.

В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем, ракеты. И тут же, вослед им, радостно затаивкали прыгучие, искры сорящие, аисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью, вроде бы нехотя, как бы спросонья и по обязанности, прокатили гром по берегу гаубицы ста двадцати двух и ста пятидесяти двух миллиметров. Сдваивая, когда и страивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, припоздало оглаживая местность, одиноко и невпопад хлопало вдогонку замешкавшееся орудие или миномет. Но главные артсилы били отлаженно, работала могучая огневая система. Скоро закрыло и левый берег черно взбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму чертей на двух лапах.

И как только оплеснуло огнями разрывов мин и снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки, комбат Щусь и командиры рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки и подсумки. — «Вперед! Вперед!» — отчего-то сразу севшим, натужно-хриплым голосом позвал комбат, и, подвывая ему, подухивая, почти истерично тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал Талгат, и,

сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, бойцы, младшие командиры поддавали пару:

— Вперед! Вперед! Только вперед! Быстрее! Быстрее! На остров! На остров!..

Сотни раз уж было сказано: куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас.

— Нельзя-а! Нельзя-а-а! — били по рукам, по головам, куда попало, били гребцы веслами, командиры ручками пистолетов. — Опрокинете! В Бога душу мать! Вперед! Впере-од!..

— Тону-у-у, тону-у-у! — послышался первый страшный вопль — и по всей ночной реке, до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово: — Ма-а-ама-а-а-а! — закружилось над рекой.

Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат Щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отгалкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и, себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил: «р-рре-от, ре-о-от!»

Они достигли заречного острова. Щусь упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль, и, приходя в себя, услышал, увидел: вся земля вокруг вздыблена, вся черно кипит. Почувствовав совсем близко надсаженное дыхание, движение, Щусь выбросил себя из-за камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, валясь в воду; штаны, белье, гимнастерка оклеили тело, вязали движения — люди волокли баркас. «Немного, еще немного — и мы в протоке. Мы под ярмом!» — настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалась, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу суденышка:

— Еще! Еще! Еще! Навались! Навались, ребяташки! Эй, кто там живой? Ко мне! Кому говорю?!

Они обогнули вынос заречного острова, они сделали немислимое: заволокли баркас в протоку, по спокойной воде баркас и к берегу, в укрытие затащили бы, но протока была поднята в воздух, разбрызгана,

разлита, взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывало жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму вместе с вертящимися камнями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы, в клочья разорванных людей. Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх, купол воды, отделившийся ото дна, обнажал жуткую бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая белым привидением ползла, вилась червь, не иначе, как из самой преисподней возникшая. Состояла она из сплошного хвоста, из склизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи, тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в злом бессилии.

Большинство барахтающихся в воде и на отмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной. Поскольку никто и никогда в глаза его не видел, веками собиралось, создавалось народным воображением чудище, век от веку становилось все страшнее, причудливей: множество глаз, лап, когтей, дыр, ушей и носов, и уж одно только то, что оно там, на дне присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, — обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспособливаться жить с рекою, с чудищем, в ней таящимся, лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь, — так не замечают жители азиатских кишлаков поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, — ядовитую змею, и она тоже никого «не замечает», живет, плодится, ловит мышей. И если б оно, то, деревенское, привычное водяное чудище объявилось сейчас со дна реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной, умирающей матери, обнажено, беззащитно. И тварь со дна ползет, биясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Да уж не приняла ли, наконец, сама война зрячий образ? Черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов, и в ней извивающаяся, на человека неумолимо наползающая тварь?! Там, под водой, бездна — она поглотит, да уже и поглотила все вешнее, даже самую реку с ее поднятой и унесенной куда-то водой, и берега обратило в прах, и смело в бесприютные пространства веса не имеющую человеческую



душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодом дымящую дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной — да-да, конечно, это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее.

С баркаса подхватили кто что мог, ринулись прочь, за командирами, уже где-то впереди, за водою, кричащими: «За мной! За мной-ой!» — пытаюсь угадать по голосу своего ведущего. Мокрая одежда мешала бежать, бойцы, на берегу отжимаясь, падали, щупали себя: здесь ли он, боец, с собой ли его тело? Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью замывало, заливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских. Но те были уже в оврагах. Уведя в ответвление оврага батальон, Щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранились, вставить в них капсулы. Из ночи разрозненно и группами набегали и набегали бойцы, валились на сухую хвою редко по склону оврага растущих сосенок, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины, втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды казалась такой родной, такой желанной.

Нашаривая наступающие части, немцы торопливо и сплошно сеяли ракеты. Ниже острова, по берегу реки разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершенева.

— Ничего, хлопцы, ничего! — бодрясь, сказал комбат. — Главное — переправились, теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить — по нему сейчас работает наша артиллерия. Командиры взводов, отделений, кто еще жив, держаться ближе ко мне. Никому не отставать. Теперь главное — не отставать...

Карабкаясь вверх, падая с крутых осыпей и скатов оврагов, бойцы батальона капитана Щуся лезли и лезли куда-то в ночь, в гору, а внизу, по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк Сыроватко.

Почти все понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокапятками были на воде разбиты и утоплены, однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху, некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветье ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка Сыроватко в самом

центре плацдарма закрепились, прикрывают соединения, переправляющиеся следом.

И, поняв это, Щусь вызвал к себе командира взвода Павлухина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты с паролем «Ветка», ответом будет «Корень».

— Все! Пока фриц не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться. У нас иная задача.

Мимо разобранной риги к урезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотки. Среди сосредотачивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках, в яловых сапогах. Лешке опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика. Сходить в штрафную недосуг, да и не пустят небось к ним, к этим отверженным людям, да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляду нельзя — моментом урвут, на руках унесут, как любимую женщину. Приходил опять усатый офицер из какого-то важного подразделения, бумагой тряс, требовал, грозил. Лешка с помощью майора Зарубина еле от него отбил.

В ту пору, когда батальон Щуся уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось половину состава боевой группы, углубился в овраги правого берега, Лешка при белом, дрожащем свете спущенных с самолета фонарей украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроенных за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа, сорванного ольховника, вороха листьев кружило, подбрасывало над землей, осаживало на батарею и сажей, клубом огня катило в поля, в прибрежные порубленные леса — занимался всесветный пожар, и никто его не тушил. «Всех карасей поглушат!» — как всегда не к месту, нелепая мелькнула мысль и, как всегда, она родила в нем какие-то посторонние желания; «Вот бы бабушку Соломенчиху сюда!»

Когда по берегу рокотно прокатились залпы орудий, с другого берега донесло ответные толчки взрывов, земля вместе с дубками, со старицей, за которой потухли «катюши», начала качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах.

— Ничего, ничего, товарищ Прахов! — перевозбужденно закричал Лешка, — живы будем — хрен помрем! — кричал громко, фальцетом, сам себя не слыша.

Сема Прахов, поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и, тоже, не слыша себя, твердил:

— Скорее, миленькия, скорее!..

Лодку спрятали у самой воды, в обгрызанном козами или ободранном и перебитом пулями, летошнем тальнике, заранее подсмотренном Лешкой. Залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лешка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата, туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с харчишками, долго пристраивал планшет и буссоль. Пристроил, прикрыл военное добро снятой с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал, подумал и разулся. Еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова:

— Скорее, миленькия, скорее! — почти бессознательно твердил он.

Лешка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завернутый в холщовый мешок да в старую шинельку телефонный аппарат с заранее к нему привязанным заземлителем. Сема Прахов соединил Лешкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу.

— Я сделал все. Проверь. Можно уж... — Сема Прахов устал ждать, извелся. Лешка ничего не проверял, он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа, — ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемней, где потише — корыто-то по бурному водоему плавать неспособно, по реке же, растревоженно мечущейся от взрывов и пуль, посудине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушь

старицы полагалось существовать, в кислой, неподвижно-парной воде плавать.

Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторое преимущество — немцы уже привыкли к тому, что, начав валить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа, и когда спохватились, передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова.

И если бы...

Если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде и сразу же ринулись бы через протоку на берег. Но на заречный остров попали люди, уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы, умеющие плавать выдержали схватку в воде пострашнее самого боя с теми, кто не умел плавать и хватался за все и за всех. Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику люди вцепились в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые с самолетов горючей смесью, мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами, река все густела и густела от черной каши из людей, все яростней хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт, кроме того, уже через какие-то минуты в небе появились ночные бомбардировщики, развесили фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу — они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала с хлестким шумом, с далеко шлепающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса.

В небе тут же появились советские самолеты, начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся большим пламенем объятый самолет. Фонари на парашютах, будто перезревшие нарывы, оплывающие желтым огнем, сгорали и зажигались, сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку и все, что по ней плавало, носилось, билось, ревело.

«Ой, однако, не переплыть мне...», — слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лешка, полагая, что батальон Щуся, кореша родные, проскочили остров еще до того, как он загорелся, до того, как самолеты развесили фонари, — во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретит не всех, далеко не всех.

И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные эмкашки с лентой в пятьсот патронов. Они все заранее пристреляны и теперь, будто из узких горлышек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские — все они кричали одни и те же слова: «Мама! Божечка! Боже!» и «Караул!», «Помогите!..» А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и нетронутые пулями люди связками уходили под воду, река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами.

«Ждать нечего. Надо плыть, иначе тут с ума сойдешь...» — решил Лешка, понимая, что чем он больше медлит, тем меньше у него остается возможностей достигнуть другого берега.

Внезапно пришло в голову, что именно в эту пору, там, во глубине России, по таежным, степным и затерявшимся среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудно и сурово бытующих городах и городках, как раз садятся за стол — ужинать, чем Бог послал, и в этот вечерний час, блаженный час, после трудового, серого, предзимнего дня там, во глубине тяжко притихшей русской земли, непременно вспомнят детей своих, мужьев, братьев, попытаются представить их в далеком месте под названием фронт, может быть в этот час выдерживающих бой. Но как бы люди русские ни напрягали свое воображение, какие бы вещи сны ни посетили их, ни в каком, даже самом страшном, бредовом сне не увидят им того, что происходит сейчас вот на этом, в пределах земных мизерном клочочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в

реку, под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская геенна огненная выглядит детской сказкой со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши.

Боженька, милый, за что, почему Ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем Ты отворотил от них Лик Свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель?

— Ну, поглядели кино и будет, — нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лешка, подавая руку Семе Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив: Лешка хоть таким манером хочет отдалить роковые минуты. Сема и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной реке, в темноте ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег и их, чего доброго, как изменников и трусов, секанут заградотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями.

— Гляди за катушкой, Сема! Кончится провод — конец не отпусти. Отпустишь — конец тебе, да и мне тоже. Впрочем, мне-то... — махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду.

— Я его камешком придавлю, — дребезжал угодливым голосом Сема Прахов. — Ка-а-амешком! Дай Бог! Дай Бог!..

Сема был боязлив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством, но уже понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало, далеким уже, окуклившимся в немоющем нутре зародышем чувствовал — не выжить ему на войне, но все же тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни.

Будто на осенней муксуньей путине, выметывая плавную мережку, Лешка неторопливо начал сплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка стравливается провод из короедом поскыркивающей катушки. Сема Прахов совершенно искренне — нету же искренней молитвы, чем в огне да на воде, — дребезжал:

— Спасай Бог, Алеша! Спасай Бог!

Мокрый голос связиста, лепет его уже не слышен, скоро и провод, пропускаемый Семой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку с веретена, Сема ликовал в душе — не было на проводе комковатых сrostков, голых узелков — провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувши барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Семы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил:

— Все! — и зачастил по-бабьи, в голос: — Лети, проводок, на тот бережок! — слезы отчего-то катились и катились по его лицу.

Боясь упустить живую нить, соединяющую его все еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может, и умереть — чего не скажешь тут, как не повинись — ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которой страшнее, как думалось и казалось Семе Прахову с «безопасного берега», ничего на свете не было и не будет никогда, он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. «Господи!» — оборвалось сердце в Семе аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющей на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сема Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то — вода, темная река перед ним, распоротая и подоженная из конца в конец. Сема аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась.

«Подсоединился! Подсоединился!»

По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя все напряжение человеческого, будто напрямую к Семе был прикреплен конец того провода.

— Гребе-от, миленький, гребе-о-от! Живо-оой! — пуще прежнего запел, зарыдал Сема Прахов. — Живо-ой! Лешенька-а-а-а!

Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопашни почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил

грузила, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодные брызги, Лешка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух. Да если бы даже он кричал, а он кричал, завывал время от времени, но не слышал себя, и если бы навесы стучались, как барабан на молотилке в Осипово, — никто бы ничего не слышал — такой грохот и вой носился над водою.

С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью.

«Этого только не хватало!» — ахнул Лешка. В свете их он заполошенно заматерился, припадочно замахал веслами по воде.

На островке лучи скрестились, шарили по нему. В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега, не понять было: то огонь непрерывный идет или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова, вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая набок головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли.

— А-а-а-а-а! — завыл, заликовал одинокий Лешкин голос на темной реке. — Не гля-а-анется-а! Не глянется, курва такая! А-а-а-а! — орать-то он, связист, орал, но и о работе не забывал.

Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте, долетели брызги, и снова не к месту мимолетом подумалось: «Будто перемет на Оби выметываю»... — и тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лешка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось: «Ну, пропал! Все пропало...»

Не давая себе ни секунды на размышления, он выхватил из уключины весло и вслепую, на хрип и бульканье ударил раз, другой — содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой, вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь.

«Наши это... Наших несет... Быстрее, быстрее!..» Он по шуму и ходу лодки почувствовал — прошел стрежень реки, течение ослабело.



Он выбрасывал за борт провод с последними подвесками: надо подсоединять новую катушку, она вмещает пятьсот метров провода, лодку почти не сносит, провода должно хватить с избытком.

Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще — верный это признак: берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт, человек работал лопашнами, закидываясь назад, работал так, что старые, из осины тесаные весла прогибались на шейках.

«А-а, гробина! — стонал Лешка. — А-а, корыто! Его только вместо гроба... Нашу бы, обскую сюда расшивочку-у-у...»

— У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! — вырывался вопль.

Сил в нем никаких уже и нет, один крик остался. Обжигая колена, цепляясь за штаны ерошенными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и с жизнью соединит, с людьми, с Семей Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сема Прахов. Почему-то все беспомощное, незащитное облекалось в облик напарника.

— У-у-у-у-у, у-у-у-у-ууу! — мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лешка, на ругательства сил уже не хватало.

Из воды вздымал весла не Лешка, не связист Шестаков, весла взлетали и падали сами, вразнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек.

— У-у-у-у...

Сейчас главное — не ошалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли — сейчас не упомнить, — он чуть не утонул в мелком ерикe оттого, что испугался. И кого? Ужей! Он когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток. Впереди Лешки прокатили пушку, переехали клубок змей — черные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты и кипели черным варом, распускаясь отертыми, бледными, чем-то набитыми брюхами. Они, те гады, долго потом снились Лешке. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится, комар да мошка — и все тебе паразиты, ну иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснет, либо паук закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается.

Лешка хитрил, заставляя себя думать о чем-нибудь постороннем и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух: не завозится ли кто за бортом? Когда-то кончилась, иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке и по тому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал: провода на ней осталось немного. Хватит ли до берега? Где вот он, берег-то?

За правобережной дереvушкой, выхватывая кипы дерев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. «Неужели наши? — подумал Лешка, — нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли. Погибнем все мы тут... — и никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братию, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, тут взмолился бывалый фронтовой связист: — Хоть бы партизаны...»

— Спасите! — слышалось совсем близко, кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна.

Лешка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось:

— Аси-и-ите-э-э-э!

Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Слышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. «Добрались! Батюшки! Какие-то отчаюги уже добрались!»

— Скорее! Скорее! — ярился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах.

Сделалось мелко. Лешка не греб, уже толкался веслом, между делом бил веслом направо и налево. Слышались вопли, раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик:

— Лимонку бы!

«Да я же... Да пропади оно, корыто это! Ради наших же...»

Но чувство мерзопакостности, оно ж, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной память и гнет — это на

всю жизнь, — догадывался Лешка.

Катушки едва-едва хватило до суши! Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась о дно и стала, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облегченностью, как умиротворенно скрежещет опроставшаяся катушка, придержал ее ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте, точно склизкий пудовый налим, без икры правда и без потрохов — все вместе с проводом выметено в реку, все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота судорожила тело, гулко, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота.

«Все-таки выдержала старуха! Выдержала!» — Лешка гладил мокрое дерево борта, старое, прелое дерево мягким ворсом липло к пальцам, к смозоленной ладони.

Отдышавшись, Лешка шагнул за борт. Ноги стиснуло, за голенища сапог полилась вода. Купальный-то сезон давно прошел. Подтащив лодку, связист лег за деревянную ее щеку и, держа автомат на изготовке, осматривался, соображал, отыскивая глазами, куда подаваться, за чем и чем укрыться?

Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевали стога за околицей, отсветы пожара шевелились на грозно чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лешка не сразу узнал островок — не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи — все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чадящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городьбой. А на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет, в ответ россыпь автоматов пэпэша, отдельно бухали винтовочные выстрелы.

«Ба-атюшки! — ужаснулся Лешка. — Это сколько же погибло народу-то?!» — Лешка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, бросился под тень яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Черевинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горячей сухо и ярко уже за поворотом. «Только бы порошок в мембране не отсырел, только бы аппарат не отказал, только бы...»

— Шнеллер! Шнеллер! — услышал Лешка над собой по рву топот и звяк железа.

«И это, слава те, пронесло! — порадовался Лешка, — пойдя немцы по берегу — как муху смахнули бы». — Утратив осторожность, — все же устал на реке, со связью, — соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, что блекло светился во тьме.

— Эй! — позвал он.

— Шестаков, ты?

— Я! — чуть не заблажил во все горло Лешка.

Обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана, он даже задрожал, не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения.

— Тихо! — цыкнул на него из темноты майор Зарубин. — Как связь?

— Здесь, здесь. Она уже здесь, товарищ майор, здесь, миленькая, недалеко!..

— Мансуров, Малькушенко, прикрывайте нас. Шестаков, за мной.

Лешка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал. Стараясь негромко топтать, они устремились от речки, под нанос яра, сыплющегося от сотрясения.

— Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат.

Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, опал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачищенным.

— Ах, Сема, Сема!.. — Лешка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется соленой кровью — жесток немецкий провод, заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш провод зубами зачищался без труда, но и работал так же квело.

— Сколько вас осталось, товарищ майор? — шепотом спросил Лешка, зажимая провод в мокрых клеммах.

— Трое. Кажется, трое, — отозвался майор и поторопил: — быстрее!

— Готово! Готово, товарищ майор! Готово, голубчик! — вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лешка и,

накрывшись сырой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву: — Пуцай, чтоб батарейки в аппарате не намокли. Пуцай, чтоб все было в порядке, — и, нажав клапан, неуверенно произнес: — Але!

— Але, але! — сразу отозвалось пространство, крошечная тьма отозвалась знакомым, человеческим голосом, богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мирозданье, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил, голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот приспело, сделался бесконечно родным.

— Але! Але! Але! — заторопился Сема. — Але! Москва! Ой, але, река! Але, Леша! Але, Шестаков!.. Вы — живые! Живые!

— Начальника штаба! Немедленно! — клацая зубами, подал голос майор из-под шинели, торчащей шатром.

— Третьего! Сема, третьего! — уже входя в привычный, повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лешка, оборвавши разом сбивчивые бестолковые эти Семины «але!»

— Счас. Передаю трубку!..

— Третий у телефона! — чрезмерно звонким, как бы из оркестровой меди отлитым, голосом откликнулся начальник штаба артполка капитан Понайотов.

Лешка нашарил в потемках майора, разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку.

— Алло! Алексан Васильевич! Алло! Алексан Васильевич! Товарищ майор! — дребезжала мембрана голосом Понайотова, — Товарищ пятый! Вы меня слышите? Вы меня слышите?

— Я слышу вас, Понайотов! — почти шепотом сказал Зарубин и, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу.

Понайотов напряженно ждал.

— Понайотов... наши-то почти все погибли, — заговорил, наконец, жалобно майор. — Я ранен. Нас четверо. — Зубы Зарубина мелко постукивали, он никак не мог овладеть собой. — Ах, Понайотов, Понайотов... Тот, кто это переможет — долго жить будет... — Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь, родной берег тоже терпеливо ждал.

— Мы хотели бы вам помочь, — внятно, но негромко и виновато сказал Понайотов.

— Вы и поможете, — пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор, — вы для того там и остались. Пока я уточню разведанные, добытые ребятами, пока огляжусь, всем полком, если можно, и девяткой тоже — огонь по руслу речки и по высоте Сто. Вся перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвижение резервов проходит по руслу речки, из-за высоты Сто и по оврагам, в нее выходящим. Огонь и огонь туда. Как можно больше огня. Но помните, в оврагах, против заречного острова есть уже наши, не бейте по своим, не бейте... Они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перекинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим, и огонь, непрерывный огонь, но... не бейте, ради Бога, не бейте по своим... — Майор снова остановился, прерывисто подышал. — Одной батареей все время валить в устье Черевинки, не стрелять, именно валить и валить, с доворотом. Иначе нам конец. Прикройте нас, прикройте!..

Понайотов — болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал:

— Десятая! Доворот вправо! Ноль-ноль двадцать, четыре единицы сместить. Без дополнительного заряда, беглым, осколочным!..

Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье речки уже завязалась перестрелка.

— Будьте у аппарата, товарищ майор! Я помогу ребятам. Я помогу!

— Давай! В речку далеко не лезьте... Сейчас туда ударят...

Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек, стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки, залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство.

— Ребята, сюда! Под яр! — закричал Лешка.

Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему, запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять.

— Молодцы! — паля короткими очередями из автомата, бросил Лешка.

— Мелькушенко там, — сказал Мансуров, — ранило его.

— Сейчас, наши сейчас... — Лешка не успел договорить.

За рекой, в догорающем хуторе выплонуло вверх клубы огня и вскоре, убыстряя шум, пришепетывая, из темного неба начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег трянуло. Из речки долетели камень и песок, смешанный с водой.

— Раненых! Быстро! — перекрывая грохот взрывов, закричал Лешка, бросаясь за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешанную с песком.

Двух раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты уже здесь, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне, работала бесперебойно. Немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились.

— А-а-а, падлюки! Не все нас бить-молотить! — яростно взрыдывая, торжествовал Мансуров. — Лешка, давай закурить. У нас все вымокло.

— Сначала майора в укрытие перетащим, — сказал Лешка, — дойдет он. Перевязать его надо. И телефон ему.

— Дунули! — согласился Мансуров. — У тебя, правда, курить есть?

— У меня даже пожрать и погреться чем есть!

— Но-о?! — произнес Мансуров потрясенным голосом. — Живем тогда, — и, оттолкнувшись от земли, ринулся под яр, из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травой, сочился песок.

Под мокрой шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя. Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягка, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы.

— Ну-ка, товарищ майор, — полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет, — Лешка, посвети в притырку.

Прикрывая пилоткой и полый телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охваченное окровавленными руками

тело.

«Рана-то какая худая!» — отметил Лешка, увидев, как от дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровавая долька с пузырьками, лопнув, сочится под высокий, строченный пояс офицерских штанов.

— У меня руки чистые, — сказал Мансуров и даванул бок Зарубина. Майор дернулся, замычал — осколок прощупывался, был он близко, под ребром. — Счас бы обсушиться и в санроту.

— Что об этом говорить? — успокаиваясь под руками Мансурова, вздохнул майор. — Закрепляйтесь, ребята, окапывайтесь, ищите тех, кто остался живой, не то будет нам и санрота, и вечный покой... Я за телефониста...

Лешка принес из лодки флягу и подмокший рюкзак с едой, майор глотнул из фляги, судорожно хлюпнул густой от песка слюной, но водку выплюнуть не решался, загнал глоток вовнутрь. Потом еще глоток, еще, хлеб, пусть размокший — все хлеб! Беречь, пуще глаза беречь...

— Не беспокойтесь, товарищ майор, не впервой.

— Да-да, здесь надежда только на себя и на товарища. Пакеты, — помолчав, добавил он, — пакеты брать у мертвых... патроны и пакеты... патроны, — он прервался, хотел подвинуться к яру, но даже с места себя не стронул, зато сразу почувствовал холодное мокро облепившей его шинели. — Подтащите меня, — попросил он, — меня и телефон — под навес яра, сами окапывайтесь, если есть чем, да попытайтесь найти командира стрелкового полка Бескапустина и хотя бы одного, пусть одного-разъединственного живого бойца из тех, что переправились днем.

— Мы — бескапустинцы, — тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров.

Было их человек пять, и где-то поблизости, за речкой, слышалось, звякая о камни, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка, но и со своими ротами.

Прерывисто дыша, майор настойчиво просил, не ставил задачу, именно просил бойцов немедленно и во что бы то ни стало найти Бескапустина или хотя бы кого-то из командиров рот, батальонов, хорошо бы кого и из штаба полка, сообщить надо им, что с левым



берегом работает связь, по возможности еще ночью, в темноте, протянуть телефонные концы стрелковым подразделениям.

— Шестаков! Чем угодно и как угодно замаскируй лодку! Мансуров, тебе идти. — Майора колотило, он трудно собирал рассыпающиеся слова: — Где-то есть наши. Есть. Не может быть, чтобы все погибли. Постарайся найти их. Все! За дело, ребята. Ночь на исходе. День грядущий много чего нам готовит...

Майор кутался в шинель и все плотнее жался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться.

— Понайотова мне! — протянул он руку. — Понайотов! Немножко подвинься, подвинься. Нас засыпает осколками, они отошли, отогнали мы их, отогнали. — Он отдал трубку Мансурову, съежился: — Ах ты, чертовщина! И огонь нельзя развести, — в голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда.

— Нельзя, — уронил Мансуров. — Ну, мы пошли, товарищ майор. Постараемся найти славян. Мал у нас выводок, шибко мал. Меньше тетеревиного. Лешка, ты никуда — понял? Ни-ку-да!..

Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя, тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лешка по-пластунски пополз к лодке. Вокруг щелкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулеметов, автоматов, ответно четкими, торопливыми выстрелами сорили винтовки.

«Да там уж не наши ли бьются?»

Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее, старые, закаленные вояки из роты Герки-горного бедняка, ошивавшиеся в хуторе, расковыряв штукатурку по стенам сельской школы, обнаружили под штукатуркой деревянное — хорошо отструганные, плотно пригнанные брусья, сбитые лучинками. Находчивые воины углями на стенах школы изобразили «секретный склад» и сами же встали тут дозором, палили в воздух, не подпуская никого к важному объекту.

Уже на закате зловеще кипящего солнца орлы Оськина раскатали стены школы, связали брусья попарно, скинули с себя почти все, кроме подштанников, узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами притачали к плотикам. Боевой командир, скаля зубы, заметил: если убьют на переправе — никакого значения не имеет тот факт, что ты голый или еще какой — голому даже способней — скорее и без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на берег — в сухом и с патронами будешь.

Задача стрелковым ротам полка Сыроватко была: переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подъярье и затем уж атаковать ошеломленного, артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость: еще во время артподготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Бескапустина, но что-то, скорее всего нюх бывалого вояки придержал его, и, когда загорелся остров и на нем освещенные, будто при большом пожаре, заметались бедные пехотинцы, Оськин, крикнув: «За мной!» — бросился в воду и, толкая плотик с манатками и оружием, брел, пока ноги доставали дна, потом дребезжащим от холодной воды голосом повторил: — «За мной!» — и резко, часто выбрасывая правую руку, толкая плотик вперед, грозясь: — «Убью! Любого и каждого убью!» — это на тот случай, если пловцы задумают громоздиться на связанные брусья.

Ниже и ниже по течению забирал ротный, видя, что весь огонь немцы сосредоточили на капле земли, и ночные самолеты все сбрасывают и сбрасывают на выгорающий этот клочок бочки, валом разливаясь, огонь доканчивал живых и мертвых на острове, в мелкой протоке на берегу.

Стреляли и по роте Оськина, попадали в кого-то, иногда в лучину расщепляли брусья плотиков, но сами бойцы, умоляя, кричали: «Не лезть! На плотик не...» — греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ошестиненному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль и огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него. Под самым уж правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы и, как ни отбивались, как ни обороняли плоты, на них, на плоты, слепо лезли нагие, страхом объятые люди, стаскивали за собой в воду бойцов-товарищей. Не один

плот оцарапали забывшие про бой, про командиров своих утопающие люди, обернули на себя брусья, гибельно вопя.

«Мама! Ма-а-а-амо-о-очка-а!» — плескалось над рекой.

И все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнять боевую задачу, достигла правого берега. На ходу разбирая оружие, натягивая на себя штаны, гимнастерки, обувь и чего-то тоже беспamięтно вопя, бойцы ринулись в темень, падали на урезе реки, плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался им таким надежным укрытием, суша — такой незыблемой опорой.

«Ор-ре-олики-и! Р-ребята-а! — метался по берегу Герка-горный бедняк. — Под берег, под яр, под яр!.. Орелики!..» — Бойцы и сами понимали, что надо стремиться под навес яра, от воды подальше, от немым светом дышащих воздушных фонарей, но не хватало смелости на бросок, тянуло прижаться к земле, к этому спасительному берегу. Не могли бойцы, никак не могли взяться от мокрого песка, из-за кучки камней, сыплющихся секущимся крошевом осколков и пуль, иные прятались за брусья выкинутых на сушу плотиков. Командир роты в распоясанной и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их под яр, бросал, тычками вгонял в укрытия.

«Да вы что? Вы что? Перебьют же! Перебью-у-у-ут все-эх...» — И внезапно, словно в мольбе воздев руки в небо, вскрикнул, роня пистолет, и в крике том не столько было страху, сколько вроде бы долгожданного разрешения от непосильного напряжения. Его задержали под навес яра. Но он все дергался, все кричал заведенное, брызгал слюной: «Под берег! Под берег! Впер-р-ре-од!»

Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, попахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сиську в губы ребенка, сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смял железо зубами Герка-горный бедняк, вдохнул в себя горящую влагу, — и шатнувшись, все поплыло от него куда-то в сторону, в утишающую, пыльно клубящуюся яму ночи. Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатурных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки в стиснутый рот и поволокли к воде. Прихватив раненого командира обмоткой и обрывком проволоки к бревешкам, побрели под огнем, по мелкой воде, толкая плотик.

— А-а! — пробовал вскинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком. — А-а-а-а! Распроташу мать! Из-за вас! Из-за вас! Залегли-ы, бздуны... залегли, жопы к берегу прижали... А-а-а!.. — увидев, как наверх, на яр карабкаются и исчезают в огне фигурки людей, сыпля впереди себя мерцающими огоньками, сея в землю зерна пуль, понял: его рота жива, поднялась в атаку, одолевает она теперь уже такое надежное укрытие — яр и осыпи берега, прикрывая собой своего раненого командира.

— Я сам! Я сам! Уходите! — закричал он. — Помогайте им, помогайте! — и принялся обеими руками бить по воде, показывая, что он плывет, что он тут сам справится.

Один из бойцов, еще по Подмосковью знакомый, крикнул: «Пока, Герка! Пока!..» — толкнул ногою плотик, с сожалением отцепляясь от него. Другой боец, молодой, из новеньких, долго волокся за плотиком, выплевывая мокрым ртом: «Я здесь! Я помогу, тащ командир! Я помогу!» — Ох, какая небывалая сила удерживала парня возле плотика. И причина-то уважительная — он спасает человека, своего командира. Чувствуя, как плотик подхватило течением, понесло в ночную темень, боясь одиночества и темноты больше, чем кипящего огнем берега, Оськин заорал:

— Ух-ходи! В бой ух-ходи! Я са-а-а-а! Я са-а-а-ам! — роня голову меж брусев, лейтенант хватал губами плюхающуюся живительную воду.

Он впадал в забытие и приходил в сознание, чувствуя, что плотик то несет, то крутит на одном месте, омуты, везде омуты.

— Я са-а-ам!.. Я са-а-а-ам! — едва шевелил он губами, а ему казалось, кричал на всю реку, на весь свет: — Я спасу-у-усь! Спасусь! Орелики мои.

Когда его ранило вторично, он не услышал, не упомнил, однако руками скребя и в беспамятстве, — только вода все горячела и омуты становились глубже и кружливей. Скорее всего, опять же согласно вращению земли и течению Бэра, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он и окоченел бы на плотике, истекши кровью, иль немцы достреляли бы его. Но он был баловнем судьбы, удачливым человеком. За его нечаянный плотик ухватились бедующие, тонущие вояки и, стараясь не опрокидывать бревна с привязанным к ним человеком, греблись руками к левому, спасительному берегу, не зная,

что там их ждет и подчистит боевой, страха не ведающий заградотряд. Словом, Герка-горный бедняк нечаянно-негаданно добрался до своих. Течением плотик занесло в камни, и, почуяв сушу, солдатики бросили и плотик, и раненого, да и умотали во тьму, затаились на своем берегу, не шевелясь до рассвета.

Сытенький санинструктор береговой обороны с двумя солдатами бугаистой комплекции, опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывали и отпутьвали безвестного командира безвестной роты.

Он шевелил искусанными, кровящими губами, и если бы санитары могли разобрать, чего молвит истекающий кровью командир, гимнастерка которого на груди вся была в дырках от орденов и значков, то не только заковыристые матюки слышали бы, но и складный монолог: «Погибает Герка-горный бедняк... погибает... ни за хер, ни за морковку, а за... Впе-э-эре-од! Под яр! Яр... яр... яр... че разлежся?.. За красную окантовку!.. Стих! То-о-онька! Доченьки, до-о-оченьки, чаечки-кричаечки-и-ы-ы-ы...»

От устья речки Черевинки, где высадился со связью Лешка Шестаков, до переправившейся роты Оськина — сажень двести-триста, но не судьба. Рядом не раз ходили, да не встретились в человеческой каше отчим с пасынком, хотя в письмах папуля грозился перевести сынулю в свою роту и выдать ему пэтээр.

Нашел, чем пугать связиста! Да он как навесит на себя две катушки со связью, да вещмешок на горб водрузит, да телефонный аппарат на плечо, да сверх всего карабин накинёт, еще два подсумка с патронами, да лопату, да котелок, да всякий разный шанцевый и личный инвентарь прихватит, да еще по пути и картошек нароет либо у ротозевых вояк чего съестное уведет, тот пэтээр ему — лучинка.

Уже на утре в медсанбат второго полка, размещавшийся в отдалении от берега, обратился какой-то приبلудный санинструктор. По бумаге, вынутой из патрончика-медальона, он установил, что лейтенант, чудом переплывший реку на плотике, является командиром роты стрелкового полка Сыроватко, что он пока еще живой и в бессознании продолжает командовать, и как командует — заслушаешься!

## День первый

Ожидалось, что штрафную роту бросят на переправу, в огонь первой, но переправляться она начала уже под утро, когда над обоими берегами нависла густая, дымная мгла, из которой, клубясь, оседало серое, паленым и жареным пахнущее месиво, багрово от земли светящееся. Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало. Угарной, удушающей вонью порченого чеснока, вяжущей слюну окалины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей, пресной тины и грязи, желтой перхоти ядовитых цветков, пропащих грибов, блевотной слизи пахло в этом месте сейчас, а над ядовитой смесью, над всей этой смертной мглой властвовал приторно-сладковатый запах горелого мяса. Все, все самое отвратительное, тошнотное, для дыхания вредное, комом кружилось над берегом, отныне именуемым плацдармом, над и без того для жизни и существования мало пригодным клочком земли, сплошь изрытым воронками. Камни по берегу разбросаны, искрошены, оцарапаны, навесы берегов обвалью спущены; что могло здесь гореть, уже выгорело и изморно дымилось, исходя низко стелющейся вялой гарью. Земля, глина вперемежку с песком не способная гореть, испепелилась, лишь в земных щелях еще что-то шаяло, возникал вдруг, колебался лоскут пламени и полз, извиваясь, куда-то, соединялся с заблудшим огнем, пробовал жить, высветляясь в могильной кромешности, но тут же опадал съезженным лепестком, исторгая рахитный дымок. Обнажившиеся корешки цепкой полыни тлели, будто сигарки, густо билось пламя лишь в русле речки Черевинки — там обгорали кустарники, огнем выедало трупелые дупла ребристых, старых тополей, вербы да дикие груши и яблоньки со свернувшимся листом и лопнувшей кожей стыдливо обнажались; истрескавшиеся, почернелые мелкие плоды сыпались, скатывались по урезам поймы в ручей, плыли по взбаламученной воде, кружились в омутах, сбиваясь в вороха. В Черевинку по весне и осенью заходила рыба мелочь, песчаные отмели были забросаны, вперемежку с листом, испеченными яблочками, оглушенной малявкой и усачами.

Река настороженно притихла, как бы отодвинулась от земли, на которой царствовал ад, пробовала робко парить и загородить себя чистым занавесом тумана. Непродышливая тьма сгустилась над плацдармом. Казалось, в больном, усталом сне рот наполнился толстым жирным волосом и чем дальше тянешь, тем он длиннее и гуще возникает из нутра, объятого тошнотной мутой.

Битва успокоилась. Огневые позиции противника в большинстве были подавлены, разбиты, патроны расстреляны, мины и гранаты израсходованы. Отброшенные к противотанковому рву на высоту Сто, усталые, изможденные, поредевшие подразделения противника не атаковали больше, лишь дежурные пулеметы, не согласные с тем, что произошло, злобно взрычав, пускали длинные очереди во мглу, враждебно замолкшую, да два-три разбуженных миномета, выхаркнув круглой пастью свистящие мины, остывали от работы.

Сгущался туман на середине реки, белые, течением влекомые полосы подживляли надежду на то, что жизнь на земле не кончилась, по ней движется река, и на невидимом берегу, вонью, гарью исходящем, живые люди поверженно спят. Раненые бойцы ждут помощи, уцелевшие в бою подразделения наводят справки, командиры наводят связь и взаимодействие меж полками, батальонами и ротами. С обвалом в совсем, казалось, уже бесчувственном сердце узнают люди, что со многими взводами, ротами и батальонами связи никакой нет и не будет. И лишь десяток-другой черных от копоти и грязи, полураздетых, в чем-то бесконечно виноватых людей соберутся под яром, выберут старшего и пошлют доложить, что вот пока все, что уцелело и нашлось от их части.

Отторженно себя чувствовавшие штрафники переправились почти без потерь. Несколько понтонов, четыре наново осмоленных лодки, на которых, утянув головы в плечи, переплывали реку представители всевозможных родов войск, еще какой-то чиновный люд плыл, смиренно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской и всякой иной поклажей и инвентарем, позарез нужным на передовой. Связанные в пучки, отдельно сваленные свежо белели струганными черенками штыковые лопаты да малые, солдатские, как их звали на фронте, саперные лопаты, вдетые в игрушечные чехольчики. Этого бесценного груза, как всегда, было очень мало.

Переплывши на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои манатки, быстренько стриганули под навес яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок устелены трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые. К грузу, кучей громоздящемуся на берегу, сошлись, сбежались откуда-то молчаливые люди, начали хватать его, растаскивать по закоулкам оврагов.

Одна, тоже свежепросмоленная лодка шла через реку отдельно от тех плавсредств, что плавил «шуриков» — так насмешливо именовали себя штрафники, и разнообразных представителей военных частей и просто подозрительно себя ведущих чинов — как же без бдительного надзора, без судей, без выявителей шпионов и врагов? Фронт же рухнет, останутся боевые на нем действия, ослепнет недремлющее око, усохнет, погаснет, онемееет пламенное политико-воспитательное слово!

Правда, уже через день-другой поредеет боевой состав надзирателей и воспитателей, они посчитают, что такие важные дела, какие им поручены партией и разными грозными органами, лучше выполнять в удобном месте, на левом берегу, — на правом очень уж беспокояно, печет очень под задом и стрельба смертельная близко, они же привыкли с врагами бороться в условиях, «приближенных к боевым», как они научились обтекаемо и туманно обрисовываться, а тут прямо из воды и в заваруху, так ведь и погибнуть можно.

Лодка с одним гребцом на корме правилась через реку вдали от всего боевого коллектива. В ней лоцманила иль даже царила под пионерку стриженная, ликом злая и по-дикому красивая военфельдшер Нелька Зыкова. Санбат стрелкового полка организовал на левом берегу медицинский пост, владели им две, всему полку известные подруги — Фая и Нелька. Фая дежурила на медпосту, Нелька взялась переправлять в лодке раненых. И сколько же она может взять в ту лодку раненых? И сколько немцы позволят ей плавать через реку? И куда грузить, в чем плавить других раненых? И куда делся и жив ли бравый командир батальона Щусь? С ним, с этим капитаном, вместе тесно, врозь тошно. Опять им, этим художником — так уничижительно называл всех притких служивых, непокорных людей командир полка Бескапустин Авдей Кондратьевич — опять заткнул любимцем какою-нибудь дыру родной отец, опять послал его в самое пекло...



Сыскав среди раненых тех бойцов, кои умеют работать на гребях и заменить ее на корме, Нелька мигом загрузила свою посудину, поплавив людей на левый берег. В лодке сноровисто перевязывая раненых, Нелька успокаивала, утешала тех, кто в этом нуждался, кого и матом крыла. Нельке и Фае предстояло работать на переправе до тех пор, пока хватит сил или пока немцы не разобьют их плавсредство. В лодке могли они переплавить пять, от силы семь-восемь раненых, остальные тянули к ним руки, будто к святым иконам, — молили о спасении.

Среди штрафников оказались и медики. Они, как могли, помогали людям, перевязывали, оттаскивали их под навес яра, где уже полным ходом шли земляные работы. «Шурики» зарывались в берег, издырявленный ласточками-береговушками, среди этих дырочек выдалбливая себе нору пошире.

Феликс Боярчик помогал тощему, седой бородой, скорее даже седой паутиной заросшему человеку, умело, по-хозяйски управляющемуся с ранеными и совершенно не способному к земляной работе. Феликс вымазался в крови, в грязи, успел поблевать, забредя в воду ниже каменистого мыска, на котором вразброс, точно пьяные, лежали трупы; их шевелило водой, вымывало из бурого лохмотья бурую муть, на белом песке насохла рыжая пена. Еще с суда, с выездного трибунала начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодяночкой не промывает, прямо-таки пронзает нутро. Умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так, замерши, и стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, кивая головой.

— Эй, юноша! — теребнул его за рукав тот, тощий, с седой паутиной на лице, — тебя как зовут?

— Феликс. Феликс Боярчик, — нехотя, почти невнятно отозвался Боярчик.

— А меня Тимофеем Назаровичем. Фамилия моя Сабельников. Такая вот боевая фамилия. Давай-ка, брат по несчастью, железный Феликс, укладываться. У вас давно это? — поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы Боярчика.

— Не помню. Кажется, с трибунала. Томили долго перед тем, как расстрел заменить штрафной.

— Да, да, это они любят. Это у них называется «нервоз пощекотать». Очень они юмор обожают.

Пробовали в две лопаты попеременно добыть одну нору для двоих. Но скоро Тимофей Назарович развел руками, и, пока Феликс углублялся в яр, напарник его рассказал о себе.

Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взросший в семье потомственных медиков, Тимофей Назарович Сабельников как-то не очень вникал в ход текущих будней, все убыстряющих свой ход, и по ходу этому все чаще и стремительней меняющих цвет так, что к началу войны из революционно-алых они одеялись уже серо-буро-малиновыми, если не черными. Перед ним мелькало, в основном, два цвета: белый — больничный, да алый — кровавый с улицы. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросили растелешенного человека, он не вслушивался в информацию, не вникал, что за раненый перед ним, он смотрел на рану и видел, что она смертельна. Однако человек еще жив, и можно попытаться спасти его. Начальник госпиталя, замполит, неизвестно зачем и для чего существующий при этом госпитале, где, как и во всех больницах и госпиталях, не хватало санитаров, сестер, нянек и другого рабочего люду, — внушали главному хирургу, что он берет на себя слишком большую ответственность, рискует собой, да это бы ладно — на войне все рискуют, он рискует репутацией полевого орденосного госпиталя. Непонятливому хирургу, наконец, разъяснили: раненый — командующий армией, как раз той армией, которой и принадлежит госпиталь, лучше бы его, раненого, от греха подальше, отправить на санитарном самолете в тыловой госпиталь, где не сравнить операционные условия с полевыми, — там все же профессура, анестезия, догляд...

— Но он же умрет дорогой, тем более в самолете...

— Возможно, возможно. На войне каждый день умирают, и не одни только солдаты...

— Но есть надежда. Маленькая, правда... нельзя терять времени... никак нельзя.

— Вы берете на себя ответственность...

Вопрос — не вопрос, наставление — не наставление, скорее — отеческим тоном произнесенное дружеское внушение.

— Беру, беру...

Командующий армией, довольно еще молодой для его должности человек, испустил дух на операционном столе. Начальник госпиталя, замполит и еще какие-то люди, зачем-то и для чего-то приставленные к госпиталю, умело устранились от ответственности. Сабельникова судили моментальным, летучим трибуналом, взяли под ружье. Тот же замполит, справный телом и чистый душой, в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали:

— Мы ли вам не говорили? Мы ли вас не предупреждали?.. — и на прощанье велели на дорогу снарядить доктору рюкзак, в который сунули две булки хлеба, консервы, бинты, йод.

— И эту вот клеенку, — расстилая в земляной норе исподомверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку, произнес Тимофей Назарович.

Они легли рядом, прижавшись боком друг к другу. Боярчик пробовал себя и доктора укрыть своей телогрейкой, ничего из этой затеи не получалось.

Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее сделалось реку, где ухали одиночный и несколько взрывов сразу, раздавались крики. После взрыва что-то шлепалось и шлепалось на берег, река, с ночи растревоженная, никак она не могла успокоиться, морщась, хлюпалась, поблескивала на отмелях, жевала берег, причмокивая. Туманом, все более густеющим, осаживало на избитую землю плацдарма серо-желтую муть, гасило цвета и запахи битвы, точнее, бойни, произошедшей на клочке истерзанной русской земли, где почти тысячу лет назад свершилось великое действие — крещение народа.

Тимофей Назарович привык в своем госпитале не есть и не спать, только работать, людей спасать, разговаривать с ними, успокаивать и утешать их говорком со спотычками от сбиваемого нездоровым сердцем дыхания и почти незаметной картавостью.

Еду и оружие штрафникам не выдавали. Еще вечером, за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки, перевитой сивыми нитками заморской консервы, кирпич хлеба, тоже на двоих, сунули, на этом все снабженческие действия и кончились. Оружие-то, конечно, выдадут, может быть, как харчи — на двоих одну винтовку и по одной обойме патронов на брата, да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника. Но вот насчет пожрать...

Феликсу не хотелось болтать, тем более рассказывать о себе, спать ему хотелось. Напряжение от переправы схлынуло. Землю копал, выдохся — это тебе не картинку в клубе рисовать, это фронт, война.

Тимофей Назарович ни с того, ни с сего заговорил вдруг о пташках, издырявивших берег реки, толковал, что ближние их родственницы — ласточки-белобрюшки — и вовсе из грязи строят свои подвесные домики, лепят их на строениях, ища от хищников соседства с человеком. Кто знает, чего и сколько переняли они у человека, пора бы и человеку перенять у пташек умение строить жилье из грязи и оставаться при этом чистым, веселым и дружелюбным. Феликс слушал говорок доктора, и виделись ему серые пятна отопревших от пара гнездышек над входом вонючей бердской казармы. Уже месяц, может, и больше, как улетели птички из Сибири, недавно улетели они и отсюда...

— Улетели вот птички-невелички в теплые края, до стрельбы, до битвы успели. Жизнь их похожа на веселое развлечение: кружатся над рекою от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки. Э-эх, кабы нам их крылья, да бескорыстие, да свободу — чтоб летать повыше, чтоб зениткой не достали...

«Птички вы, птички-невелички, как радостно знать, что и после нас вы останетесь, и после нас продолжится жизнь, да не такая, какую мы творим...»

— Я из рогатки с братанами береговушек сшибал, на реке Ляле... — вслух или уже во сне покаялся Феликс.

Кто-то сильно дергал Феликса за ногу, невежливо волочил из норки. Феликс проморгался на свету и увидел в устье береговой дырки какого-то командира с погонами.

— Эй, деляга! — вытряхивал из земли Феликса командир. — А где второй? Говорун-то, напарник-то?

— Тут был, — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатика, командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками: — Тут был.

— Затвердил, е-на мать, тут был, тут был. Он к фрицам умотал?! — спросил и одновременно утвердил командир.

— Тимофей Назарович не может к немцам. Счас! — Феликс сунулся в норку, выскреб из изголовья рюкзачок Сабельникова,

заглянул в него — ни бинтов, ни йода, ни санитарной сумки там не было. — Раненым он пошел помогать.

— К-каким раненым? Наши еще в бою не были.

— Для него все наши.

— К-как это? Он сектант, што ли?

— Доктор он.

— А-а, — протянул командир. — Есть тут всякие, да отчего-то не идут...

— Тимофей Назарович не всякий.

— Ты давно его знаешь?

— Второй день.

— Так какого ж голову мне морочишь? К немцам он умотал.

Феликс кивал головой, командир думал, что солдатик соглашался с ним. Да и зачем разубеждать человека, который себе-то не каждый день верит. Командир погрозил ему пальцем, поматерился и ушел. Солдатик залез обратно в норку, съежился в ней — одному холоднее, но малость угрелся, забывшись сном или тянучей, вязкой дремой, да снова его задержали, затеребили за ногу. Не хотелось шевелиться, не хотелось вылезать из гнездышка, в устье которого желто струился свет, кем-то или чем-то притемненный. Феликс подбирал ноги, утягивался поглубже в норку. Тащили, не отступались. Феликс вперед ногами выполз из земляного гнезда и увидел Тимофея Назаровича. Тощий, в остро обозначившихся костях, он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на когда-то взошедшем солнышке. Гимнастерка, галифе и два носовых платочка сохли, расстеленные на камнях.

— Вас же убьют. Маячите.

— Не убьют, не убьют. Супротивник сегодня не воюет. Выдохся. Спит. Боеприпасы подвозит... Очень много, знаете ли, раненых... По оврагам расползлись, умирают...

— Известно, раз бой был... Вас тут командир искал, грозился... к немцам, говорит, умотал.

— К немцам? Вот дурак!

Посидели, помолчали. Тимофей Назарович вынул из медицинской сумочки два сухаря, один подал Феликсу, с другим подсунулся к воде, разгреб ладонями грязно-багровую пену, размачивая сухарь, пояснил, что взял их в вещмешке убитого солдата.

— Мертвый чище живого, — сказал он и, глядя поверх воды, добавил: — очень, очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел...

Феликс отмачивал языком сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка с сухаря сгрызлась податливо, но под корочкой был закаменелый слой — зубам не давался.

— Феликс, я же не могу пойти к командиру в таком виде. Поищи ты его, может, мне дадут бинтов, ваты, я подсушусь и...

Боярчик совался в каждую земляную дыру, спрашивал командира. Из каждой норы на него по-звериному рычали, лаяли — народ в этой части не расположен был к дружеству. Не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкали вместе людей, чтоб они нежничали, рассиропливались, до первого и скорей всего до последнего для многих боя.

Странный, пестрый народ штрафной роты был всем чужой. Боярчик, вечно кем-то опекаемый, жалостью и вниманием всегда окруженный, чувствовал себя здесь совсем потерянно. Пытался молиться, взывать к Богу, как учила тетка Фекла Блажных. Бог услышал его, соединил на гибельном краю с Сабельниковым, с Тимофеем Назаровичем. Скорей всего соединил ненадолго, скорей всего до первого боя, в котором, Феликс точно знал, он непременно погибнет, потому что жить не хочет.

Странные люди и вместе с ними странный, отдельно существующий мир — открылись Феликсу. Большею частью офицеры, сведенные в штрафной батальон, пополнили штрафную роту, смешались с солдатней и бывшими младшими командирами — о должностях и о работе их Боярчик даже не подозревал. Здесь особняком держалась группа раскормленных, в комсоставское обмундирование одетых армейских господ, иначе их не называли. Они увидели ни много ни мало — целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии. Тысяч десять бойцов отправились на фронт в старом, бывшем в употреблении обмундировании, полураздетые, полуразутые. Целая цепочка жуликов образовалась в тылу, работала она нагло, безнаказанно, отправляя из запасных полков маршевые подразделения на рассеивание, развеивание, короче, на пополнение в действующие части, уверяя, что там их ждут не дождутся и как надо обмундируют.

Так оно и выходило: подваливали в места формировок боевые отряды обношенных, в лоскутке одетых бойцов, тут, в действующих армиях, матерясь, кляня порядки, их переодевали, проявляя находчивость, как-то вывертывались из положения. Жаловались, конечно, командиры соединений, докладные писали, но все это в кутерьме отступления где-то затеривалось, заглужало, да и потери в ту пору были так огромны, что хотя бы тряпья в тылу на всех хватало. И тогда-то, во дни самых тяжелых боев и горя людского, началось повальное мухлевание, воровство, нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили: немец Москву возьмет, немец победит, и, пока не поздно, пока царит неразбериха — начинай расхватуху.

Расхватуха ширилась, набирала размах, и однажды под Москву прибыла из Сибири и утопла в снегах одетая в летнее обмундирование, почти небоеспособная дивизия. От нее наступления на врага требуют, она же лежит в снегах, дух испускает, и не вперед, на Запад, но в Москву, на Восток идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей.

Вновь назначенный командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, мужик крутой, издерганный в боях, в латании горячих дыр и прорывов, которые он все затыкал, до черноты уже не опаленный, изожженный фронтовыми бедами, мотаясь по Подмоскovie, наводя порядок, попал в ту горемычную сибирскую дивизию. Видавший всяческие виды, даже он ахнул: «Вот так войско! Вот так боевая дивизия!»

Началось диво дивное: дивизия, несмотря на аховое положение на фронте, из боевых порядков была отведена в Перово, где ее обмундировали, подкормили, подлечили и к началу зимнего наступления ввели в бой. Тем временем началось следствие, и Жуков Георгий Константинович сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берией доложит о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу...

С прошлой осени — эвон сколько! Почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вшей из мотни солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты. На деньги играли. На плацдарме притихли, зарылись в землю,

сунулись в норы и ни мур-мур, понимали, что отдельной еды в этом гибельном месте им не добыть, в атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиришки ретиво и зорко следят за ними и никакого спуска не дают. Командир же батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет:

— Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! Заградотряд сзади с пулеметами поставлю!..

Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, свои же перестреляют, во-вторых, слух по фронту ходит: комиссаров, евреев и тыловых мздоимцев немецкие вояки стреляют тут же, на передовой, — таким образом наводят они справедливость в действующих частях, таким образом и наших ворюг уму-разуму учат. Немцы у немцев, однако ж, красть, обирать своих же собратьев не посмеют — это у нас: кто нагл и смел, тот и галушку съел...

Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами, отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоимстве, — надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, того задарить, такого-то и вовсе убрать — подвел под монастырь, стервец, понаговорил, понаписал...

Но командиры батальонов, рот, взводов, каких-то хозяйских шарашек, парковых батарей, технических служб, пекарен, санслужб, многие из которых в глаза не видели боя, крови и раненых, потерявшие в харьковской переделке имущество иль допустившие повальный драп, судимые трибуналом согласно приказу 227, принимали происшедшее с ними безропотно, как веление судьбы, кривой зигзаг ее. Конечно, надо бы здесь, на плацдарме, быть не им, а тем, по чьему приказу они влезли в харьковский котел, вовсе и не подозревая, что котел это, да еще такой агромадный! В нем сварится не одна армия, масса людей превратится в кашу, жидкую грязь, сдобренную мясом и кровью. Аж два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на казенный немецкий колпит. Не угодившие на казенные немецкие харчишки — к товарищу Сталину на правож поедут — тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупать, чем на доклад в Кремль следовать.



Один тут был занятный тип в танкистском шлеме, он его не снимал ни днем, ни ночью, реку переплывая, сохранил. Под рубахой, видать, держал. Рябоватый, долгошей парень с шало вытаращенными глазами, все время и всем козырявший, все время и всем рассказывал, как послали его танк в разведку, в ближнюю. Танк в ночи заблудился. Мало того, что танк заблудился, так и в плен чуть не угодил. Сам он — командир машины, родом с Катуня, с верховьев ее. А Катунь — что? Быстрина, напор, камень, скалы — красота, одним словом. А тут речушка на пути — переплюнуть можно, но влетели в нее и забуксовали. И чем дольше буксовали, тем глубже в илистое дно зарывались траки машины. Опомнились, зрят — на берегу немецкий танк стоит, пушку навел. Ну, какая тут война может быть? Вежливые фрицы трос подают, надо трос принимать. Бродят фрицы по воде, бродят иваны по воде. Очень всем весело. Трос короткий, с берега до танкового крюка не достает. Тогда полез и немецкий танк в воду. Рокотал, рокотал дымил, дымил, корячился, корячился — и тоже забуксовал. Все! Кончилась война! Отдыхай, ребята! У немцев шнапс велся. Распили его по-братски фрицы с Иванами, сидят, ногами в воде побулькивают.

— У нас, как известно, все делается для счастья советского человека, и вот воистину приспел ко времени лозунг — фрицы-то обогреваются в машине, по внутренней системе, отработанными газами, система же нашего обогрева что ни на есть самая древняя, с поля Куликова сохранившаяся, — печка, дрова. Зимой мы до смерти в танке замерзаем, летом от жары сознание теряем...

И вот — не было бы счастья, да несчастье помогло. Командир танка, непрерывно смотревший на три грушевых дерева, росших на берегу, что-то туго соображал и вспомнил, наконец, что в машине у него есть пила и топор, да и забарнаулил ликующе на весь фронт. Пошли иваны деревья валить, под гусеницы бревешки скатали и, помаленьку, полегоньку подкладывая покаты, вывели машину на берег. Немцы сказали: «Гут» — и безропотно приняли трос с русского танка.

Вот это событие! По всему фронту пронеслось, как русский танк пленил немецкий танк. Армейская газета под названием «Сокрушительный напор» карикатуру на первой полосе поместила, стихи сочинила, экипаж машины был весь к награде представлен.

На этом вот мажорном аккорде победоносной истории и закончиться бы. Да ведь у нас как повелось: хвалить, так уж до беспамятства, ругать, так уж до хрипу. Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку и культурно там отдыхать.

— Поехали. Хату нашли с жинкой и с голосистой дочкой, пили, ели, песни пели, ну и всякое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще умишком слабененькая, все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Пела, правда, здорово. Как грянут дочка с маткой: «Ой, нэ свиты, мисяченько», — аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило, решили они еще горючки промыслить, водитель, смурный, не проспавшийся, вместо того чтобы вперед ехать, дернулся назад, в стену хаты танком долбанул, а когда отъехал, видит: девчушку, певунью-то, размичкал... Чего она за хатой, в садочке делала? Скорей всего пописать меж машиной и стеной присела — беду не надо кликать, она сама тебя найдет...

— И тут мы все запаниковали — что делать? Водитель, никого не спрашивая, влево, вправо и вокруг вертанул гусеницами — прикопал девчушку. Драли мы из деревни. Не нашли бы никогда ту бедную певунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я, как командир танка, пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчиков, в штрафную и запятели. Водитель погиб в первом же бою. Меня, окаянного, и пуля не берет...

Нашел Боярчик взводного по сапогу, по кирзовому, из коры он торчал, вовнутрь стоптанный. Подергал за сапог, взводный ноги под себя убрал: «Какого надо?» Боярчик сказал, что Сабельников сам прийти не может, постирался он, в одних кальсонах гарцует. Тогда взводный катнул вниз две пухлые сумки с нарисованными на них крестами и сказал, чтобы Тимофей Назарович развертывал медпункт на берегу, в санитары взял бы себе его, Боярчика.

— И пусть не бродит! — донеслось из недр земли, — не расходует зря медикаменты. Под расстрел попадет.

«А пожрать?» — хотел спросить Боярчик, но по лютости голоса взводного и хмарности совсем угрюмых матюков понял, что громило-командир тоже не жравши существует.

Не успел Феликс вернуться к своему гнездовью, как закружилась над плацдармом «рама». Зайдя от реки, «рама» пошла в пологое пике, со свистом, с шумом пронеслась над землей, заложила поворот и, чем-то щелкнув, словно желтая гусеница, выделила из себя белые личинки. Личинки начали множиться, рассыпаться, зареяли в небе, закружились. Листовки упали на плацдарм и поплыли по воде, затрепыхались по кустам бабочками, заподлетали по речке Черевинке. Доктор велел Феликсу подобрать одну листовку и прочел ее вслух. «Буль-буль!» снова сулились сделать русским очень скоро. За то короткое время, что прошло с момента начала переправы, даже геббельсовские разворотливые пропагандисты не могли отпечатать листовки, доставить их на аэродром и загрузить в самолет, значит, подготовили агитационную продукцию заранее — какой все же предусмотрительный народ — немцы!

Тимофей Назарович обрадовался сумкам с медикаментами и развел руками на предмет — «развертывать медпункт».

— Где и чего развертывать-то? Тем более что сейчас непременно налетят самолеты.

И только он так сказал, вдали, за бугром высоты Сто, в небе, запорошенном поднявшейся копотью и пылью, мощно загудело, в прахе том, с земли поднявшемся тетрадными крестиками, обозначились самолеты. Тимофей Назарович собрал свои недосохшие пожитки, юркнул в нору. Феликс еще посмотрел на самолеты, грузно перевалившие за реку, где по ним замолотили зенитки и более уж не умолкали до конца бомбежки. С чистого края неба самолеты пошли над рекою в пике, высыпали бомбы, и те, что разрывались на каменном берегу, звучали особенно резко, клубились ядовито-красным огнем, разлетались белой окалиной камни, вмиг отгоревшие в известку. Белое крошево, долетая до середины реки, с шипением бурлило и трескалось, большинство же бомб угодило в овраги, эти грохоту давали мало, зато землю раскачивали, что зыбку, высоко выбрасывало из расщелин сухие комки. Пыль, тоже рыжая, смешалась с темной завесой дыма, и над плацдармом уже весь день, не оседая, висел грязновато-бурый занавес, сквозь который едва прожигался мерклый желтышок солнца.

С этого дня, с этого полуденного часа, самолеты противника почти не покидали небо над плацдармом. И всякий раз, будто

парнишки, опоздавшие к началу драки, на ходу поддергивая штаны, появлялись советские истребители, храбро бросались вдогон фашистским бомбовозам, строчили по ним, взмывали вверх, кружились и, возвращаясь за реку, непременно покачивали над плацдармом звездными крыльями, все, мол, в порядке, родные наши товарищи, отогнали мы врага, поддали ему жару и пару.

Батальон капитана Щуся рассредоточивался по оврагам и закреплялся. Разведчики выяснили, где он, батальон, есть, какого места достиг без боя, скрытно проникая в глубь обороны противника, устанавливали связь хотя бы с помощью рассыльных со штабом полка и подбирали отделения — остатки взводов и рот, бойцов, что потерялись, отстали, заблудились ночью.

Нашли и роту Яшкина, остатки ее, восемнадцать человек. Володя Яшкин, за ночь постаревший лет на двадцать и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися, красными глазами, потряхивал головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане.

«Часы, — и показал на вырванный осколком мины клок гимнастерки, — в часы угодило», — и только после этого доложил, что задание выполнено. Рота Яшкина продержалась до переправы, но взвод разведки не спасла, от него осталось человек пять; в роте Шершенева тоже не больше десятка бойцов уцелело. Сам Шершенев тяжело ранен, а его, Яшкина, и черти не берут. Попив родниковой воды, Яшкин, словно просыпаясь, огляделся, еще раз приложился к котелку, допил воду — видно было, как освежается испеченное чрево человека холодной, чистой водицей. Даже есть не просил Яшкин, ничего не просил. Он посидел на окаменелом комке глины и, запьянев от родниковой воды, неожиданно скосоротился:

— Если мы так будем воевать, нам людей до старой границы не хватит. — И тут же закатился за ком глины, свернулся в комочек.

Щусь прикинул Яшкина телогрейкой, рывкнул на кого-то, угоня подальше, долго глядел, как из широкого устья оврага, заткнутого белым помпоном тумана, возникают и устало бредут люди, полураздетые, без оружия и боеприпасов. По приказу комбата и ротных командиров людей заставляли вернуться на берег, взять оружие и патроны у мертвых, достать со дна реки, украсть, раздобыть какими

угодно способами боевое снаряжение — батальон не богадельня, ему нужны боеспособные люди, но не стадо безоружных баранов.

С того памятного дня, с первого, незабываемого дня на плацдарме началось воровство оружия, боеприпасов и всего, что плохо лежит. Пойманного лиходея стреляли тут же, на месте действия, но воровство не унималось. С прибытием на плацдарм штрафной роты и каких-то иных вспомогательных сил оно принимало и вовсе бедственные размеры.

Когда батальон ночью двигался в глубь правобережья, Щусь, чтобы внезапно не напороться на немцев, все время посылал вперед разведчиков и одному взводу приказал продираться по ходу слева, параллельно волокущемуся, то и дело запинаящемуся за комки, со звяком падающему, матерящемуся воинству. Боком чувствуя горячее, минуя расщелины, где засел, рассредоточился и густо палил по переправе противник, сторожко двигающаяся сила невольно отодвигалась в сторону от жгущегося места и нигде не встречала заслона. «Повдоль берега нет плотной обороны!» — открыл Щусь. Немцы все силы сосредоточили именно там, где будут переправляться наши войска. Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага, как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину, каковой она была и у фашиста, и у советов — войска валили, валили через реку по ранее разработанной в штабах диспозиции, в ранее на картах размеченные пункты сосредоточения — «быть к утру в указанных местах, оттеснить противника туда-то и на столько-то, занять оборону в надлежащем районе — точка!»

Еще ночью достигнув северного ската высоты Сто, уточнив по карте, что именно та, нужная перед батальоном высота, для верности убедясь в этом с помощью разведки, Щусь послал пару боевых разведчиков в штаб полка с просьбой изменить направление главного удара: всем полком, оставив заслоны, пройти по следам первого батальона, неожиданно, с тыла ударить по противнику и занять господствующую высоту, таким образом сразу углубив плацдарм до двух километров. Но в ответ получил от командира полка нервно писанную, трубкой прожженную писульку: «Нишкни! Выполняй свою задачу!..»

Задача у первого батальона очень простая: пройти как можно глубже по правобережью, закрепиться и ждать удара партизан с тыла и

десанта с неба. Когда начнется операция партизан и десантников, первому батальону надлежало вступить в бой, наделать как можно больше шума и гаму в тылу противника, соединяясь с партизанами и десантниками, продолжить наступление в глубь обороны немцев, с охватом его левого фланга, с дальнейшей задачей отрезания и окружения группировки, пытающейся опрокинуть наши войска в реку. Оставалось только одно: как можно больше принять, наскрести под свое начало, пусть мокрых, перепуганных славян и как можно скорее получить конец связи с левого берега и ждать, ждать, не пуская вражескую разведку в места сосредоточения батальона.

Но связи не было, и по стрельбе, ширящейся на берегу, комбат понимал, что его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой и в одиночку, бойцов на берег передать, чтобы воинство, переправившись, уходило по оврагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты Сто, где торопливо, даже неистово работала лопатами пехота, чувствуя опасность и зная, что основное от него, от врага, спасение — земля.

Володя Яшкин, открыв рот, сиплым дыханием шевелил в углу губ клочок грязной пены, в которую лезли и лезли, увязали и увязали в ней мелкие земляные муравьи. Комбат, глядя на своего ротного, соображал, как дальше жить. Ведь он настаивал, чтобы вслед за первым взводом, за первой ротой не гнали за реку табуном полк и отдельный его батальон, дали бы артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу, противнику потешиться, расстреливая передовые части, израсходовать боекомплекты. Воевать при нарушенной связи, разобщенно, в ночи, немец смерть как не любит. «Да-да-да!» — соглашался командир полка Бескапустин, но тут же тряс головой, говоря покорное «да-да-да!..» штабникам и новому командиру дивизии, требовавшему одновременного, мощного удара по врагу с фронта в лоб.

— Товарищ полковник! — толковали комбаты командиру полка, — не получится одновременного мощного — река! Ночь. Надо в передовые отряды отбирать тех, кто хоть мало-мало умеет плавать, кто бывал в боях, кто обстрелялся. Не надо всем табуном брести в воду, не зная броду...

— Да-да-да! Вы правы, ребяташки, вы совершенно правы...

Но «ребятушки» знали заранее: погонят войско, стадом погонят в воду, в ночь, и там не умеющие плавать люди станут тащить за собой на дно и топить умеющих плавать. Необстрелянные бойцы, хватив студеной воды, ошалев от страха, утопят оружие, побросают патроны, гранаты — все побросают.

С рассветом было подсчитано и доложено: у северного склона высоты Сто собралось и окапывается четыреста шестьдесят боевых душ.

Не было никакой неожиданности для комбата Щуся, но он все же качнулся взад-вперед и глухо простонал, услышав цифру четыреста шестьдесят, четыреста шестьдесят... Ну, выковыряют парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и закуткам, насобирают еще человек двести... Это из трех-то тысяч, назначенных в боевую группу.

«Боже мой! — металось, каталось, гулко билось в черепе комбата смятение, — каковы же тогда потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую, лез на крутой берег? Ох, Володя, — отирая тряпицей рот Яшкина, облепленный мертвыми мурашками, будто слоеный пирог маком, — нам не то что старой границы, нам... Да не-эт, — убеждал себя комбат, — тут что-то есть, какой-то хитрый замысел скрывается... Ну не сорок же первый год — чтобы гнать и гнать людей на убой, как гнали несчастное ополчение под Москвой, наспех сбитые соединения, стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника. Повоюем, повоюем, братец ты мой, — потирал руки комбат. — Вот партизаны ударят, десант с неба сиганет, боевой наш комполка связь подаст...»

Но связи не было, и от «художника» ни слуху, ни духу. Проныры-разведчики, шарившие по окрестностям, приволокли рюкзак падалицы — груш и яблок, — обсказали, что разведали: родник бьет из склона высоты Сто, затем он делается ручьем. Немец по ручью ведется, но редок и спит. Уработался. В устье речки-ручья, называемого Черевинкой, обосновались артиллеристы с майором Зарубиным во главе. Майор ранен. У артиллеристов есть связь с левым берегом и с обоими штабами полков.

Щусть встрепенулся:

— Кровь из носа, поняли?!

— Это далеко, провода не хватит.

— Сами в нитку вытягивайтесь, но чтобы связь к артиллеристам была подана.

Заспавшиеся, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих Щусь помнил — ничего ребята, исполнительные, в меру рисковые. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, свойски улыбающегося исшрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчей отмеченным лицом — комбат вроде помнил и вроде не помнил.

— Пойдете все. — Глядя на катушки, жестко заметил: — поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, пользоваться трофейным проводом...

— Но не хватит же, — снова начали шапериться связисты.

— Как твоя фамилия? — спросил потасканного связиста комбат.

— Шорохов.

— Так вот, товарищ Шорохов. Класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки. То есть вырезать куски из соседней линии — ни Боже мой, тырить можно только у своих.

— Понятно. У фрица из линии выхватить нельзя. А если целиком катушку с проводом сбондить?

— Ох, и догадливые вы у меня! — похвалил всех связистов разом комбат, и они расплылись в довольнехонькой улыбке, започесывались, проснулись окончательно, мы, мол, орлы, хоть с виду и простоваты...

Комбат знал эту российскую слабость: хвали солдата, как малое дитя, — толку будет больше.

— Когда закончите самую главную на сей час работу, са-мую главную, — отдельно повторил комбат, — двое, ты, Шушляков, и ты, Кислых, — возвращайтесь сюда, но уже через штаб, с приказаниями комполка. Шорохов остается на берегу для постоянной связи с артиллеристами. Ясно?

— Как не ясно? А кто кормить меня будет?

— Командование Красной Армии всех нас кормить будет. — Щусь загадочно усмехнулся, — но скорее всего вечный наш кормилец — бабушкин аттестат.

— Вот теперича совсем все ясно! — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твердо про себя решив, что на



командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плошать.

В этом батальоне Шорохов был совсем еще мало, в упор с комбатом встретившись, узнал того помкомроты, что щегольством своим удивлял бердский доходной полк, и если Щусь его не узнал — хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает — еще лучше. И еще Зеленцову-Шорохову очень понравилось, что комбат помнит своих связистов пофамильно, рядовому солдату нравится, что его лично помнят, жалеют и берегут. Он от этого как бы вырастает в собственных глазах.

Мансуров, посланный на поиски связи с родной пехотой, — парень ходовой, ловкий. Увернувшись от пулеметной очереди, почти тут же нарвался на очередь из автомата, запал в канавке, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Сразу же замелькал огонь, зашевелили, выбили из глины пыль частые пули. Огонек дрожал в дырчатом чехле, автомат частил и как бы прищептывал губами, выплевывая скорлупку орешков — палили из пэпэша.

— Эй, вы! — крикнул Мансуров, — че патроны зря жгете? Небось уж диск пустой?

Примолкли. Перестали стрелять. Во тьме, совсем неподалеку сдержанный говор — шло оперативное совещание Иванов, по слуху — двух.

— Кто будешь? — послышалось наконец.

— Бескапустинец. — Давно уже в шуточный пароль, в солдатский афоризм превратилась, своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка. Комполка об этом наслышанный, хмыкал, довольнехонько крутя головой: «Вот художники! Н-ну, художники!»

— Ляжь на место! — приказали Мансурову и, тактически грамотно окружая его, с сопением, с кряхтением, с двух сторон подползли два бойца.

Мансуров похвалил их за смекалку, что не вместе, не дуром лезли к нему, но попало им за то, что патроны жгут неэкономно. Два бойца блуждали в ночи и тоже искали своих. Мансуров попробовал спровадить их к народу, в устье речки, они ни в какую и никуда не хотели уходить, сказали, что уж под обстрел попадали не раз, и на немцев нарывались, те с испугу завопили: «Русс, капут! Сдавайся!»

— Фиганьки им! — резонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. — Ероха им кэ-эк катанул картоху! Кэ-эк шарахнуло — аж к нам землю аль фрицево говно донесло... А мы тикать. Бегали, бегали, кружили, кружили — ночь жа. Порешили до утра не бегать — наши с перепугу, знаш, как палят?! Обидно, коли свои жа и убьют.

Двое этих неутомимых, боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он по верху берега не лазил, — осветят и застрелят. Остается только одно: лежать в земном укрытии до рассвета.

У бойцов было курево и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул — втроем любое дело легче делать — и еще поверил, что встреча с этими, беды не чувствующими солдатами сулит ему удачу. Мансуров как старший по званию подчинил бойцов себе. Ребята рады были любому человеку, тем более командиру, охотно пошли под начало сержанта и, покурив, отдышавшись, двинулись следом за ним.

Раза два они попадали под всполощенный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму Черевинки, где, озаряя пляшущим, почти белым огнем, кусты краснотала, будто в бухтах проволоки, рычал пулемет, лепя вслепую вдоль ручья.

— Наш это, — тихо сказал Мансуров.

— Откуль там нашему-то быть?

— Заблудился, небось, и палит со страху, как вы палили по мне. Эй, славянин! — громко крикнул сержант. В ответ из затемнения речных кустов так уверенно шаркнула очередь, что Мансурова и спутников его мгновенно нынесло из поймы Черевинки. Тут же от устья речки окапывающиеся там бойцы вlepили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблеял, пулемет умолк.

Мансуров с солдатами рванул от речки подальше. Запоздало секанула по ним автоматная очередь, и потом еще лупили то там, то тут вдоль речки обеспокоенные немцы, но на берег, к воде не совались. В речке поредело грохотали взрывы. Иногда они угадывали по верху, и тогда с яра сыпало камнями, комьями земли и что-то долго шлепалось в воду. Работала десятая батарея. С левого берега устало, как бы по обязанности, рассредоточенно вела огонь дежурная батарея дивизиона девятой бригады, по рву, по высоте Сто, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых.

Шестаков спустил лодку ниже устья Черевинки, приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся от инея осокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолеты заметят, — расщепают.

«Ну да сослужило корыто боевую службу, и на том спасибо!»

Не знал, не ведал в ту минуту Шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр, где, всхрапывая, работали лопатками несколько бойцов. Бойцы все появлялись и появлялись из огня-полымя, будто нюхом чуя своих и что есть в этом месте командир. Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника, — одиноко, заблудно. Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, глубже вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижиных.

«Ну, война! Ну, война! — ахнул Лешка. — Ведь никто не учил, не школил — сами смекнули, какой тут профиль щелей требуется».

Он и себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего, пожилого бойца. Как оказалось из разговора, который вели они приглушенным шепотом, Финифатьев родом с Вологодчины, из села Кобылино, колхоз он, как парторг, поспособствовал назвать имени «Клары Цеткиной». Переправлялся он с отделением боепитания на смоляном, полукилевом баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатьева — потомственного рыбака с Бела озера, да и то с северного его края, где ни огурцов, ни помидоров не росло, даже картошки с редькой не каждый год удавались из-за излишней сырости и ранних холодов. И мудрый Финифатьев чуть было не привел баркас, полный боеприпасов, к цели, потому что не спешил с ним. Дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся в овраги, в схватке сойдутся вплотную с противником, он и прошмыгнет с судном из-за охвостья острова.

Кто же знал, что эти гады зажгут остров, что опечков песчаных в протоке — что лягух на вологодском болоте. Посадил баркас Финифатьев и был вскорости с судном обнаружен. Уж и задали им жизни. Уж и потешились фрицы! Однако люди с баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности, с личным оружием, с лопатами и еще даже прихватили с собой пулемет, ящик патронов да ящик гранат.

Хоть и говорил Финифатьев, стараясь это делать как можно тише, майор все же услышал его круглый, сыпучий говорок.

— Эй, солдат! Как тебя? — позвал его майор.

— Финифатьев я. Сержант. Вы кто будете?

— Майор Зарубин. Александр Васильевич. Родом буду владимирский, сосед ваш.

— Сосе-ед?!

— Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец. Утро скоро...

— То-то и беда, что утро. Немец приутих. Утомился расстреливать русско войско. Отдохнувши, примется добивать на суше...

Помолчали.

— Бог даст туману, — выпыхтел Финифатьев.

— Коммунист, небось, а приперло — и к Богу.

— Да будь ты хоть раскоммунист, к кому же человеку адресоваться над самою-то бездной. Не к Мусенку жа...

«Проницательный народ — эти вологодские», — сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал.

— Ранены? — майор не ответил.

Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился:

— Э-э, да в мокре... Не дело, не дело это. Счас я, счас. Как знал, шинельку сберег. Над головой ташшыл, и... баркаса не кинул. — Финифатьев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя — пусть сохнет на теле — больше негде сушиться одежде. — А я — мужик горячий, хоть и северной. Шестерых робят вгорячах сотворил!.. Ишшо бы дюжину слепил, да харч-то в колхозе какой. — Финифатьев колоколил, но о деле не забывал. — Э-эй, робяты! Промыслите товаришу майору сухой подстилки.

— Сейчас бы нам полковника Бескапустина промыслить, — тоскливо сказал майор.

И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым, сбродным прикрытием, как рассветет, им тут придет хана.

Догорала на острове растительность и земля, выхватывая отсветами покинуто темнеющий баркас. Уже не слаженно, угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия, и, почти не отмечаемые

слухом, рвались снаряды по-за берегом. По воде брызгало и брызгало пулями. Слабые крики доносились из тьмы. Трассирующие пули, играя рыбками, погружались вглубь. На левом берегу, за рекой, краснея угольками, светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей, провоцируя артогонь по догорающим остаткам человеческого прибежища.

Под навесом яра прижало белесый чад разрывов, угарно-вкрадчивым духом тротила забивало дыхание. Но от реки, от взбаламученной воды наплывала холодная сырость. По камешнику, по прибрежной осоке, проявляясь блеском во тьме, начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать, ненадолго обозначились сверху предутренние, мелко мерцающие звезды и ноготок луны. Явление Божиих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что все в мире пережило катастрофу, все перевернулось вверх тормашкой, рассыпалось, задохнулось и само небо истекло. А оно живо! Значит, и мир жив! Значит, оторвало от земли, будто льдинку, клок этого желто-бурого берега и несет в гибелью веющее пространство.

— Морось пошла, туману Бог даст, — ворковал поблизости вологодский мужик, — ну и што, што месяц. Осень на дворе, холод на утре. Будет, будет морок...

Майор Зарубин угрелся, начал задремывать под говорок общительного белозерского мужика, но опять поднялась заполошная стрельба, послышалось: «Да не палите вы, не палите, дураки!»

Загрохотали кованые каблуки ботинок по камешнику в речке. С немецким постоянством полоснуло по камням, взвизгнули пули, взъерошило воду в реке. Дежурный пулеметчик бескапустинцев, а им оказался Леха Булдаков, врезал ответно по огоньку немецкого пулемета — в пойме послышался собачий вой.

— У бар бороды не бывает! — удовлетворенно молвил пулеметчик.

Финифатьев, только что взывавший к Богу, ласково запел:

— Так их, Олеха! Так их, курвов!

Булдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует от него вознаграждения.

— Где же я те курево-то возьму, Олеха?

— Не мое дело! Ты — командир. Обеспечь!

Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежало несколько человек. Треск и скрип слышно было — вроде бы как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору.

— Мансуров?

— Я. Жив. Все живы. Вы, товарищ майор, как? — увидев, что майор поднят повыше, лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели, Мансуров удовлетворенно произнес: — Добро! Вот это добро! — Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил: — Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота дала конец. И еще я прикрытие привел, небольшое, правда...

— Да! — вскинулся майор Зарубин, забыв, что он в норе, и ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкнуло у него в глазах.

Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке.

— Да лежите вы, лежите. Полковник ждет.

Майор принял холодными, дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил: старый трофейный аппарат, — и, прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал:

— Ну, Мансуров! Ну, дорогой Иван, если выживем...

— Да что там? — отмахнулся Мансуров, — скорее говорите.

Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж и далеко, и от немцев близко — метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет, да в этих оврагах ее и не будет. Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе — и Бог миловал — ни одной гранаты на уступ не залетело, все скатываются на дно оврага, там и рвутся. Но по оврагам валом валит переплавляющееся войско, немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходят — к утру будет легче.

— Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, — мрачно пошутил комполка Бескапустин.

Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и подсоединившимися к ним пехотинцами, если смотреть от реки, — на самом краю правого фланга плацдарма и,

вероятно, его-то правый фланг в первую очередь и шуранут немцы — чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту же, просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают, знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще, немцы, кажется, собою довольны — считают переправу сорванной и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут.

— А нам бы баркас, барка-ас к берегу просунуть! — простонал Бескапустин. — В нем наше спасение. Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно.

— Ваш сержант Бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна.

— Ой, майор, майор, шуточки твои... Как бы тебя на ту сторону отправить?

— Это исключено. У меня в полку нет заместителя, я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите наметки на карте. Сигналы ракет те же? Я должен знать, где сейчас наши.

Бескапустин передал данные, в заключение фукнул носом:

— Как это не на чем плыть? У вас же лодка!

— О, Господи! Лодка! Посмотрели бы на нее...

— А, между прочим, почти все наши славяне о ней знают — это такая им моральная поддержка.

— Ладно, полковник. Как Щусь? Как его группа?

— Там все в порядке. Там задача выполняется четко.

В это время в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная. Но щелкали и из пистолета, ахнул карабин.

— Стоп! Не стрелять! Что за банда? — забыв отпустить клапан трубки телефона, заорал Бескапустин, — фашистов тешите? Темно! Темно! А нам светло?! Докладывайте!

Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и осветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег с шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара, попоросячьи взвизгнув, жажнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой, работать-то все равно надо было.

— Осторожнее с огнем, робяты! — предупредил Финифатьев. — Не сердите уж его, окаянного. Он и без того злобнее крысы...

Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы меньше делается лицо майора, под глазами, над верхней губой и у ноздрей, на лице уже и земля выступает.

«Пропадает Александр Васильевич... пропадет, если застрянем здесь...»

Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену щекой.

— Вызывай наших, Мансуров. Я пока отдышусь маленько.

Но, удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Понайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, веками отработанные артиллерией, и после, когда Зарубин говорил с командирами батареи своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить с отмели баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг девятой хорошо знал Зарубина и, когда кончился официальный разговор, спросил:

— Тяжело тебе, Александр Васильевич?

Майор Зарубин насупился, запокашливал:

— Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось...

— Все мы тут не спим, все переживаем за вас.

Командир девятой бригады не был сентиментальным человеком, на нежности вообще не гораздый, и если уж повело его на такое...

— Спасибо, спасибо! — перебил комбрига Зарубин. — Всем спасибо! Если бы не артиллерия... — майор знал, что во всех дивизионах, на всех батареях сейчас телефонисты сняли трубки с голов, нажали на клапаны: все бойцы и командиры бригады слушали с плацдарма тихий голос заместителя командира артполка, радуясь, что он жив, что живы хоть и не все, артиллеристы-управленцы исправно ведут свое дело, держатся за клочок родной земли за рекой, с которого, может быть, и начнется окончательный разгром врага. Если он тут не



удержится, то негде ему зацепиться, до самой до Польши, до реки Вислы не будет больше таких могучих водных преград.

— Слушай! — возбужденно закричал Бескапустин Зарубину. — Все ты, в общем, правильно наметил, остальное уточним утром. Сейчас главное — не бродить и по своим не стрелять. Твои художники-пушкари напали тут на нас! И чуть не перестреляли...

— Какие пушкари?

— Да твои. Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были, все тебя искали. Во, нюх! Один из них как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал...

Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда не к разу и не к месту. Происходя из володимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благодное и оттого не совсем вежливо оборвал полковника:

— Дайте, пожалуйста, старшего.

— Даю, даю. Вон руку тянет, дрожмя дрожит, художник. Больше фашиста тебя боится.

«Да что это с ним? — снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню комполка, — отчего это он взвинчен так? Уж не беду ли чует?»

— Товарищ майор! — ликующим голосом, твердо напирая на «щ», закричал лейтенант Боровиков — командир взвода управления артполка, правая рука майора. — А мы думали...

— Меня мало интересует, что вы там думали, — сухо заметил Зарубин, — немедленно явиться сюда! Вычислитель жив?

— Жив, жив! А мы, понимаешь, ищем, ищем...

— Прекратить болтовню, берегом к устью речки! Бегом! Слышите — бегом! И не палите — здесь везде народ.

— Есть! Есть, товарищ майор!

«Ишь, восторженный беглец! — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. — Так радехонек, что и строгости не чует...» — Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. — «Чего доброго, попадут не под немецкий, так под наш пулемет...»

— Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен — времени не было, да и на немцев в оврагах немудрено нарваться.

«Резонно!» — хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться. Втроем они побежали, заныряли от взрывов по берегу, густо и бестолково населенному, — переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали, большей частью рвались в воде, оплухивая берег холодными ворохами, грязью и камнями. Но минометы клали мины сплошь по цели — в людскую гущу.

— Уходите из-под огня в овраги. В овраги уходите! — не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра.

И по берегу эхом повторилось: в овраги, в овраги...

— Суда! Суда! — звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся, — вояки они были уже тертые, кричали вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые, широкозевые, дымящиеся устья оврагов, в расщелье одного, совсем и неглубокого овражка запали: — Суда, суда, товарищ сержант! — позвали и передали из рук в руки телефонный провод.

— Может, немецкий? — не веря в удачу, засомневался Мансуров.

— Щас узнаем, — прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал: — Эй, постовой! Есть ты тут?

— Е-э-эсь! Да не стреляйте! Не стреляйте! Что это за беда? Со всех сторон все палят. Кто такие?

— Бескапустинцы!

— Тогда валяйте сюда. Да не стреляйте, говорю, перемать вашу! — ворчал в углублении оврага дежурный. — Головы поднять не дают, кроют и кроют... — И дальше, куда-то в притемненный закоулок оврага доложил; — Товарищ полковник, тут снова наши причапали!

## День второй

На утре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязице, продырявленный, щепой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в золе корешки и кучами желтели треснувшие от огня, изорванные трупы людей.

«О, Господи, Господи!» — занес Финифатьев руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах.

— И экое вот люди с людьми утворяют? — угрюмо молвил пожилой солдат Ероха.

Он не успел кончить фразу: и баркас, и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты Сто пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты попадали в грязь, под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая в воздух жижа и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лилась мутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать: «Братцы! Братцы...»

Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопной, ослизлой тварью из протоки на берег лез раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку — может, какие санитары подберут. Да что-то не видно санитаров на плацдарме и не слышно никакой медицины. Ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно. Бойцы взяли на горбы по ящику с патронами и гранатами, мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о баркасе, обрадовался.

— Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба напрямки к Зарубину.

— А где напарник раненого Ерохи? Родионом, кажись, зовут?

Родька, с разбитым, черно провалившимся ртом, со слипшимися от крови губами, немо откликнулся. Ему обсказали о друге его, Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника, руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы все плотнее и плотнее к навесу яра пускали мины и, не переставая, лупили в протоку, в мертвый остров. Одной, совсем уж шалой миной взрыхлило и откинуло сухую глину на прикопанном солдате, обнажило грязное, мокрое туловище Ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой.

По берегу, где кучно, где вразброс, валялись сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули меж камешков, в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он-то уже не знает — похоронен, прибран ли — ничего не чувствует, не ведает, не боится.

\* \* \* \*

На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки: одна на корме с веслом, другая на лопашках. Лодка пристала в устье речки Черевинки, девки представились; Неля и Фая, приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лахонина.

— Где он есть, этот Зарубин?

Фая и Неля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют, да приказ есть приказ — велено раненого взять, значит, надо брать.

— Здесь я, здесь, — отозвался майор из ниши. — Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите. А я еще ничего, да и замениться некем. Я подожду.

— Ну, как знаете, — сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную сигарку.

У лодки распорядилась Фая — прибранная, черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал не помогал, но балаболит: «У бар бороды не бывает», — Леха Булдаков, однако скоро убедился, что не будет ему здесь успеху, подсел к Нельке:

— Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется, аж ночевать негде... — Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по Лехе — наглая, ширококоротая рожа, нос картофелиной рос да ножкой гриба подосиновика оборотился, еще и молотили на этой роже чего-то, скорее всего бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться недосуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову: «Отсыпь», — и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более, чем надо, — брели, ползли, ковыляли.

— Нужен мужик покрепче! — властно сказала Нелька и, сдернув с себя плащ-палатку, укрыла ею раненых. Сделалось видно теплую безрукавку, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры.

«Лейтенант!» — отметил Леха Булдаков и с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал и попробует ли, на этом плацдарме положительно не решишь.

— Так, значит, не поплывете, товарищ майор? — занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходом бросила: — Ну, как знаете! — и под нос себе: — герой, едрена мать. А ну, кавалер, толкни! — приказала она Булдакову.

«Во, баба! Во, бомбандир!.. Ну нету время поближе познакомиться» — наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков.

Как только тяжело груженная лодка зашорохтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава Богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненного в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со взводом, — даже не шевельнулись, не поклонились визгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня.

— Не чеши муде-то, не чеши, — проворчал из-под земли Финифатьев, — девкам плавать да плавать, пулемет мешат. Што как заденет?

— Де-эд, я один на фронте? Хер с им, с тем пулеметом!

— Хер с им, хер с им! А сам перед ей хвост распустил: «У бар борода не бывает, у бар борода не бывает...».

— И не зря! Табачком вот разжился! Она б тут на часок обопнулась, дак и ишшо че-нить выпросил бы.

— Ох, ох! Так уж бы вот и выпросил?! Вопше-то про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартейнай: «Нет таких крепостей, каки бы большевики не взяли!» Давай суды табак, в кисет ссыплю. А то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать.

— Насобираешь тута! Де-эд, в кишках вой — жрать охота.

— А поди, поди по речке, рыбки пособирай, яблочков, пулемет-то попутно и засечешь.

— Де-эд, а убьют.

— Ково-о-о? Тебя? Не смещи-ко ты ие, она и так смешна.

— Де-эд, ково ие-то, поясни.

— Я те, маньдюку, поясню, я те поясню. Рыбки насбираш, сварим, пока туман, у меня сольца припрятана.

— Э-эх, де-эд, дед, никакого в тебе сочувствия. Сплотатор ты, хоть и коммунист. — С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра.

Оказавшись в речке Черевинке, зорко огляделся, еще бросок сделал — и никто бы сейчас не узнал в этом, еще минуту назад ваньку валявшем, оболтусе, лениво препиравшемся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился и кошачьи-гибок, стремителен сделался.

Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Финифатьева, упал спиной к осыпи, выпустил дух: «У-уффф! Ну, война...»

В мешке Финифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала Черевинка к устью, и сразу тогда бросалось несколько человек за теми яблочками, и не одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин, Финифатьев возликовал:

— Олех! А картошки-те где взял? Бог послал, аль по огородам лазал?

— Бог, Бог... Он пошлет!.. Ручей этот вершиной задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал. А пулемет не нашел. Молчит, падлюка! Нажрался и спит, небось. А тут голодный воюй и промышляй, лодка приплывет — палить начнет. Ты вот командир боевой, нет, чтобы шумнуть тута, немца потревожить, залез в землю и бздишь горохом.

— Хорошо бы горохом-то — фриц бы сразу отступил.

Финифатьев гоношился под яром, огонек разводил, препирался с Булгаковым — добытчик будь здоров — этакого на всем фронте поискать! Но уж богохульник, но уж грубиян!.. «Дак че с ево возьмешь? Он с детства без догляду, родом аж из самой-самой холоднющей Сибири, из Покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшные смертоубивцы, оне веревку-аркан на человека набросят, на лед, в темь его уволокут, разденут догола и в прорубь спустят... Спаси и помилуй, Господи! Что и за земля, что и за народ? Вот опять Бога всеу помянул. Часто Он тут вспоминается. А эть коммунист, коммунист, будь я проклятой. Ну, да Мусенка поблизости нету, и все вон потихоньку крестятся да шопчут божецкое. Ночью, на воде кого звали-кликали? Мусенка? Партия, спаси! А-а! То-то и оно-то...»

Как только была дана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой щетиной, не отчистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью.

— Чего же не уплыл-то? — упрекнул комполка Зарубина, тот слабо отмахнулся, ровно сказав: — «Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора — давно уж созрели».

Уточнили месторасположение батальона Щуся, данные разведки соседних полков и сникли горестно командиры. Выходило: завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километра в глубину. Группа Щуся не в счет, она пока и знаку не должна подавать, где и сколько ее есть. На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, не считая урона в людях, — их привыкли и в

сводках числить в последнюю очередь — народу в России еще много, сори, мори, истребляй его — все шевелится. А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов потери есть, и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие.

— И это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет? — выдохнул Авдей Кондратьевич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала. Тут как тут возник Финифатьев, дал командиру полка махорки набить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошинки.

— Вот те на! — удивился полковник, — и в самом деле солдат наш суп из топора спроворил! Ты поешь, поешь горяченького, Алексан Васильевич, поешь да и отправляйся в укрытие. Я ел, ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару!..

— Сегодня не жар, сегодня пар будет, жар с завтрашнего дня начнется, — уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку, и боясь показаться жадным, все равно частил ложкой, черпал горяченькое от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма и весьма наваристое и вкусное.

Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригреб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком, в корнях буро-грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался: обсохла закровенелая вода. «Ах ты, ах ты!» — выдохнул Лешка и пригоршнями побросал на лицо воды, колкой от холода, утираясь подолом заголенной рубахи, оглядывал изгиб берега, до островка, сделавшегося совсем плоским, низким: все на нем сшиблено, все выгорело.

Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики — рыбу, щепки? Скорей всего и то, и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике, фигуре ли близкого бродившего солдата.

— Феликс? Боярчик?



Солдат приостановился, взглядываясь в окликнувшего его человека.

— Я. А вы кто?

Спустя небольшое время соседи-штрафники, Феликс Боярчик и Тимофей Назарович Сабельников, были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье речки Черевинки.

Тимофей Назарович, приговаривая обычное, докторское: «Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас?» — перевязывал раненых, вызнавших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка и, может быть, еще придет — вот и скопились здесь.

Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя — в полости скапливается жидкость, — Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать — если, мол, бинты прополоскать в холодной воде — пригодятся.

Видя, что в устье Черевинки копошится уж многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и закапываться, раненых укрывать, потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит «рама», все тут высмотрит и вызовет самолеты.

Солдаты не очень споро орудовали лопатами, по звяку лопат о камень заключил майор. Из бережного кустарника бил и бил неугомный пулемет. Леха Булдаков, работавший в паре со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее делавший вид, что он работает, говорил сержанту Финифатьеву, что, если тот не засечет фрицевского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, — «у бар бороды не бывает», и все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисее, когда на «Марии Ульяновой» работал, после загрузки дров тайменя на пуд за раз уписывал, стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку — так целую связку за один присест.

— Мели, Емеля — твоя неделя! — отмахивался от него Финифатьев.

— Н-ну, Боярчик! Н-ну, Феликс! В штрафной? — все время удивлялся Булдаков на гостя. — Это, бля, нарошно не придумать! Это,

бля, цельный анекдот. И не охраняют, а?

— А что нас охранять? Зачем? Охрана осталась на левом берегу. Там безопасней.

— Начит, и не охраняют, и не кормют? Так воюй! Во блядство! — Булдаков в который уж раз требовал, чтоб Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк?

— Потом, потом, — мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался Боярчик и, словно удивляясь себе, озадачивая напарников по работе, выдыхал: — Под колесо я попал.

— Под какое колесо?

Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом:

— Скажи, доктор, умная голова, вот драть вредно или нет?

— Н-ну, если хочется и есть сила в руках...

— Держи лапу! — Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку. — А то все везде: кар-кар-кар, кар-кар-кар, вредно и постыдно, вредно и постыдно! А где ж школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть, коли у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара — Дунька Кулакова.

— Поразительно! — хмыкнул Сабельников. — Здесь, на плацдарме, этакая странная озабоченность, если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый.

— Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, — сказал Боярчик.

— Да уж весельчак... Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?

— А? С женщиной? Я с Соней — жена это моя. А-а, почему вы спросили?..

— Да вот видишь, солдат озабочен вопросами секса, все другие — поесть да поспать бы, а он, видите... разнообразия в жизни ищет...

— Этот человек без особых претензий к миру — водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.

— Грех это, юноша, очень большой грех — желать себе смерти.

— А жить во грехе? В содоме? В сраме? Среди иуд?

— Чем же это, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло?

— Почему только со мной? А с вами? А с тысячами этих вон, — Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега, во взбитой пене

мертвецов.

— Ах, юноша, юноша! Зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что, если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать.

— А вы не устали?

— Я не имею права уставать.

— А я вот сломался, разом и навсегда.

— И хочется забыться разом и навсегда?

— Так, именно так.

Сабельников выдохнул протяжно, молчал, не шевелясь.

— Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства! Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее?.. Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.

— За такую вот?

— И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни.

— А она есть, настоящая-то?

— Как понимать настоящее. Есть, конечно.

В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливym немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья, за поворотом, — не один пулемет, там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех, почти непрерывно работающих пулеметов. И вообще по Черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал изпод яра планшет — и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение: чего тут мерять циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи.

— Ага, лучше всего через дуло, — насмехались высокомерные артиллеристы. — Глянул в дыру и дуй!

Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей — глянуть хоть разок в «ентот прибор», взвизгивал:

— Все как есть, знатко! Ну все как есть! — И, сраженно утихая, шепотом произнес: фри-ы-ыщ! Живой! — и торопливо зачастил: — Олех, Олех, Булдаков! Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит.

— Н-ну, дед, ну и жопа же ты! — втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. — Это тебе работать неохота, навывк в парторгах придуриваться. — Но, глянув в стереотрубу, Леха, все на свете выдавший, все знавший, тоже сраженно сказал:

— Правда, фриц! Он че, офонарел? Я ж его... Винтовку мне, дед, винтовку...

Но в это время ударили за рекой орудия — и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька, лопашнами гребли два солдата, и еще трое военных, держась за борта лодки, опасно смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи, лейтенант Бабинцев — его послали заменить майора Зарубина.

— Старше и умнее никого не нашлось? — раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку: — Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи. Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, оставайтесь здесь. Идите к наблюдателям. Окапывайтесь.

Нелька, вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу:

— Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют, сюда им плыть некогда. — И пошла к лодке в обнимку с раненым в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопашнах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила: — Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить.

Майор Зарубин поморщился: этакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал с удручением.

— Ладно, ладно, видно будет...

Леха же Булдаков, опять ко времени и разу, оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнулся, и на этот раз уже жалобно произнес:

— Эй, подруга! Приплавь обутку сорок седьмого размера. Видишь, каков я, — и показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата.

Наполовину всунув ступню в обутки, этот бухтило, как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бикбулатову свои редкостные обутки, Булдаков, на всякий случай, не распространялся — украдут, на такую вещь кто угодно обзарится.

Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполненный распадок Черевинки. Пулеметы не работали, и, празднично положив кормовое весло на колени, Нелька какое-то время не гребла, сплывая по течению.

— Ладно, земля, — отчетливо молвила она. — Добуду я тебе прохаря по лапе.

— И выпить, и пожрать!

— Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь! — засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение.

Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пусть им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея.

Но налетели самолеты, пошли на круг, через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовые тебя сцапать за шкуру, поднять вверх, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещаньем пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не

сбили, и народ ругался повсюду: столько боеприпасов без толку сожгли! На берег бомб упало совсем мало, но в реку и в глубь берега валилось бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцем к немцам — фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение.

Майор Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега, вот тогда начнется страшное дело — обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках.

Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые, кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть его донага не успели или не захотели — грязен больно, ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то прибираться, утепляться. По фронту ходила, точнее кралась тайно, жуткая песня:

Мой товарищ, в смертельной агонии  
Не зови понапрасну друзей.  
Дай-ка лучше согрею ладони я  
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,  
Ты не ранен, ты просто убит.  
Дай на память сниму с тебя валенки,  
Нам еще наступать предстоит...

Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ее дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот: один живет дальше, или существует, другой успокоился. И, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват.

Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилась, — в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь; ты — туда, ты — сюда — вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: «Бульба дробна, а дурак большой». Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: «Ложку-те, едрена-те, взял ли драчону-те хлебать?!» Родион двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали — кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ, и вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит — голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы.

На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединил со своим отделением связи, поставив короткую, но точную задачу: «Связь должна быть на другом берегу!»

Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахамудрии, был им выделен отдельный плотик — два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул:

— Легко сказка сказывается, да вот как дело-то делается...

Поначалу все шло как надо, планоно. Они забрели в воду. Ерофей, Родион, Паша, командир отделения Еранцев и приплатненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил: «Кто ползет на салик — прирежу!..»

Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, поталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом.

Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга: «Ниче, ниче, уж недалече...» Сверху осветили — и началось! На плотик надела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики: «...р-р-ре-од! р-ре-од, р-рре-о-од!» — связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались правиться на них, но завертело, закружило, то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебье и огненным ошметьем опадающий вниз, все заполняющий вопль: «А-а-а-а-а!» Еранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись, командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей держась за плотик, ускользящий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке, плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то, в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв собою людей, и тихо, голо всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его, снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний, безответный зов.

Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствию его — раз напарник жив и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотной гарью, вроде сама вода уже горит. И пусть окольцованы огнем, пусть... но двое — есть двое.

— Родя! Роденька! — исторгался голос Ерофея, и младший понимал: держись, держись меня, мы живы, еще живы.

На них наплыл тонущий понтон, из которого, утробно булькая, выходил воздух, кренилась пушчонка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и отчего-то не падала. За свертывающийся, шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сронив, будто серьгу с уха, в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались: не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривай!» —



тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленное хрипение, бульканье, вопли — на их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди.

Но их Бог был сегодня с ними — не зря они звали Его, то оба разом, то попеременно. И услышал Он их, услышал, Милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то, в конце уж, у сахарно белеющих в воде фарфоровых станков осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, по возможности спокойно просили, нет, не просили, умоляли:

— Тихо, братцы! Тихо!..

Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать не надо, не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший. Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой, затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудийных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели: «Греби! Греби! Бра-атцы! Бра-атцы-ы!»

Родион и Ерофей тоже греблись, чтоб не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, на дурика. Греблись из всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: «Скорей! Скорей! Ско-о-оре-й!» — Но и здесь, в этой смертю сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства — они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру, бревешко. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, одергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя — ведь им, и Ерофею с Родионом, тоже хотелось туда, наверх, на бревно, и оттого, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто

подбитые утки крыльями, отпинавались, кусались, старались завладеть бревном.

Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта, Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете, подивились своей везучести — почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой, сек горящую темноту, сплетая огненные нити с тем клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени.

Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей: «Не лезьте! Не лезьте! Не надо! Нельзя!» — греблись еле-еле — все силы истрачены. Когда коснулись отерплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь, еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильней, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью. Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ероха и какой-то дядек подхватили, замкнули его руки на шеях — зачтется такая милость, верили и спасенный и спасаемые.

— Держись, браток, держись... Кому сгореть, тот не утонет. — Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горячего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, — ликовали: они-то здесь! Они-то на суше. Они прошли сквозь смерть и ад... они жить будут...

Ерофей разжал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое, напитанное водой и кровью, сразу — вот какой он сделался догадливый! — сразу уразумел — это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех... И вот ведь какой он добрый сделался! Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и сочувствия тоже не было — одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут, руки

поцарапанные, в занозах и порезах — заживут. Расслабились солдаты, горячее текло из тела, прямо в штаны текло, и так текло, текло, казалось, конца этому не будет.

— Долго теперь пить не захочется...

— Браток. Брато-о-о-к! — тряс кто-то за плечо Ероху, — кажись, немцы! Фрицы, кажись!

И тут только вспомнил Ерофей и Родион, ради чего они тонули — умирали и спасались — они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работой целый день, когда и два — не неволят. Им же задание выполнять надобно — связь проложить.

— Немцы! — изумился Ерофей. — Зачем немцы?

— Бежим, бежим! — дыхнул рядом Родион.

И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега, к кустам или камням. Впереди них кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от голого человека, на которого тот следом за ним свалился, голый же человек, зажав рукою причинное место, вскочил и рванул по камням в гору, но тут же, взмахнув руками, упал.

— Стой! Стой! — кричали из темноты по-русски. — Стой, в Бога мать! Трусые! Стой, сто-ой, сволочи! Стой, изменники!..

«Немцы, а матерятся по-нашему, — удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней, ладонью прижал Родиона — никак его ноги в камни не затянешь... — дохлые ноги, длинные, дохлые. Бывалые фронтовики говорили: немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему материться начинает, потому как наш, русский мат — самый в мире выразительный, но в Бога и в рот только наши могут, потому как неверующие...

Громыхал под чьими-то сапогами камешник, палили в воздух, по камням и по кустам секли какие-то люди.

— А-а, падла! А-а, притырился! — разносилось из тьмы, — смылся! Воевать не хочешь...

— Бра-а-атцы-ы-ы! Да что же это, бра-атцы-ы-ы!..

Волокут человека, по камешнику волокут, к воде. Видать, бедолаги попали на левый берег, им же полагается быть на том, на

правом, где немец. Им воевать полагается. И вот люди, которым судьба выпала не плавать, не тонуть, а выполнять совсем другую работу, — вылавливали ихнего брата и гнали обратно в воду. Они удобное на войне место будут отбивать яростней, чем немцы-фашисты — свои окопы. Ведь эта ихняя позиция и должность давали им возможность уцелеть на войне. Доводись Родиону и Ерофею так хорошо на войне устроиться, тоже небось не церемонились бы. Вот только не получалось у них — у смоленского крестьянина и вятского мужика — удобного в жизни устройства, не могли, не умели они приспособить себя к этому загогулистому, мудрому и жестокому миру — больно они простоваты, бесхитростны умом — стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду, под выстрелы, в огонь иди. И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, как им показалось, безглазые, клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало камнями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и молодой, и пожилой, рахитными были в детстве, младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали, да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на картошке жили, негрузные, с почти выдернутыми суставами ног и рук, волоклись, разбивая о камни лица, и не сопротивлялись, как тот пожилой дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал из реки, рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взвился:

— По изменнику родины!..

Смоленского и вятского мужиков хватило лишь на то, чтобы взмолиться, забитым ртом выплюнуть вместе с песком:

— Мы сами... Мы сами... Не надо-о-о.

О том, что их вообще нельзя гнать в воду: нету у них оружия, сил нету, иссякло мужество — не хватит их еще на одно спасение, чудо не может повториться, — они не говорили, не смели говорить. Выколупывая песок, дресву из рта, сблевывая воду, которой был полон не только тыквенной формы живот, но и каждая клетка тела свинцом налита, даже волосок на голове нести сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от недоедов зубы хрустнули яичной скорлупой, провалились в рот. Ерофей подхватил напарника и вместе с ним опрокинулся в воду, схватился за брусья, прибитые к берегу течением.

— Сволочи! Сволочи проклятые! — отчетливо сказал он и потолкал плотик вверх по течению. Родион, прикрыв одной рукой рот, другой помогал заводить напарнику плотик вверх по течению.

Заградотрядчики работали истоиво, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибывало и прибывало не к тому берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых, крупнокалиберных пулеметов «дэшэка», которых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок, и тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом:

— Куда? Куда, суки позорные?!

— Нас же к немцам унесет.

Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, падая, булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревешки по воде и сами волоклись за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпаса, всадил — на всякий случай — очередь им вослед. Пули выбили из брусьев белую щепу, стряхнули в воду еще одного, из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо.

Убитых здесь не вытаскивали: пусть видят все — есть порядок на войне, пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый берег с левым.

## День третий

«Я попал под колесо», — повторил Феликс Боярчик ночью, сидя под навесом яра, возле умолкшей, пустынной реки и под редкие, уже ленивые пулеметные очереди, под сонное, почти умиротворяющее гудение ночных самолетов, на миг раздирающих тьму, под звуки мин и снарядов, почти придирчиво воющих вверху, рассказал совершенно диковинную, можно сказать, фантастическую историю, редкую даже для нашей, насыщенной исключительными событиями, действительности.

Феликса Боярчика подранило на Орловщине почти легко, но неловко: рассекло надвое икру правой ноги. Раненых и убитых там было много. Феликса на передовой наскоро перебинтовали, прихватив бинтом клоч грязной обмотки. К лечебному месту определялся он долго, ехал, ехал — везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога сделалась будто бревно, рана в заглушь бинтов от клочка грязной обмотки загнила, раненому сделалось тошно от температуры и в то же время зазнобило его. Но, в общем-то, все, слава Богу, обошлось. В войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в тульском эвакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт, оттуда недавних ранбольных, допризывников и разный приبلудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя па фронте, в частях и подразделениях, знал Боярчик, людей все время недоставало и бойцам нередко приходилось работать одному за двоих, случалось — одному за десятерых.

Не засиделся Феликс на пересылке. Явился «покупатель» — майор в ремнях и в орденах — от артиллеристов явился, от лучшей пока на войне гаубицы стадвадцатидвухмиллиметровой. И маневренная, и скорострельная, прямым попаданием снимает башню с танка, что папаху с казака, — рассказывал майор.

— В то же время фугасом, если попадет в блиндаж или в дзот — фрицев и откапывать незачем, еще — бризантным снарядом, да ежели по скоплению противника, боженьки вы мои, — не позавидуешь тому, кто под разрыв попадает, — вещал веселый офицер с мордой

светящейся, будто минусинский помидор. Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший — порешили слушатели. А майор пел и пел про орудие, про смертельно бьющую пушку, будто про нарядную невесту или про рысака редких кровей, норовя его сбить подороже.

Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников — многое, конечно, брешет «покупатель», но артиллерия все же не пехота — может, не так скоро убьют; в том, что его в конце концов убьют, Боярчик нисколько не сомневался — уж очень они не подходили друг другу: Феликс, ошептаный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный Феклой Блаженных, — и война.

Майор спросил у Феликса: что он может? И Боярчик объяснил, что может связистом, наблюдателем ли, что рисовать умеет — сказать постеснялся — чего там, возле пушек нарисуешь? Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал «пойдет» и, хлопнув по небогатырскому, но на земляной работе окрепшему плечу бойца, увез из Тулы в двух зисовских кузовах пополнение.

На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. Феликс угодил во взвод управления четвертой батареи. Четвертая батарея состояла из шести орудий. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери, была растрепана, изнурена и вот отдыхивалась, пополнялась, но все это делала на ходу, вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс сразу заметил, что в четвертой батарее недостает двух орудий. Оказалось, что орудия в ремонте, да и третье орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чащей.

Конечно же, пребывание на фронте, в боях, пусть и не очень долгое, пусть и в «царице полей», — чтоб неладно ей было, в пехоте, пусть и в чине самом последнем, но якобы почитаемом, трепетно хранимом, стало быть в чине солдата, все же Боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдаты трепались — «немцы подучили!». Ну что ж, немцы так немцы. Спасибо, коли за небитого двух битых дают. За науку свою сполна и получают учителя. Да ведь совсем-то уж дураков и самому немцу не научить, стало быть, ученики попались способные — кто-то из поэтов, вроде бы Жуковский Василий Андреевич, написал на карточке, подаренной Пушкину: «Ученику от побежденного учителя».

Значит, Феликс Боярчик, обстрелянный уже солдат, начал понимать, что воевать, значит, и ловчить наше войско умеет уже хорошо. Но до какой степени высоты и глубины это умение дошло — ему предстояло открыть в новой боевой части.

В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию, — на легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пуль и осколков. Новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронбойным, что прицельный прибор у него — панорамка, ствол в меру длинен, не то, что у тульской «лайбы», где ствол короче люльки, лежит, как поросенок в корыте, а у этой даже станины раздвижные, с острыми сошниками и упором — это если грунт тверд и закапывать сошники некогда — забей ломы — и упор готов. Но самое-самое главное место — колеса, бескамерные, цельные — гусметик! Угодит осколок или пуля в колесо — никаких аварий, лишь выпучится сырая резина и все — в колесе смесь желатина и глицерина, она-то и наполняет поврежденные колеса.

То-то заметили новички: все колеса гаубиц в наростах грязных бородавок, ну и еще, что поразило новоприбывших, — это прорези в козырьках фуражек офицеров-огневикув; оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево, вправо.

«А, батюшки-светы! Вот техника так техника! Бей, Гаврила, куме в рыло — сам без глазу останешься!» — говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович.

Подле такой пушки служат и орудием управляют молодцы-гвардейцы, правда, несколько подавленные духом. Ну да с чего радоваться-то, жеребиться-то после жестоких боев на Курской дуге?

Феликс это понимал и, наотдыхавшийся в госпитале, охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут, уклоняются от этого нудного дела. И тут все понятно: в бою у орудия они разворотисты, удалы, лихо исполняют свое дело, но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо, про баб или про дом думать несколько часов подряд, порой и половину ночи — это какая работа? Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг



орудий. Думал про Соню, про жизнь свою в Новоляненском леспромхозе, о семействе Блажных. Словом, про все — про все, что взбрело в голову, стараясь выбирать для дум и воспоминаний хорошие куски из своей жизни. Думал, какое письмо напишет жене о новом своем устройстве, надо еще написать, что, если с ним случится что, она ради сына распорядилась бы собой свободно.

В госпитале часто получал от Сони письма, даже фотокарточку получил, на которой она снята с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Феклой в честь среднего своего сына, погибшего на Морфлоте, в Баренцевом море. Спервоначально тетка Фекла предлагала назвать ребенка Иваном — в честь старшего сына, тоже погибшего на войне, но Соня вежливо отвела это предложение, мол, шибко уж много Иванов на Руси. Пухлолицый малый, открыв рот, смотрит на него, на Феликса, и ровно бы хочет ляпнуть губенками: «Папа!» Интересно, правда? Он, Феликс, — уже папа! Когда ж он нарисовал все это? Ну, папа! Ну, орел! Раз-раз — и готово! Замастырил, как говорят блатняки, то есть смастерил вот малого, Дмитрия Феликсовича, и хоть бы что!

У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение его охватило, что, казалось, вот-вот вздымется он и полетит! Над полями, над лесами, в Новоляненский леспромхоз, чтоб только подержать малого на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело. Все бы отдал за одно мгновение. Отдавать, правда, нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами. Несбыточными. Эфемерными, как выразительно пишется в книгах. И хорошо, что не согласилась Соня на Ивана, изысканный все же вкус у его жены! По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, — он не знал. И вообще подзабыл ее, Соню-то, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, поднять со дна ее какие-нибудь подробности из того, что было с ним, с Феликсом и Соней в клубе двадцать первого стрелкового полка. Но ничего существенного не вспоминалось, лишь возникал шум в ушах, становилось жарко, мутилось в голове, исчезала земля из-под ног и уносило мужика в некое пространство, наполненное горячим дыханием, удушающими поцелуями — опять же в книжках называется это упоением. После госпиталя и пересылки отъелся в батарее, вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейная подробностями не успела обрасти, и ничего выудить из закоулков памяти не удастся — сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может,

не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской не просто по дому Блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением вояка обнаружил, что по тетке Фекле, по семейству Блажных, даже по Аниске он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного — тетка Фекла и все семейство Блажных — ему родные, близкие, с ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. А эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими назвать, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы, так, мол, и так, война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода...

Так вот боец Боярчик, поплясывая в лесу возле пушек четвертой батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние по воздуху от фронта до далекой Сибири, где уже лето пошло в середину, заканчивалась сенокосная страда. Семья Блажных урывками, после работы, стар и мал — заготавливает сено корове. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молоком парным поит. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, а в Сибири — уже день.

Боец-то Боярчик — уже обстрелянный, опытный, но все же боец и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог, хотя и успел заметить, что враг, немец-то, на нас танками прет, а по ним, по танкам, наши из пушек садят. Ну ладно бы в сорок первом году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим не заправленную. Но вот уж сорок третий год, наступил еще и сорок четвертый, и сорок пятый, полное наше во всем превосходство на фронте, но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться и отбиваться от бронированных соединений врага артиллерией. Оно, конечно, ежели поставить тысячу стволов, лучше десять тысяч стволов против сотни танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери, но и потери наши при этом будут в десять раз больше, чем у противника. Однако ж вот стратегия и тактика такая — крепче разума.

В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге — о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А ежели, спасая технику, человек погибал — его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтоб везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии — его и на кине так показывают: отвалилось колесо — без колеса едет, провалится мост — он по сваям шпарит, да еще с песней: «Как один человек, весь советский народ...»

Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининным, когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили.

При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы допотопных времен, отливать орудия, «шнейдеровские», в той самой Туле, где Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили, лайбы те, тульские, — тоже выставлялись на прямую наводку, хотя по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя. И, как правило, с прямой наводки «домой» лайбы уже не возвращались, мерли, или их, подраненных, волокли чинить в самое родительницу — Тулу.

Разумеется, при таком раскладе сил новым-то, маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным-то орудиям сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке, в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчету очень трудно, но выжить хочется всем, стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кой-чему научился, не пер уж вперед нагло, норовил за что-нибудь спрятаться, либо уж применит совсем простую, да

убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию десять танков. Пять с заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют из пушек, пять продвигаются и на ходу перезаряжаются.

Героическая гвардейская бригада до основания почти была выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги, хорошо битый, подстреленный, хромя, чихая, уходил за реку, огрызаясь, контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, на прямую наводку в районе совхоза под названием «Пионерский». Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудия от машин — студебеккеров. Тягло шасть в лесок. Надо бы заряжать орудия, начинать стрелять, не дает фашист к ним подойти, бьет — головы не поднимешь. Рекогносцировку не провели, ничего не успели разведать, наудалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу, расчеты частью погибли, частью рассеялись. Герои-командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огонь метали, сулясь застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий. Самих же командиров взводов управления, батарей, дивизионов — уже бригадный командир обещал наказать по всей строгости военного времени, если они не проявят отваги и не выручат брошенные орудия.

Командир четвертой батареи пистолет никогда не обнажал. Он — человек бывалый — от границы отступал, трижды ранен был, четырежды, может, и больше состав батареи полностью у него менялся — люди, орудия. Начинал он с сорокапятков, прошел семидесятишестимиллиметровую, наконец вот сподобился командовать батареей с новолучшими орудиями. После дристалок-сорокапятков и тьявкалок-засовок, возле стодвадцатидвухмиллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть, и на тебе, судом-трибуналом грозят.

Командир четвертой батареи собрал возле себя командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил: «Все живы?» — хотя и знал, что далеко не все живы.

Походил перед своими командирами, держа руки за спиной.

— В общем и целом ничего не хочу знать, но чтоб орудия были здесь! — впечатал он каблук сапога в землю.

Комбат-четыре любил приводить исторические примеры, а по истории выходило: пушкарь-фитильщик — ныне наводчик, да и командиры орудия, потерявшие в бою ствол и уцелевшие при этом, — всегда сурово и справедливо наказывались в русском войске.

Молодцы-артиллеристы глядели и глядели до ломоты в затылке на свои понуро опустившие стволы орудия. Немцы хорошо пристрелялись, минометами и пулеметами повредили орудия, в царапинах стволы и станины, в оспинах, в белых наплывах колеса — гусметик; брошенные орудия молча взывали горестным своим видом выволить их. Подойти к орудиям фрицы не позволяли. Вокруг орудий валялись уже десятки трупов. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу: стали копать ходы к гаубицам, чтобы уцепить их тросами да и утянуть машинами в лес. Копали все: и те, что высунулись с орудиями вперед, и те, что замешкались, не успели этого сделать. Командиров насобиралось в лесу — туча, все подухивают, страшат, под руку орут. В бою бы столько их было! Немцы пробомбили артиллерийские позиции и лесок. Начальства поубавилось.

Как будто потеряв интерес к брошенным артиллерийским орудиям, немец полусонно, лениво постреливал, но, как согнали машины к опушке леса, как начали тянуть удлиненные тросы к орудиям — открыли такой ураганный огонь, что сразу загорелось несколько студебеккеров, захваченных внезапным огненным налетом, поранило, побило артиллеристов изрядно. Криком кричал молодой лес. «Себе дороже», — буркнул комбриг и приказал увезти машины с передовой. Заокеанские эти машины были ценней орудий.

Четвертая батарея исхитрилась-таки — утянула два орудия, четыре же так и бедовали до своего освобождения на высоте, где все было избито, изрыто, пожжено — даже незнатко, что на бугорке совсем еще недавно росла картошка.

Неделю, если не больше, корячились артиллеристы возле брошенных своих гаубиц, начали ворота деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать. Наконец, началось общее наступление на данном участке фронта и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, опустились, как всякие пленные иль беспризорные бродяги.

В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада, много там сосредоточилось всякого войска, и умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскурочивали брошенную боевую технику. У орудия самое ценное — прицел-панорама, наводчики берегут их пуще глаза своего и потому, драпая, ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые и погибли, держа за пазухой, под телогрейкой, прицел. Не меньшая ценность — колесо. Орудийное. Его если артиллеристам прикатишь, считай что канистра водки, вещмешок сала, ящик консервов честно тобой добыты.

Есть в артиллерийском полку, тем более в бригаде, подразделение под хитрым названием «парковая батарея». Есть такое подразделение и в артиллерийской дивизии, тем более в корпусе, но там у него уже и название посolidней — технический парк иль что-то в этом роде, до того парка с передовой не достать.

Своя бригадная парковая батарея пылит по полям войны, тащась за фронтом, громыхает загруженным в машину железным хламом. «Парковка» чего-то ремонтирует на ходу, подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает, но больше — развинчивает, копаясь в трофейной да и в своей побитой технике. Для несведущего человека подразделение это бросовое, неизвестно для чего и существующее, однако все полевые командиры, в том числе и комбриг, очень даже почтительны к командиру парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, у которого личность спелее не только минусинского, но и украинского помидора. Командиры батарей — те просто пляшут перед майором-помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог со своей ноги, хромовые сапоги и для советского офицера, это все равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батарей и в гости майора-помидора позовут, попотчуют, связистку подежурить к нему пошлют иль медсестру — срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылек-другой редкостного вина хранится, сальце соленое, сальце копченое, кружок колбасы, консерва в плоской баночке — «шпрот» называется, черешня алая, фрукт раннеспелый. Командир батареи, если он не дурак и старшина у него не промах, — сами не съедят лакомства, на крайний случай сберегут.

Увы, увы! Майор-помидор в сапогах не нуждался, ни в кожаных, ни в хромовых, ни в чем не нуждался. Все у него, как у персидского царя, есть. За холмами новоград-волынскими да смоленскими, за болотами белорусскими, подо Ржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось; орудие на прямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут, пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском — воюй, патриот, стой насмерть — героем будешь.

Ныне даже у грамотея и начетчика-командира четвертой батареи по машинам притырено десяток-другой снарядов, в деревянном ларе, где противогазы должны храниться, свинья засоленная лежит, не хрюкает, мешки с мукой, с просом, крупой-шрапнелью, в бочонке водочка побулькивает, бидон повидла, ящик с сушеными грушками, с яблочками, с перцем, с лавровым листом, и дрожжи свои есть, и кофий, и чай, и конфетки в коробочках — на родину надейся, да сам не плошай!

Все есть на четвертой: и харч, и запчасти, и лекарства, машина грузовая, машина легковая, сверх расписания и сверх всяких лимитов в хозяйстве пасутся. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое!» Командир дивизиона, и комбриг, и всякая наблюдающая за порядком строгая челядь знают, что батареи прут вперед на запад крепко, по-боевому заряженные, морально и патриотически подкованные. Комбриг, если он не зря к делу приставлен, имеет соответственную должности сообразловку, ни одну комиссию до передовой он не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов, всякую надзорную хевру комбриг должен чують нюхом, слышать ухом, подбирать команду «по себе», давши понять, что не они, а он, комбриг, тут за все отвечает, с него, но не с них спрос, и если они хотят, чтоб с него, а не с них голову вместе с папахой снимали, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной, сладко кушают, зелье попивают, мягко спят, с девчонками забавляются, песенки попевают, ансамбли организуют, газетки печатают, боевую агитацию ведут — он никого не забудет, он кого нужно — приструнит, кому надо — по-отечески скажет: «Коли врать не умеешь, так не берись». Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, куда попал воевать Феликс Боярчик. Все при деле, все у всех есть, потери, правда, большие, но они и по всему

фронту немалые — война. Вот «неоправданные потери» — с этим делом посложней, актики шелковой ниткой не сошьешь да в штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся. По цепочке, снизу вверх мольба катится, по ступенькам сверху вниз скачет — прыгает ответ: «А мне какое дело? Орудия бросить сумели? Сумейте и выкрутиться!..»

Четвертая батарея два орудия списала. Командир парковой батареи, дай ему Бог здоровья, помог, собрал по своим машинам с утиль-сырьем стволы, щиты, станины — все собрал, все сделал, за все отчитался — два новых орудия на передовую едут — батарею пополнить, но кустами забросано еще одно орудие, таится, ржавеет без колеса. Майор-помидор Христом-Богом клянется: нет у него колес, все есть, но колес нету, потому как при любом крахе, при любом повреждении орудия колесо непременно отпадет, укатится, травой зарастет. Древние, литые колеса совсем неуязвимы были, но и нынешние, легкоходные, гусметик этот самый, будь он неладен — как ты его ни бей — выпучится, колеса вприпрыжку, пританцовывая, прихрамывая, катят орудие — и не сгорели на этот раз. Изобрел же какой-то асмодей этот гусметик! Еврей либо опять же немец хитроумный дошел, допетрил до этакой непобедимой химии. Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего, бесколесного орудия, Азату Ералиеву:

— В общем и целом дело так обстоит: спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу...

У Азата Ералиева мать была башкирка, отец татарин, а вся остальная родня русская. И от всех союзом живущих наций командир орудия чего-нибудь да отхватил, от татарина — жестокости, от башкир — лукавства, от русских — вороватости.

Вышел утром из блиндажа командир третьего орудия, Азат Ералиев, пристроился к сосне, поливает корни деревьев, зеваает и в то же время с дежурным по батарее, с новеньким солдатом беседует:

— Ну, что, выспался на посту?

— Нет, я не спал, я думал всю ночь.

— Об чем же?

— Да о доме, о родных, о жене, о сынишке...

— Х-ха! Такой молодой, салага, можно сказать, а гляди-ка... — И наговаривая так, застегивая ширинку, Азат Ералиев как бы ненароком



к третьему орудию приближается, на котором уж и маскировка успела подвднуть, листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно отбросив ногой кусты, Ералиев сраженно молвил:

— Колесо! А где же колесо?

Боярчик подошел к мирно, в стороне стоящему орудию и видит: в самом деле нет колеса у орудия. Хотел удивиться и не успел. Ералиев уже тряс его за отвороты бушлата так, что голова у Феликса Боярчика вот-вот от шеи оторвется.

— А-ах ты, раздолбай! Ах ты, раздолбай! Проспа-а-ал! Проспа-а-ал! — и выскочившим на крик батарейцам чуть не плача: — Колесо! Колесо спе-о-орли-и!

Феликса Боярчика увезли в штаб бригады. Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой, конопатый старший лейтенант при трех уже орденах — не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни довольствием — допрашивал разгильдяя, проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал особняка, допрашивал, надоело ему это делать, и он раздраженно бросил ручку на стол:

— Не юли, не вилай, бери ручку и пиши...

— Что писать?

— Как проспал колесо.

— А-а, так бы сразу и сказали, а то — родина, армия, честь... Я все это в новоляленской школе проходил, там спецпереселенцев тоже настойчиво учили родину любить. — Феликс Боярчик, награжденный за участие в боях медалью «За отвагу», взял ручку и написал то, чего от него требовали.

Начальник особого отдела сперва зарделся краской стыда, а потом, должно быть, вспомнил, кто он и к какому месту приставлен, почувал, что крепкое обоснование можно делу дать:

— Так ты, значит, из переселенцев? Кулачок, значит! Так-так-так!

— Так-так-так, — говорил пулеметчик, так-так-так, — отвечал пулемет, — передразнил Боярчик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. — Вам бы с вашей, доблестно сражающейся хеврой, среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожной и внутренней очиститься.

Особняк оторопел — мальчишка, с печальными глазами, вдруг разгоревшимися на бледном и нежном лице, мальчишка, с той незащищенностью во всем облике и непоколебимой уверенностью в

незыблемости добра на земле, дерзил ему, начальнику особого отдела гвардейской бригады! Да перед ним офицеры, гренадеры brave — в галифе мочатся!

— Ты вот что, сосунок, — скривил он губы, — суд тут бывает скорый, но правый, можно штрафную взамен смерти получить, а можно и...

— Вот это «и» оставьте для себя, оно еще вам пригодится, а я — чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет.

— Да ты!..

— И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного, растаптывать растоптанного, не боюсь я тебя, как видишь. Ты и сам всего боишься. Бояться надо не тебя, а тех, кто таких, как ты, породил.

— Пошел вон, щенок! Учить он меня будет...

— Вас не учить, вас переучивать...

— Пошел вон! Дежурный!

Заведшийся, знающий наверняка: больше он рта нигде не посмеет открыть, охолонет, успокоится, покорится, Феликс на ходу уже продолжал дерзить:

— Впрочем, олухов и паразитов учить — Божье время зря терять. Их только прожаркой, как вшей...

— Ты чего язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно!

— Сам говно! — сверкнул глазами напослед обернувшийся Боярчик, — еще от рождения и... — дежурный волок из землянки особняка упировавшегося, в истерику впавшего солдатака. — И бригада ваша говенная, трусливая, подлая!..

Начальник особого отдела настоял, чтоб в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, негромоздкий. Побавиваясь близко бухающей передовой, дело свое трибунал произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, на вопросы отвечал не юля, не запираясь, сожалел только, что командир батареи ни до суда, ни после суда на глаза не появился — он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесо-то, но умелый, аккуратный командир в четвертой батарее от суда уклонился. А вот Азат Ералиев сочувствовал Боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка

полностью в желудок бойца попала, Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. «Ишь ты, какой наблюдательный! Токо раньше надо было о своих наблюдениях доложить, тогда я бы на твоём месте был, а теперь ешь суп и не мяукай...»

Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азат Ералиев налил ему чуть не полную кружку водки — пробить дыру в середине, — сказал. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся — третьего орудия в лесном закутке уже не было.

Неловкость батарейцам была в том, что после суда осужденного забыли на батарее, бросили, и он болтался без дела.

«Да вы скажите, куда его доставить?.. Мы сами...» — услышал Феликс из землянки командира батарееи.

Наконец-то, в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика отвезли в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась, свозилась, доставлялась преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один конвоир с четвертой батарееи:

— Эх, парень, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо!..

А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с Боярчиком и отворотился, ускорил шаг.

— Я снится тебе буду, тварь! — неслоь ему вослед. Наука клубного работяги Зеленцова, слова его не пропали втуне.

Еще один день, смертельный, длинный день на плацдарме подходил к концу, заканчивался в тяжелой тревоге и неведении: будут завтра живые люди, населявшие клочок земли, волей провидения выбранный ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдарм в ночь.

Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себя доведшие до иступления и смертельной усталости люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой, ими многожды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести напроороченное человеку, всю его историю, из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие.

Что тут могла значить горькая доля одного маленького человека? Но, может, с нее, с той, незащищенной, братьями преданной жизни, все и начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата более слабого — и никто того не защитил?

— Значит, так ты и вlepил этой шкуре? — выслушав историю Боярчика, спросил Булдаков. — Да-а-ааа, ситуация!.. Однако, пока жив — живи.

— Мы их достанем, мы еще потолкуем с ними! — шевельнулся в темноте Шорохов.

Ночь была осенняя, студеная, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире, лишь река угрюмо темнела меж сверкающими берегами, местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, бясь о берег, позванивало крошево ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало воронье. У немцев трещали движки и дымились кухни, начала работать агитационная установка, и так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.

## День четвертый

Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек-падалиц и комок размоченного, в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так чтоб ночью на постах и в боевом охранении не вздумали прикемарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршится под боком, какая сила и сколько ее тут?

— Предупреди постовых и боевые охранения — если проспят фрицев, старшему без всяких судов расстрел. Я прилягу. Когда связь подосвободится, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота, запасной же паек — два сухаря и банку консервов на брата — славяне съели еще на своем берегу, чтобы врагу ничего не досталось.

Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь под глиняный навес, на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полу телогрейки, откинулся:

— Да, вот еще что: по телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж тридцать шесть человек. Трепачи-связисты вызнали: все вы представлены к званию Героя Советского Союза и, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете.

— Мы же отрезаны.

— Знаю. Но знаю также, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею.

— Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит, мы покуль целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем, — постоял, вздев рыльце в небо, — мы ведь ничего там путного и не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали.

— Отвлекали противника во время переправы, то не дело? Ну, лан, я поехал, — совсем заторможенно промолвил Щусь и уснул, но еще какое-то время слышал Яшкина.

Как и в прежние времена, любил Володя поворчать:

— Если обуви не дали, значит, выдадут медали, как бает затейник Леха Булдаков. Лучше бы горячей еды да хоть сухарей выдали бы, — и отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты.

Боевой опыт, всякий опыт, и горький, и сладкий, — батальон Щуся накопил немалый. Но опыту тому году нет, а безалаберности и разгильдяйству российскому — тыщи лет. Тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Яшкин твердо знал: будут немцы шариться всю ночь под высотой, по ближним оврагам, чтобы добыть русского языка и вызнать, чего тут и как. Коля Рындин вон собрал всю гремящую посуду, ханыгу какого-то, к тяжелой работе неспособного, прихватил и по воду в ручей наладился. Хозяйственные немцы в ручье, неподалеку от его истока изладили небольшую запруду и не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться в двойном смысле, водицы черпнуть и яблочек-падалиц, скопившихся в запруде, насобирать — всякая пища от Бога.

Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина с котелком, орет, стучает солдата кулаком по черепу:

— Сцапают тебя, дурака, вместе с напарником возле запруды — и в кусты, что козелка уволокут. Помнишь, как на Сумщине-то было? Под сосной-то?

— Кто уволокет? Пошто уволокут? — Коля Рындин развернул богатырские плечи.

— Дурында! — махнул на него рукой Яшкин. — Сила есть — ума не надо! Сиди и не мыржай! Немец разнежится, разоспится, дам тебе пару автоматчиков — тогда и пойдешь. А сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни врага. Фриц подумает — новое у нас секретное оружие появилось и, глядишь, отступит...

«О, Господи! — послушно устремляясь на ночлег, растрогался Коля Рындин, думая о всех своих товарищах по бердскому еще полку, а о них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине. — Экую страсть пережил человек и все ишшо шутит. Вот она, сила-то партейная какая! Божью, конечно,

не перегнет, но все жа...» — На этом месте размышления Коли Рындина обрезало, плацдарм огласил доселе еще неслыханный рокот: из-за пересечений и оврагов здешняя местность считалась танково не опасной, но все же войска по ту и по другую сторону фронта насторожились.

В Сумской области, возле старого городища, из доблестной роты Щуся, с одного места, из-под развесистой сосны немцы утащили двух постовых.

Щушь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рындина и сказал ему, чтобы он как следует выспался и с полночи заступал на пост:

— Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах после того, как выспятся на посту.

— Дак, поди-ко, в третий-то раз и не придут? — вслух размыслил Коля Рындин.

— Во-во! — вскипел ротный. — На это и расчет у немца. Попробуй у меня усни!..

— Да не, коды я спал? В помешшэнье, если после работы, на посту зачем же спать?

Неподалеку от поста Коли Рындина, в ровике боевого охранения, томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым. Коля сказал Булдакову, чтобы он шел за ужином. Повар-сволочь нарочно волынку тянул, нарочно кухню не топил, ничего не варил — не управляюсь, мол, без помощника и все тут, подышайте с голоду, коли забрали подручного. Это чтобы Колю Рындина ему вернули, он бы лежал кверху пузом либо пьянствовал со старшиной Бикбулатовым, а вкальвал бы за него помощник.

Ровик боевого охранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанный землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне, куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей и сам обвалился вниз. Леха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил, куда тот держит путь?

«Картошку варить», — причина уважительная, но Леха все же отвесил гостю пинкаря, чтоб путь знал, не вилял по сторонам — и выбросил его наверх. Кровлю над ровиком починил. Ход сообщения из ровика в траншею начинал копать Финифатьев, докапывал его

напарник, потому что сержанта вытребовали на партийное собрание. Финифатьев копал ход сообщения в полный рост, отпетый филон и неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншее уже по колено глубиной. На ругань и претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой:

— Ниче, дед, ниче! Утопчется. Вишь, какая тут земля-то? Выкопай в рост, шшэль осыплется, труд зазря пропадет...

Ушел вот забулдыга, уперся без оружия по лесу в глушь. Для обороны у него граната в кармане под мошонкой болтается, не поймешь, где че. Он ею, гранатой-то, еще и балуется:

— В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву!..

— А я куда жа?

— И тебя взорву — все одно без меня пропадешь.

Однако боязно Финифатьеву без Булдакова и за Булдакова боязно.

«Ох, Олеха, Олеха! Ох, обормот, обормот! На всю Сибирь, видать, один такой. Много таких даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушел вот с двумя котелками — за кашей и за чаем. И сгинул. Выпивку небось привезли, смекат урвать чарку-другую сверх нормы. А ежели на пути к кухне жэнщина попадетса — тогда до свиданье-те и фронт, и война, хвост распустит, а другой сердешнай в окопе загинайся, на самой-то передовой-распередовой, на самой-то опушке лесу, за которой нейтральная зона, враг вот он, рядом. Дышит! Шарится! Тайное выведать норовит...»

Вот вроде бы что-то пошевелилось наверху, зашуршало, потекла стылая земля. «Йя вот вам поброжу! Йя вот стрельну!..» — хотел пугнуть лазутчиков Финифатьев и воздержался: если свои — могут морду набить — не мешай их планам, если разведка фрицевская — может гранату вниз булькнуть — ход покато, в крытой яме — в ключья разнесет... «Ох, Олеха, Олеха! — ерзает в окопчике Финифатьев, напрягая слух. — И штоб ты сдох, маньдюк окоянной! Нету и нету».

Спервоначала Финифатьев пробовал разговаривать с постовым — Колей Рындиным, и тот охотно беседовал с ним. Но потом у постового ноги остыли и он, постукивая ботинком о ботинок, ходить начал — валенок ему не дали, ему и Булдакову по размеру так и не нашлось валенок во всей стране. Пошел в глубь леска Коля Рындин, негромко и протяжно напевая: ««Господи, еси на небеси...» — молитвы позабыл,



так хоть во время дежурства повспоминаю». И сразу, без перехода, тем же тоном выбурил: «Много деушек есть в колективе...» Песню пел про девушек, его на кухне обучали веселые люди — повар и старшина Бикбулатов. Хорошая песня, про Осипово напоминает, про Аньку-повариху. «Ух, шшас бы ее суды, во лесок — много б супу мы с ей наварили! Горячего!» — тайно мечтал Коля Рындин.

На месте молодого, загустелого соснячка, в котором стояла изготовившаяся к наступлению дивизия генерала Лахонина, был когда-то лес, но его срубили селяне на разные надобности. Насаждали новый лес, оставив — для красоты или осеменения — старые раскидистые сосны. Одна зеленая матушка, обхвата в три величины, распустив ветви шатром почти до земли, стояла в расположении роты Щуся. Здесь, под этой уютной сосной, немцы и взяли уже два русских языка. К чему им понадобился третий — поди, узнай!

Его, третьего, так вот и тянуло под сосну, так и манило прислониться спиной к теплой жесткой коре, присесть в заветрии ствола, в молодости поврежденного топором. Стес-то как бы специально сделан для спины — выемкой этакой уютной, белой, с липучей серой, по краям оплывшей. Коля Рындин и прислонился спиной к желобку, сполз вниз, присел, меж коленок поставленную на предохранитель винтовку держит, слушает. Не шумит дерево буйной головешкой, не шевелит даже единой веточкой, только шепчется хвоею, только пошуршивает отставшей от ствола золотистой пленочкой-коринкой, изредка покатится сверху шишка бурундуком или белкой, может, и птахой, в вершине заночевавшей, тронутая, пересчитает по пути шишка все ветки, шлепнется в притоптанный снег — и снова Божье время — тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны, зачарованные тишиной ночи, дремали. Двое и додремались. «Где вот она теперь? Че делают? Пытал их, небось, враг при допросе, иголками тыкал. А не дремли, не волынь, раз приставлен к ответственному делу. Ну, наши разведчики — разговор особый — молодцы из школьных следопытов, из деревенского сословия, аль из конокрадов, аль из охотников, хоть волка выследит, хоть медведя, ту же чуткую козу — и сучка не сломит. Но чтоб немца, в его обутках, с его-то чужой поступью, городской сноровкой, — не услышать — это как же спать надо?...»

На этом месте плавные мысли Коли Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него грузные, белые тени, вырвали винтовку, по кумполу прикладом оглушили, но со скользом попали — темновато все же. Постовой дернулся, хотел заорать, да только рот открыл, тут же его чем-то нешибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул в кого-то кулаком и по боли в козонках понял, что попал в зубы. Тот, в кого он попал, хлопнув ртом и подавившись зубами, укатился в темь. Постовой, наконец, догадался, кто на него навалился, — немцы это, немцы! Он их поднял и понес на себе, что медведь на горбу, не понимая, куда и зачем тащит врагов, ноги сами правились к ближней обороне, к ячейке сержанта Финифатьева, к ровику боевого охранения.

Взведя автомат, в проходе затих Финифатьев, моля Бога, чтоб немцы или наши вояки с передрагу не метнули гранату, — она по обмерзло накатанному-то, наклонному ходу сообщения непременно в уютную щель упрыгает, и конец тогда всякой жизни...

Коля Рындин донес-таки лазутчиков до хода сообщения и вместе с ними свалился в яму. От удара оземь изо рта его вывалился кляп.

— Л-ле-о-ох-ха-а! Не-э-эмцы! — рывкнул он на всю передовую и почувствовал, как ожгло тело под одеждой, — вдарили ножом, понял Коля Рындин и принялся крушить кулаками направо и налево, все продолжая звать Леху Булдакова.

— Тут я, тут!

— Бей! — удушенно захрипел Коля.

Булдаков собрался крикнуть: «Котелки у меня!», — и даже протянул посудины, чтоб показать Коле, — полны каши котелки-то, но тут же кинул в сторону звякнувшую посуду и бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана «лимонку», чтобы использовать ее вместо камня, и первым же ударом достал кого-то. Немцы не стали дожидаться, когда их самих возьмут в плен, давай деру от русских позиций. Разъяренный до последнего градуса, Булдаков подскочил к своему ровику, вырвал у Финифатьева автомат и полоснул длинной очередью вослед вражьи лазутчикам. Тут же вся боевая отечественность застреляла со всех сторон и во все стороны. Леха задернул Колю Рындина в ячейку, прижавшись друг к другу и к земле, они все трое лежали и не дышали, пока не унялась пальба. Один станковый пулемет на фланге роты, в самом исходе траншеи, никак не унимался, строчил и строчил по врагу, ждали, чтоб заело, — патроны

нового образца, с медной наваркой, у них часто отлетают жопки, трубочка остается в стволе — выковыривай ее пальцем оттудова. Но вот когда надо — не заедает, а когда не надо — заедает.

Примчались из роты Щусь и Барышников со взведенными пистолетами.

— Че у вас тут?

— Колю в плен брали!

— Взяли?

— Хуеньки! — первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач.

— Сильно ранен? — осветил фонариком тесный ровик командир роты.

Коля Рындин все уливался слезами, но укротил себя, набрал ночного воздуха и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая:

— Ниче-оо. Подкололи. Подумаш. У нас в Кужебаре на вечорках аль на лесозаготовках вербованные шибче режутся.

— О-ой, вояки! О-ой, вояки! — качался на бровке окопа ротный, — с вами не соскучишься. Идти можешь?

— А куды? — насторожился Коля Рындин.

— Куды, куды? В санроту.

— Да зачем она мне? Так засохнет.

— Схотели сибиряка голый рукой... — гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища, — своего пакета не жалел.

Взводный Яшкин, обшаривший с бойцами окрестности, забросил в ход сообщения немца, извалявшегося в песке и в снегу. Полную горсть красного песку держал он у рта, но кровь текла между сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался чего-то выбубнить зажатым ртом. «Гитлер, капут!» — разобрали наконец русские.

— Ни-чего ты его, Николаша, обиходил! — покрутил головой заместитель комроты Барышников.

— Тут уж, хочешь не хочешь, надо человека к награде представлять! — ввернул слово Булдаков.

— Я вот вас представляю!.. Я вот вас представляю! — шипел в отдалении Щусь, — вы, засранцы, мою кровь скоро допьете! Всю! В Бердске не допили, здесь уж вылакаете до капли.

— Дак че сделаеш? Така уж твоя планида! — успокоил Щуся Финифатьев, помогавший Булдакову с перевязкой.

Узнав о загубленных каше и чае, ротный старшина Бикбулатов лично примчал героям на передовую полведра каши, куда по своей собственной инициативе вывалил две банки тушонки и умял варено чистым полешком. Водочки тоже прихватить догадался — человек он был не только находчивый, но и пьющий, понимал, что к чему.

Выпили командиры и бойцы, даже Коля Рындин, переставши наконец плакать, впал во грех, перекрестясь, оскоромился и утих в углублении ровика. Его прикинули снятыми с себя шинелями Булдаков и Финифатьев. Коля Рындин, затажно всхлипнув, осторожно захрапел. «Нарошно ведь, нарошно храпит, уворотень, — чтоб в санроту ночью не идти», — ругался про себя Щусь.

Барышников назначил нового постового, взяв с него слово под роковую сосну не укрываться. Как только шаги командиров утихли, Коля Рындин в самом деле уснул, вжавшись в косо копанную стенку ровика, но всю ночь во сне младенчески обиженно вхлипывал. Булдаков, крепко выпив, впал отчего-то в мрачное настроение. «У бар бороды не бывает...» — бубнил и по-нехорошему прискребался к своему начальнику, отчего, мол, он, шкура, затаился? Почему не стрелял?

— В ково стрелять-то? В ково? Он их, фрицев-то, на себе ташшыт и ташшыт, ко мне ташшыт! В окопе клубком свилися — пальни очередью — свово же и порешишь. Страсти-то скоко я натерпелся! — Ответом ему отчужденное молчание верного и бесстрашного товарища. — В каку манду мне было стрелять-то?! — вдруг взвился до визгу Финифатьев. — В каку? Объясни народу, раз ты такой мудрой!..

Леха не объяснял. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финифатьева, гвозданул напарнику по плечу:

— Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь, не зря!

Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разпедчик, по всем видам уложил его из автомата Булдаков. Вечером из санроты возвратился Коля Рындин, сказав, что ранение у него пустяшное и отставать ему от своих никакого резона нет.

На самом же деле одно ранение у Коли в боку было проникающее. Кроме того, во всю грудь наискосок шла глубокая ножевая царапина, и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину надела.

Но боец Рындин, проявив патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову командиру роты про серьезность ранения

и про ушиб не говорить, перевязывать его в роте. Ну, а если уж хуже сделается, тогда сам он добровольно куда надо пойдет.

Превозмогая боль, Коля всем стремился доказать, что он в порядке, ломил, варил на кухне вместе с поваром, яму под кухню сам копал, рубил и таскал дрова, пилил. Повар только и знал, что наливать в котелки — дивизия перешла в наступление, несла потери, каждый человек на переднем крае был необходим.

Через полтора месяца Коле Рындиному вручал орден «Отечественной войны» первой степени командир полка Бескапустин. Наряженный в чистую гимнастерку с подворотничком, наученный товарищами и ротными командирами, как подобает себя вести во время торжественного акта, как жать руку вручающему орден за взятие языка и не шибко громко, но внятно сказать: «Служу Советскому Союзу!» — награждаемый все это проделал, как было велено, только вот руку так жманул командиру полка, что тот присел. Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка, на него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный, Алексей Донатович, незаметно показывал ему кулак у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал.

Уже у себя в землянке, угощая свежего кавалера-орденоносца водочкой и при этом сам упившись, Щусь братски обнимал своего любимого солдата и твердил, что не ошибся он в нем, в Коле Рындине, и во всех ребятах-осиповцах не ошибся, — воюют что надо, а что подводят иногда своего командира и кровь у него уж вся почернела — «такая его планида...», как говорит сержант Финифатьев.

«Захмелел товарищ лейтенант», — слушая умилившегося ротного Щуся, думал не один Коля Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден «Красной Звезды», третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя, что всегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню: «Много девушек есть в коллективе», но Коля Рындин отмахивался от него, и дело кончилось тем, что сам Булдаков заблажил с детства запомнившуюся песню: «По Сибири долго шлялся арестанец молод-о-ой...», Коля Рындин, умильно глядя в зубастый рот земляка, сперва стеснительно, «для себя», подпевал ему, однако постепенно набирая голосу, мощно подбуровил: «Со-орок

тысяч капиталу во Сибири я нажы-ы-ыл, а с тобой, моя чалдоночка, в одну но-о-очку-ю пра-а-аакути-ы-ыл!» Коля Рындин на этом месте даже притопнул и от чувства братнева завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе!

— У них и песни-то все каторжны, про грабителей с большой дороги, — ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам навеселе, просил друга своего: — Олех, Олех! Давай каку-нить человеческу, а? Давай!

— Партейную?

— Да ну тя! С тобой, как с человеком...

— Ну, давай, затягивай, а мы подхватим. Да налей сперва, не жмись.

Налили. Выпили, благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат.

Финифатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко, звонко начал:

А, девочка Надя, чиво тебе надо?

И солдаты обрадованно, что помнят, не забыли, сразу во всю грудь подхватили:

А нич-чиво не надо, кроме чиколада!..

Финифатьев знал всю песню насквозь:

А чиколада нету...

Солдаты ухнули:

Дам тебе канх-вету!..

— Вот, — не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Финифатьев. — А то орут всякую херню...

Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили.

С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни неба, ни светила, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далекое. Досталось и заречью: лес по обережью совсем проредился, торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел, хутор на берегу почти и не значился — груды камней да головешек от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась, седой дым дедовской бородой отгибало к реке, шевелило над водой. Даже и до плацдарма доносило саднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева, скорее всего от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селенья.

«Не одним нам досталось», — удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылезший из норки, «из своей кривой кишки поливая камешки», как пишется в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение всякая суцая душа, бедствующая на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства.

Возле берега, по заливам и уловам качало шубой всплывшую, синевато-черную сажу, но тот, кто решил умыться, в смятении обнаруживал: то не сажа, то мухи, черные, трупные мухи. Днем, когда тепло, в парной духоте они окукливались на трупах; оставляли кучку червей-плевков и ночью, убитые инеем, вялые от холода, валились в воду, ползали по берегу, по отвесам яра, залезая в норки, липли к теплым лицам людей, от взрывов подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук, раненым казалось — приближаются самолеты.

Перелетные птицы, еще с вечера остановившиеся на реке, жировали, выедавая мух и глушеную рыбу. Утром, при первых же звуках боя, птицы взмывали в небо и, высоко кружась, летели в дальние, теплые страны, здешние же птицы волнами откатывались от места драки в глубь материка.

Ночью на двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик, душ во сто, вооруженный новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки — для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочее довольствие переправить забыли. Лодки с понтонами крепко охранялись — заречные вояки очень были озабочены важными, неотложными делами, ждавшими их по другую сторону реки. Тимофей Назарович Сабельников с добровольными помощниками из пехоты едва успел погрузить на понтоны десятка два раненых бойцов. Не зря так суетны были хозяева плавсредств. Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на лике светила возникла уже густая рябь. В самой середине солнца, будто в подсолнухе, зашевелились, зареяли пчелки, неся к реке слитый, мощный гул. Разбитый, разрытый, разворошенный, принаряженный белой пленкой иней, овражистый склон суши снова качнуло, подбросило, обдало удушливым чадом тротила — началась бомбежка, и такая плотная, что казалось, ничего живого на берегу не останется, даже сама рыжая глина и желтый песок, поднятые в воздух, будут сметены в реку и унесены течением и волнами в море.

Наконец-то начала действовать и наша авиация. Вынудили-таки немцы и ее летать не вдогонку, но сейчас, в разгар боя лезть в небесную кашу и расчищать небо над плацдармом. Закружилось, заныло, застреляло вверху. Два бомбардировщика один за другим потянули за собою от реки черные хвосты и упали за высоту, взорвавшись огненным клубом. По небу был развеян весь самолетный строй, сорил он бомбами куда попало и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом.

Если бомбардировщики умирали, тяжело рокоча и воя, горели, содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса, то ястребки, точно птички, подшибленные камнем, ахнув, шелкнув чем-то тонко и длинно, запевали жалобную песню, переходящую в пронзительный вой, рвущий душу и слух, и витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка, забирали все больший круг, все шире кроили небо. Всем на земле казалось, что машина справилась с собою, одолела пространства, сейчас выравнивается и, пусть и подшибленная, раненая,



устремится домой, к себе на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик, лишала его мощи и воли на каждом витке, самолетик вдруг, всегда вдруг, задирает хвост и шел уже прямо и согласно вниз, взревев прощально каким-то не своим могучим ревом, и тыкался в землю носом, выбрасывал клок черной клубящейся шерсти, и в миру сразу делалось тише, легче, у казенных людей отпускало сжатое сердце — кончилась еще одна маета. Случалось, самолеты взрывались в воздухе, их разносило огненным клубом в клочья; случалось, падали они неуклюже, блуждая по небу, слепо и молча ища опоры и успокоения в последнем пике, перевертываясь с брюха на спину, и ударялись в землю грузно, всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части, клочья, ошметья — припоздало доносился хрясткий звук удара оземь тяжелого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее, убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом, неуправляемым, бесформенным и неуклюжим.

Русский летчик успел выпрыгнуть из подбитого истребителя, но в неловкое место выпрыгнул, над рекой. Подбирая стропы парашюта, летчик норовил утянуться за реку, приземлиться на своем берегу. По нему, беспомощно болтающемуся в просторном небе, ох, как хотел в те минуты человек, чтоб небо загромождено было облаками, дымом или еще чем-нибудь, — со вражеских позиций открыли огонь из всего, что могло стрелять. Не потому, что немцы — совсем плохие люди, потому и палили. Попади на место нашего летчика немец, наши поступили бы точно так же, потому как на этот случай нет тут ни немца, ни турка, ни русского; болезненно-азартная психопатия — доклевывать подранка в крови у всякой земной твари, даже у веселых, вроде бы невинных пташек, а уж тварь под названием человек — где же обойдется без зверского порока. Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишнего брата своего — это ли не удовольствие, это ли не наслаждение — добей, дотопчи — и кайся, замаливай грех — такой улаждающий корм для души. Века проходят, а обычай сей существует на земле средь чад Божьих.

Крепок духом, силен телом был русский летчик. Упав с продырявленным парашютом в воду, он еще сумел снять с себя лямки парашюта, сбросил шлем, поплыл к берегу, но против оголтелой, в раж

вошедшей орды, обрушившейся на него всем фронтом, и ему, неистово борющемуся за жизнь, устоять оказалось не по силам.

Еще только-только прах земной и дым успели приосесть, после первой волны бомбардировщиков на полоске берега, по речке Черевинке и по оврагам рассредоточилась, потопталась, пошебуршилась и мешковато пошла в атаку штрафная рота. Без криков «ура», без понуканий, подстегивая себя и ближнего товарища лишь визгливой матерщиной, сперва вроде бы и слаженно, кучно, но постепенно отсоединяясь ото всего на свете. Оставшись наедине со смертью, издавая совершенно никому, и самому атакующему тоже, неведомый, во чреве раньше него самого зародившийся крик, орали, выливали, себя не слыша и не понимая, куда идут, и чего орут, и сколько им еще идти — до края этой земли или до какого-то другого конца, — ведь всему на свете должен быть конец, даже Богом проклятым, людьми отверженным существам, не вечно же идти с ревом в огонь. Они запинались, падали, хотели и не могли за чем-либо спрятаться, свернуться в маняще раззявленной темной пастью воронке. По «шурикам» встречно лупили вражеские окопы. Стоило им подзадержаться, залечь — сзади подстегивали пулеметы заградотряда. Вперед, только вперед, на жерла пулеметных огней, на харкающие минометы, вперед, в геенну огненную, в ад — нету им места на самой-то земле — обвальный, гибельный их путь только туда, вон, к рыжеющим бровкам свежеврытых окопов.

Человек придумал тыщи способов забываться и забывать о смерти, но, хитря, обманывая ближнего своего, обирая его, мучая, сам он, сам, несчастный, приближал вот эти минуты, подготавливал это место встречи со смертью, тихо надеясь, что она о нем, может, запомнит, не заметит, минет его, ведь он такой маленький и грехи его тоже маленькие, и если он получит жизнь во искупление грехов этих, он зауважает законы людские, людское братство. Но отсюда, с этого вот гибельного места, из-под огня и пуль до братства слишком далеко, не достать, милости не домолиться, потому как и молиться некому, да и не умеют. Вперед, вперед к облачно плавающим, рыже светящимся земляным валам — там незатухающими свечами, пляшущим и плюющим в лицо пламенем — означен путь в преисподнюю, а раз так, значит, в бога, в мать, во всех святителей-крестителей, а-а-а-а-о-о-о-о

— и-ии-и-и-и-и-ы-ы-ы-ы-аа-а-а — ду-ду-ду-ду... и еще, и еще что-то, мокрой, грязной дырой рта изрыгаемое, никакому зверю неведомое, лишь бы выхаркнуть горькую, кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх и тот сторел или провалился, осел внутри, в кишки, в сердце, исходящее последним дыхом. Оно, сердце, ставшее в теле человека всем, все в нем объяввшее, еще двигалось и двигало, несло его куда-то. Все сокрушающее зло, безумие и страх, глушимые ревом и матом, складно-грязным, проклятым матом, заменившим слова, разум, память, гонят человека неведомо куда, и только сердце, маленькое и ни в чем не виноватое, честно работающее человеческое сердце, еще слышит, еще внимает жизни, оно еще способно болеть и страдать, еще не разорвалось, не лопнуло, оно пока вмещает в себя весь мир, все бури его и потрясения — какой дивный, какой могучий, какой необходимый инструмент вложил Господь в человека!

За невысоким бруствером окопа, в аккуратной лопатой выбранной нише — по-солдатски — в кроличьей норе, уложив уютно ствол пулемета на низкие сошки, прижав к плечу деревянную рогульку, к которой, чтобы не отбивало плечо, набита суконка и намотан почерневший бинт, упористо расставив ноги, расчетливо, без суеты вел огонь замещающий командира взвода унтер-офицер Ганс Гольбах. Помогал ему в этой работе, привычной и горячей, второй номер, Макс Куземпель. Это был не первый пулемет на их боевом пути, и каждый из них, разбитый ли, брошенный ли при отступлении, имел окопное имя: шарманка, камнетес, косилка, цепная собака, машинистка, и так имен до десяти, даже «тетка-заика» звался один пулемет. Но с некоторых пор Ганс Гольбах и Макс Куземпель возлюбили грубые русские слова, и на это у них были свои основания, потому и звали они свой нынешний пулемет — дроворубом.

Ганс Гольбах — остзеец, Макс Куземпель — баварец, по роду-племени оба немцы. На этом кончается их родство и сходство. Гольбах происходит из рабочего класса, с пятнадцати лет ворочал он тяжести в огромном ростокском порту, с пятнадцати же лет начал попивать, баловаться с портовыми шлюхами. Побегал он и в табуна коминтерновцев под пролетарским красным знаменем, даже одну или две витрины разбил кирпичами «на горе», в буржуазных кварталах,

очки и шляпу с какого-то прыщавого студента сорвал и растоптал справедливым башмаком борца за равноправие и свободу. Огромный ростокский порт — это мрачный и разгульный город в городе, он действительно располагался под горой, на берегу залива. Оттуда «на гору» унес Гольбах два ножевых шрама, но «на горе», уж прибранный, дисциплинированный, ладно и складно одетый, делал «марширен» в слаженной колонне таких же строгих, мордатых остзейцев под звуки духового оркестра по гулким мостовым города. Млея сердцем, горя взором, толпа приветствовала своих героев-молодцов победными криками, юные фрау бросали полевые цветы под громыхающие башмаки.

Сооруженный по нехитрым чертежам рабочих кварталов, Ганс Гольбах уверенно носил крупную голову на широких плечах, был уже немного грузноват телом, косолап, волосат по груди и рукам, в то время как с головы его волос почти сошел — лишь на квадратном темечке и по заушинам серела короткая щетина, сбегаящая на глубокую складку шеи каким-то диким, в день по сантиметру отрастающим волосом. В этом волосе, в кабаньей ли щетине, в желобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немислимо крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может, и заедая ее, наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами: дождавшись, когда «оккупантов» в складке кожи накапливалось так много, что они валились, будто через бруствер окопа, с засаленного воротника мундира, он их выбирал горстью, бросал на землю и, по-русски матерясь, размичкивал, втаптывал подковою военного башмака в землю, в чужую землю, постыльную и совсем ему ненужную.

Глаза Ганса Гольбаха так глубоко впаяны в лоб, что их и увидеть-то невозможно, широкий, узкогубый рот, могучий подбородок, излишний объем которого ровно срезан тупой ножовкой, серым горбом подпирающая голову спина — все-все в нем скроено и размещено так, чтобы русские бабы пугали им детей, а советские художники рисовали на плакатах и листовках как самого страшного врага и дьявола.

Макс Куземпель, мало того, что родом с противоположного конца Германии, так и обликом, и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким, будто картонным, носом, сын кустарного мыловара, он еще в школе носил чистенькие

белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с нею цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался онанизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой. Ганс Гольбах к этой поре знал уже все портовые притоны, таскал выкидной моряцкий нож в кармане, перестал посещать церковь и звал священника по-солдатски — библейским гусаром. Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества — он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портил с ополоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе, по рекомендации родителей и старшего брата, был принят в отряд гитлерюгенда, оттуда напрямиком в мокрые попал, стало быть, в рекруты, затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым, и тоже восхищал местное, малоповоротливое умом и телом население, к его ногам тоже падали цветы. Обретая мужество, Макс однажды увел свою соратницу по школьному кружку Эльзу на ту самую поляну, подножкой свалил ее на золотисто цветущие одуванчики изучать фауну. Эльза сопротивлялась ровно столько времени, сколько требовали приличия, тогда же и сказала ему, что он есть настоящий мужчина и она не напрасно ждала от него мужественного поступка. Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Куземпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собою испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил и более или менее сдержанно относился к женщинам, был, как и все баварцы, скуп, проницателен, самодоволен и, как всякое малосильное создание, притаенно жесток.

Он, Макс, ища надежную опору и защиту, еще в тридцать девятом году, в Польше, влез в душу Ганса Гольбаха, высмеял его стремление быть всех храбрее, непременно получить крест с ботвой — высшую среди наград — железный крест, обрамленный дубовыми листьями, сказав Гольбаху — если он хочет получить крест на грудь, но не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой остзейской

башкой, которая совсем не для того Богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах насекомых. И еще сказал, что принц иль граф, словом, какой-то титулованный, сановный хер, скорее всего, баварский, потому как остзейцам только бы маршировать да стрелять, вплепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии населения восемьдесят пять миллионов, в России — сто восемьдесят пять. Да, правильно, совершенно верно агитаторы орут — и душка Геббельс поет-заливается: каждый воин фюрера способен победить двадцать польских и десять русских солдат, но придет одиннадцатый — и что делать?

Вот он, одиннадцатый, прет на «дроворуба», матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет! И что делать? Расстреливать? Устал. Выдохся. Не хочет, не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать.

— Макс! — шлепает брызгами рыжей грязи Гольбах, нажимая на спуск хорошо смазанной, четко и горячо работающей шарманки. — Макс! Нас атакуют штрафники — по широким галифе узнаю... Приготовься. Скоро начнется благословение, нас пошлифуют и приперчат...

Гольбах орет, чтобы что-то орать, чтобы себя слышать. Он прекрасно знает: у Макса всегда все готово не только к наступлению, но и к деланию аборта, то есть по-русски — к драпу, к ночевке, есть в ранце чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, будто осел, скалится, и во сне ворочается, чего-то бормочет, скоргочет зубами... Прежде спал, как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские, — досыта навоевался... Раз, один только раз не послушался упрямый этот унтер, с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира, хитромудрого, окопного брата своего и вот теперь на пределе орет, завывает во всю глотку.

Все награды любимого рейха есть в наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом.

У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется, он пусть и хитрый мужик, да не заговоренный. Бренчи теперь на весь свет добытым в боях железом, гордись, торжествуй!..

— А-а, распроятвою мать! — стараясь переорать Гольбаха, грохот, крики, шум, визг бобов, значит, пуль, свист и шлепанье брызг-

осколков, ответно вопит Макс Куземпель, по-русски ругается — по-русски выразительней. — Я тебе говорил, сиди дома, не воевай...

«Дома сиди», — это значит, в плену. У русских. По книгам, по газетам, по кино выходит, что одни русские воевали в плену и бегали оттуда. Но вот редкий случай: Ганс Гольбах и Макс Куземпель смылись из русского плена. Еще осенью под Сталинградом сами сдались, а весной сами же бежать из плена сообразили. Перезимовали в тесных, зато теплых помещениях, на не очень сытной, но все же и не гибельной пайке, построили домики для советских чинов, которые для солидности называли их военными объектами. Позорно сделали марширен по столице России, которую так и не сумели взять в сорок первом году доблестные, нахрапистые войска Вермахта, подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли — Крачкаускаса и Мачкаускаса, да и рванули вперед, на Запад, в формирующуюся где-то на российских просторах литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целаскаускаса, что ли. В походе по русской, разоренной земле за главного был Макс. Гольбах открывал рот затем только, чтобы поесть картошки. Макс с его размытым лицом и пустым водянистым взглядом да мягким, слюнявым акцентом: «Маленько прататут, мали-энько укратут» — брил под литовца чисто, но и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбаха, взревел: «Какие литовцы? Немцы это, бляди!..»

Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и у Ганса Гольбаха, пока они достигли фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войсками насыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На русской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар, так они вместе с кухней и фельдфебелем переехали и немецкий, и советский передний край. Кухня, полная каши, чая, гремит, отдельно бачок с офицерской едой звенит, всю-то ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих стран, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как это ни странно предположить, не немец, не фриц, а русский иван. На утре он залез в густой бурьян оправиться, тут на него кухня и наехала, фельдфебель — дурак, стрельбу открыл, и его русские убили. Повара

же русский иван, взметнувшись из бурьяна, стащил с повозки, свалил на землю и в плен взял. Его же, повара, русские воины заставили кашу есть — не отравлена ли. Затем ели кашу русские солдаты, пили чай с сахаром господа советские офицеры. Все получилось очень разумно: немецкий повар теперь для пленных кашу варит.

Никого не потревожив, не разбудив, Макс Куземпель и Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и через немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратной, но крепко дрыхнувшей немецкой обороны, беглецы уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый, он им не анекдоты рассказывал, наставление давал. И вляпались-то они опять же на кухне — хотели поживиться съестным, чтоб следовать дальше на запад, но зевающий повар, растапливая полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, бьющихся насмерть друг с дружкой. Приняв беглецов за партизан, бесстрашный повар выхватил с деревянного передка кухни карабин, стоящий на предохранителе, и, дрожа от страха или холода, скомандовал: «Хенде хох!» — и под ружьем повел пленных по лесу в штаб. Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Куземпеля, путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце, в двух запаянных ящиках из-под патронов лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше, — там они подчистую вырезали семью местного часовщика и, забрав золото и часы, сожгли вместе с трупами мастерскую, хранилища-кладовые, прилегающие постройки, не оставив за собою и малого следочка.

После блистательной победы над Польшей они, как герои войны, удостоены были не только наград и почестей, но и отдыха в санатории Граца, куда прежде доступ был только немецкой аристократии. Фюрер ценил всех людей по их деловым качествам и храброго солдата любил не менее умного генерала. Военный его пролетариат не должен был ведать никаких сословий, правда, умные люди и тогда пророчили, что эта игра в братишку утомит скоро и самого фюрера и его приближенных, всяк будет знать свое место: кухарка — кухню, свиляр — свилярню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы.

Макс Куземпель, отдыхая в горах Граца, посещал знаменитые пещеры, гулял по пронумерованным тропинкам, вдалбливал Гольбаху в его, тогда уже начавшую облезать, голову, что надо надеяться только



на себя, иногда, уж при самой крайней нужде, — на Бога, хватит ему пить, хватит угнетать курортные бардаки, надо думать и не только думать, но и спасаться. Свою долю и долю многих верных воинов фюрера Макс Куземпель знал наперед: появится он на пороге родного дома, израненный, разбитый, никому не нужный, родители его — мыловары — дадут ему помыться, поесть, переночевать одну ночь позволят, затем отдадут ему сберкнижку, куда полностью до пфеннинга записаны все деньги, посланные им с фронта, и выпроводят за порог с наставлениями: они не намерены отвечать за его нацистские увлечения.

«Гольбах, давай кончать этого героя. Нам нельзя здесь задерживаться. Нам надо спешить в Грац», — бормотал по-русски Куземпель, быстро бормотал, неразборчиво, как научились они переговариваться в плену. «Макс! — отвечал ему Гольбах, воротя небритое и немывое рыло в сторону. — Я не смогу задушить этого жалкого ублюдка. Какого-нибудь хера, как русские говорят, с широкими лампасами, — с большим бы удовольствием придавил, а этого не могу. На мне много крови, Макс, кровь меня давит». — «Гольбах, ебит... ебиттвою мать, по-русскому тебе говорю, нас помучают проверкой и снова заставят воевать... У Гитлера больше некому воевать. Нас, нас, кретинов, заставят! Ты меня понял, хьер моржьювый?..»

И заставили. И воюют. Гольбах — хьер моржьювый — совсем осатанел от войны, орет что попало, трясется как припадочный, кровь проливает, вшей на загривке плодит, грязь и лишения терпит вместо того, чтобы пить лечебную воду либо шнапс, хочется, так французское вино, наслаждаясь видами гор и снежных вершин, дышать здоровым воздухом, ублажать толстожопых немок, хочется, так егозливых французенок, итальянки тоже недалеко, гуляй с ними по пронумерованным тропинкам, по лесу, тоже пронумерованному, где, несмотря на исторический порядок, всегда можно найти полянку, чтобы выпить за здоровье, поваляться с женщиной на траве.

«Ах, Гольбах, Гольбах! Ах, пустоголовый пьяница! Зачем меня Господь связал с тобой?» — заправляя новую, пятисотпатронную ленту в зарядную камеру синенько стволом дымящегося от свежегорящей смазки пулемета, ругался и горевал второй номер, Макс Куземпель. — «Смотри! — Гольбах мотнул головой в сторону

наступающих, — охерел иван!» Макс Куземпель через прорезанную для пулемета щель увидел во весь рост мчащегося прямо на пулемет Гольбаха безоружного русского солдата с широко раззявленным, вопящим ртом.

«Убейте меня! Убейте меня!» — донеслось, наконец, до пулеметной ячейки. Третий раз получает звание унтер-офицера Гольбах, уже и до фельдфебеля доходил, но из-за грубости и пьяных выходок никак не может вытянуть до офицерского звания. Макс Куземпель, между прочим, особое имеет дружеское расположение за это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода, — за войну произошла переоценка ценностей, выскочек Макс видал-перевидал. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояка Ганс Гольбах сплюнет под ноги скипевшуюся во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского. Еще одного.

Гольбах и припал, и давнул уже неразгибающимся, закаменелым пальцем на спуск косилки, но очередь взрылила землю пулями позади русского солдата. Как бы опробовав прочность почвы, Гольбах длинно и кучно прошелся по свеженасыпанному брустверу, за которым залегли и по своим строчили русские заградотрядчики. Выбив рыжую пыль, Гольбах сделал в чужом окопе подчистку, солдата же русского, наскочившего на пулемет, запнувшегося за бровку окопа, подцепил на лету и, не тратя усилий, одной рукой метнул за спину, в подарок другу Макс Куземпелю. С любопытством оглядел Макс Куземпель содрогающегося, землю ногтями царапающего солдата: «Убейте меня! Я не хочу жить! Не хочу-у-уу».

— Эй ты, хьер моржьювый! — сказал Макс Куземпель. — Не ори! Уже ты имеешь плен. Гольбах не убил тебя. Ему всякий говно стелалось жалоко... — Последние слова Макс Куземпель сказал так громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы.

Да Гольбаха разве уязвишь? Расстрелял ленту и не осел, а оплыл на дно окопа — его уже ноги не держат. Макс Куземпель заправлял новую ленту, последнюю из принесенных ночью. Гольбах отстегнул от ремня бывалую, серую, мятую флягу, сверкнул ледяным взглядом из-под бурых от пыли бровей.

— Путем здоровы, Еван! — и воткнув горло фляги в свой рот, слипшийся от бурой грязи, отпил несколько гулких глотков, деловито

крякнул, сплюнул, подышал и еще отпил.

Только после того, как Гольбах пожелал ему здоровья, Боярчик врубился наконец в действительность, распознал русскую речь: «Власовцы, что ли, воюют тут?» — подумал Феликс и собрался о чем-то спросить пулеметчика, но в это время окопы накрыло русскими минами и снарядами. Куземпель громко пожелал себе и Гольбаху сломать шею и ноги, что было равноценно русскому пожеланию «ни пуха, ни пера!», и пошли они «без музыки», стало быть, начали драпать, или аккуратней сказать, — перемещаться на запасную позицию. Штрафников посылали в атаку не без умысла, чтобы дураки-немцы стреляли, а умные русские их огневые точки засекали...

Гольбах и Макс Куземпель все про войну знали, опасность себе, от нее исходящую, чувствовали заранее. Выхватив «дроворуба» из земляной прорези, по бокам опекающей до серой золы, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал негнушимися, остамелыми ногами по узкому ходу сообщения. Макс Куземпель, прихватив ранец и другие нехитрые пожитки, гремя защелкой противогазной банки, устремился следом за своим первым номером. И когда бежавший между ними русский замешкался, он отвесил ему такой поджопник, что тот сразу все понял и более от Гольбаха не отставал. Сейчас русские начнут благословение и сделают такую шлифовку передовой противника, что, как это они опять же слышали от советских строителей коммунизма, вкальвающих вместе с военно-пленными: «Будет всем врагам полный бездец»!

\* \* \* \*

Так Феликс Боярчик нежданно-негаданно угодил в плен, хотя изо всей силы хотел умереть. Произошло еще одно противоречие жизни, еще одна опечатка судьбы: кто хотел жить — остался есть траву, как глаголят немцы про убитых, впаялся в землю, заполненную по щелям рыжей пылью и совсем уж рахитными, испуганно подрагивающими, серенькими растениями тысячелистника да полыни. А он, Боярчик, жив и даже не поцарапан. Побаливает колено — это когда его немецкий пулеметчик фуганул через себя, он в окопе ударился о железный ящик из-под пулеметных лент.

Одним из первых, как и ожидал Феликс, погиб Тимофей Назарович Сабельников. Они, Сабельников и Боярчик, наладились было на берегу открыть медпункт, но какой-то чин, прикрывший погоны плащ-палаткой, лаясь, что портовый грузчик, налетел на них, погнав их в атаку, без них, орал он, есть кому позаботиться об искупивших вину кровью. Феликс помнил еще, что подавал руку Тимофею Назаровичу, выдергивая его наверх из-под яра. Доктор бежать быстро не мог, ронял винтовку, задыхаясь, просил: «Погодите! Погодите! Не бросайте меня...» — потом, будто на острое стекло наступив, тонко, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюже и лишне выглядевшую в его костлявых, длиннопалых руках. «О-ой, мамочки! — успел еще выдохнуть. — Зачем это?..»

На Боярчика, пробующего стащить доктора под осыпь яра, налетели два мордovorота, яростно матерясь, пинками погнали его вперед.

Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тревожный, наполненный худыми ожиданиями и предчувствиями. Внутренне сопротивляясь, отгоняя наваждение, фронтовик верил предчувствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотней, рукоделом, всяким разноделем. Казалось бы, на плацдарме одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти, ан нет, там и сям, снявши амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигающую тварь. Уютно ж вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненом-перечиненом барахлишке, потому как летняя амуниция получена весной, шел уже октябрь месяц, к празднику революции, к седьмому ноябрю, значит, вот-вот получать новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то.

Интересно знать, как оно у немца — тоже к Первому мая — празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование, зимнее — к великому Октябрю иль к Рождеству? Пожалуй, что до Рождества фриц вымерзнет — российская зима свои законы пишет, никакой ей Гитлер не указ.

Щусь давно уже усвоил закон жизни, последовательный и никем не отменимый, — военный человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение, он здесь живет. Работает и живет. Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь

с натяжкой, искажая всякий здравый смысл, но это все равно жизнь, временная, убогая, для нормального человека неприемлемая, нормальный человек называет ее словом обтекаемым, затуманивающим истинный смысл, — существование.

Но какую же изворотливость, какую цепкость ума, настойчивость надо употребить для того, чтобы человек существовал в качестве военной единицы на войне, веря, что это временное существование, как недуг, вполне преодолимое, если, конечно, оставаться человеком в нечеловеческих условиях. В пехоте, топчущей пыль, в этом всегда кучно сбитом скопище появились сапожники, шорники, портные, парикмахеры, скорняки, спецы по производству самогонки, копченого сала и рыбы, прачечных дел мастера, архитекторы неслыханного толка, способные конструировать не палаты каменные, а ячейки, блиндажи, наблюдательные пункты из подручного материала, допустим, из того же кизяка, глины, песка, кустов, бурьяна, излаживать пусть и непрочные, но от осколков, дождя и снега способные тебя сохранить перекрытия. На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью иль растворился в толпе, иль отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттудова, если потребуется хоронить достойную гроба военную персону. Катился слух по окопам: явились свету спецы, способные из травы полыни натолочь перец, из кожи вшей выделять и шить гондон, из каменьев выжать не только самогонку, но и пользительные лекарственные снадобья, из макаронин артиллерийского пороха извлечь чистый спирт, а сами макароны, очищенные от химии, жарить по-флотски, так чего уж толковать о солдатском супе из топора, о солдатской ворожке, способной застопорить месячные у подвернувшейся женщины и взнять для боевого действия орудью казалось бы на века охладевшего воина, даже о брюхатеющих через письма бабах поговаривали меж собой солдаты.

На передовой и вблизи ее шили, тачали, варили, стирали, плясали, пели, стишки сочиняли и декламировали люди, приспособившие войну для жизнесохранения. Само собой, никто их при копании земли и в бою не заменял, работа их использовалась неспособным к ремеслу черным людом, фронтовым пролетариатом, которому, чем дальше продвигалось на запад советское войско, тем больше надо было надсаживаться — в мире вообще, на войне в частности, назначенную человеко-единице работу должно выполнять кому-то,

иначе все остановится и разрушится, поскольку и жизнь, и война тоже — держатся трудом, чаще и больше всего земляным. Искажаясь, жизнь прежде всего исказила сознание человека, и внутреннее его убожество не могло не коснуться и внешнего облика Божьего создания. Остались при своем звери, птицы, рыбы, насекомые, они все почти в том одеянии, в которое их Создатель снарядил в жизнь. Но что стало с человеком! Каких только не изобрел он одежд, чтобы прикрыть свое убожество, грешное, похотливое тело и предметы размножения.

И более всего изощрений было в той части человеческого существа, где царило и царить не перестало насилие, угнетение, бесправие, рабство, — в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство, какие причудливые покрывала оно на себя и на солдата — вчерашнего крестьянина-лапотника — не паялило, чтоб только выщелк был, чтоб только убийца, мясник, братоистребитель выглядел красиво или, как современники-словотворцы глаголят, — достойно, а спесивые вельможи — респектабельно. Да-да, слова «достойно», «достоинство», «честь» — самые распространенные, самые эксплуатируемые среди военных, допрежь всего самых оголтелых — советских и немецких — тут военные молодцы ничего уже, никаких слов, никакого фанфаронства не стеснялись, потому как никто не перечил. Оскудение ума и быта не могло не привести и привело, наконец, к упрощению человеческой морали, бытования ее. И вот уж новая модель человеческих отношений: один человек с ружьем охраняет другого: тот, что с ружьем, идет за тем, что с плугом, — проще некуда — раб и господин, давно опробовано, в веках испытано, и как тут ни крути, как ни изощрайся, какие самые передовые, научные обоснования ни подводи под эти справедливые отношения или, как боец Булдаков выражается, — как ни подтягивай муде к бороде — все то же словоблудство, все та же непобедимая мораль: «голый голого дерет и кричит: рубашку не порви!»

Упрощая жизнь, неизбежно упрощаясь в ней, человек не мог не упроститься и во всем остальном: одеяния его в массе своей уже близки к пещерным удобствам. И вот здесь-то, на очередном витке жизни, раб и господин почти сравнялись, чтоб равноправие все же не низвело господина до раба, заключенного до охранника, солдата до командира — придуманы меты или, как их важно и умело

поименовали в армии, — знаки различия. Скотину и ту метят горячим тавром, но как же человеку без знаков различия?

И чтобы такого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галере, лезть в петлю, жить в казематах, сгорать от чахотки в рудниках, корчиться на кострах, ютиться на колу, сходить с ума в каменных одиночках? Конечно, странно было бы видеть на этой войне, на этом вот клочке земли людей в позументах, эполетах, в киверах, в пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках с кружевными рукавами и с жабо на шее. Но не странно ли видеть существо с человеческим обличьем, валяющееся на земле в убогом прикрытии, в военной хламиде цвета той же земли, точнее, по рту ложка, по Еремке шапка, по этой войне и одежда. Нищие духом неизбежно должны были обрядить паству в нищенскую лопотину, шли, шли, шли, думали, думали, думали, изобретали, изобретали, изобретали, готовили, готовили, готовили, пряли, пряли, пряли, кроили, кроили, кроили, шили, шили, шили — и вышла рубаха почему-то без кармана, совершенно необходимого солдату, и сам солдат на передовой, в боевой обстановке спарывает налокотник, прорезает на груди рубахи щель, вшивает мешочек из лоскута, отрезанного от портянки, — и без того безобразная, цвета жухлой травы или прелого назьма рубаха делалась еще безобразней, быстро пропадала на локтях без налокотников, кто зашьет рваный рукав, кто так, с торчащими из рубахи костями и воюет.

Но самое распаскудное, самое к носке непригодное, зато в изготовлении легкое — это галифе, пилотка и обмотки. Про обмотки, узнав, что их придумал какой-то австрияк, все тот же воин Алеха Булдаков говорил, что как только дойдет до Австрии, доберется до нее, найдет могилу того изобретателя и в знак благодарности наладет на нее большую кучу! Еще большую кучу надо класть на творца галифе. Шьют штаны с каким-то матерчатым флюсом, и флюс этот затем только и надобен, чтобы пыль собирать, чтоб вши в этом ответвлении удобно было скапливаться для массового наступления. А пилотка? Головной убор уже через неделю превращается в капустный лист! И это вот тоже заграничное изделие да на русскую-то голову!

Томимый какой-то смутой, думая о чем угодно, чтобы только отвлечься от нарастающей тревоги, капитан Щусь мотался по ходам сообщения, неряшливо, мелко отрытым между оврагами, водомоинами и просто земными обнаженными трещинами, в изломе, в профиле совершенно похожими друг на друга. На солдат не рычал, не придирался к своим командирам — лопат переправили мало, переломали их, бясь в твердой глине, — лопата на фронт пошла хилая, шейки тонкие, ломкие, полотна, что картонки, снашиваются на непрерывной работе моментально. Кроме того, люди вторые сутки почти не евши, и что-то не слышно, не видно кормильцев с левого берега, столкнули, сбросили в воду бойцов — и с плеч долой.

Еще когда было оперативное совещание в штабе полка и до исполнителей-командиров в деталях доводился план операции, капитан Щусь, которому поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу, подумал: даже если благополучно переправится, непременно попадет вместе со своей группой в переплет, очень уж складно, очень ладно все было распланировано штабниками на бумаге, а когда на бумаге хорошо, на деле, как правило, получается шибко худо. От партизанской бригады ни слуху ни духу, о десанте также ничего не слышно. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы во время переправы, пока не реагируют громко на всякие дрызги и бескормицу, но солдатские чувства отчетливы. Не пройдет и еще одной ночи, как по оврагам и окопам пойдет-покатится: «Где та гребаная бригада, что должна нас поддержать и накормить? Где тот десант, где сталинские соколы, мать бы их расперемать?!» — все уже давно знают и про партизан, и про десант, хотя знать об этом неоткуда вроде бы. Однако о том, что партизаны должны батальон накормить, — никакого постановления тоже не было — это уж солдатская фантазия!

К вечеру, когда захмурило небо, поднялся ветер и высоко всплыла над берегом и рекой рыжая пыль, ждали разведчиков от партизан — самое им, хорошо знающим местность, время подскочить к войску, связаться с ним и согласовать совместные действия. Но вместо этого километрах в двадцати от плацдарма всполохами замелькало, громом загрохотало отемненное пространство, и Щусь понял — упреждая удар с тыла, немцы начали ликвидацию партизанской бригады,



предварительно, конечно же, ее обложив в каком-нибудь дремучем, по здешним понятиям, лесу.

Недаром же, перебив штрафную роту, немцы никаких активных действий на плацдарме не вели, все чего-то гоношились в тылу, устанавливали зенитки, ездили на машинах туда-сюда, копали, рыли, постреливали. «Рама» безвылазно шарилась по небу, бомбардировщики регулярно налетали. Одним словом, немцы давали понять, что они здесь, они не забыли о плацдарме и, когда управятся с посторонними делами, дадут жару русским, в первую очередь, передовому, дерзкому отряду, под шумок забравшемуся в их, как всегда надежно устроенный и четко действующий тыл.

Часа два длился бой вдаль, и, когда он начал убывать, дробиться на отдельные узлы и кострища, вверху, в ночном небе, многомоторно загудели самолеты. Сталинские соколы, не ожидавшие плотного зенитного огня противника и ветра, вверху довольно сильного, выбросили, в буквальном смысле этого слова, десант — целую бригаду, в тысячу восемьсот душ, до войны еще сформированную, бережно хранимую для особой операции, и вот в эту первую и последнюю, как скоро выяснится, операцию, наконец-то угодившую.

Сталинские соколы, большей частью соколихи, выбросили десант с большей, против заданной, высоты — припекало. Десантников разнесло кого куда, но большей частью на реку, в воду. Немцы аккуратно подчищали небо и реку, расстреливая парашюты и парашютистов; до оврагов, до берега, где сидели и смотрели на все это безобразии бойцы, доносило изгальный хохот фашистов: «Давай! Давай, еван, гости, гости!» И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил: «Теще на блины!»

После выяснилось, лишь одна группа десантников сбилась где-то, человек с полтора, и оказала сопротивление, остальные разбрелись по Заречью, с криками о помощи перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам либо под огонь перепутанных, беды из ночи ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая же часть десантной бригады осела по окрестным лесам и селам, где их и повыловили полицаи, лишь отдельные десантники, надежно попрятавшись в домах селян и на лесных хуторах, дождались зимнего наступления Красной Армии, явились в воинские части и были

немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты — кто-то ж должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание.

«Ну вот, — тяжело вздохнул капитан Щусь, — все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Не позволят они, чтоб мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасти». Он направился в роту Яшкина, в траншее его перехватил запыхавшийся боец.

— Товарищ капитан, Рындин ранен.

— Где? Когда?

— Под шумок, покуль немец занят, решили мы к ручью по воду сходить, он, сука, там мин понаставил.

Коля Рындин был уже перевязан, лежал, укрытый немецкой плащ-палаткой. Его било крупной дрожью, палатка шебуршала или разошедшийся дождь шебуршал по ней.

— Видишь вот, товарищ капитан, Алексей Донатович, не уберется, — виновато сказал Коля Рындин и, захмурившись, выдавил слезу из-под век.

Ротный санинструктор, сделавший раненому укол от столбняка, наложивший жгут выше колена и примотавший к сырым палкам разбитую ногу бойца, доложил шепотом капитану Щусю, что ноге конец. Однако это не вся беда, ранение рваное, кость «белеется», пока волокли агромадного человека от речки, шибко засорили рану, и если его не эвакуировать, скоро начнется гангрена.

Щусь в темноте под палаткой нашарил руку раненого:

— Держись, Николай Евдокимович. Попробуем тебя эвакуировать.

Коля Рындин сжал руку капитана, подержал ее на груди и выпустил, молвив чуть слышно на прощанье:

— Храни тебя Бог, ты всегда был ко мне добрый.

Со своего батальонного телефона комбат вызвал «берег», сказал деляге Шорохову, чтоб он нашел Шестакова.

Деляга, угревшийся у телефона, заворчал:

— Да где я его найду?

— Я кому сказал?

Матерно ругаясь, Шорохов удалился. Щусь ждал, зажав трубку в горсти, вслушиваясь и вглядываясь в ночь. Ненастная и беспокойная она была, то далеко, то близко поднималась стрельба. Немцы, не

переставая, металы ракеты, всполохи которых сгущали, ломали, собирали в клубок отвесные струи дождя. Зябко и сыро в этом проклятом месте.

Скрипнул клапан телефона.

— Слушаю вас, товарищ капитан. Что-то случилось?

— Ранен Рындин. Николай. Тяжело, опасно ранен. У тебя, я слышал, спрятана лодчонка.

— Да какая там лодчонка, товарищ капитан, звание одно.

— Все равно, по сравнению с бревнами — транспорт. Попросись у Зарубина, скажи, моя это личная просьба.

— Е-эсть. Я, конечно, попробую.

— Пробуй давай, пробуй.

Колю Рындина на берег перло целое отделение на прогибающихся жердях, к которым была привязана где-то солдатами раздобытая немецкая плащ-палатка. Ночь от дождя совсем загустела, носильщики спотыкались в оврагах, падали, вываливая раненого и снова водворяли его меж жердей на рвущуюся плащ-палатку. Коля Рындин терпел, лишь мычанием выдавая свою боль.

В отблеске воды замаячила, наконец, долговязая, сразу узнаваемая фигура, державшая на плече конец жерди.

— Ашот! — воскликнул Шестаков. — Васконян?

— Это ты, Шестаков?

По голосу было ясно — Васконян рад тому, что однополчанин его жив. Командуя загрузкой и все время опасаясь, как бы немецкий пулемет не врезал по ним, Лешка в то же время говорил бойцам-щусевцам, чтоб они дождались бы рассвета здесь, на берегу, что ночь совсем уж глуха, стрельба идет непрерывная, что провод из батальона проложен местами по «территории» противника и можно нарваться так, что ноги не унесешь, кроме того, сойти в ручей по вымоинам и отрогам оврагов дело плевое, но вот угодить обратно в свой ход — весьма и весьма хитро — все овраги и водомоины с рыла схожи.

Васконян, пока грузил раненого в лодку, нашаривал на корме деловитого Лешку, говорил что-то из темноты, забрел в ботинках в воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великаний нос за борт.

— Ну, Никовай, дегжись... — и стоял, маячил в воде, пока лодка не отплыла, не затерялась на реке, дождем и теменью склеившейся берегами. Ориентир был отменный — не заблудишься за

настороженно отделившись, в мироздании сгинувшим правым берегом реки, с выхлестом взлетали ракеты, ломко рассыпающиеся в полосы дождя, они отсветами реяли над рекой и тонкими, рвущимися концами нитей вились в воде. Огнями пересекаемая вдоль, поперек и наискось, искрами трассирующих пуль сыплющая темнота, вдруг озаряющаяся россыпью нарядных, цирковых шариков, медленно удалялась. Харкающий огнем, точно норвящий еще более яркими вспышками загасить неуместные фейерверки на противоположном берегу, яростно влаивал, ахал, катал громы во тьме берег левый, посылая шипящие, урлюкающие в высоте снаряды и воющие мины. Коля Рындин не шевелился, не разговаривал, вслушивался в шелест воды, хлопанье весел, шипение снарядов, свист пуль, лишь один раз со стоном произнес:

— Кака река-то широка! — помолчал и для себя уж только молвил: — Пожалуй что ширше Анисея будет.

Лешка ничего ему не ответил — корыто совсем разбухло, водой набрякло, и движение его было неходко, требовалось грести и грести — раненый подмокнет, челн, этот гроб с музыкой, сделается еще тяжелей, да и то вон шлепаешь веслами, шлепаешь, и никакого ходу.

С плацдарма, будто играя, какой-то дежурный обормот из фрицев пустил над рекой светящуюся ракету и, обрезанная спереди и сзади, она легкой кометой пронеслась над лодкой, чиркнув по воде ниткой охвостья, с треском рассыпалась, озарив на мгновение левый берег.

— Недалеко, Коля, уже недалеко, — одышливо произнес Лешка и какое-то время не гребся, позволив себе маленькую передышку.

— Ты че, Шестаков? Тебя не убило? — встревожился раненый.

Лешка погромче плеснул веслом, и Коля Рындин успокоился.

Пристав к берегу, Лешка долго искал медпункт, на всякий случай выкрикивая: «Свой я! Свой! Раненого приплавил...», — а то эти обормоты-заградотрядчики, чего доброго, рубанут спросонья. Недоверчиво осветив фонариком лодку и раненого, левобережные вояки проводили Лешку к палатке медпункта, наполовину врытой в камни. Там дежурила Фая. Сперва она направила на Лешку пистолет, спросив, кто идет, — видать, жирующие на берегу вояки досадили ей. Неля вместе с лодкой уехала на ремонт — пробило судно пулями, потому никто к речке Черевинке и не плавает, раненых в медпункте нету, оставить же медпункт она не может, потому как сволочи эти,

тыловые вояки, все из медпункта и прежде всего спирт воруют, даже и палатку могут унести, променять на самогонку.

Фая дала Лешке кусок хлеба и нерешительно предложила дохлебать остатки супа в котелке. Когда Лешка, споро работая ложкой, сказал, чтобы Фая дала и раненому кусочек хлеба да глоточек спирта, она все это сделала и предложила Лешке поднять раненого и перенести до утра в палатку — в лодке вода. Лодочник сказал ей, что так поступать он не имеет права, до рассвета ему надо доставить раненого куда следует и переплыть обратно во что бы то ни стало. Иначе, когда ободняет, его расстреляют на реке вместе с его аховым плавсредством.

Сколько будет жить Лешка Шестаков на свете, столько и будет помнить путь — от берега реки до медсанбата, расположенного, по заверению медсестры Фаи, «совсем рядышком». Фая помогла Лешке проводить Колю Рындина к дороге, но надолго оставлять медпункт не посмела, боясь за имущество, указала, куда идти, заверила, что им непременно попадется машина. Она бы, может, и попалась бы, но Лешка решил сократить дорогу, пойти напрямки, через прибрежный лес. И лес, и дождь, в нем шелестящий, переваливали за полночь. Было свежо, почти тихо, если не считать стрельбы с плацдарма и изредка в темноте ответно бухающей пушки, совсем близко вдруг выбрасывающей сноп искр, укушенно подпрыгивающей в на секунду ее озарявшей вспышке.

Раненый держался хорошо, почти бодро. Обхватив тугой ручищей шею товарища, которому шея та с каждым шагом казалась все тоньше, — прыгал и прыгал, волоча ногу, задевая за высохшие дудки дедулек, в темноте с треском ломающиеся или застрявшие розеткой семенника в толсто напутанной перевязи, волочились ворохом дудки, вехти травы. Из мокрых бинтов, из окровавленных тряпок торчали шины — неокоренные палки яблонек, выломанных в Черевинке. Обломки цеплялись, вязли в зарослях черемушника, ивняка, нога попадала в петлю кустарников, в спутанную траву. Лешка с ужасом замечал: палки яблонек становятся все белее оттого, что с них обдирается кора, а тряпки грязнеют.

— Ниче... ниче... Бог даст, скоро доберемся... — схлебывая воздух, точно кипяток с блюдца, успокаивал себя и оправдывал

неловкости сопровождающего Коля Рындин. Но пришла минута — раненый взвыл, запросил пить. Фая Христом-Богом молила не поддаваться на уговоры раненого и не давать ему воды. Но раненый сам, как зверь, учуял воду: отмахнул Лешку, прыгнул к блекло засветившейся луже, хряснулся на живот и, захлебываясь, стал хватать жарким ртом грязную жижу, отплевывая со слюной кашу ряски. Они пришли к старице — догадался Лешка, — может, к той самой, в коей он нашел лодку. Где-то совсем близко должен быть приемный пункт санбата, надо лишь обойти или по шейке перехвата перейти старицу, и они, считай, «дома».

— Коля! Коля! Дружочек! Коля! Миленький! Дубина, ептвою мать! Нельзя тебе воду, нельзя! — кричал сопровождающий на раненого, пробуя оттащить его от воды.

Но смиренный в другое время Коля Рындин не слушался, хватал и хватал ртом мокрую ряску, рыча, выжевывал из нее грязную слизь.

— Ты хочешь сдохнуть, а? Хочешь? — Лешка Шестаков матерился только в крайности.

Коля Рындин знал об этом еще по бердскому запасному полку, почитал за это товарища, выделял его из ротной шпаны за верность, за покладистость характера, отчего-то частой грусти подверженного. Коля полагал, что Лешка тайно верует в какого-то северного деревянного бога. Уронив большое, жаром пышущее лицо в прохладную ряску, Коля мычал, выдувал носом пузыри, не чавкал уже по-кабаньи соблазнительную жижу, засоренную конскими волосьями, щепьем, банками-склянками и всяким отходом, сладко, словно мамкину титьку, сосал болотину.

Кругом густо стояли, жили, работали войска, а они, как никто на свете, умеют обезобразивать постоянное место — им здесь не вековать.

— Ну, подыхай! Х... с тобой, раз так...

Коля взнял лицо, подышал, отплюнулся:

— Пошли, ковды.

Теперь они, раненый и сопровождающий его, валились на траву вместе. Чуть отдышавшись, Лешка подлазил под раненого, взнимал его с земли с надсадой и устремлялся вперед, падая на бегу. Оба они огрузли от мокра, Коля Рындин, упавши, задушенно выл. Лешка вдруг услышал себя — тоже воет. Раненый ничему, кроме боли, уже не внимал, хватал мокрую траву зубами, жевал ее. Горькая слюна текла у

него по подбородку. Скоро он начал терять сознание. Лешка, кашляя, плача, каясь — зачем не оставил раненого и сам не остался на берегу, просил давнего товарища потерпеть, не умирать. Почти переставший на фронте молиться, Коля Рындин смятым голосом просил: «...сси-ы, спо...ди... си-ы-ы-ди-ди-ди». Лешка боялся Бога — в темной чаще северный человек всегда относится боязно и суеверно к Богу. Волоком затащил он раненого под строенный ствол плакучей ивы, уронившей полуоблетевшие ветви в воду, полагая, что здесь посуше и ориентир хороший — не потеряет раненого. Выкрикивая:

«Сщас, Коля! Сщас, дружочек, сщас...» — Лешка бродом попер через старицу.

На первой же поляне, в середине вытоптанной, по краям отравенелой, он обнаружил круглую, шатровую палатку, к которой цыпушками подсели палатки меньшего размера. Для начала он был обруган за то, что разбудил людей, но, услышав слово «плацдарм», узнав, что раненый переправлен из-за реки, да еще и один переправлен, значит, важная фигура, санитары схватили носилки и ринулись следом за Лешкой во тьму, однако не бродом, а через перехват, который оказался совсем близко. Коля Рындин, скорчась, лежал под плакучей ивой и не шевелился. «Ой, помер Коля!» — оборвалось все внутри Лешки. Раненому потерли виски нашатырным спиртом, в зеленую загрязненный рот влили глоток горячительного. Он поперхнулся, зашарил рукой по стволу ивы, спрашивая, где он? Коля Рындин, видать, решил, что уже на том свете и над ним неструганая крышка гроба.

— Все в порядке... все в порядке... Добрались все же, добрались, Коля...

Возле палаток стояла наготове санитарная машина. Колю Рындина с ходу, с носилками засунули во внутрь машины, туда же заскочил один из санитаров, машина, фыркнув, выбросила белый дымок и, переваливаясь на кочках и кореньях, устремилась вдаль. Все-таки приняли Колю Рындина за важную персону. По тяжести и объемности фигуры раненый тянул на генерала, сопроводилки же и личных бумаг с ним не оказалось. Выпали, видать, из гимнастерки солдата бумаги, когда пытались пробиться к медицинскому раю.

— Мне бы пожрать маленько. И поспать часок, иначе не хватит сил переплыть обратно, — вполголоса, но настойчиво произнес Лешка

Шестаков.

Просьбы его были тут же исполнены — на этом, на левом берегу почтительно, даже заискивающе относились к тем, кто находился в аду, называемом плацдармом.



## День пятый

Лешкино путешествие за реку на редкостном плавсредстве оказалось замечено где надо и кем надо. Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршали. Среди всего великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хуже, безответственной всего приготовлена связь — собирались же наступать, взять врага на «ура!» и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить — чего ж возиться с какой-то задрипанной связью — вот и явились в поле военные рации устарелого образца, в неуклюжем загорбном ящике и с питательными батареями, величиной и весом не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации и питание к ним радисты, но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за пазухой батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась компактная, более-менее надежная рация, однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовая, объектах.

Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи — сереньким, жидким проводочком, заключенным в рыхлую резинку и в еще более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежавши четыре-пять часов на сырой земле, провод намокал, слабел в телефонах звук, придавленной пичужкой звучала по ним индукция. Товарищи командиры, гневаясь, били трубкой по башкам и без того загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя — это он, невежда и вертопрах, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые этой науки и без того нахимичили лишка, отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых

ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность.

Чужеземный, более жесткий, чем русский, провод заключен в непроницаемую пластмассовую изоляцию — ничего ему ни на земле, ни в воде не делается. Телефонные аппараты у немцев легкие, катушки для провода компактные, провод в них не заедает, узлы не застревают. Связисту-фрицу выдавался спецнабор в коробочке — портмоне с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки — назначение их не вдруг и угадывалось. Отважным связистам-Иванам вместо технических средств выдавалось несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудию, имеющуюся на вооружении у фрица, иван-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя. Линия связи — узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволоками, бечевками, обиты жестяными заплатами.

Уютно осевшие на дно траншеи, бойцы отводят глаза, когда уходят из окопа в разведку ребята. А разведчики одаривают завистливым, напряженно-горьким, прощальным взглядом остающихся «дома». Так разведчики-то не по одному, чаще всего группой идут на рисковое дело. И сколько славы, почета на весь фронт и на весь век разведчику. Связист, драный, битый, один-одинешенек уходит под огонь, в ад, потому как в тихое время связь рвется редко, и вся награда ему — сбегал на линию и остался жив. «Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился? В воронке лежал?» Словом, как выметнется из окопа связист — исправлять под огнем повреждения на линии, мчится, увертываясь от смерти, держа провод в кулаке — не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони; их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемета, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо искать днем с огнем. От неопытных людей на войне, в первую голову в связи, — только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и

авиация, лупили по своим почем зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо не тугих ребят, способных на ходу, в боях, не только сменить связистское утильсырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтоб в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется, опять же под огнем, починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан с ходу распознать и разделить технарей, тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии, и «слушачей» — тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца-командира не теряет присутствия духа, понимает, что пятьдесят пять и шестьдесят пять — цифры неодинаковые, если их перепутаешь, — пушки ударят не туда, куда надо, снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тошно сидеть под огнем противника, под своим же — того тошнее. Телефонист с ходу должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединенных к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того — Бог ему должен подсоблять — различать голоса командиров — терпеть они не могут, особенно командиры высокие, когда их голоса не запоминают с лету, для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить — звать или не звать своего командира к телефону, кому ответить сразу: «Есть!», кому сообщить, что товарищ «третий» или «пятый» пошел оправиться. И всечасно связист должен помнить: в случае драпа никто ему, кроме Бога и собственных ног помочь не сможет. Связист — не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди. Убегать связисту всегда приходится последнему, поэтому он всечасно начеку, к боевому маневру, как юный пионер к торжественному сбору, всегда готов — мгновенно собрав свое хозяйство, он обязан обогнать всех драпающих не только пеших, но и на лошадях которые. Будучи обвешан связистским оборудованием, оружием, манатки свои — плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые ни в коем случае не терять — никто ему ничего взамен не выдаст, с мертвецов же снимать да на живое тело надевать — ох-хо-хо. Кто этого не делал, тот и не почует кожей своей...

«Где эта связь, распра...» — Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгоряченному командиру трубку: «Вот она, тыщ майор, капитан, лейтенант! Тутока!»

Будучи северным человеком, к суровому климату приспособленным, единственный сын хоть и беспутной матери, Лешка Шестаков все же был местами подбалован: не мог, например, спать в обуви, надо ему непременно разуться, накрыть ноги телогрейкой, согреть их, тогда он уснет, не уделив внимания туловищу и всему остальному. Не всегда фронтовые условия позволяли спать с таким вот солдатским комфортом, но ноги так уставали, такая изморная можжа их охватывала, что Лешка махал рукой на неподходящие условия, и случалось уже не раз — драпал босиком, никогда, правда, при этом не попускаясь обувью. Один раз его забыли спящего, и он часа полтора находился под оккупацией.

Есть негласное фронтовое правило — в отдалении от своего воюющего братства индивидуальную щель не рыть, избегать ее однопersonально рыть также на окраине опушек леса и кустарников, возле камышей, окошенных хлебов, кукурузы, подсолнухов, в первую голову следует избегать мест, выкошенных в поле уголком, хотя они-то и соблазнительны. Здесь, в уединении, в пшеничной или кукурузной затени, пусть и в малом удалении от блиндажей и окопов, кротко спящий военный субъект есть самая соблазнительная для врага добыча. Полезет фрицевская разведка за языком, а он вот он, голубчик, дрыхнет, поставив оружие на предохранитель, положив ладошку под щеку, — бери его сонного-то без риска и неси аккуратно восвояси — он не вдруг и проснется. Могут танк или машина на щель наехать, пехота, идущая ночью на замену, на тебя сверху рухнет, штабной офицер-красавец, влекущий на тайное свидание в кусты иль в тучные хлеба боевую подругу, парой навалятся — держи ее, пару-то, на плаву.

На Дону было — свалилась эдак вот парочка в связистскую ячейку, кавалер руку сломал, кавалерша — ногу в коленке выставила, Лешке шею свернули. Долго вертеть головой не мог, а ведь на голове-то трубки висят — две, и каждая не меньше килограмму.

Под Ахтыркой, помнится тоже, так Лешка умотался, что месту был рад, и занял готовую щель, фрицем иль Иваном была копана в спелой пшенице, но началась уборка, косилка прошла и как раз возле щели, по дну толсто устеленной соломой. Окошенная щель оказалась

как раз в уголке, колосья на бруствер наклонились, зерно насыпалось. Когда Лешка подошел к щели, из нее пташки выпорхнули. Он почистил щель, еще пышнее устелил ее соломой и только устроился — хлопбысь на него сверху иван с котелком, горячим чем-то облил. Лешка лизнул губы — горошница. Склизко в щели сделалось. Надо бы уйти из щели, сменить место, но сил нет. Дождь. Спал, спал, снова придавило. Плащ-палатку сверху пристроил, комьями ее придавил, но не успел насладиться, как снова сверху что-то легкое навалилось на него — подумалось: человека заживо закопали. Или в плен берут — Лешка двумя пальцами снял затвор с предохранителя да как вскинет, да как заорет: «Кто такие? Вашу мать!» А никого уже нету, иван опять шел, оступись, ведро воды налил с провисшей плащ-палатки, грязной земли пуда два обрушил на человека. Снова стал устраиваться Лешка, решив, что уж теперь-то все, не наступят на него больше. Но на рассвете на него самоходка наехала своя. Наша. Крупнокалиберная. Вдруг шатнулась самоходка, земля треснула. Стрельни бы еще разок — засыпало бы. Самоходка съехала, свет открылся — можно дальше спать. А с рассветом немцы контратаковать задумали, по стерне подобрались к наблюдательному пункту и выбили гвардейцев с высоты. Лешка вроде бы и слышал шухер какой-то, но после дикой самоходки его, как блаженного младенца, охватил самый сладкий сон. Спит он, значит, себе, не ведая, что на высотке уже хозяйничает враг. И спал он до тех пор, пока его же родные гаубицы не обрушили огонь на высоту, затем артиллеристы вместе с хромающей пехотой пошли свои позиции отбивать. Помнится, он проснулся, узнал по звуку снаряды своей родной артиллерии и подосадовал: «Совсем сдурели! Опять по своим лупят...»

С высоты фрицев вышибли, в хлеба их отогнали, пошла работа до седьмого пота, боец же Шестаков дрыхнет в уютной затени недокошенных хлебов. Разбудили его уж когда еду принесли и пришла его пора садиться к телефону. Тут-то от возбужденно по линии треплющихся связистов и узнал он, что побывал под пятой врага и что генерал Лахонин до того освирепел, узнав, как его непобедимые гвардейцы бесшумно снялись с высоты на рассвете от внезапно нахлынувшего из хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что, стоя на «виллисе», распоясанный, лохматый генерал гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал, обратно на высоту.

Схлынуло. По проводам связистский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанных на склонах высоты машины, артиллеристы всякое свое имущество посеяли, даже будто бы стереотрубу в боевом настрое кинули. Ах, знали бы трепачи, что и солдатика, спящего в щели, забыли... Он — истинный советский солдатик, порассуждав сам с собой, с умным, кое-что повидавшим человеком, решил военную тайну никому не выдавать и осенью уж, в благую минуту, рассолодев от хорошего харча и доброй погоды, рассказал о случившемся с ним приключении надежным людям — майору Зарубину и капитану Понайотову. От души повеселились родные командиры, однако тоже посоветовали помалкивать. И после, до самой реки, Зарубин с Понайотовым работают, работают на планшете, глянут в сторону телефониста и головой потрясут или майор скажет в телефон кому-то загадочно и весомо: «Ну как мы спать умеем бесстрашно, прямо на передовой, так нам никакой враг нипочем...»

Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг к дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, — носище отдельно, губищи, всегда мокрые, отдельно, глаза от рождения напуганно вытарашены. Уши прилеплены к сплющенной голове с философски-высоким, гладким лбом, уже с юности уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе незастегнуты, пряжка ремня набок, сапоги — один начищен, другой нет, все-все как бы случайно, на бегу надето — вот и закончен портрет. Внешний. В деле же Одинец собран, толков, одержим, и, если б он панически не боялся начальников, — цены бы ему не было. Свое смятенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилам-командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски — «боййэхомать!». В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одином посмеивались, но все кругом знали — без него, как без рук. Командир артполка Вяткин, снова спрятавшийся в санбат, под крылышко жены, разносил Одином часто и больно. Зарубин же всячески начальника связи защищал. Велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной

мастерской, где среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов. Чего-то сваривал, паял, клепал, по личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку — для защиты штаба и однажды на глазах у всех подшиб вражеский самолет — все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему Одинца представлять к ордену «Отечественной войны», которого сам комполка не имел. Одинец же получил третий орден и повышение в чине, сделался капитаном, но, привыкнув к званию старшего лейтенанта, долго на новое звание не реагировал. И вот связь, налаженная под руководством Одинца, и, более того, его же руками намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли. Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил:

— Может, мне к вам переправиться?

— Сидите уж, где положено! — раздраженно буркнул Зарубин и, тут же успокаивая человека, добавил: — Вы там нужнее.

Радение Одинца, его умение, ценный талант нежданно-негаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он после тяжелой ночи каменно спал в земляной норке, когда его задержали за ботинок так, что чуть не разули.

— Что такое?

— К майору. Бегом!

Разумеется, бегом Лешка не бежал, потянулся, позевал и засунул в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор, совсем пожухлый лицом, полулежал возле телефона.

— Вам звонят. — Сказал и протянул Лешке трубку.

— Мне?! — поразился Лешка. — Кто мне может звонить? Корешки с того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан Щусь?..

— Вам, вам, — кивком головы подтвердил майор.

— Лешка! Ой, тоись, Шестаков слушает, — неуверенно произнес Лешка.

От дальности напрягшийся, незнакомый голос, перекрывающий скрип, шум и писк индукции, произнес:

— Товарищ Шестаков! С вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства. — Дальше сообщались звание, фамилия, но Лешка их не запомнил. — Вы меня слышите?

— Шестаков! Ты где там? — ворвался на линию заполошный голос Одицеца, но уж без «эхомать».

— Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?

— Да ничего у нас не случилось, — рассмеялся далекий начальник связи. — Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством, вы его лично знаете? — Лешка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства и видел ли его хоть раз, вспомнить затруднился, но согласно кивнул головой, как будто человек на другом конце провода мог его увидеть. — Так вот, командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы совершили, переправив связь...

«Ну, это уж ты, дядя, загибаешь! — усмехнулся Лешка. — Что-то тебе надо от меня, вот подмазываешь салазки...»

— ...Он также поручает вам переправить связь...

— Какую еще связь? — испуганно переспросил Лешка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и зануло в животе иль близ его.

— Нашу, нашу! — продув трубку, кричал далекий человек — начальник. — Вы меня поняли? Вы меня слышите?

— Ты понял? Ты слышишь, Шестаков? — снова объявился Одицец.

— Слышу.

— Я понимаю. Все понимаю... трудно. Но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало, — он еще что-то говорил и в заключение «по секрету» выдал: — Лично ходатайствую «Звезду».

Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль, только бы ее не услышали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадает: «Рассветает же! День! Сказать, лодку разбило. Нет лодки! Нету этого несчастного корыта! Кто узнает? Оттолкну. Унесет к чертям. Проверь, попробуй!..»

— Шестаков! Шестаков! — опять завелся Одицец. — Ты шо, не выпался?..



— Вот именно! — вспыхнул Лешка. — Я только что приплыл. Я один тут? Один?

Но что говорить об этом Одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки, облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства, за исключением Мусенка, боится, как огня, а на проводе чин аж из корпуса. И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы. Умные какие все кругом, один он дурак, с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи на свою дурную голову.

Майору Зарубину тоже приходило в голову, что челн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме, его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, и если на то пошло, и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме ох как обязаны ему, этому связисту! И нету ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы — догадливые давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство — на всякий случай, предлагают переправиться на нем ему, командиру, но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командир, и корыто здесь, с ними. Ох уж эти солдаты — политики! Кто их поймет? Кто пожалеет и оценит?..

Лешка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас — отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то — лицо или бинт — не разобрать. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ — не судья он ему сейчас. Все пусть решает совесть и что-то еще такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет.

— Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, — устало сказал Лешка Одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, отчего-то полошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью речки Черевинки.

«Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутенка — из мешка в воду, который выплывет, тот — собака. И майор тоже хорош... Да какой я

ему друг-приятель? Я — его подчиненный, и Одинцу подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, — высоко и глухо».

Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подравняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лешку Шестакова, который сам же и давал советы майору — выбирать надежных людей. А надежный — это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем! Не на Сему же Прахова. Сочувствие, помощь друг другу, главное работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она, эта ложь, угнетать будет не одного Лешку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Этаким вежливым, спокойно-холодным, как к Вяткину Ивану.

Пнув в войлочно-мягкий бок челна, Лешка, глядя на другой, туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул:

— Я бы две звезды вам отдал...

Майор ворохнулся, нажал клапан трубки:

— Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания.

— Все в порядке! Все в порядке! — восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил:

— Есть! Есть! Будет сделано!..

Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. «Ну, прямо спрос, как на шептунью Соломенчиху в Шурышкарах!» — усмехнулся Лешка и услышал шлепающий голос комиссара Мусенка — готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?

— Готов, готов! — резко отозвался Лешка на призыв военного тыловика, привычно распоряжающегося чужой жизнью.

— Вот и хорошо! Вот и правильно! Так и должны поступать советские бойцы! А вы — пререкаться...

— Да не пререкался я.

— По-вашему выходит, дивизионный комиссар говорит неправду? Так выходит? — построжел Мусенок. — Одинец! Не слишком ли разговорчивы у тебя бойцы?

Но выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Понайотов, на дух не принимающий важного политрука, оборвал его — по линии идет непрерывная боевая работа.

— Извините! — вежливо заключил Понайотов.

— Пожалуйста, пожалуйста! Я уже кончил, — бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусенок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком, с печуркой, блиндаже. Залезая под чистую шинельку, может, и под одеяльце. На столике у него, среди недочитанных газет, недопитый стакан с чаем, табачок «золотое руно» запахи извергает, может, и машинистка Изольда Казимировна Холедысская под боком. Уют, одним словом, соответствующий должности.

У печурочки клюет носом шофер, этакий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин, люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя: «Зацалуе пши спотканю! Зацалуе пши спотканю».

«Ну, ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет», — горестно возмущался начальник штаба Понайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова — доплывет ли?

— Туда-то, к вам-то я доплыву, с радостью. А вот обратно?.. С грузом? Как только приедут связисты из большого хозяйства, пусть наши всю связь у них проверят. Провод должен быть трофейный, иначе тянуть коня за хвост незачем.

— Да вон слышно, Одинец орет на всю родную Украину, значит, действует. Как там Зарубин?

— Товарищ майор-то? Зарылся в землю.

— Не сможешь ли ты его...

— Попытаюсь... Но лодка-то, лодка...

— Дай сюда трубку! — вдруг выкинул руку из ямы майор. — Ты вот что, Понайотов, если хочешь мне и всем нам помочь, позаботься о снарядах. А филантропией не занимайся. Я могу уйти отсюда только

после того, как ты или кто из комбатов... И все! И нечего! Мы и без того все тут жалости достойны... Божьей. — И, гася в себе вспышку раздражительности, мягче добавил: — С Шестаковым отправь записку... Все, чего нельзя сказать по проводам...

— Ясно. — Понайотов посчитал, что так вот, сухо, никчемно разговор заканчивать неловко и ляпнул: — Отдыхайте.

Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, на дрожащего в ней майора Зарубина, обметанного седеющей щетиной, Лешка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритым. И не знал Лешка, что голова у него уже наполовину седая, здесь, на плацдарме, он и начал сесть.

— И правда,плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там... — отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнес Лешка. — Может, Бог нам поможет. Коля Рындин говорил — Он всегда болезных жалеет...

— Делайте, что пообещались делать. Выполняйте задание! — вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу, и уже в нос, для себя, выстанывая, — а я буду делать, что мне положено... Дьячки кругом, понимаете!..

На другой стороне реки Понайотов, ляпнувший обидное слово, можно сказать, издевательское для гибнущих людей, стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него донесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким, умиротворенным сопением, — телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственный его командир, спал. В открытую спал. Понайотов изо всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке.

— Река слушает! — подпрыгнув, заорал с перепугу связист.

— На плацдарм бы тебя! Выспался бы!

Осторожно скребя по дну лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лешка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах, по-моряцки — шпангоутах, проверил — корыто разваливалось, и все же перевалил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по-собачьи глядел в глаза Шестакова. Раненый замычал и успокоенно скорчился на мокрых досках.

«Везуч ты, славянин, ох, везуч! — усмехнулся Лешка и зашагнул в лодку. — Может, и мне потом повезет...»

— Может, еды и бинтов приплавлю, — крикнул от воды Лешка.

— Себя приплавь! — раздалось в ответ.

Связав обмоткой весла, чтобы можно было одной рукой грести, другой вычерпывать воду, с раненым на борту, который от сознания, что теперь спасен, сбросив напряжение, впал в беспамятство, Лешка украдкой отплыл от берега и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутимей чувствовал, как кровь отливала от лица и не на коже, под кожей щек нарастает щетина, колясь изнутри. Выплыв из тени, за мутную полосу воды — это с острова, из протоки да с разбитого берега тащило ночным дождем грязь и муть, одинокий пловец на челне сделал то, что веками делали одинокие пловцы:

— Господи! — едва слышно попросил. — Господи! Если Ты есть — помоги мне! Нам помоги! — поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что Бог — защитник всех страждущих... «А-а, про Бога вспомнил! — злорадно укорил он себя. — Все нынче о Нем вспомнили, все... Припекло! Сюда бы вот атеистов-засранцев, на курсы переквалификации»...

Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды.

«Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Экой я персоной сделался!» — удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшатся, садятся на все, что плывет по реке и расклеивают всплывших утопленников.

«Мама, моя мамочка! Один на реке, всеми брошенный... — хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, на Оби, в Шурышкарах. — О-о, Шурышкары родные, мама родимая! — где-ка вы?..»

Весла чуть постукивали. Коротко, рывками, шлепая подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пониз ошметки исходящего тумана, что-то сильно шлепнулось рядом. Лешка вздрогнул: «Неужели рыба? Неужто не все еще поглущено... Не дай Бог, человек!»

Из тумана все возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз, выбросила желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка замахнулся, чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила, стерлась, будто во сне.

Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумеречь, ударившись в камни и стволы ветел, рассыпалась за спиной. Казалось, продробили на стыке рельсов колеса и поезд подняло вверх или уволокло по реке, в мягкий туман.

Немец просыпался, начинал работать.

Для остратки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнула за лесом «катюша», отчего-то одна, прососался в тучах планирующий почтовик и, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто, зовуще проржал, будто конь в росистых лугах.

Накоротко уснувшая война продолжалась. Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, она забывалась в больном сне и вот начинает очухиваться. В тылах же враждующих армий шла и ночью напряженная работа мысли, рук, моторов: подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее, обмундирование, лекарства.

Лешку уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывшись шинелью, спал, сваясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Понайотов, санинструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке.

— В лодке тяжелораненый, — сказал санинструктору Лешка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. — Его сперва в тепло надо, — добавил связист и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, отвернувшись, молвил Понайотову: — Неужели некому сменить товарища майора?..

— Ты поешь сначала, поешь! — совал прямо в лицо Лешке котелок суетливый ординарец майора Ухватов, изо всех сил стараясь замять неловкость.

— Потом, потом! Как связь? — обратился он к незнакомым связистам.

— А чего связь? Связь как связь! — недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги.

— Ты, весельчак! — обращаясь к нему, скривил губы Лешка. — Знаешь хоть, куда поплывешь?

— На плацдарм, говорено.

— А плавать умеешь?

— А для че нам плавать-то? На лодке, говорено.

— Нет. Все-таки?

— Не-а. Мы с Яковом в степу выросли. У нас реки нетути, — отозвался за «веселого» его напарник.

Услышав ругань санинструктора, ординарец Зарубина Ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, раззявив зубастую пасть, с подвывом зевнул.

— Чево шумите-то? — расстегнув ширинку и целясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул в камни шумной струей. — Полковник Байбаков приказал переправить связь, стал быть, без разговоров.

— Ты старший, что ли?

— Н-ну я, — заталкивая свое хозяйство в штаны, нехотя и надменно отозвался связист.

— Экая дурында! — смерил его взглядом Лешка, — поменьше будь, я б тебя самого заставил плыть в моем корыте и любимого твоего полковника рядом посадил бы... Да вот фигура-дура спасает тебя. Лодка под тобой ко дну пойдет!

— Шестаков, прекрати! — сказал Понайотов и что-то еще хотел добавить, но в это время со взваленными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой, всем, что есть на нем и в нем, мотаясь, крича: «Боййэхомать!» — примчался на берег Одинец.

— Ты чего, Шестаков? — вытаращился он на Лешку.

— Ничего. Все в порядке, товарищ капитан, — черпая из котелка кашу, — отозвался Лешка.

Технически острый глаз капитана уцепил катушки корпусных связистов, с неряшливо намотанным блекленьким проводом. Брызгая слюной, гневно крича «боййэхомать!», Одинец побросал обе катушки в воду, хотел и телефон об камни трахнуть, но Яков схватил деревянную коробочку, прижал ее к груди.

— Ты че, падла?! — заорал старший команды. — Ты че, жидовская морда, делаешь?

Лешка прервал дебаты, встав между начальниками, и заорал громче их, чтоб проворнее грузились, потому как совсем рассвело.

Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод к катушке, остающейся на берегу.

— Боййэхомать! Там люди умирают, — продолжал громить тыловиков Одинец, — а они явились с непригодной связью!

— Я вот полковнику Байбакову об тебе расскажу, он те, курва, покажет непригодную связь. — Оттертый от дела, не сдавался старший корпусной команды, правда, уже не так громко и напористо гневался старший, тут Лешка неожиданно наплыл на него:

— Если этот деляга уснет на телефоне, — тыкая в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился, обращаясь сразу к Понайотову и Одинцу, громко, сквозь зубы говорил Лешка, — застрелите его...

Тыловые связисты сразу сделались послушны и услужливы, пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник, по имени Ягор, вынул катушки из реки — имущество все же, казенное. Закурили. Лицо Ягора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Леху Булдакова, но умом — куда там? Леха — это Леха!

Одинец, тыча пальцем в сторону насупленного важного гостя из корпуса, сказал, что он не доверит такому ферту важный пост, сам подежурит здесь до конца переправы связи, затем, боййэхомать, со всеми тут, как надо, разберется и до барина этого Байбакова доберется! Ишь, не соизволил на берег прибыть, сон ломать не привык, генерал Лахонин, боййэхомать, наладит ему и всем его кадрам сладкий сон.

«Дать бы этому деляге от всего воюющего фронта по морде! — никак не мог уняться Лешка, — Ах, как хочется дать по морде, да некогда». И хотя он понимал, что зря напустился на тылового увальня — у всякого свое место на войне, но ничего поделаться с собой не мог. От внутреннего смятения все равно нет избыва. Где-то там, в межреберье, все сильней и удушливей теснило, сдавливало сердце, и мысль одна разъединственная, как ее ни отгоняй, все та же: не доплыть — третий раз у солдата везде роковой, и светает, так быстро светает. Эти чистые воины даже не замечают, как стремительно идет утро, как быстро светает. Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя в



корму катушку, на которой плотно, ниточка к ниточке — сам Одинец работал! — была намотана красная жилка провода, катушки новые, облегченные, в свежей еще краске, провод трофейный, новый. Все так хорошо, все так ладно.

— А кто за тебя работать будет! — дохлебав кашу, взвился Лешка и вышиб из губ громилы сигарку. — Я тя, гада, все же усажу в корыто! Ты все же узнаешь, что такое война...

Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лешка оттолкнул лодку. Утлая, полузатопленная, она не отплыла, она покорно отделилась от берега. Отстраненно, из далекого далека донесло до левого берега, до хмурого Понайотова, до усмирившегося, что-то начинающего понимать делегата-связиста, до виновато сникшего Одиноца, — смятый негромкий голос:

— Прощайте, товарищ капитан! Прощайте, ребята!..

— Нет-нет! — заторопился, зачастил на берегу Одинец, подбегая к воде. — До свидания, Шестаков, — и, сложив руки трубочкой, повторил: — До свиданья, до свиданья!

— Пусть будет до свиданья! — уже эхом донесло голос старшего в лодке — связиста Шестакова.

— По туману проскочат, — подал совсем мирный голос с жалобной надеждой ординарец майора Зарубина Ухватов, моя в реке котелок из-под каши.

— На середине реки туман уже отнесло... солнце встает... лодка перегружена... — бормотал Одинец, забыв про распри с тыловином-громиллой, он ощупью нашаривал задом волглую от тумана траву или камень, метясь усесться, вышлепывал мокрыми губами, стравливая провод с медленно вращающейся катушки: — Ах, шоб я счас не сделал, шоб им чем-то помочь...

— Ну, друг сердешный Яков, в степу или где ты вырос, грести веслами придется.

— Да я могу, могу, — заторопился Яков. — Я на веслах гребся, — и, чего-то стеснясь, замялся, — у дому отдыха отпуск проводил, жэншынов на синей лодке по озеру катал... — Должно быть, он уже не верил тому, что было с ним когда-то такое: дом отдыха, озеро, синяя лодка и женщина, щупающая ладошкой воду за бортом.

Ягор, ободряя Якова, себя и Лешку, повертел головой:

— О-ох, ен бя-адо-овай! С бабами нискоко не чикается, раз-два — и усе-о...

«Пуцай поговорят, пуцай отвлекутся», — думал Лешка, помогая гребцам кормовым веслом. Слыша, как лягухами начали шлепаться за борт грузила, привязанные к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, это почти что полкилометра, сто метров на снос, все равно далеко они уже от берега, снова мелькнуло про Обь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами.

Долго отдохавший в тыловой связи, ухажер и сердцеед Яков сперва худо греб, мешаясь в веслах, махал по воде. Но с каждой минутой работа шла слаженней, связисты приноравливались к делу. Ягор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузила за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. «И чего я на них набросился? Они-то в чем виноваты? У всякого своя война». На середине реки растянуло, пронесло пелену тумана, открыло ничем не защищенную реку и хилый челнок на ней. Сильное стрежневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузила за бортом.

«Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам!» — Лешка во всю лопату садил веслом на корме, без крика убеждал Ягора, чтоб он безостановочно выбрасывал связь и одновременно черпал, черпал воду — конопатку из щелей вымыло, лодка текла по всем щелям, бурунами била в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учувя тревогу в голосе кормового, Ягор старался изо всех сил, с ужасом однако убеждаясь, что в лодке воды не убывает. Лешка-то знал: как только убавится груз, течь уменьшится, и приказал выбросить за борт освободившуюся катушку.

— А як же ж отчитываться?

— Сказано! — рыкнул Лешка, и хозяйственный мужик Ягор с сожалением кинул железяку за борт.

Метров еще двести-триста и лодка попадет в «мертвую зону», под укрытие яра. «Неужто проплывем?» — боясь громко радоваться, обнадежился Лешка. Но за изредившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и голом, который кто-то из глубинных россиян назвал точно — слудой, над одним из оврагов дрогнула вспышка, соплею выкинуло дымок. «Неужто по нам?» — втягивая голову в плечи, не переставая работать веслом, насторожился Лешка. Мина плюхнулась неподалеку, и не успело еще выбросить

взрывом холодный ворох воды и окатить гребцов, как замелькали вспышки над парящим берегом, над слудой этой постылой, запело, зануло над головами связистов, струями визгливых пуль взблинило поверхность воды. Яков с Ягором упали на дно лодки, схватились друг за дружку.

— Грести! Грести-ы-ы! — вопил Лешка, цепляя запяточниками ботинок за ботинок. — Ребята! Ребя-а-а-ата-а! — уже не орал, уже выламывал из себя голос Лешка. Он еще пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала, звонко билась о борт банка, загнутая что совок, и, красно змеясь, в петли, в круги, в бухту, сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Ягор.

— Застрелю-уу-ууу!

— А, Божечка! А, Божечка!.. — Яков хватал выскальзывающие из рук весла.

— Черпай! Черпай! Гроби-и! — уже визжал Лешка, тыча веслом в Ягора, который снова выронил банку, налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливая ее. — Сапогом! Сапоги-ы-ы-ы! — Ягор не понимал. — Сапогом, сапогом отчерпывай!

— Яким сапогом?

Лешка ударил его веслом:

— Сапогом, остолоп! Своим сапогом! — Видать, угодил Лешка веслом в голову связиста, и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Ягор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника.

— Ягор! А, Ягор! Ти... тебя вбило? — бросив весла, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. «Все! Теперь все!» — опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, Ягора потянуло за борт. «Теперь вот в самом деле все!»

Наполненная водой лодка кренилась на правый борт. Лешка налег на левый борт, пытаясь выровнять крен, хотел еще сказать, и как можно спокойнее: «Вы уйметесь?!», — и не успел. С заглотом, чмокнув, возле борта лодки плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом снап воды. Захлестнутую лодку шатнуло. Черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со стариковским кряхтеньем, хлюпаньем, бормотаньем и скрипом начала

перевертываться. И чем круче зависала лодка, вытряхивая с громом за борт катушку, телефонный аппарат, банку, весла, людей, тем она делалась поворотливей, шустрее. Опрокинулась же посудина вовсе резко. Как бы выпустив из себя дух, громко ахнула пустым нутром об воду и успокоенно поплыла кверху изопрелым, дряблым дном, будто старая кляча, освободившись от непосильной работы и груза, причмокивая бортами, она довольнехонько покачивалась на волнах и волнушках от кипящих взрывов.

Бывший наизготове, Лешка успел оттолкнуться ногами от лодки. Вода не покрыла его с головой, лишь холодом, словно тонкой струной, резанула по груди. Привыкший купаться на Оби еще в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретой на мели, Лешка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого, разящего ее удара. Всадив пальцы в лункой выгнившую со дна кокору, держась за корму лодки, Лешка искал глазами своих связчиков. Их нигде не было видно. Вцепившись в борт лодки, до конца держались они за нее, если их ударило бортом, оглушило — тогда все, тогда конец. Но они, однако, могли попасть и под лодку. Очутившись во тьме, меж водой и днищем, непременно решат они, что находятся уже на том свете. Лешка, как и всякий рискованный житель, возросший возле реки, не раз тонул в родной Оби, бывал в разного рода переделках, слышал об ужасе от сознания, что, сам того не заметив, успел ты уже перебраться в верхний мир. Он собрался крикнуть: «Эй!» — и внезапно увидел мелькающие вспышки выстрелов, черно вздымающиеся дымы, подумал, что это наши парни вступили поскорее в бой, чтобы помочь попавшим в беду связистам. О том, что за ними, на виду тонущими, открылась такая же охота, как и за летчиком, что упал с парашютом в реку, Лешка отчего-то думать не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда уймется рывками работающее сердце, слегка подгребал рукою, скоро можно будет плыть, если хватит силы воли отпустить от лодки. Но отпускаться придется — это по ней, по видимой цели бьют фашисты. Рядом с бортом лодки взбугрилась вода, и кочаном всплыла голова с широко раззявленной дырой рта, пытающейся орать, однако вместо крика из отверстия, в котором разрозненно торчали зубы, выплескивалась вода. Не дав себе подумать о том, что человек, не умеющий плавать, увлечет его вглубь, Лешка щипками хватал тонущего за голову, но не было волос на голове

солдата. Тогда он сгрэб тонущего за шкирку и потянул к лодке, которая вдруг сделалась верткой, все норовила куда-то ушмыгнуть. Тонущий вцепился в Лешку мертвой хваткой, заключил его в объятия, поволок сперва по течению, затем в глубину.

«Вот теперь-то уж в самом деле конец!..» — успел еще вяло подумать Лешка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нем, слепую стихию не одолеть. Но тело его, сердце, голова, разум и инстинкт, жаждой жизни наполненные, все его существо боролись, упирались, били руками и ногами; пока держался за лодку, успел отдышаться, его сухонькое, гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинивалось, выкручивалось из намертво на нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился наверх, сплюнул воду из сжатого рта, хватил воздуха и изо всей силы ударил кулаком по мокрой голове тонущего. Тот сморился, роняя голову вниз лицом, но не отцеплялся, все волок и волок кормового за собой в глубину.

«О-о-оа-а-ай!» — в отчаянии успел выдохнуть Лешка. Снова сомкнулась над ним вода, снова стозвонно позвала к себе почти нежно звучащая глубина, напоминающая вкрадчиво мягкую, ласково шелестящую травку, набитую мелкими кузнечиками, стрекочущими слитно, широко, до самого гаснущего горизонта. Покорное согласие плыть и плыть в ту, призывно звучащую бездну, окутывало сознание, но оно еще не умерло, оно звало к сопротивлению. Каким-то, не ему уже принадлежащим усилием, судорогою скорее он взметнул вверх колени, уперся ими во что-то твердое, с силою оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они, два за жизнь боровшиеся существа, — один в кромешную, тонким звоном наполненную, таинственную глубь, другой — к свету, к воздуху и, увидев его, свет этот небесный, наполненный грохотом и дымом, он не сразу его почувствовал и воспринял. Билось только сердце в груди, билось и дышало, дышало. Пловец Лешка был деревенский, не мастеровитый, обладал лишь одним стилем — собачий он называется. Он гребся, работал ногами, которые сводила в коленях судорога, и какой-то еще не онемелой мозгой сообразил — надо плыть от проклятой лодки, от корыта этого маслянисто склизкого, дно которого щепало пулями. Чудилось, под ним, под дном, шарятся, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы, вот-вот снова поволокут в бездну. Лешка обнаружил, наконец, что весь перед гимнастерки с него сорван вместе с карманом,

клапан второго был сделан, как и у всех солдат, из подлокотника гимнастерки. Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами и карточками сестер и матери, вырван с мясом и унесен утопшим человеком. Гимнастерка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумажной ветхости, остатки гимнастерки никак не сползали с голого тела. Лешка цапал зубами лоскуты гимнастерки, выгрызал гнилье, сплевывал, отрывивал просоленные тряпки, почти умильно думая о том, что это Бог его надоумил снять нижнее белье и оставить в земляной норе — предчувствовал Лешка: купаться придется и, коли вернется — наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестер, которые, плача, натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь, когда он сорвался за борт катера на Оби. Мать выла и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, теплое, сухое, малые сестренки кричали: «Не бей! Не бей! Ему больно!..»

Лешке удалось сорвать с себя лоскутья, отпластать зубами рукава. Правда, на все это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами. Кроме того, в недвижимого, само собой плывущего человека, не будут стрелять, — рассчитывал он, — много тут всякого добра болтается, в том числе и всплывших мертвецов, во всех не настреляешься.

Немцы и в самом деле отвлеклись от куда-то плывущей лодчонки, от человека, булькающего возле нее. На плацдарме во всю его неразмашистую ширину разгорался бой, но стоило взмахнуть руками, двинуться к берегу, как вокруг забулькало, забрызгалось, кто-то с берега стрелял, короткими очередями, настойчиво, расчетливо.

Пришлось нырять. Тут вспомнилось: кто-то совсем недавно, а-а, док-доктор из штрафной говорил, будто утопшие еще долго, час, а может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают — сокращаются мышцы остывающего тела. Он представил, как сейчас под ним, раскидывая руки в немой русалочьей воде, ходят по дну, сталкиваются лбами, не узнавая друг друга, Яков с Ягором, — и поскорее выбился наверх.

«Ну, нигде спасенья солдату нету, ни в воде, ни на суше! Раз так, то и бояться нечего: ни воды, ни пуль, ни Ягора с Яковым, которые могут схватить за ноги». За ноги хваталась, ломила кость холодная вода, которую, сколько бы он тут ни плюхался, — не согреть ему. Не

скоро, не вдруг Лешка достиг мертвой зоны, пули чиркали по воде уже по-за ним, но мины густо и плотно хлестали по берегу, разбрасывая землю и камень.

Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лешка к желто и красно посверкивающей в налитых кровью глазах крепи берега. От перенапряжений, от сверхусилий, что уже и не усилия, ползучая, жильная тяга, она уже и не в теле, она уже дальше — духом она называется, звенело не только в воде, но и в ушах, в голове, во всем заглошшем теле. Можно было встать, идти по дну, но он, предсмертно хрипя, все молотил и молотил отерпшими, чужими руками по воде. Наконец, достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежал распластанно. Судорогой скручивало, выворачивало нутро. Тонко воя, он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком. С каждым спазмом из утробы его вырывалось мутное облако недавно съеденной каши, в котором клубилась, шарилась по его рукам, по животу, по груди мулява, но он ничего не чувствовал, он все плыл, все плыл по бесконечной реке, зыбился под взрывами, и все в нем звенела, звенела заупокойным звоном, никак не отдалялась от него гибельная, беспросветная глубь.

Майор Зарубин, работавший у телефона и все время краем глаза наблюдавший за рекой, властно крикнул. Двое бойцов, оставив боевые дела, выскочили к воде, схватили Лешку под руки, волоком затащили под прикрытие яра и бросили на землю — «пусть проблюется».

Шел бой. Фашисты атаквали. Бойцам и командирам на плацдарме было не до какого-то солдата, в одиночку выкарабкавшегося из реки, вырвавшегося из лап смерти. Каждую минуту вокруг погибали сотни таких же солдат.

Предоставленный самому себе, Лешка дополз до камня, лег на него животом, переломился — и сколь из него вышло воды и слизи — не помнил, казалось, конца не будет мутному потоку, весь он изовьется, вывернется надсаженной утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, — тоже не знал. Все не сходила красная пелена с глаз, и, когда он сделался способен зреть, убедился — и не сойдет. Обеспокоенно шевелящаяся, мутная у приплесков вода была бурая. Ссохшаяся за ночь пена красным пухом

шевелилась на осоке. Песок на урезе черен от крови, берег устелен трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке.

Со стоном залез Лешка в укрытие, снял с себя все мокрое, выковырял из земли узелок сухого белья, трясясь, натянул его на себя, но согреться не мог, его колотило, взбульндывало в норке, казалось, он вот-вот развалится и развалит своим, без кожи вроде бы сделавшимся телом рыхлый яр, всю эту мертво оголившуюся слуду. Неизведанное до сего дня, пустынное, беспросветное одиночество давило его, он плакал, не утирая слез, не испытывая ни радости, ни торжества от того, что спасся, просто холодно, просто воет сердце от запустелости, просто жалко самого себя. И близость боя, возможность умереть не страшит, даже как бы тихо, ненавязчиво манит, сулит от всего избавление.

Ох, какое это опасное, какое крайнее чувство — ему только поддайся. Но черный от копоти, грязный, распоясанный, босой, скатился с яра попить воды Леха Булдаков, хлебнул из котелка, закашлялся, нашарил Лешку в земле, потрянул его:

— Тебе облегчиться надо, — прокричал он, — воду выпустить, иначе не согреешься. — Леха Булдаков тоже рос и работал на реке, лихачил, химичил, тонул, человек он опытный и не изгальничал на этот раз. — Дед, а дед! Кинь суда хламиду.

Лешка послушно встал на колени в устье земляной норки, в полусне пустил струю в пространство, которая текла и текла сама собой; не сознавая, что с ним происходит, он продолжал дремать, отдаленно чуя грохот боя, кипящего кругом, его все несло, все качало, переворачивало, стискивало водою. Булдаков разорвал мешок, завернул в него Лешку, укрыл ссохшейся телогрейкой, в которую тот завертывал телефонный аппарат при переправе, сверху набросил сорящую песком шинеленку, в которой перебеждал и уже испустил дух не один раненый бедолага.

— Тебе б счас, паря, кружку водки! — бормотал Булдаков, укутывая Лешку. — А мне бы дак и цельный котелок... Для отваги.

Не реагируя на шутки Лехи, но смягчая от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул: «А мне бы уснуть и не проснуться».

Но он проснулся. Начавши выходить из забытья, попробовал шевельнуться. Железная боль охватила все тело, особенно сильно



болели ноги и руки, казалось, вбиты в них сплавные скобы, а тело, на котором все еще не ощущается кожа, наполнено патефонными мелкими иголками и они, пересыпаясь, порют, втыкаются в воспаленную плоть острием. Земля изнуренно подрагивала, сыпалась. Из мира, видневшегося пятнышком в устье норки, доносился привычный уже, будничный гул войны. «Неужели это никогда не кончится? Как все устало, как болит. Может, лучше бы и не выплывать на берег. Нет, нет, надо превозмогать себя, менять дежурного телефониста. Война идет, работы требует, никуда от нее не денешься, идет она, проклятая, идет», — Лешка сел, переждал кружение в голове и почувствовал, что она, голова, упирается в твердое. «Я в ячейке!» — тупо и равнодушно отметил он и увидел перед собой ухмыляющуюся рожу из тех базарных рож, которые всюду вроде бы одинаковые и запоминаются как одно лицо, — жуликоватого, разбитного малого, не возвеличивавшего себя трудовыми подвигами, не утруждавшего себя утомительной честной жизнью — блеклое, невыразительное лицо, но глаза цепкие, лоб не без «масла», в глубоких морщинах лба заключен какой-то смысл, не всем доступный. Ниже глаз начиналось второе лицо, как бы приставленное к верхней половине — узенький нос с чуткими зверушечьими ноздрями, в губах, сплошь иссеченных шрамами, добродушная подстегивающая приветливость, бодрость. Завершается все это сооружение смятым подбородком, форма которого искажена шрамами. Ко всему лицевому набору приставлены такие же, как у капитана Одинца, лопухи-уши. Несмотря на войну, на постоянное, изнуряющее напряжение, мужик или парень этот держался беспечным, разудалым ванькой с трудоднями.

— Тебе чего, Зеленцов?

— Ит-тыть! — ощерился собеседник. — Скоко тебе толковать-то? Не Зеленцов, а Шорохов. Шо-ро-хов, понял?!

— Видать, много за тобой концов тянется, и не только телефонных. — Лешка, взнявшись, задел головой верхотуру, насыпалось песку за ворот. Вышаривая комочки из-под гимнастерки, вылез на свет Божий. Но свету никакого нигде не было. Весь берег, подбережье и река затянуты зыбучей, спутанной тучею отгара. Молнии огней рвали эту тучу, не небом, не землей, войной сотворенную, но не могли порвать, лишь баламутили. Туча, ворочаясь в себе, текла в самое себя, на мгновение вспыхивала изнутри, раскаты слились в единый

гром взрывов — работала во всю мощь артиллерия с обеих сторон. Выше пороховой тучи кружились самолеты, соря бомбы, зыбая, сгущая и клубя пороховую тьму. Смесь взрывов, монолитного небесного гула резали, распарывали звуки пулеметов и автоматов, совсем уж досадливо, вроде припоздало с треском рассыпались винтовочные выстрелы.

— Ну, че, дыбаем потихоньку? — подмаргивая, искривил один глаз Шорохов. С обеих сторон на голове его висели телефонные трубки. Одну из них, обинтованную, Лешка сразу опознал и понял — совместили артиллерийского связиста с пехотным — не хватает народу на этом, на правом берегу. Лешка вспомнил о коробочке с табаком, достал ее, развинтил, вяло обрадовался, что табак не намок, зацепил всей щепотью и протянул на закурку Шорохову. Напряженно следивший за Лешкиными действиями, Шорохов мгновенно скрутил сигарку, прикурил от зажигалки и сказал, что за это он корешу доставит шамовки. Ночью.

На вопрос насчет обстановки, как бы между прочим, объявил, что однако там, под высотой Сто, немцы добивают передовой батальон.

— К-ка-ак добивают?

— Обыкновенно.

— А наши, наши что же?

— Наши контратакуют, снарядами фрица глушат, не дают ему особо трепыхаться.

Лешка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боль из суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но мутить не переставало, липкая тошнота плескалась в чисто промытом просторном нутре.

— Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина принесли, где они?

— Щусевцы-то? Они долго на берегу кантовались, вроде как тебя с вестями ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чего припловишь. Но как ты потонул, оне ушли.

— Давно?

— Да нет, токо што. Их неустрашимый капитан заорал на них по телефону, оне и потопали.

— Э-э, че ты патроны изводишь, — планку-то не передвинул?! — Слышалась ругань командира Финифатьева сверху.

Лешку опять скрутило, опять свело судорогой.

— На-ко, зобни, может, полегчает, — протянул ему недокурок Шорохов.

Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтоб только не мутило, пососал дыма и сломленно навалился на осыпь яра.

— Э-э! — тряс его Шорохов. — Ты че? Ты че?

Лешка ловил ртом воздух, глотая густой кашей плавающий над ручьем отстой пороховой и тротиловой гари. От яра все время отделялись и катились по берегу комки глины с чубчиком грязной седой травы, достигнув реки, шлепались лягушками в воду.

Шел бой. Сотрясало свет и землю.

Все шел и шел бой. Все сотрясало и сотрясало землю, тело, голову.

— Болят члены? — как и у всех земных путаников, у Шорохова манера разговаривать дураковато, плести околесицу, неожиданно вывернуть что-нибудь.

— Все болит. Как майор?

— Майор ваш, — покривил губы Шорохов, — лежит в последнем помещении, но командует, руководит.

— Ты подежурь еще.

— Все равно спать не дадут, — пожал плечами Шорохов.

Вверху, на выступе яра взрыкивал пулемет, дымящиеся гильзы, подскакивая, катились под яр и по тому слою осинелых, окисленных гильз, что скопились у подножья, можно заключить — бой идет уже давно и стрелять есть чем. «Где-то взяли?» — Лешка вспомнил — с баркаса. Пока он отсутствовал, был в другом месте и не одолел реку с грузом, пехотинцы по трупам волокли баркас и затянули его под яр.

— Э-эй, утопленник! Принимай бойца в гости! — крикнул наверху Финифатьев и мешком свалился с яра, приосел, торопливо начал набивать диск патронами, перебирая вскрытую половину диска в руках, будто горячий блин. На лбу сержанта и под носом темнели капли пота, все его не крупное лицо, как бы по ошибке приставлено к ширококостному, основательному телу, словно штукатуркой покрылось — пыль и пот наслоились на одежде, надо лбом топорщился козырек неизвестно когда и зачем отросших, тоже штукатуркой слепленных волос.

— Как Леха?

— Олеха жив. Олеха воюет... Не знаю, че бы сейчас отдал.

— Что дать Лехе? Покурить, — неожиданно возникший из дыма и пыли, передразнил Булдаков Финифатьева, и показалось, сама его рожа, возбужденная, грязная, когда-то успевшая из пухлой сделаться костлявой, исторгала угрюмую усталость и взвинченность одновременно.

Одним глотком Леха выхлебнул полкотелка воды, остатки вылил на себя и, всадив в гнездо пулемета полный диск, заорал, соря пеной с губ:

— А-а-ат, курва! У бар бороды не бывает... — и начал взбираться на яр.

Все это время командир его жалостливо смотрел на своего бойца, как на неразумного и болезного дитя.

— Леха! Сотона! Стой! Стой, я тебе говорю! — Финифатьев сдернул Булдакова за босую ногу вниз. — Пушай без тебя воюют. А мы покурим. — Леха свалился, сел, почесался и уставился на Шестакова.

— У-у-у, та-ба-чо-ок! — промычал он и трудно сглотнул слюну, какое-то время не решался протянуть щепоть к баночке, открытой Шестаковым, может, и опасался просыпать табак — у него заметно опухли и дрожали пальцы.

— Табачок, Олеха, табачо-ок! — Сам никогда не баловавшийся куревом, Финифатьев все же понимал ценность этой отравы, пытался скрутить и скрутил для друга своего сигарку, а скрутивши, и прикурил у Шорохова, зашелся кашлем и, махая рукой, отгонял от себя дым. — А шчоб вас язвило, мало вам мученья, ишшо и от табаку и по табаку мучаетесь. — Балаболя и поругиваясь, Финифатьев раскопал под Лешкиной норой бугорок и вытащил из песка сгармошенные кирзовые сапоги: — На, — кинул их Шестакову, — ночесь подобрал, прибило к берегу. — Финифатьев довольнехонько хмыкал, глядя, как Лешка обувается, и, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйски распорядился провиантом, будто не Шестаков, а он промыслил его. — Я как знал, кто-нить утопит обутку, вот и подобрал, — хвалил он себя. — Подходят ли по размеру-то? Подходят? Носи знай на здоровье, — а сам в это время таскал и таскал щепотью табачок из банки, потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью и, довольный собою, ворковал, глядя на умиротворенно дымящего табаконь первого своего номера. — Покури, покури, Олеха,

оно и лучше дело-то пойдет... скотина тягловая и та в отдыхе нуждается, и солдат...

Старожилы роты — уже и не земляки, уже родня, расслабились в окопчике. Булдаков полулежал в мягком, растоптанном песке, на шуршащих гильзах, закрыв глаза. Грудь его бугром вздымалась, из ноздри, из одной, из правой только, валил дым. Нарботался солдат, забылся, наслаждается. Финифатьев уважительно смолк.

Лешка завинчивал крышку с остатками драгоценного табачка и снова поразился, что не намочил махра. — «Ах, ты, немец-подлец! До чего же ты аккуратный!» Шорохов дергал его за рубаху и шептал, шипел: «Занывай! Раздашь все!»

— Банку-те спрячь! Спрячь! — суетился и Финифатьев. — На всех не хватит. А Олехе на сигарочку, на закруточку-у!

— Он и без табаку у пулемета звереет! — заметил Шорохов.

— Олеха о друзьях-товарищах убивается. За всех воюет. — Финифатьеву главное — себя и первого номера сбережь и ублажить. Он и не отрицает, наоборот, всегда утверждает, что второй номер должен во всем угождать первому номеру, быть у него на подхвате.

— Невдали, за речкой, возле села пальба была, — негромко сообщил Шорохов, когда пулеметчики, покурив, поднялись в свое узкое и глубокое гнездо. — Не щусевские ли олухи нарвались на немцев. Чует мое, лагерем угнетенное, сердце неладное.

— А Щусь? Щусь сейчас где? — Лешка вперился в Шорохова.

— На высоте с утра был, командовал. — Шорохов устроился поудобней в ровике, шевелия задом, приспустился в песок. — Может, и откомандовался уж... Давно к телефону не подходит. — Шорохов, роня телефонные трубки с головы, елозил и елозил задом по дну окопчика, вбивая себя поглубже в песок, чтоб теплее.

«А что если высоту немцы отбили, а ребята явятся туда?..»

Майор Зарубин лежал не в ячейке, а возле нее, на подстилке из полыни, укрытый шинелью. Здесь его пригревало уже высоко взнявшимся сквозь дым и пыль едва светящимся солнышком.

— Сорвалось? — глядя мимо, спросил или затвердил майор, Лешка не мог понять.

— Сорвалось.

— Я и полагал, что сорвется. На чудо надеялся. Да какое может быть чудо на такой войне! — майор слабо прикрыл глаза, обнесенные

голубыми кругами. Лицо его пожелтело, по щекам пошли белые пятнышки, будто цвело лицо, как у новорожденного младенца.

«Это от земли», — решил Лешка и сказал, потупившись, что не доплавил записку Понайотова, утопил.

— Бог с ней, с запиской. Живой остался. Не в рубашке, в кафтане ты, Шестаков, родился. Я все видел...

«Скорее в сокуе в оленьем или в дохе собачьей», — усмехнулся Лешка, протягивая майору банку с табаком и один перевязочный пакет. Два остальных куда-то из кармана исчезли.

— Это капитан Понайотов табачку вам послал, бинты.

— Ах, капитан, капитан! — выстонал майор Зарубин. — Разве раненому табак нужен? Оставь бинт. Табак по щепотке распредели бойцам. Как у них там? — помолчав, спросил майор, имея в виду тот берег.

— Лучше, чем у нас.

Майор пристально поглядел на Лешку, но ничего больше не сказал, спустя время попросил:

— С телефоном давай ко мне сюда.

— Есть, товарищ майор. Сейчас телефонист будет, а я отлучусь, если разрешите. Ненадолго.

Майору подумалось, что бледный, весь какой-то измятый, выполосканный боец хочет перемочься, отдохнуть, не спросил, куда и зачем отлучается связист. Телефонная линия перегружена до накала, работа по ней шла непрерывная, по разговорам, хотя и закодированным, — «Ох уж этот русский код!» — поджал губы майор Зарубин, — он заключил, что на плацдарме находится три стрелковых полка, универсально-саперная рота, рота «шуриков», взвод бронебойщиков, перетопивший пэтээры, разрозненные части да представители разных соединений: артиллерийских, авиационных и танковых. Дальше всех углубился по центру плацдарма полк Сыроватко, еще дальше — батальон капитана Щуся, без огня в обход, по оврагам, проникший почти в тыл немцев. Ему-то сейчас больше всех и достается. Немцы во что бы то ни стало хотели сдать в оврагах отрезанный от берега батальон и уничтожить его. По батальону немцы наносили главный удар, чтобы затем разом разделаться со всеми русскими войсками, которых на плацдарме оказалось тысяч до десяти. Полк Сыроватко, поддерживаемый

гаубицами, ведя активные действия, клонился и углублялся на левый фланг. С правого фланга, боясь разрыва в центре плацдарма, гоношились бескапустинцы, отвлекая на себя противника.

В ямах оврагов не раз уже отдельные группы схватывались в рукопашном бою. Правый, разреженный, менее безопасный фланг немцы отчего-то тревожили мало, все больше и сильнее наседали они на полк Сыроватко, отделяя его от группы Щуся, полагая, видимо, что правый фланг без поддержки и сам сдохнет, растворится, сгорит без дыма.

В расположении полка Сыроватко находились представители штаба корпуса во главе с начальником разведки и оперативной группой, где-то там же дежурили командиры — наводчики от авиации, чины из штаба армии.

Большое начальство требовало непрерывного артогня и патрулирования с воздуха, так что майор Зарубин мог «работать на себя», то есть всем полком бить по своим целям, заметно активизирующимся.

\* \* \* \*

Лешка хотел кого-нибудь прихватить с собой, но вся живая сила вокруг была предельно занята войной, незнакомых же людей, что попрятались и затаились в береговых норках, никак из земли не выковыряешь, да и Шорохов, собираясь перебираться ближе к майору, сказал, что завтра лучше в отрыв ходить одному, мол, меньше гомону и вони.

Лешка броском перешел ручей, плюхнулся на приплесок, с весны вымытый до синей глины, отдышавшись и оглядевшись, крался вверх по петляющей пойме Черевинки. Чем дальше уходил он вверх по густо охваченной спутавшимся кустарником Черевинке, во многих местах горелом, где-то еще синенько дымящимся, тем тише делалась стрельба.

Великая река катилась к морю, пересекая и ублажая одну из самых плодородных земель на планете. Но уголок, угодивший под плацдарм, слуда эта, был вроде коросты на ней, потому-то из путных хлеборобов по этому бесплодному берегу никто не селился, не жил,

лишь выше по Черевинке, в изгибе ее рассыпалось бедное, почти голое сельцо с громким названием — Великие Криницы. Соломенные камышовые крыши на хатах села сплошь снесло взрывами, свело огнем, сами хаты оттого, что вокруг них все повыгорело, гляделись раздето, пустоглазо. Чем были богаты Великие Криницы, так это известкой — река, камень рядом, и поскольку Лешка по родной Оби знал, как отыскивают известковый камень и выжигают на нехитрых кострах известь, то и не удивлялся, что хаты в сельце, несмотря на копоть, дым и сажу, все время их застилающие, светятся кубиками сахара с обколотыми иль обкусанными уголками.

Давненько уже фашисты согнали обитателей Великих Криниц с берега. Жители прибрежного села, конечно же, от веку были рыбаками, имели на чем и чем рыбачить, но немцы поотбирали и истребили у них лодки. Некорыстные огородишки с высохшими кустами на картофельных загонах, с лопнувшими, переспелыми помидорами и тыквами на грядках, с вроде бы беспризорно по земле валяющимися кабачками, коричневыми огурцами и кавунами привлекали особое внимание войска — переправить-то его, войско, переправили, но кормить подзабыли. Лешка порешил: парни, приволокшие на берег Колю Рындина, не дождавшись пловца с едой и табаком, на обратном пути свернули к селу с намерением разжиться харчем, и ладно если их поймали и увели в плен, но если...

Охотник с детства, уже более полугода воюющий солдат Шестаков был ловок и осторожен. Пойма Черевинки не только украшение местности, но на данный момент и укрытие, и питье, и жранье, пусть и маломальное. К ручью устьицами, щелками, промоинами выходило множество овражков, сколышей, щелей, пещер, каких-то нор, может, и волчьих. Сюда дождями и ливнями сносило со склонов по трещинам всякую всячину, из крайних огородов сельца Великие Криницы смывало овощ, катило тыквы. По обочинам ручья, норвя залезть в водомоины, в ямы и щели, росло все вперемешку; серебристые тополя, дикие яблони, груши, черемуха, ольха, верболазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее, — мальвы, полынь, чертополох, где и оглохший подсолнушек клонился к воде, где и тыква, взнимаясь вверх, по дереву, тащила за собой широкие листья и по-деревенски доверчивые, яркие рупоры цветов. Повилика, паслен, вьюнки, местами скрыто и упорно



цветущие, опутали стволы деревьев, оплели кустарники — по этим местным джунглям продираться бесшумно было почти невозможно.

Чем дальше и выше по Черевинке двигался Лешка, броском минуя устья промоин и овражных отростков, тем больше сгустков телефонных проводов попадалось ему. Где-то среди них путалась и работала пока еще не обнаруженная немцами щусевская линия, и ушли, ой, ушли, отпустились от нее ребята в поисках жратвы и заблудились, ой, заблудились, ой, заплелись в этих непролазных джунглях с проделанными в них ходами и тропами — давно немцы стоят в обороне, давно тут лазят — обжили местность.

Лешка, хотя и мимоходом, но правильно угадывал, замечал, запоминал вражеские окопы, огневые позиции по речке. Вниз по течению по правую сторону все выходы с плацдарма блокированы. С левой же по течению, нетронутой стороны на подмытом берегу никаких оборонительных сооружений нет, но кухни по воду сюда съезжали, коней здесь привязывали, за дровами спускались. В устье серенького овражка с полого разъезженными мысками пучком росло несколько могучих тополей, сплошь увешанных черными грачиными гнездами. Лешка подумал: дураки фрицы будут, если не поселят в этих поверху не выгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Подумать-то подумал, но значения тому не придавал, внимание его привлекла другая штука: по оврагу, по деревенской тележной дороге были проложены пучки проводов, и не просто проложены, но в канавки прикопаны, где провод поперек дороги — вовсе закопан, чтоб при наезде не оборвали.

«Здесь! Или штаб, или наблюдательный пункт», — на животе проползая под кустами, вдоль подмоины, подумал Лешка и, вылезши из затени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечина из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. К поперечине было стоймя прибито две доски, образующих вход в блиндажик, завешенный плащ-палаткой, дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами, до окаменелости утоптанной площадке. На ней, укрепленная на треногу, стояла стереотруба и на двух ящиках из-под патронов сидели наблюдатели, без мундиров, в нижних рубашках, перехлещнутых на спине помочами. Один из них, припав к стереотрубе, не отрываясь, смотрел в окуляры и что-то говорил,

второй, держа на коленях блокнот, быстро записывал и отрывисто выкрикивал команды, как догадался Лешка, в лаз, сделанный в крыше наблюдательного пункта.

Лешка переполз дорогу, не шевельнув ногами ниток проводов, и, пригнувшись, устремился вверх по дороге, в видневшееся рыжее жерло — глину здесь брали для печей и подмазок селяне. Таких разъявленных жерл и ямин вдоль дороги было, что ласточкиных гнезд в яру. Залегши в ямку, Лешка отдышался, затем высунулся, увидел напротив ложок, с устья заросший бурьяном и оглоданным козами кустарником. Пологий ложок этот с густой дурью развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетенных из лозин оград затеривался. «Если ребята увились в огороды, пойти они могли только здесь», — заскулило, заныло у него еще с реки не успокоившееся сердце.

Парни верно рассудили: этим логом немцы никуда не ходят — чего же рвать обувь и штаны о камни, вымытые вешним потоком, обгрызки и обрубки кустарников, цеплять на мундиры репы, колючки, пылиться, когда кругом дороги, тропинок и щелей полно — иди куда хочешь без опаски: весь берег и земля вокруг пока за ними, за оккупантами этими клятыми. В логу, совсем почти уж под крайними пряслами огородов, из земли торчал осиновый желоб, из него в огрызенную скотом колоду сочилась хилая струйка воды. Переполнившая колоду вода растеклась лужей, скот, оставшийся без хозяев, привычно ходил сюда на водопой, размесил грязь, измочалил, изгрыз до корней кусты.

Возле этого неприглядного, грязного, у каждой почти среднерусской деревни имеющегося места и сошлись русские с немцами. Кто из них забил овечку раньше, уже не узнаешь: обезглавленное животное валялось тут же, втопанное в грязь, багровея боком, на котором заголена была полуснятая шкура.

«Немцы, немцы забили и обдирали овечку. Наши бы забили и драли отсюда, чередили бы скотину, как в Сибири хорошо говорят, в ручье, внизу. Немцам торопиться некуда, ободрали б овечку, мясо и руки не торопясь обмыли...»

Схватка была короткая, смертная. Парни, напоровшись на немцев, сперва, конечно, растерялись, быть может, заорали «Хенде хох!», не углядев, что за оплесневелой каменной оградой лежит и караулит

добытчиков-мародеров автоматчик. Он сразу же свалил двух русских — оба вон лежат в отдалении, остальные сгреблись с фрицами, занятыми делом, в рукопашную, били прикладами, пытались стрелять. Рыжий мужик с норовисто закругленной макушкой каменно сжимал саперную лопатку, облепленную синими мухами, — лакомо мухам — кровь и сгустки мозга на острие лопаты. Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из которого не успела вылететь обгорелая гильза, широко и нелепо выкинув руки, увязив костлявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь лежал боец, при виде которого Лешка тонко взвыл: «Васконян! Батюшки мои, Васконян!..»

Берег Тетеркин, оборонял российский Санчо Панса своего рыцаря до конца и засек лопаткою бестию-фрица, может, и не одного. Васконян успел выстрелить, небось, попал во врага, которого назначал себе уничтожить еще там, в Сибири, в зимней деревушке Осипово. Все следы человечьи, все лунки от копыт животных полны красной загустевшей жижей. Лужа вокруг колоды багрового оттенка. В растоптанную грязь вплетены кровавые завой, даже на зелени заплесневелой колоды и желоба рыжими брызгами насохла человеческая кровь. Тучи мух, синих и рыжих, какая-то тля, липнущая к грязи и утопающая в ней, облепили смертный пяточок. Вороны расселись по оградкам, в отдалении, боясь приблизиться к месту водопоя и гибели, но к вечеру, когда поутихнет плацдарм, они налетят, они тут похозяйничают. Старый козел с козлушкой при приближении человека нехотя убрели от колоды, улеглись в глуши бурьяна, за полуразвалившейся кладкой каменной ограды. Козел, выставив рога из сохлого, пух сорящего бурьяна, задремал, дожидаясь, когда уйдет солдат. Козлушка настороженно прядала ушами — боязливо воспринимало животное стрельбу, битву, людей, но козлушка начинала привыкать ко всему этому беспокойю. Привык же козел-то, дремлет, пошаманьи мудро прищутив глаза, жует что-то, уронив бороду в колючки.

Почти не таясь, Лешка ушел вниз по Черевинке, мельком отметив, что в районе тополей, на наблюдательном пункте все так же деловито идет работа — минометчики день ото дня все плотнее кладут мины под яр, в устье речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их.

В полдень с севера хлестанул порывистый ветер, волоча за собой мохнатые тучи, тяжело набитые снегом или дождем. «Юнкерсы», явившиеся на реку, спеша до потери видимости проделать свою работу, не обращая внимания на черные плевки сердито тьявкающих зениток, с нарастающим ревом ринулись на узкий клочок земли.

Все живое, свободное от работы население берега залезло в норы, в щели, затаилось и примолкло в воронках, ожидая своей участи. Немцы полосовали ракетами, обозначая передний край. Боясь угодить по своим, «юнкерсы» с первого захода бросили бомбы в воду, в измученную, взболтанную реку. Снова трянуло и рассыпало битую, глушеную рыбешку, белыми листьями разбросало ее по всему берегу, прополоскало в воде, выворотило прилипшие к отмелям серые трупы, сонно ворочаясь, они неохотно опускались обратно на дно.

Ведущий авиазвена натаскивал ведомых, словно курица неразумных цыплят. На втором заходе низко, рисково и мастерски пошел он кромкой яра, оставляя зенитный огонь вверху, взялся класть яйца, благословлять Иванов огнем так расчетливо, что яр обламывало, разбрасывало огромными глыбами. Когда эскадрилья, убегая от темени туч и зенитного огня, ушла на аэродром, крутой берег оказался во многих местах выкусанным, оползшим. Нигде не было спасения человеку. Осевшей землей раздавило десятки таившихся в норах людей. Раскопавшись, выбравшись из могилы, солдаты протирали глаза, выковыривали землю из ушей, оконтуженно трясли головами. Многие раненые остались в яру навсегда, раскапывать их было некогда и некому. Бомбардировщики перед тем, как навсегда исчезнуть в бездне мироздания, покачали крыльями над плацдармом — поприветствовали они на земле фрицев — гутен морген, гутен таг, — непогода помешала, а то бы мы добились все еще недобитых, Иванов. Ни одного сталинского сокола в эту пору в небе не объявилось: непогода не пустила с аэродромов. Немецкой авиации непогода отчего-то всю войну мешала меньше, чем нашим прославленным воздушным асам.

До окончательного «закрытия неба» успела еще покружиться над плацдармом «рама». В ней что-то щелкнуло и тут же в воздухе появилось длинное тело рыбы не рыбы, торпеды не торпеды, была она с пропеллером, приделанным к винту. Винт этот скоро развинтился и вместе с жестяным шилом упал на берег, а из железного тела

вывалилась белая начинка. Подхваченные ветром, на берег, на воду, кружась, полетели листовки. За листовками никто не гонялся, не ловил их, поднимет иной солдат-бедолага, собирающий глушеных рыбешек на берегу, почитает и бросит. Прежде хоть на раскур листовки годились, тут и курева нету. Листовки короткие, как всегда, устрашающие, на дураков и недотеп рассчитанные. В листовках немцы снова сулились сделать русским буль-буль. Мало того, отсюда, из-за Великой реки, сыны великого рейха собрались начать новый неудержимый поход на Москву. Никого уже никакая агитация, ни своя, ни чужая, не трогала. Булдаков только проорал в небо:

— А ху-у-ху не хо-хо!..

— Лучше бы концерву сбросили! — возмечтал Финифатьев.

— Или табаку осьмушку.

— Не-е, уж запрашивать, так запрашивать — пушай кухню с кашей да с супом уронят.

— Обварят же, дура!

— Чево-о-о-о?

— Супом-то обварят, говорю.

— А мы у шшелку — ать-два!

— Ох и ушлый же ты!

— У нас вся родня башковитая. Вся по тюрьмам за политику сидит.

— И что за народишко?! — вяло бранился Финифатьев безо всякого, впрочем, осуждения. — На краю жизни, мокрыя, голодные, издохлыя считай что — и шутки шутят!..

— Дух наш крепок!

— Чево-о-о-о?

— Духом, говорю, живы!

— Тьфу на тебя! Ду-ух!.. У меня в жопе уж ни духу, ни слуху...

Ду-ух...

Набрав горсть листовок, Шорохов, препиравшийся с Финифатьевым, резал их на дольки, чтобы снова в «шурики» не угодить: раз листовка порезана, значит, считают надзиратели войска, без умыслу бумага подобрана, на курево. Уж кто-кто, но Шорохов-то вернее всех солдат разбирался — за что привлекают, за что не привлекают. Впрочем, тут, на плацдарме, никто никого никуда привлечь

не мог, все привлекатели в поту трудились на левом берегу, ждали, когда на правом сделается не так горячо.

Отдыхиваясь от бомбежки, повылезали бойцы из норок, расселись возле окопчиков, под навесом яра и, с удовольствием ругая нашу авиацию и начальство, не без удовольствия вспоминали, как днями, скараулив в небе пару «мессершмитов», красные соколы одного из дежурных отбили от другого и роем, как миленького, под ручки повели на посадку. Все смолкло по обеим берегам — и немецкие, и советские вояки перестали палить, орать — редко кому доводилось наблюдать с земли этакое воздушное диво, похожее на игру.

Когда самолеты скрылись за кромкой леса, в нашем стане, и на левом, и на правом берегу, поднялось такое ликование, такой восторг охватил вояк, что иные даже обнимались, размазывали слезы по горьким своим, чумазым лицам, — вот так взбодрили летчики людей, надсаженных переправой и нестихающим, изнурительным боем. Немцы принялись долбить изо всех видов оружия по ликующему плацдарму, но ответно с новой силой грянула наша артиллерия с левого берега. Земля снова закачалась вместе с людьми, впившимися в нее.

Чем дольше существовали на плацдарме люди, тем длиннее для них делались дни и короче ночи. Если им дальше облегчения не будет, не схлынет постоянно ломающая спину тяжесть — не выдержать людям.

У немцев начался обед. Русские за обеденное время попили водички, умылись, зарядили оружие, прилегли кто где.

— Эй! Рус! Еван! Хлеб-соль, чай-цукер! Кушай с нами! Красные пироги ставь на углы! Ха-ха-ха! — кричали во время обеда с немецкой стороны, из поймы речки Черевинки. Совсем рядом кричали: садануть бы гранатой по зубоскалам. Да где она, граната?

— Экие весельчаки! — все время чувствующий себя виноватым перед солдатами морщился майор Зарубин. — Фольклор наш изучили когда-то.

— Мошенники они и есть мошенники! Саранопалы! — хлопал себя руками по бедрам Финифатьев. — Обьедаются и дразнятся! Ну не ироды! Да доведись по еде вступать в соревнование

социалистическо — Олеха Булдаков взвод фрицев умякает. Умякаш, Олеха?

Булдаков не отозвался. Он уволокся к артнаблюдателям и в стереотрубу увидел человека, перебежкамидвигающегося по ручью. «Вроде Шестаков?» Артиллерийские наблюдатели, как и немцы, прервались на обед, поскольку жрать было нечего, празднично привалившись к стене ячейки, жуя горькие былки полыни, дремали.

— Ну чисто все знатко! — восхищался и до визгу радовался сержант Финифатьев. Этот наблюдательный прибор был для него седьмым или десятым чудом света. Оттерев Булдакова от прибора, припал Финифатьев к окулярам и сразу напрягся, сглотнул слюну — с одного из тополей — Финифатьев упорно называл это дерево осокорем — спускался человек. Спустился, отряхнул брюки и, разминая ноги, поковылял к речке, стаскивая на ходу рубаху. Начал умываться, ворохом бросая воду на себя. Взамен оддежурившего фрица совсем ясно видный, хватаясь за вбитые скобы, быстро и по-обезьяньи ловко на осокорь взобрался другой фриц.

— Не-эмец! Вот дак ушлай! Вот дак курва! — громко изумился сержант и воззвал: — Булдаков! Булдаков! Олеха!

— Че те? — нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикемаривший в пулеметной ячейке.

— Иди-ко суда! Иди-ко! — сошел на шепот Финифатьев. — Тут шче делается-то!

— Да ну тя! Дай часок соснуть.

— Я кому говорю?!

Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщения из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстранясь, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем в стереотрубу. Бродяга, сплавщик, матрос с «Марии Ульяновой», плут и боец, перед которым Финифатьев в общем-то всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге орясине этой генералом бы быть, Булдаков, если повышал голос сержант, делался беспрекословным. Намочившийся в холодной воде во время переправы, Булдаков маялся ревматизмом. Если фуфло это вологодское затеяло очередную игруньку, попусту сжило его, только-только угревшего ноги, обернутые телогрейкой, — быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему

черный кулак, койй первый номер подносил второму номеру под нос всякий раз, как тот выводил его из терпения.

— Ты, парнечек, детскую сказку про Плюха и Плюса слышал? Нет, конечно. А я ие детям читал. Вслух.

— Грамотные все вы, вологодские! Шибко грамотные! Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой херней тешишься!..

Финифатьев не внимал первому номеру, он узил сияющие глазки:

— Есть в этой сказочке слова: «Видит он моря и горы и еще там какую-то херню, но не видит ничего, што под носом у ево!» — Ты на лесину, на осокорь-то хорошо погляди-ы! — уже со стоном выпевал Финифатьев.

Булдаков нехотя припал к окулярам и сразу ухватил дерево с наблюдателем.

— А-а, курвенство! У бар бороды не бывает... — ноздри его побелели, шипели горячими поршнями.

Финифатьев почти рыдал:

— Это ж он, убивец, все насквозь зрит, мины пуцает токо по цели! Отобедал, блядь такая, и за работу, а? И ишшо дразнится, на пироги кличет.

— Винтовку!

— Счас, счас. Счас, Олешенька! Счас, милостивец! — сдувая пыль с затвора, сержант поплевал на него, передернул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом: — Счас, счас тебе Олеха и пирогов, и блинов состряпат! А ну, сыпни, сыпни, миленок, под хвост врагу, штоб щекотно ему там сделалось.

— Не мешай! — отрубил Булдаков. Передвинув хомутик на прицельной планке винтовки, бережно ухоженной Финифатьевым, боец Булдаков начал тщательно целиться.

— Молчу, молчу! — у Финифатьева, как у парнишки на охоте, напряженно ждущего выстрела, открылся рот. Терпение первого номера, взбалмошного раздолбая-чалдона, поразительно. Дождавшись артзалпов с левого берега и разрывов на правом, он плавно нажал на спуск. Выстрел слышали только первый и второй номер. На осокоре, в гуще ветвей и гнезд, завозилась наседка, вниз, дымно клубясь, посыпалась труха. Вот из густеющей трухи, из гнезда вывалился и птенец. Обняв ствол дерева руками и ногами, как Петька Мусиков столб бердских нар, все быстрее, все стремительней наблюдатель



катился вниз, сшибая черные гнезда, пронзая загустевшую крону дерева. На спине его задрался мундир, обнажив белое тело или рубаху. Руки фрица безвольно разжались, он пошел турманом к земле. «Сморородину исти!» — понасмешничал Финифатьев. Наблюдатель же в полете ухватился за толстый сук осокоря, поболтался на нем, будто делая физкультуру на турнике, и рухнул в гущину речных зарослей.

«Завопил, небось, — порешил Финифатьев, — шибко любит повопить подбитый фриц. А все оттого, что фюрер внушил ему, будто он и неустрашимый, и непобедимый. Впрочем, и Ивану тоже, да и Тойво, и Жану, и Трестини, и Донеску вдарит когда смертной пулей, поорать очень хочется».

— Вот так-то оно и добро, ладно! — подвел итог всему происшествию сержант Финифатьев.

Булдаков молча выбросил из патронника гильзу, загнал туда новый маслянисто поблескивающий патрон, поставил затвор на предохранитель, высморкался и потребовал у Финифатьева:

— Давай закурить!

— Да где ж я возьму, Олеха? Нету табаку-те. Нету. Весь ты его вызобал, когда воевал у пулемета.

— Ничего не знаю. Ты — командир. Обеспечь победителя!

— Ох, Олеха, Олеха! Все-то тебе смехуечки! Уж такой вы сибирский народ! Пазганете человека, высморкаетесь — и вся тут обедня!

— Нет, не вся. Закурить чалдону завсегда после удачи полагается и выпить. Действуй давай!

В полдень же, сразу после бомбежки, еще до того, как Шестаков отправился на поиски товарищей, позвонил полковник Сыроватко и сказал, что сейчас на правый фланг, к артиллеристам, придет представитель большого хозяйства кое-что обговорить. Сопещание же командного состава, имеющегося на плацдарме, нужно собирать тоже сегодня, после захода солнца, когда делается потише. Нужно что-то придумывать самим, самостоятельно принимать решение насчет дальнейших действий. За рекой ни мычат, ни телятся, силы людей на пределе.

Майор Зарубин попросил солдат пристально следить за поймой Черевинки, не давать немецким пулеметчикам особо резвиться.

— Какая-то очень уж важная птица к нам следует, — заключил он.

— Подполковник Славутич, — махнув рукой возле крупной головы, на которую была насунута солдатская пропелая пилотка, доложил гость. — Заместитель начальника штаба корпуса, — и придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося. — Лежите, лежите.

Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно складного, но усталого пожилого подполковника. «Значит, переправлялся вместе со всеми, и тонул, и утопил свое обмундирование», — решил Зарубин, и ему не то чтобы легче сделалось от этого, а как-то свободней сделалось.

В это время и сунулся в пещерку к Зарубину сержант Финифатьев, но, увидев незнакомого командира, подался на попятную.

— Чего вам, товарищ сержант? — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут.

— Тут такое дело... — начал Финифатьев и смешался. — Немца-наблюдателя мы пазганули.

— Какого немца? Где?

— На лесине. В речке. А я все думал, думал, што-то немец глушит и глушит нас минами, да все гушше и плотнея, гушше и плотнея.

— Ну и что?

— Дак наблюдателя-то Булдаков сшиб, ну такой большой-большой матершинник он и трепло, а вот сшиб с лесины единым выстрелом.

— Ну и...

— Курить просит, ашшаульник этакой, за победу, говорит, завсегда, говорит, поощрение полагается.

Вспомнив про баночку-завертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту:

— Может быть, еще осталось?

— Нам на завертку токо, на завертку, — свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. — Вот Олехе радость-то! Ему пожрать, покурить да выпить... — перехватив взгляд подполковника, робкий, просительный, сержант протянул ему

баночку. — Курите и вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части-звания.

— Шестаков приплавил табачку, — пояснил майор, — тонул который. Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне.

Славутич умело и быстро свернул сигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчело, словно бы прочистило, осадило дымом внутри слизистую горечь.

Дела на левом фланге, у Сыроватко, совсем плохи. Противник забрасывает гранатами, мелкими минами овраги, где окопалась пехота. Ответить нашим бойцам нечем — гранаты на исходе, патроны со счета, контратаки в лоб не дали результатов, просачиваться по оврагам вверх опасно — немцы лучше наших бойцов знают рельеф местности, отрезают слепо тычущиеся группы в разветвлениях оврагов и уничтожают. Начали действовать снайперы, наносят большой урон. С господствующей высоты Сто немцы просматривают почти всю полосу берега, и только за яром спасение, отчего все больше и больше народу скапливается здесь, на берегу реки.

— Это опасно: на кромке берега не удержаться — немцы на узком пространстве завалят нас бомбами и минами, под прикрытием огня вплотную сойдутся с нашими частями, невозможно сделается прикрываться огнем артиллерии. Тогда все. Почти безоружных, голодных, измотанных переправой и боями людей противник опрокинет коротким броском в реку.

Все это подполковник Славутич говорил майору Зарубину ровным, отработанным голосом человека, привыкшего к докладам, умеющего делать их предельно ясно, без лишних слов и чувств.

Помолчали. Майор предложил подполковнику еще закурить, и тот не отказался. Он даже обрадовался вслух:

— Кажется, век не курил!.. Есть соображения, — отвечая на ожидающий взгляд майора, подполковник Славутич излагал суть дела: — Высота Сотая — самая важная на плацдарме. Надо ее взять. В лоб это сделать невозможно — выкосят. Нужен обход. Разведчики Сыроватко обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт. Малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается. Решено небольшой подвижной группой окружить и

захватить этот пункт. Лучше всего налет сделать в обед, когда немцы сойдут с огневых точек. Времени в обрез. Прошу выделить мне людей.

— Вы что?! — вскинулся майор Зарубин. — У меня есть боевой офицер и сержант...

— Людей поведу я! — жестко отрубил Славутич.

Он присел на ком глины, заросший ломкой травой, и снял пилотку. Волосы росли у подполковника с половины головы, пролегая дугой от уха до уха. Библейский лоб казался выпуклым, огромным. Под короткими, но широкими бровями основательно и строго сидели глаза. Губы четко очерчены, и небольшой, но властный подбородок придавал еще большую основательность и резкость этому напряженному лицу.

— Шел я сейчас по берегу, — как бы отвечая на недоуменный вопрос майора, вновь заговорил Славутич. — И ловил на себе взгляды, один раз даже и услышал: «Вот она, тыловая крыса! Ползет в безопасное место...» — Каково это слышать мне, офицеру, получившему орден еще на финской?! Хотел я, знаете, вытащить говоруна из норки, приструнить, да вспомнил, что очень много поводов стали подавать наши командиры для этаких разговоров. Скажите, отчего вы находитесь здесь, будучи раненым? Разве вас нечем заменить? Где командир полка Вяткин?

— Не могу, товарищ подполковник, оставить людей. Я вместе с ними переплавлялся. Они хоть какие-то надежды связывают со мной, спокойней дело делают, когда я здесь... При первой же возможности я уплыву. Я так уже навоевался, что рисоваться и геройствовать не могу. Прошу верить мне.

— Верю, — кивнул головой Славутич, — верю и благодарю! Но при этом думаю о тех офицерах, которые вырядились, как лейб-гвардейцы, в парадные мундиры, позавели себе крытые персональные машины, понатащили в них женщин, холуев, и когда штаб движется по фронту, в том числе и вашего полка, — похоже на цыганский табор, который по Бессарабии кочует в шатрах своих. Как у Пушкина?

— В изодранных.

— Черт знает что! Попади на ваше место баринок военный, да получи царапину — он бы весь боезапас израсходовал, кучу людей положил, чтобы вызволить с плацдарма свою драгоценную персону.

— Вы преувеличиваете, товарищ подполковник. Дармоедов, баловства всякого и правда много, но все же... в крайнюю минуту...

— Скажите, окружение — дело крайнее?

— Да уж...

— Так во время летнего наступления штаб нашей армии был окружен и атакован немецким десантом. И что вы думаете? Почти половина штабников оказалась без личного оружия! У господ офицеров, что имели пистолеты, — по одной обойме в пистолете. Оружие не чищено со времен ликвидации Сталинградской группировки! Это ли не бедлам? Тут же открылось воровство патронов и оружия. Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне. Танкисты Лелюшенко вызволили нас... — Славутич смущенно потупился: — Я могу у вас еще попросить покурить?

— Пожалуйста! — и крикнул наружу: — Шестаков?

Шестаков доложил майору, где был, что видел. Особо в своем рассказе напирал на то, что обнаружил наблюдательный пункт, огневики той части, скорее всего минометной, ходили за мясом и нарвались на наших бойцов, но скорее наши бойцы на них... перебили друг дружку.

— Финифатьев, Мансуров, Шорохов — поступают в распоряжение подполковника Славутича. Всем проверить оружие, зарядить диски, хотя бы и последними патронами, взять по гранате. Шестаков при телефоне. Булдаков при пулемете.

— Есть!

— Этот боец плавал за штабной связью? — поинтересовался Славутич, когда Лешка, осыпая песок, лез вверх по яру. Получив утвердительный ответ, подполковник удрученно продолжал: — Вот тоже и наш начальник связи... нет, чтобы прибыть на берег, каких-то разгильдяев послал. Кстати, и здесь, на плацдарме, уже появился тылок, и место-то для него вроде бы узкое... А есть! Есть, есть, миляга, организовался... Безотцовщина какая-то прячется за спины товарищей.

Поднявшись, затягивая ремень еще на одну дырку, хотя и без того уж в талии, как гончий пес, Славутич сказал без досады, но весомо:

— Наблюдатель, которого сшибли с дерева, погубил бы нас.

Булдаков, привыкший, чтобы Финифатьев был всегда при нем, вопрошал взглядом; «А я как?» Сержант его утешил, мол, обоим от

пулемета удаляться нельзя, тем более что он — первый номер, да и за лесиной пусть поглядывает, коли другой наблюдатель взнимется — сшибай!

— Чего куксишься-то? Я же ненадолго...

Косолапый, круглое лицо отекло или щетиной обметано, второй номер решительно вышагнул из пулеметной ячейки, пригнувшись, посеменял на спуск. Прежде чем съехать на задку по солдатскими задами раскатанной выемке, под ягодицы подстроил ладонь, на ходу черпнул из Черевинки водицы, отпил, сырой рукою потер лицо. Булдаков привалился к деревянной ложе пулемета, шаря голый ногой по ноге, прострочил кривуль Черевинки, густо охваченной разноростом. Увлекся, высадил весь диск. А вот кто набивать диски будет? Всем хозяйством занимался номер второй. Рассыпая патроны под ноги, кляня напарника за то, что высовывается везде, Леха отгонял от себя гнетущее, ему совершенно непривычное чувство одиночества.

Майор Зарубин, подгоняя огневики, торопил их, просил не разлеживаться после сытного обеда, побольше поднести к орудиям боезапаса — дела на левом фланге, особенно на высоте его, в батальоне Щуся, еще более ухудшились, надобно продержаться до вечера, до темноты и тогда уж совместно решать: отводить передовую группу или уж оставлять ее на окончательное растерзание. Покончив с распоряжениями, он отпил холодненькой водицы и вдруг спохватился, начал кликать людей:

— Мансуров! Где Мансуров? — как бы очнувшись, пощупал лоб, помял голову Зарубин. — Какой-то наблюдательный пункт... Зачем он? Что за блажь? Подполковник-то откуда взялся?

Почти в панику впавши, майор Зарубин выкатился из земляной берлоги, скособочившись, упал на бровку яра, громко звал:

— Шестаков! Булдаков! Наблюдатели! Корнилаев! Товарищи! Вернуть людей! Немедленно! Бегом, бегом! Корнилаев остается! А вы бегом, ребята, бегом!

Закаленный в боях, войной испытанный человек, во плоти коего, как и всякого опытного вояки, существовал недремлющий вещун, он уже тыкался в сердце, пророчил — опоздал! С приказанием поторопился, с отменой его опоздал. Быть беде! Быть беде, быть...

Сухозадый, что летошный кузнечик, нагулявший брюшко в лугах, немец по имени Янгель, лапками и выпуклыми глазами тоже похожий на прыткую насекомую, насвистывая мотив полюбившейся ему русской песни «Ах ты, душечка, красна девица», — мыл в речке посуду и, несмотря на фиркающие над ним пули, на рвущиеся неподалеку мины, думал о разных разностях. О чем-то мрачном, нехорошем он думать не хотел, да и не думалось после обеда о нехорошем, пули, летающие над речкой, и прочее — уже привычны. Янгель налегке, без мундира, в офицерской шерстяной кофточке с закатанными рукавами — чтоб не замочилась рубашка. Пилотку он также оставил в блиндаже. Голову, прикрытую поредевшими, жиденько вьющимися волосенками, пригревало солнцем, спину тоже пригревало, но вода в речке была холодная, приходилось мыть посуду с песком. Беленький, промытый песочек шевелился, разбегаясь струйками по дну ручья, нет, лучше по-русски — «ручейечка».

Янгель не без удовольствия произнес вслух, отчетливо выговаривая букву «ч»:

— Ручей-ечка!

Он начал изучать русский, можно сказать, от нечего делать и на всякий случай, когда служил в Винницком гарнизоне техником-связистом и на одном из танцевальных вечеров познакомился с веселой девушкой, Ньюрочкой, которая, смеясь, говорила: «Обормот ты, Фриц, по-русски ни бум-бум!» Он спрашивал: «Что есть “обормот” и “ни бум-бум”»? Насчет обормота он так и не понял, а «ни бум-бум» — когда ему Ньюрочка постучала пальцем по лбу — усвоил по звуку.

Солдатам и офицерам рейха вообще-то запрещалось, по-ньюрочкиному выражению, вожгаться с черным людом — из опасения, что девочки могут оказаться агентами и партизанками. Но какой из Ньюрочки агент? Она была молода, все время хотела кушать, Янгель помогал ей питанием. Он же еще тоже есть молодой мужчина, ему требовалась женщина... «О-о, Ньюрочка! Огонь и пламя! Какого оккупанта ты сжигаешь сейчас на своем костре?»

Янгель имел отличия в службе, мечтал сделаться телефонистом международной линии и разжился — ах, какие все же в русском языке встречаются нелепые слова, наряду с прекрасными, — разжился! Как на ржавый крючок натыкаешься языком! Разжился знакомством в ставке самого фюрера. В прошлом Янгель был трамвайным

кондуктором, папа его был тоже трамвайным кондуктором, но в живости и остроте ума ни папе, ни Янгелю никто не мог отказать. Папа вообще был уверен, что восточный поход — это верный шанс для его сына, он непременно выбьется в гросс люди. И Янгель старался изучать языки, на первый случай хотя бы русский, довольно сносно на нем изъяснялся, и это ему не раз уже пригодилось. Обер-лейтенант Болов сказал сегодня во время обеда: когда ему после ликвидации этого голодного сброда на берегу реки понадобится ехать к русским бабам в город, он непременно возьмет с собою Янгеля. Обер-лейтенант почти с русской фамилией — Болов, не умеющий, однако, говорить по-русски, хотя воюет уже второй год в России, происходил из остзейских немцев и, как всякий остзеец, нахрапист, бесстрашен и туп. Янгель из города Кельна, с великой его историей. Но дело, видно, даже не в землях, дело в наследственности, которая и подсказывает человеку определенный образ мыслей и действий. Болов — выскочка, нерадивый ученик, которому рейх предоставил возможность отличиться, получить высокий чин и положение в обществе. Не хватает Болову благородства — забулдыга он. Ох, какое прекрасное русское слово: «за-бул-ды-га»! Как там еще? «За-дры-га! За-ну-да! За-сра...» Впрочем, что взять с человека, который два года на передовой, лишь изредка отдыхает от войны в каком-нибудь походном или зачуханном провинциальном публичном доме. Да, вот тоже слово трудное: за-чу-хан-ном!

Любил, ох, любил Янгель красивые мысли о себе и о мире Божьем, легкое вино любил, доступные ему развлечения, например, танцы под духовой оркестр. Он долго и старательно перенимал приятные манеры, посещая платные курсы фрау Ивальцен, — дамы из знатного шведского рода, разорившегося во время послевоенного кризиса. В Виннице в каком-то важном отделе ставки фюрера работала шифровальщицей дама с незатейливым именем Гретхен. Конечно, она засиделась в девках, но Янгель умел вести себя тактично, и они вместе провели приятно не один вечер, беседуя о музыке, о литературе и даже об истории России, в которой столько необъяснимых глупостей. Ах, Винница, Винница! Все это далеко в прошлом. Подчистили тылы по приказу фюрера и бросили на оборонительный вал за рекою засидевшихся вдали от фронта вояк. Видимо, русская пропаганда не



напрасно орет о том, что у Гитлера резервы на исходе, но об этом молчок, мол-че-ок!

Янгелю, однако, повезло и на этот раз: угодил он не в обоз, не в пехоту, по специальности угодил — в минометную роту — довольно безопасно пока ему. Конечно, с Винницей не сравнишь — там комната на двоих, чистое белье каждые десять дней, дежурства через сутки и эти незабвенные встречи с Гретхен, занимательные разговоры, прогулки по чудным паркам, расположенным на островах среди города. Унизительно, конечно, прислуживать обер-лейтенанту Болову, надраивать всякие пряжки и значки, которые обер так любит. Но разве трудно почистить обувь, вымыть посуду, повеселить его русским ядреным-ядреным анекдотом? Совершенно нетрудно. Зато вчера, вернувшись из села Великие Криницы, где они помылись горячей водой в низкой, дымом пропахшей бане, обер-лейтенант непринужденно кинул ему вот эту шерстяную кофточку: «Холодно ночами, Янгель. Носи», — и еще сказал, что огневики, засранцы, потеряли чуть не отделение — ходили за село резать овечку, напоролись на русскую разведку, подняли стрельбу — трое убиты, двое ранены, а людей и без того не хватает. Слово «засранцы» Болов сказал по-русски, отчетливо сказал, чисто, и еще сказал, что замкомандира роты завтра придет вместо него на наблюдательный пункт, он же отправится разбираться с этими огневиками и даст им по шопу. Такое простое и распространенное слово Болов произнес по-русски не очень чисто. В общем-то парень он способный, хоть и похабник — таскает с собою ворох развратных открыток, да еще и показывает их солдатам, дразнит юношу Зигфрида — напарника Янгеля. У Зигфрида и без того все лицо в прыщах, и вот результат — Зигфрид начал активно заниматься онанизмом. Болов хлопает Зигфрида по плечу: «Правильно, мужик! Правильно! Лучше синица в кулаке, чем журавль в небе». Конечно, обер-лейтенант назвал вещи своими именами, грубо, вульгарно. Но настоящий воин рейха и не должен быть сюсюкающим гимназистом. У настоящего воина Болова на груди два креста. Дубовый крест с салатом — «дубарь» по-русски — главная награда великого рейха, медалей, знаков отличия оберу не счесть. Четыре отпуска только в Германию имел Болов и сейчас отменно справляется со своими обязанностями — крошит русских минометная рота, словно капусту. А как умело, как точно

скорректировал обер-лейтенант Болов огонь минометной батареи, когда появилась на реке эта... как же по-русски? Эта утлая ладья. Ут-ла-я! Фу, какое слово! Многие видели этот беспримерный поединок. Сам генерал фон Либих, кстати, оказался на своем наблюдательном пункте и, когда утлая лодчонка опрокинулась, выражаясь по-русски, кверху жопа, лично поздравил Болова по телефону. Роте Болова поручено, кроме всего прочего, важное задание, чтобы ни одна щепочка, даже былиночка не переплыли в этот... на эту, — поправился Янгель, — сторону. И снова обер-лейтенант проявил удивившую всех инициативу: посадил наблюдателя на дерево! Просто! Находчиво! Нагло! И, конечно же, не напрасно обер-лейтенант жаждет скорейшей ликвидации и уничтожения этого, действительно голодного, сброда. Отпуск ему если уж не в Германию, то в ближайший город, может быть, даже в Винницу, обеспечен. Янгель заранее напишет письмо Гретхен, предупредит ее о своем приезде.

На дерево с утра полез давний спутник Болова, опытный вояка Отто Фишер. У него там между птичьих гнезд устроена засидка — крышка от минометного ящика привязана. Обер-лейтенант не велит часто лазить по дереву, чтобы не обнаружили русские корректировщика, использует наблюдателя редко, но четко, чтобы на реке был порядок и по ручью никакого движения — эта зона, территория эта, обер-лейтенанта Болова. Он тут хозяин!

Как и всякий южанин, любящий пожрать и поспать, Отто Фишер скорей всего привязался ремнем к стволу дерева и задремал.

Ему же подменяться и обедать пора. Янгель сложил одну на другую мытые, по-русски называется чашки, сверху прикрыл их фарфоровой тарелкой с золотой каймой — посуда господина обер-лейтенанта — таков порядок. Разобрал котелки, крышки, прижал их к груди, распрямился, свободной рукой потирая поясницу, собирался крикнуть: «Отто! Ку-ку!» — но крик в Янгеле застрял: прямо перед ним, за речкою-«ручейком» — протяни руку, достанешь — стоял русский и приветливо ему улыбался изодранными, словно у драчливого кобеля, губами. Корешки зубов, среди которых особенно остро и страшно торчали два подгнивших клыка, глаза прищельца бесцветные, узко и остро светились, делая броски по сторонам, и мгновенно охватывали, словно скапывали, все приметное вокруг. Но не по глазам, нет, по ноздрям, чуть вывернутым наружу, тоже

вздрагивающим, нюхливым, угадывалась сосредоточенная работа внутри этого из ниоткуда возникшего человека. Ноздри пульсировали — вдох-выдох. Срывисто, напряженно работало сердце гостя. У Янгеля ничего не билось, не работало — ни сердце, ни ноги, только вспотел он мгновенно и умер за несколько минут до своей кончины. Уже мертвые руки его разжались и выпустили посуду. Звякая и брэнча, покатались котелки, ложки, чашки. Тарелка обер-лейтенанта угодила ребром в белый речной носок, запрудила воду. Русский приложил палец к губам — тихо, мол, друг, тихо — Янгель согласно закивал головой, усердно закивал, не сознавая того, что делает.

Русский кошачьим прыжком перемахнул речку, больно схватил в горсть перекошенный рот Янгеля и нанес два коротких, профессионально отработанных удара ножом ему в бок. Услышав, как ожгло бок и огонь мгновенно начал растекаться, заполняя нутро не болью, нет, а расслабляющим жаром, какой бывает от хорошего крепкого вина, Янгель почувствовал, как слабеют под ним ноги, и весь он пьяно слабеет, и смягчает земля, он уплывал, он возносился куда-то, внезапно догадался — в небо! Тарелка, белая с золотым ободком, переворачиваемая течением, закружилась тысячью тарелок, беззвучно разбивалась, сыпала белыми осколками вокруг, и каждый осколок рассыпался на осколки еще меньшие. Вот уж белая пыль образуется там, где была тарелка обера. Янгель понял — это гаснет свет, он умирает? Почему умирает? Зачем? А Гретхен? А поездка в Винницу? Что он сделал этому русскому? Он работал, исполнял свой долг, он изучал русский язык, готовился к будущей жизни. О, русский, русский, что ты наделал! — Янгель последним, ему уже не принадлежащим усилием неожиданно рванулся и заверещал. Заячье это верещание тут же перешло в захлебывающийся клеткот, затем в писк. Упав на колени, загородясь от удара перекрестьем рук, Янгель, как ему показалось, быстро-быстро на четвереньках убежал от русского в гору. На самом же деле он неуклюже вертелся на песке, и темная, нутряная кровь выплескивалась из него на белый песок, марала чистый берег Черевинки.

Через речку метнулось еще несколько русских. Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, подбито метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Финифатьев, задержавшийся по приказу подполковника

Славутича наверху бережка, выстрелил из винтовки. Уронив штаны, немец схватился за голову, ломая кусты, рухнул, повздымал зад, будто делал неприличные упражнения, и покатился в журчливую воду Черевинки, загребая ногтями песок, захлебываясь водой и кровью. В мути потревоженной речки укрылись малявки, подбиравшие в воде остатки пищи, смытой Янгелем с обеденной посуды.

— Какого черта? Вы что, одурели? — раздалось в блиндаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова, унтер-офицер Пюхлер, взводя на ходу затвор автомата.

— Хенде хох! — просто сказал ему подполковник Славутич.

В тот же миг сверху прилетела и игрушечной юлой завертелась в песке яйцевидная синенькая граната.

— Ложись! — заорал Мансуров, скатываясь в песчаную вымоину.

Граната с треском лопнула, словно кто-то пластанул напололам кусок брезента. Подполковника Славутича ударило в спину, уже падая, он выстрелил в унтер-офицера, вылаивающего редкозубым ртом: «Русиш! Русиш!»

Немецкий наблюдатель, нежившийся, подремывающий после сытного обеда возле стереотрубы, незамеченный русскими, бросив гранату, скатился с крыши блиндажа и, запинаясь о кусты, припустился бежать вверх по ручью.

— Не отпустите! Не отпустите, робятки! — закричал Финифатьев.

Но все были заняты, привстав на колено, сержант сам же уложил драпающего наблюдателя.

Выскочивший из блиндажа обер-лейтенант Болов дважды в упор выстрелил из пистолета в спину Мансурова, подхватившего под руки подполковника Славутича. Больше Болов ничего сделать не успел. Оказавшийся на жидкой крыше блиндажа Финифатьев со всего размаху, будто колуном разваливая чурку, ударил прикладом винтовки по голове обер-лейтенанта и тем спас бойца, бросившегося к Мансурову и подполковнику на помощь.

Сержант вложил в удар столько силы и злости, что не удержался на блиндаже, свалился вниз, уронив в проход винтовку. Здесь его, заблажив, пластанул штыком бежавший следом за обер-лейтенантом, босой, в нижней рубахе солдат с бородкой. Перескакивая через барахтающегося в песке Финифатьева и обер-лейтенанта, пытающегося поднять окровавленную голову и что-то крикнуть,

немец, не переставая блажить, угрожающе подняв винтовку со штыком над головой, ринулся через Черевинку. Солдат этот и был Отто Фишер. Он спал после утомительного дежурства на дереве, налет застал его врасплох, вбил спросонья в оглушающее потрясение.

Лешка, спешивший вместе с наблюдателем и Булдаковым к месту схватки, — припоздали они всего на две-три минутки — полоснул в упор из автомата в Отто Фишера и сначала увидел белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уж косо расплывающиеся пятна. Еще до того, как потемнели, наполнились кровью лохмотья рубахи, еще до того, как, споткнувшись и далеко за речку бросив винтовку, воткнувшуюся штыком в песок, еще до того, как бежавший солдат словно бы заглотнул свой крик и подавился им, Лешка понял: он убил человека. Упавший в воду солдат рыл дно речки руками, глубже и глубже закапываясь во взбаламученный песок и гальку.

Держа на спуске автомата палец, наставив оружие в проем блиндажа, с которого, падая, сорвал плащ-палатку Финифатьев, Шорохов крикнул:

— Кто есть — выходи! — и тише, зловещей: — Не то перестреляю!

— Хенде хох! — тонким голосом помог ему сержант Финифатьев.

Из проема блиндажа, из недр земли донесло дребезжащий, тонкий голосок:

— Хитлег — ка-а-а-апут! Хитлег ка-апу-ут!..

Держа автомат наизготове, Шорохов вошел в блиндаж.

— Финифатьевич! Финифатьевич! Ты что? Ты что? — сержанта тормозил один из наблюдателей-артиллеристов, всегда его охотно подпускавший к прибору и посмеивающийся над ним.

В глубине блиндажа, подняв колени до подбородка, закрываясь углом одеяла, выезывая одно и то же «Хитлег ка-а-апут!» — дрожал безоружный немец. Шорохов сдернул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтоб вытащить из угла. И услышал притаенное журчание, и не сразу догадался: вояка послабел животом. Шорохов плюнул — опасаться некого и немедленно начал шариться в блиндаже, распиная банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немцу по уху, и тот, словно бы включившись, громко заклохтал: «Хитлег ка-а-апут! Хитлег капут!..»

— Он обделался, что ли? — потянул носом вбежавший в блиндаж Шестаков.

— Обделашся, когда таких орлов, как я, узришь, — и напустился с дурашливым гневом на немца: — Воняш тут! Священную нашу землю и любимого Гитлера обсираш!..

Немец, услышав имя фюрера, согласно запел: «Хитлег ка-апут!..»

Шорохов сгреб его за шкуру, намереваясь выбросить из блиндажа вон, но навстречу артиллерист и Булдаков втаскивали в блиндаж сержанта Финифатьева.

— Ах, дед, дед, — бормотал Булдаков и утешал одновременно. — Ничего-ничего! Живой, дед, главное, живой, и вдруг рывкнул на Шорохова: — Да уймись ты! Глотничать кончай! Нашел время шакалить! Не добивай фрица. Дуй к пулемету!

— К какому пулемету? — с сожалением выпустил Шорохов туго затянутый ворот мундира на мальчишеской, позвонками хрустящей, шее.

— К немецкому. Под деревом установлен. Первого номера сняли, второй в песок уткнулся — «Гитлер капут!»

— Во, вояки у Гитлера остались, так вояки!

— Всякие есть. Надо за майором.

— Да вон он, твой любимый майор, уже трюхает.

Опираясь на сучковатую, обмытую водой палку, майор ковылял к блиндажу, поддерживаемый лейтенантом Боровиковым. За этой парой гуськом тащился во главе с топографом остальной служивый народ.

— Ну, что? Как? Хотя вижу...

— Подполковник и Мансуров убиты, товарищ майор, Финифатьев ранен. Мы не успели, — доложил Шестаков.

— Ах ты! — поморщился майор. — Только что, вот же живые были!.. Я как чувствовал... Подполковник сам... Сам хотел. Сам шел. Мансуров, Мансуро-ов!.. Опытных бойцов совсем мало остается... — постояв минуту возле разбросанно лежавших друг подле друга подполковника Славутича и Мансурова, перевел взгляд на убитого немца, из которого вымывало водою Черевинки остатную кровь, встряхнулся. — Пленные есть?

— Есть, есть, товарищ майор. Нечаянно один сохранился.

Шорохов к пулемету не спешил, он шарился уже на площадке наблюдателей — весь исхлопотался. Нашел жратву, не иначе как паек

офицера, хрустя тонкой колбасой, будто морковкой, махнул кому-то из пехотинцев рукою, зовя к себе.

— Где пленный? Немедленно его ко мне!

Лешка кивком головы показал майору на блиндаж и, слегка его придерживая, помог войти в низкое помещение. Окинув быстрым взглядом блиндаж, майор шагнул к сделанному из лодочной беседки столику, на котором стоял телефон и требовательно зуммерил. Морщась, осторожно и неловко майор усаживался на приступок нар, севши, отвалился затылком к земляной стене — не было сил у человека.

— Зинд зи нахрихтенман? (Вы — связист?) — не открывая глаз, властно спросил майор пленного.

Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам.

— Анвортен зи шнэль: зинд зи нахрихтенман? (Отвечайте быстрее: вы связист?).

— Я! — коротко пискнул немчик и услужливо добавил: — Ихь! Ихь хабэ нихт гешосэн, херр офицер. (Да! Я! Я не стрелял, господин офицер.)

— Вольф! Херэн зи майн бэфель: немэн зи ден телефонхерэр унд анвортэн зи шнэль. Махэн зи дас биттэ руик, загэн зи, дас ир ойх нах дэм митагэсэн унтерхалтэт, унд ди руссэн нэктет. Хабен зи ферштандэн? (Вольф! Слушайте мой приказ: сейчас же возьмите трубку телефона и ответьте. Постарайтесь сделать это спокойно. Скажите, что у вас тут дразнили пальбой русских, развлекались после обеда. Вы меня поняли?)

— Я! Их бемюэ михь, херр офицер, ихь бемюэ михь. (Да! — пролепетал Зигфрид Вольф, — я постараюсь, господин офицер, я постараюсь...)

— Ихь гарантирэ фюр зи лебэн унд ди абзэндунг ин лагер фюр кригсгефангэнэ. (Гарантирую вам жизнь и отправку в лагерь для военнопленных), — майор понюхал воздух, отодвинулся подальше от Зигфрида Вольфа на край земляных нар и, вытащив из кармана пистолет, положил его на колени.

Лешка с удивлением смотрел на этот старый, чуть подоржавевший пистолет — он не видел его у майора Зарубина с момента переправы и вообще привык воспринимать майора как руководителя предприятия, что ли, начисто забыв, что тот —

профессиональный военный. «Неужели майор выстрелит в человека? Да ведь поди и стрелял, при необходимости, и не раз, — воюет-то с самой границы...»

Зигфрид Вольф взял трубку, продул. Майор настороженно следил за ним. Лешка поймал пальцем крючок шороховского автомата. Хозяин все время забывал про свое личное оружие, все возился, искал чего-то в блиндаже и его окрестностях.

— Ах ты, дед, дед! Нельзя тебя оставлять ни на минуту... Ах ты, дед, дед! — укоризненно твердил Булдаков, перевязывая Финифатьева.

— Он этъ, Олешенька, живой, супротивник-то, оборонятца, — плаксиво отзывался разжалобленный другом Финифатьев.

— Я те говорил, не лезь без меня никуда, говорил?! — Булдаков поднял с полу консервную банку и сердито вышагнул из блиндажа.

— Да прекратите же вы! — едва слышно прошипел майор.

— А приказ? Я этъ тожа военной, тожа подневольнай, — не столько другу вдогон, а чтобы майору и всем остальным слышно было, слезился сержант.

Немецкий связист боязливо дул и дул в трубку, из которой железно дребезжало.

— Вольф, хало! Вольф! Вас фюр айн шэрц? Вас махст ду мит дэм телефонхерэр? Ихъ херэ шон... (Вольф, алло! Вольф! Что за шутки? Чего ты делаешь с трубкой? Я же слышу...)

— Хало, Вальтер! Хало, Вальтер! Вас зумэришт ду? Эс вар митагсцайт. Унд нах дэм зэтигэндэн митагэсэн, ду фэрштэйст... (Алло, Вальтер! — зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. — Алло, Вальтер! — уже бодрее продолжал он. — Что ты зуммеришь? Был обед... Хороший обед, — Зигфрид Вольф попытался улыбнуться, майор поощряюще кивнул ему. — А после сытного обеда, сам понимаешь...)

Лешка снял палец с курка автомата.

— Альзо, ихъ хабэ дихъ фом хойфэ фершойхт? Вас вар бай ойх фюр лэрм? (Так я спугнул тебя с кучи?! — засмеялся на другом конце провода связист. Слышимость у немецкой связи на зависть. — А что у вас там за шум был?)

— А-а, дас... Унзэрэ буршэн хабэн ди русэн айнгэшюхтэрт. (А-а, это наши ребята пугали русских).



— Оберлейтнант, натюрлих, рут культурэль аус, эр шаут ди фотос миг дэн нактэн вайбэн?.. (Обер-лейтенант, конечно, культурно отдыхает, глядит на фотки с голыми бабами...)

Поперек узкого, желто снаружи высвеченного, кольями по бокам укрепленного входа в блиндаж сломанно, задрав ноги, лежал обер-лейтенант Болов с уже вывернутыми карманами, под ним все темнее делался песок от загустевшей крови. В светлых волосах уже рылись, хмелели от крови, увязая в ней, муравьи. Зигфрид не мог оторвать взгляда от убитого обер-лейтенанта, но он хотел жить, очень хотел и, облизав высохшие губы, продолжил треп со штабным телефонистом.

— Нун унд вас махт эр нох? Ди шлахт, ди вайбэн, шнапс — дас ист дас лебэн дэс эхтэс кригэрс. (Ну, а что же ему еще делать? Битва, бабы, шнапс — это и есть жизнь настоящего воина.)

— Нун гут. Гей, мах дайнэ захэн, фертих, дайнэ штимэ цитэрт абэр фон дэр юберанштрэнгунк. (Ну, ладно, иди доделай свои дела! — бодро посоветовал Зигфриду штабной связист, — а то у тебя от натуги даже голос дрожит.)

Майор поднял руку, будто притормозил ею чего-то.

Зигфрид Вольф послушно положил трубку на дужки аппарата.

— Та-ак, — облегченно выдохнул майор. — Одно дело сделано. Теперь, братцы, уберите трупы и связь, нашу аховую связь, сюда, ко мне. И бегом, бегом!

Под ногами, под срезом почти уже осыпавшихся, растолченных нар, заваленных мелкими кустами и застеленных байковыми одеялами, валялось всяческое житейское добро. В мусор втоптаны рассыпавшиеся открытки обер-лейтенанта Болова. Вернувшись из села Великие Криницы крепко выпившим, командир батареи всех распушил, но, добавив перед обедом и с аппетитом пообедав, впал в благодушие и, как настоящий фронтовой товарищ, выбросил в отверстие к наблюдателям сумочку с остатками добавочного офицерского пайка, полученного на батарее, — на этот раз паек был богатый: прессованные с сахаром грецкие орехи, упаковка охотничьих колбасок, печенье, шоколад, вяленые финики, галеты — слуги фюрера задабривали бойцов оборонительного вала, чтобы знали они и помнили, что отец их и товарищ по партии неусыпно, постоянно заботится о них. Валяясь на нарах, покуривая, обер-лейтенант рассматривал выразительные снимки, потешаясь над Зигфридом

Вольфом, объяснял юноше, где, чего и как у баб находится и как к этим богатствам надо подступать. Когда произошел налет, Болов швырнул снимки на землю и метнулся к столику, над которым висел на палке, вбитой в земляную стену, его пояс с пистолетом. Дальше Зигфрид Вольф ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую известку обмакнутым, обожженным кончиком ствола автомата. Никогда-никогда не забудет Зигфрид Вольф черным жаром смерти дышащего зрака.

— Позовите ко мне Боровикова! — приказал майор.

Булдаков принялся поить Финифатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок, вот и голос опять подал:

— Водочка так к разу. Он меня штыком пазганул. А что как зараженье крови? — И тут же перешел на отеческий тон. — Ты бы поел чего, Олеха. От их обеда осталось... Чужо все, погано, да че поделаш-то?

— Заговорил, — обрадовался Булдаков, — жив, стало быть, вологодский мужик, жив!..

Шорохов, не переставая жевать, поднял из-под ног затоптанные снимки, расправив один, держа руку на отлете, будто козырную карту, осклабился:

— Во че вытворят фриц! Во жись, так жись!..

Майор бросил быстрый взгляд в сторону сержанта и друга его закадычного, махнул рукой Шорохову, чтоб убирался, — времени на пустые разговоры не было, отвлекаться недосуг.

— Заг маль, весэн бештэлен ан дэр хехэ хундерт зинд? (Скажите, — спросил он тихо у Зигфрида Вольфа, — чьи наблюдательные пункты на высоте Сто?)

— Дэр штабсдивизион унт дэр цвайэн безондэрэн эсэсбатальонен. (Штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальонов.)

— Во ист ди штабсдивизион, унд вэр фюрт дорт? (Где сам штаб дивизии, и кто ею командует?)

— Ихь вайс ниht, во дэр штаб дэр дивизион ист. — Ихь вайс вених, ихь люгэ ниht, херр офицер. Ихь хабэ ам телефон гехерт: генераль фон Либих. (Я не знаю, где штаб дивизии, — послушно и торопливо заговорил пленный. — Я мало чего знаю. Я не лгу, господин офицер. Слышал по телефону: генерал Либих.)

— Гут! Гут, — кивнул головой майор. — И на том спасибо, — добавил он по-русски.

А про себя усмехнулся:

«Вот истинный немец, работать умеет и знает лишь то, что положено знать. Наши связисты, не умея работать, знают все про все».

Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы.

«Че эту пададь закапывать-то? — слышался голос Шорохова, — уволокчи да в кусты сбросать...»

«А вонять станут?»

«Это верно. Вони от человека больше, чем отдохлой кобылы...»

«Трепло! — поморщился Лешка. — Повидал на своем веку и понюхал Шорохов мертвецов. — Надо будет спросить у майора, как с нашими-то...»

Зигфрид Вольф, положив руку на вздрагивающие колени, напряженно ждал. Воняло от него все внятней. Майор поводил носом — откуда пахнет? Зазвенел телефон. Зигфрид Вольф глядел на аппарат с ужасом.

— Вальтер шприхт зо хериш мит инэн? Загэн зи, ист эр цу дэн гранатверфэршютцен аус дэр штаб дэр дивизион гешикт? (Вальтер так властно разговаривает с вами. Скажите, — показал майор на телефонный аппарат, — он послан к минометчикам из штаба дивизии?)

— Ихь дэнке, вир зинд айн фюрэндэр беауфзихтигер пункт, вир зинд нэбэн дэн русэн, унзэре бэобахтунгэн зинд ам бэстэн. (Думаю, что мы — передовой наблюдательный пункт. Мы рядом с русскими, наши наблюдения, — поморщился связист («Этот наглый оберлейтенант Болов все ж выскочка, всегда проявлял инициативу, всегда лез вперед, искал опасности, вот и нашел»), — самые, самые...)

— Гут, — голосом азартного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. — Антвортэн зи Вальтер, дас аллес ин орднунг ист. (Хорошо. Ответьте Вальтеру, что все в порядке.)

Вошедший в блиндаж лейтенант Боровиков с изумлением смотрел на немца, разговаривавшего по телефону, на майора, у которого оживилось лицо, блестели глаза и, хотя он все еще кривился на бок, к которому притянута была ремнем поверх гимнастерки толсто сложенная онуча, вроде бы и о боли забыл. Боровиков присел на нары, все еще не понимая, что тут происходит. Знаком показав положить

трубку телефона, майор взял у Боровикова свою кожаную сумку и, доставая из нее сложенную карту, как бы между прочим поинтересовался:

— Вэр золь ан дер линии им фале дер нахрихтэнфэрлетцунг геэн, зи одэр Вальтер? (В случае повреждения связи кто должен выходить на линию, вы или Вальтер?)

— Вир хабэн кайн бэфель фронтлиние цу фэрласэн. (Нам не велено отлучаться с передовой.)

«А у нас вот все наоборот: тыловики болтают да покуривают, связисты с передовой, язык на плечо, по линии бегают и гибнут».

— Вифиль цайт браухт Вальтер, ум беобахтунгсштэле цу эррайхэн? (Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта?)

— Фюнфцен одер цванцих минутэн. (Пятнадцать или двадцать минут.)

«Эк у них отлажено-то все! Экие молодцы! Оттого и держат наполовину меньше наших челяди в штабах. При укомплектовании армий и дивизий численность боевого состава втрое больше наших, а порядка — впятеро», — мельком отметил майор. Все более входя в азарт, которого он в себе, пожалуй, и не подозревал, Зарубин начал быстро распоряжаться. Приказал Боровикову поставить пулеметы по обоим берегам Черевинки, трофейный же пулемет с полным боекомплектом перенести к наблюдательному пункту и по всей речке:

— По всей речке, — подчеркнул он, — укрепиться, поставить боевые охранения. Противник, не смяв левый фланг, наутре непременно опробует фланг правый. Немцы сорить людьми непривычны, — пробурчал майор, — и голодом держать солдат не смогут — характер у них не такой. Под Сталинградом мерзлую конину по кусочкам делили. Мы тех коней изрубили бы, растащили, сожрали, потом скопом околевали бы с голоду...

Боровиков подумал, что майор уже в бреду, и неуверенно прервал его:

— Вам, товарищ майор, нужно немедленно переправляться.

— Да-да, — согласился Зарубин. — Понайотов вот-вот будет. Но, лейтенант, тебе еще приказ: на берегу сколотилось много бездельников, об этом и подполковник Славутич говорил, — собери всех боеспособных, вооружи, заставь, убеди держать оборону по

речке, иначе мы все, и они тоже, тут погибнем. И еще — пусть артиллеристы немедленно оборудуют наблюдательный пункт. Свой. Эту крепость немцы скоро разнесут в пух и прах...

— Мы уже начали. Вам надо лечь, товарищ майор.

— Нет-нет, еще один фокус немцу на прощанье, еще один, — облизывая растрескавшиеся, зашелушившиеся губы горячим, распухшим языком, словно в полубреду, бормотал Зарубин. И вдруг вскинул голову, показал рукой на выход: — Перережьте линию связи и захватите связиста.

— Есть! — козырнул Боровиков, которому, казалось, все задания на плацдарме выпадали второстепенные, маловажные, и вот, наконец-то, он дождался настоящего, захватывающего дела. — И все-таки, товарищ майор?..

— Да идите, идите! Я прилягу.

Боровиков, выйдя из блиндажа, увидел, как, впрягшись, будто в оглоблю, бойцы волокли через речку за ноги убитых. Белье на трупах задралось, мертвые тела, волочась, с шуршаньем буровили песок. Лицо унтер-офицера было прострелено у переносья, кровь запеклась в провалах глазниц, в ушах, в оскаленном редкозубом рту. Светлые, проволочно-прямые волосы обер-лейтенанта Болова свяжи, мочалкой тащились, оставляя след на песке, но из-под круглого воротника шерстяной рубахи на груди виднелись почему-то темные волосы — видно, обер красил волосы под белокурую бестию-кавалера. Глаза обер-лейтенанта были полуоткрыты, в них колыхался клочок неба, а в удивленно раскрытых губах навечно остановилось недоумение — обер-лейтенант Болов не верил в собственную смерть. За речкой уже лежал пулеметчик с еще ниже спустившимися штанами, под которыми бледно голубели трикотажные подштанники. Болова и унтера соединили, к ним в ряд пытались положить товарищей, но ряда не получилось — как жили люди, как умерли, так и лежали — всяк по себе, наврозь.

— Ну, что вы, ей-богу! — дернул губой Боровиков, — наденьте на покойника штаны, забросайте мертвых кустами, что ли, лучше заройте.

Рядом с блиндажом, занимая совсем немного места, в комковато растоптанном обувью песке, напитавшемся кровью, прикинутые

немецким одеялом, лежали подполковник Славутич и Мансуров. Чужое, запачканное глиной одеяло с тремя темными полосками по краям, тоже набрякло кровью. Никогда Боровиков не видел покойников под одеялом, да еще под чужим, шевелящимся от вшей. Отгоняя от себя гадливость, одолевая в себе почти детскую оторопь и душевную смуту, лейтенант заметил связиста Шестакова. Солдат забрел в ручей и песком оттирал руки, не замечая того, что намочил штаны, начерпал воды в кем-то стоптанные сапожишки. Лешка косил взгляд на убитого им врага, которого по счету — он не помнил, потому как, ставши покойником, немец делается обыкновенным мертвецом, единицей для военных отчетов. Лешка не ужаснулся тому, что начинает привыкать к безликости той единицы. А ему казалось, что видение первого убитого, еще там, в Задонье, никогда не кончится, ничем не сотрется. «Так вот и обколотишься на войне, привыкнешь убивать...»

Мимо проволокли убитого немца, пробуровив канавку в песке. Как и у большинства рыжих, у чужеземца голубоватые глаза, от ужаса, от воды ли подались они наружу. Вода бежала через голову и грудь, забивая белым песком рыжие волосы, трепала клапан оборвавшегося карманчика на рубашке. «Для че на нижней-то рубаше карманчик? — удивился Лешка, — небось для презервативов?» — Кристаллики слюдяного песка, кружась, оседали под ресницами, глаза убитого, точно на старинной иконе, в светящемся окоеме. Меж крепких, пластинчато-крепких зубов немца застряла пища от совсем недавнего обеда, лохмотки ее выбелило водой. Смерти не ведающие, всегда шныряющие голодные малявки, наплывая на лицо убитого, ныряли в рот, вытеребляли нитки пищи, пугливо прыская по воде.

— Ребята! — попросил Лешка пехотинцев, уже приволокших наблюдателя, бросившего гранату, и Отто Фишера из-под осокоря, которого отобедавшие вояки так и не хватились. — Унесите этого. Я не могу.

Да, да, то видение, унесенное из Задонья, все же не сотрется, потому как не на бумаге оно отпечатано, но в памяти и останется с ним навсегда — тот, окоченелый, тощий человек в неумело залатанном, утепленном овечьей шкурой мундирчике. Лопоть — это по-сибирски деревенское слово больше подходило к одежонке убитого. И оттого,

что сраженный им враг-первенец оказался не эсэсовцем, не гренадером, а бросовым солдатишкой, которыми и по ту сторону фронта, и по эту вершители людских судеб, вознесшиеся до богов, разбрасывались, что песком, перевернулось все в Лешке. И мир тоже. С тех пор война для него обрела жалкое лицо всеми брошенного и забытого человека. Продолжалась и продолжалась в нем еще в Задонье начавшаяся мысль и о жизни, и о смерти, которая на войне сминает человека куда быстрее, чем во всяком ином месте, голову не оставляла простая догадка — война, страшная своей бессмысленностью и бесполезностью, подленькое на ней усердие — это преступная трата души, главного богатства человека, как и трата богатства земного, назначенного помогать человеку жить и делаться разумней. Ведь вместе с человеком погибает, уходит, бесследно исчезает в неизвестности все, чем наделила его природа и Создатель. Исчезает защитник, деятель, труженик земли, и никогда-никогда, ни в ком он больше не повторится, и спасенный им мир, люди всей земли, им спасенные, не могут заменить его на земле, искупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Да они и не хотят, да и не могут это сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею.

Здесь, на плацдарме, погибает так много народу, что у солдат, у русских усталых солдат слабеет чувство сопротивляемости, и у железных вояк — немецких солдат — слабеет оно. В облике рыжего немца, в мертвом его взгляде сквозила все смиряющая изнуренность, и враз исхудалое лицо, да эти глаза в святом ободке придавали ему сходство со святым с иконы.

Пострелявший немало птиц, добывавший зверушек, Лешка всегда удивлялся мгновенной перемене существа, созданного природой для жизнедеятельности на земле. Красивая, легкая, быстрокрылая птица, перо к перышку, краска к красочке, все к месту, к делу, все выстроено для продления рода, песен, любви и веселья. И вот, свесив нарядную головку, тот же селезень или глухарь обтек телом, не прижимается к нему перо, а перьев, читал Лешка в книге, у одной только птицы, у сокола, к примеру, две тысячи! Каждое перо выполняет свою работу, и все, что есть внутри и снаружи живого существа, служит своему назначению. Хвост — краса, гордость и руль в полете — опадает,

перья разъединяются, видно становится пупырчатое, если весной — синеватое, костистое тело, за которое цепко держатся насекомые.

Взять ту же живую зверушку — соболька. Всегда и все жрущий, от мерзлых лягушек, закопавшихся в донный ил, до уснувших в гнилушках ящериц и змей, птицу, яйца, ягоды, орехи — все годно для утробы всегда тощего ненасытного зверька.

Смышленная, верткая головка с крупными, все и везде чующими ушами, длинные, гусарские, свехчуткие усики и рот, широкий, кукольной скобкой загибающийся к ушам, улыбчивый, приветливый рот, в который только попадись — захрустишь. Попавши в ловушку или под выстрел, зверек делается пустой шкуркой — ничего в нем не остается, кроме багрово-синей тушки, которую не всякая и собака ест.

Но человек в смерти неприглядней всех земных существ. Наделенный мыслью, словом, умением прикрыть наготу, способный скрывать совесть, страх, наловчившийся прятаться от смерти посредством хитрого ума, искаженного слова, земных сооружений, вообразивший, что он способен сразить любого врага и обмануть самого Господа Бога, настигнутый неумолимой смертью человек теряет сразу все и прежде всего теряет он богоданный облик.

Из блиндажа, держась за бровку входа, кособочась, вышел майор, скользнул взглядом по все больше темнеющему одеялу, над которым уже с жужжанием кружились мухи, нахмурился, увидев за речкой в кучу сваленных мертвецов, все они были разуты и раздеты до белья.

— Шестаков, ты что там, в речке, рыбу ловишь, что ли? Пулеметчики! — Два пехотинца, таскавшие под кусты трупы, выступили из укрытия. Майор оценивающе пробежал по ним глазами. — Выберите место для трофейного пулемета. Довольно ему нас крушить. Всем в укрытие. У кого укрытия нет — спрятаться.

Шорохов, уже перенесший свой телефон с берега в уютную ячейку наблюдателей, сидел на ящике, качался, закрыв глаза, монотонно напевая коронную свою песню:

«Дунька, Гранька и Танька коса — поломаны целки, подбиты глаза...» — в песне этой менялись только имена героинь, но дух и пафос песни оставались неизменными.

Боровиков с Булдаковым — лейтенант не хотел больше никого брать с собой — перерезали немецкий провод, нарядной вышивкой выющийся по белому песочку, по травке, под кустиками смородины, и



стали ждать. Булдаков начал было щипать со смородинника ягоды, сохранившиеся на низеньких ветвях, серые от дыма и пыли, командир помаячил ему: «Нельзя!»

Время замедлилось. Они снова слышали, что вокруг идет война, клокочет, можно сказать. В пойму речки Черевинки залетают мины и снаряды, то по одну сторону Черевинки, то по другую, словно куропатки стайками фыркают, клюют землю пули, и все же после переправы, непременно обстрела, бомбежек, вообще всяческой смуты на берегу, пойма речки с ее зарослями, шумящей водичкой и деревьями, не везде еще срубленными, однако почти всюду поврежденными, казалась райским местом, тянуло в зевоту, в сон.

«Ша!» — выдохнул бывалый ходок Булдаков и надавил на спину лейтенанта Боровикова, лежавшего рядом, в кустах. По связи, пропуская провод в кулаке, бодро бежал плотненький немец в сапогах, за широкими раструбами которых заткнут рожок, полный патронов, за спиной, побрякивая о ствол автомата, болтался заземлитель, на боку ящичек телефона в кожаном чехле с застегнутой крышкой, на серо-зеленом, чисто вычищенном мундире связиста виднелись нашивки за тяжелое ранение, детской игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде бы оловянная медалька — орден мороженого мяса — так звали ее немцы после Сталинграда.

Найдя обрыв и выругавшись, немецкий связист вынул из висевшей на поясе сумочки кривой связистский ножик, насвистывая, начал зачищать провод. В это время из-за спины протянулась лапища — «Дай!» — и нож отобрали, с шеи невежливо, почти уронив хозяина, сорвали автомат.

— Вас ист дас?! (Что такое?!) — увидев перед собою русского офицера и солдата, пристально разглядывающего кривой нож, — такого Булдаков еще не видел, — немец начал проваливаться куда-то.

— Вас ист дас?! (Что такое?!) — залепетал он.

Но русский громила грубо его толкнул, показывая дулом трофейного автомата — вперед!

Увидев компанию во главе с лейтенантом Боровиковым, майор Зарубин, как бы от нечего делать околачивавшийся возле блиндажа, почти весело скомандовал:

— Всем из укрытий! Заниматься делом! Окапываться!

Увидев отовсюду высунувшихся русских, затем и убитых немцев под кустами, Вальтер сейчас только до конца осознал весь ужас происходящего: он в плену! А тут еще сверху, из наблюдательной ячейки, хищным коршуном свалился солдат, намереваясь обшмонать пленного, но, обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и со зла пнул немца под зад так, что тот сделал пробежку по стоптанному проходу разоренного снаружи блиндажа.

— Вас ляйтэн зи зих? (Как вы смеете?)

Шорохов сделал вид, что ничего не понимал ни по-немецки, ни по-русски. Привычный к блатной среде и к «фене», речь нормальную, человеческую он не особо ясно уже воспринимал, но чаще придурился, что ни по какому не понимает. Погрозив немцу пальцем, Шорохов щелкнул языком, будто раздавил грецкий орех.

— Понял, фрайерюга?

Вальтер чего-то понял, чего-то не успел еще понять, озираясь, поспешил в блиндаж. Увидев отступившего в сторону офицера, громко выкрикнул:

— Их протэстирэ! (Я протестую!)

Ничего ему на это не ответив, майор шагнул следом в блиндаж и, держа ладонь на боку, на ходу еще заговорил по-немецки:

— Зи зинд дэр нахрихтенман. Вир виссэн аллес, вас вир браухен. Ман мус нур айниге момэнтэн генауэр фасэн. Ихь ратэ инэн алес эрлих цу эрцэлен. (Вы — связист. Все, что надо, мы знаем. Нужно уточнить лишь детали. Советую говорить все честно.)

Вальтер не успел удивиться или чего-нибудь ответить, потому как увидел втолкнутого в блиндаж Зигфрида Вольфа, прикрывающегося мокрыми штанами. Он вспомнил голос связиста, вспомнил, как тот долго не брал трубку, и понял все.

— Ду бист шуфт! (Убить тебя мало!) — И резко обернувшись к майору, заявил: — Дас ист кайнэ рэгель! Дас видэршприхт... (Это не по правилам! Это противоречит...)

— Абрэхэн дас гэшвэтц! Антвортэн ауф фрагэн. (Прекратите болтовню, — оборвал майор. — Отвечайте на вопросы.)

— Антвортэ херрн официр ауф алле фрагэн, унд эр шикт унс инс лагер фюр кригсгэфангэнэ. — Подал слабый голос Зигфрид Вольф. (Ответь господину офицеру на все вопросы, и он отправит нас в лагерь для военнопленных...)

— Ихь вердэ дихь ан алэн унд кантон фэрнихтэн! Юбераль. (Я буду истреблять тебя всюду! Всюду!) — вдруг подскочил, забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху: — Ин дер лагер, им Дойчланд, им граб!.. (В плену, в Германии, на том свете!..)

— Абрэхэн! Ди буршэн фюрэн криг унд зи айншухтэрн зи нох! (Прекратите! — прикрикнул майор, — заставили мальчиков воевать, да еще и страшаете их!) — Вэрдэн зи анвортэн? (Вы будете отвечать на вопросы?)

— Найн! (Нет!)

— Булдаков! — крикнул майор и, когда Леха зашевелился в проходе, приказал: — Воздействуйте на пленного.

— Ш-шас! — чего-то торопливо дожевывая, отозвался Булдаков: — У бар борода не бывает, бя.

— Э-э, Олеха, — предостерег своего друга Финифатьев, — ты с им постражае, но не до смерти. Он нужон товарищу майору.

В блиндаже повисла подвальная тишина. Зигфрид Вольф отступил за столик, прижимаясь голым задом к земляной стене блиндажа, дрожал там, пытаюсь натянуть на себя мокрые штаны.

Опористо, широко расставив ноги в сапогах с короткими, зато мушкетерскими отворотами, набычился под низким потолком блиндажа второй пленный.

— Вальтер! Хир ист кайн театр. (Вальтер! Вальтер! — снова заныл Зигфрид Вольф. — Тут не театр.) — Шлюс фюр унс. Анвортэ ауф ди фрагэн! (Все для нас кончено. Отвечай на вопросы).

— Это шчо же он говорит, товарищ майор? — подал голос из глубины блиндажа Финифатьев. — Шчо пузырится?

— Не по правилам, говорит, взяли. Противоречит, говорит.

— А-а, маньдюк! Не по правилам! — протянул слабым голосом Финифатьев. — Тут, брат, как в нашем ковженском колхозе: кто рыбу не добывает, тот весь год ее употребляют, кто добывает — шче у проруби ухватит. Олеха все правила ему разобъяснит.

Словно слышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были так плотно чем-то набиты, что проход блиндажа оказался узким. Он зыркнул по блиндажу глазами, сразу уловил обстановку в помещении, вынул из-за голенища свой примитивный нож и, как всегда, настраиваясь на дело, начал обрезать им ногти, обрезал он их хватками, словно не ногти резал, а пальцы

отчекривал. Увидев в руках русского, который больно его пнул, заеложенную ручку косаря и то, с каким мастерством он им орудует, Вальтер сразу все для себя уяснил. Пронзительно острый, неуклюжий с виду резак сделан из обломка косы — такие ножи Вальтер видел в русских деревенских избах — он кожей почувствовал острие ножа, даже не кожей, печенками ощутил неслышное, вкрадчиво-тоненькое проникновение его в бок — этаким манером смертельно, сразу наповал режут жертву опытные забойщики скота и матерые убийцы, а что перед ним был убийца, пленный не сразу, но усек.

— Ихь вердэ ауф алле штэлендэн фрагэн антвортэн херр майер. (Я буду отвечать на все поставленные вопросы, герр майор), — опустил голову Вальтер.

Зигфрид Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол, впеллся мокрыми штанами в земляной пол и заплакал.

— Идите! — майор махнул Шорохову рукой. — Идите, узнайте, как дела у Щуся. Скажите, где мы. Словом, приободрите товарищей, — и без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера — Во ист дэр штаб фон Либих? (Где штаб дивизии Либиха?)

— Ин Великая Криница.

— Ист дэр генерал йетцт дорт? (Генерал сейчас там?)

— Я. (Да.)

— Добро! — удовлетворенно потер руки майор и, положив на стол бумагу, карандаш, быстро вырисовывал треугольник на мягком листе, сверху которого на острие значилось «Высота Сто».

— Бецайхнэн зи ди бефэстигунгэн. Ан дер хехэ. Бемюэн зи зихь дас генауэр цу махэн, андэрэрфальс альс вир ди хехэ немэн... (Обозначьте укрепления на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту...)

— О, майн гот! Майн гот! (О, Боже мой! Боже мой!) — Вальтер кулаками сжал голову, отыскивая глазами Зигфрида, неподвижно сидевшего на замусоренном, растоптанном полу блиндажа, плюнул в его сторону и начал писать схему оборонительных сооружений высоты Сто, твердо уверенный в том, что полудохлые русские никогда ее не возьмут, несметно лягут возле высоты... Пусть, пусть лезут!.. Когда же плацдарм будет очищен, он сам лично, сам, расстреляет, нет, задушит

руками этого трусливого, подлого подонка, что, сидя на полу, хнычет — от мокра и страха.

Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко отчеркнув, вышел из блиндажа, поискал глазами Боровикова:

— Товарищ лейтенант, — подчеркнуто официально сказал майор Зарубин. — Выполняйте мое приказание. Идите на берег, собирайте всех вольных стрелков, тащите сюда. Тех, кто будет вступать в пререкания или откажется идти, — повременив, громко, чтобы всем было слышно, — именем Родины расстреливайте на месте!

Лейтенант Боровиков ел глазами майора, слушая его приказание, но потух, услышав последние слова.

— Что вы, товарищ майор... Я не могу...

— Лейтенант Боровиков! — совсем уже громко, резко произнес майор Зарубин, еще больше побледнев, попытался выпрямиться. — Если вы не выполните боевого задания, я прикажу расстрелять вас как саботажника и пособника дезертирам. — Сказав это, майор широко и резко шагнул к шороховскому телефону и от боли, не иначе, ныром вошел в блиндаж, подшибленно сунулся на нары, где подхватил его Булдаков, а Финифатьев загородился руками, боясь, что майор упадет на него.

— Е-э-э-эсь! — Боровиков медленно поднял руку к виску. — Я постараюсь. Будет сделано, — вдогонку промямлил лейтенант.

Щусь сам взял трубку. Он уже по рассказам своего связиста знал обстановку на правом фланге плацдарма. Глуша ладонью в телефонной трубке грохот, крики, шум, коротко произнес, точнее прокричал, будто по рации:

— Мы продержимся... Продержимся до вечера. Но на большее нас не хватит. Помогайте. До встречи...

Вызвав через полковую связь полковника Сыроватко, а через него представителя авиации, майор Зарубин попросил нанести штурмовой удар по деревне Великие Криницы и по высоте Сто.

— А что там? Какие у вас разведданные? — спросил авиатор.

— Важные.

— Все-таки? Самолеты так просто не дают. Самолеты дороги, товарищ артиллерист.

— Я ничего не могу сказать вам по телефону. Сейчас к вам выйдут два автоматчика с картой. Вы сами убедитесь, что это очень важно, очень нужно для плацдарма. Сведения точные. Прошу вас верить мне! Ждите автоматчиков в штабе полковника Сыроватко.

На другом конце провода помолчали, и, наконец, авиатор сказал с легким вздохом:

— Хо-орошо! Сообщите время, когда планируете наносить удар, — уточнил он.

Майор достал из брючного кармана часы, щелкнул старинной серебряной крышкой с дарственной надписью, из академии еще часы. Было без четверти три.

— Семнадцать ноль-ноль.

— Время в обрез, но постараемся.

— Постарайтесь. Прошу вас, — сказал майор несвойственным ему, очень удивившим телефонистов тоном.

Майор был единственный человек в округе, которого всерьез побаивался даже Шорохов, уважал, как может уважать «бугра» рядовой член подконвойной бригады.

Взявши трубку своего телефона, майор вызвал «Берег» и удивленно вскинул брови:

— Что со связью, Шестаков?

— Садится слышимость, товарищ майор. Капитану Одинцу да покойному Мансурову надо говорить спасибо за то, что еще работаем. — Две катушки трофейного провода с твердой изоляцией — для прокладки по дну реки — они сработали. Да две в запас сообразили — вот и живем пока. С нашим хиленьким проводком мы не продюжили бы и сутки, но трофейная нитка составлена из обрывков, на стыках намокла изоляция...

«Вот так... вот так воюем, так побеждаем, — раздраженно произнес про себя майор Зарубин, — третий год войны и каждый день натыкаешься на результат блистательной подготовки. И ничего нам не остается, как героически преодолевать трудности!»

— На сколько нас хватит?

— Думаю, на сутки, даст Бог, на полторы.

— Добро! — майор поскреб лицо, выпрямился. К телефону подошел командир дивизии.

Коротко и четко доложив обстановку, Зарубин в ответ услышал зажатый связью голос:

— Либих, говоришь? С хозяйством? Хорошо-о-о-о! Старый знакомый. Он нас и мы его трепали под Ахтыркой. Ну, Бог даст, доколотим, — и, отвернувшись, должно быть, к другому телефону, сдавленным голосом приказал: — Командиров тридцать девятой, сто шестой, шестьдесят пятой — на провод! А ты, значит, майор, скорректируй огонь своего полка и десятой бригадой высоту пригладь. Пригладь. Она у нас, голубушка, как больной зуб. Выдерните-ка, выдерните его! — Генерал, отвернувшись, кому-то снова бросил: — Сейчас, сейчас, пусть подождут. — И тихо, как бы один на один, спросил: — Ну, как ты?

— Дюжу, товарищ генерал. Что же делать-то? «Надо бы насчет связи... ну да потом, потом, после удара»...

Генерал одышливо посопел в трубку:

— А Вяткин отдыхает. Нежится. Ну, я ему! Скоро, однако, Александр Васильевич, вам будет легче. Совсем скоро. Вот так и скажи своим; скоро, мол. Ну, пока, Александр Васильевич. За работу, как говорится.

Сыроватко, которого майор попросил передать дополнительно роту в штурмовую группу Щуся, чтобы она выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончании бомбового удара и артобстрела атаковала, впал в сомнение:

— А колы последние хлопцы полягут, кто нас заборонит?

— Война, — сухо ответил майор.

Сыроватко помычал, покашлял в трубку:

— Ты ввэрэн, шо высоту можно узясть?

— Почти.

— Аж! — громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул Сыроватко. — Колы б ты сказал — визмемзаберэм! Я б тоби хлопцев нэ дав. Пид той высотой моих хлопцев дуже богато лежит. Загубили их те, кто был полностью ввэрэн у зуспехе.

— Нет, на войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. А хлопцев вы даете не мне.

В половине пятого начался мощный артналет на высоту Сто. Долбили ее фугасами разрушительные гаубицы-полуторасотки, за

ними, как бы присаливая, сверху густо сыпали снарядами два многоствольных полка из шестидесятимиллиметровых пушек.

Сидя на высоко из ящиков устроенном постаменте, поймавшись за стереотрубу, чтобы не упасть, по телефону, стоявшему возле ноги, майор Зарубин вел огонь одним орудием лучшего в полку расчета, сержанта Анциферова, с которым он служил и стрелял не раз во время боевых учений еще на Дальнем Востоке. Анциферов за бой под Ахтыркой получил звание Героя Советского Союза, будучи командиром орудия, подбил восемь танков и при этом вытащил из окружения всеми брошенную, поврежденную свою гаубицу на каком-то тоже брошенном тягаче.

Но и редкостный артиллерист, ныне командир огневого взвода девятой батареи Анциферов не мог попасть по укрытым за скатом высоты Сто штабным укреплениям. Пока от берега начавшись, высота, подмытая ручьем с материковой стороны, круто в него и обрывалась. А за стеною, надежно укрытые, жили, работали штабники и наблюдатели фон Либиха, да еще два эсэсовских батальона, ну и, само собой разумеется, разные вспомогательные части: саперы, авиаторы, артиллеристы и прочие.

Снаряды орудий Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею, в полого и длинно тянущемся к селу Великие Криницы косогоре с царапинами выющихся по нему сельских тропок и дорог. Сама природа сделалась здесь союзницей врага. Сцепления высоток, оврагов, дорог, окруживших Великие Криницы, делали оборону почти неприступной, а выдавленный высотой Сто ключ, пульсирующий водичкой с мелким песком и сразу же организующийся ручьем — Черевинкой, глубоко и вольно гуляющей по самой себе выбранному пути, собирая в разложье растительность, птиц, зверье, людей, прежде всего ребяташек, которые здесь играли, паслись, пока их не выжили незваные гости, оборону противника еще и разнообразили. «Почему, почему все-таки залезли сюда? Какая тут хитрость? Какая логика?»

Перед высотой выкопан уже подзаросший на брустверах противотанковый ров. От него веерно лежали провода телефонных линий, и не просто они лежали, они работали, немцы под высотой и на ископанном косогоре жили, воевали, толклись — такие длинные, унылые и одышливые косогоры в Сибири называют чудно и точно — тянигусы и пыхтуны. Этот заречный тянигус и в мирное время с



корзиной ягод, грибов ли или с возом зеленки, дров, известки одолевали, отдыхая по нескольку раз, потому как у людей стамели ноги, у лошадей, пока они взбирались наверх, отпотевали бока, как облегченно фыркали они, должно быть, близко завидев дом с угоенными конюшнями, с вечно по двору летающим куриным пером, да с бабами, которые, подоткнув подол, приложив руки ко лбу, дывылысь: шо там, за рекою, кум чы кума роблять подле своего прохладного леса, ягодных стариц, кто идет и едет по дороге травянистой, уходящей аж до самого города, где бывает ярмарка. Из сухого, бедноземельного, всегда продуваемого ветрами села Великие Криницы девки охотно шли замуж в Заречье, женихи — наоборот — манили с левобережья невест к себе, на почти голую, песчаную горбину и, чуя вольницу, девки охотно плавали ко криничникам — пусть бедна земля, скудно местоположение, зато у парубков чуб задорен и голос раздолен, мастеровиты тут мужики, ремесленники сплошь и гуляки. Вот этот-то тянигус одолей, возьми село со всей его социальной неполноценностью, верни жизнь людям и селению. И все это надо сделать немедленно, сейчас, поднять и двинуть вперед, на горбину и далее к селу двигаться предстоит изнуренным, поредевшим частями — стимул для всех вояк один — недогубленные огороды и недоубранные поля и сады вокруг села.

— Анциферов! Федор! — позволяя себе фамильярность, почти умолял, просил майор Зарубин, — надо попасть. По танкам из наших гаубиц стреляют только с горя, но ты выполни название свое: разрушь блиндажи и дзоты. Ты же разрушитель, Федор!

Меняли угол огня, коэффициенты, довороты предельные делал майор Зарубин, но все получались недолеты или перелеты — попасть по целям не могли. И когда майор отчаялся, Анциферов предложил:

— Может, пару орудий на берег выкатить?

— Километр, полтора? — майор Зарубин прикинул траекторию. — На берегу, на открытом месте — перебьют вас, а?

— Вас вон как бьют.

«Молодец! Ах, молодец Федор! Неужели я так отупел, что и такого пустяка сообразить не мог».

— Сколько надо времени?

— Двадцать минут.

— Действуй, дорогой, действуй! — майор отлип от стереотрубы, но не отнимал от уха телефонную трубку.

— Готовы! — раздался загнанный, но звонко рапортующий голос.

Майор вытянул за цепочку часы. Анциферов перебрросил орудия на берег за пятнадцать минут.

«Да, с такими людьми! — ликовал майор Зарубин. — Худы твои дела, фюрер, худы!..» — но по телефону охладил своего командира:

— Мы не на учениях, младший лейтенант! Передаю данные. Слушать внимательно!

Уже пятым снарядом Анциферов попал плотненько, за скат высоты.

— А теперь, — дал волю голосу и чувствам майор Зарубин, — а теперь по этим же раскатам обоими стволами беглый огонь! Сколько возможно быстрее разворачивайтесь. Наша союзница-девятка следом за вами ударит.

Малое время спустя за каменистым, почти голым скатом высоты, лишь по расщелинам, обросшим шиповником, дикой акацией, жабреем и татарником, закипели разрывы, вверх полетел камешник, комья земли, спичками раскалывало бревна, пласты перекрытий, щепки ящиков, трубы и ходы сообщений, рвало связь, обваливало блиндажи, засыпало ячейки наблюдателей.

— Вот то-то! — давно отучившийся вслух выражать свои чувства, майор Зарубин попросил водички, попил и отвалился на стену наблюдательной ячейки. «Если сегодня замены не будет — умру», — подумал он безо всякой, впрочем, жалости к себе, как будто даже испытывая облегчение от этой мысли.

Над рекой слышался слитый, все нарастающий гул, будто не по небу, по булыжной мостовой накатывались, все убыстряя ход, грозно, чудовищно звучащие машины. Почти над самой водой затяжелело прошло звено штурмовиков — «илов». Взмыв над яром, штурмовики забрались повыше и оттуда ударили ракетами, будто алмазами по стеклу чиркнуло, оставив на небе белесые полосы, затем высыпали из гремящей утробы бомбы и принялись ходить над деревушкой и высотой Сто, поливая ее из пулеметов и пушек. Возвращаясь, «илы» качнули крыльями над плацдармом, и ведущий стрельнул веселой розовой ракеткой навстречу отработавшим самолетам. Слитно ревя, перло новое звено штурмовиков, выше их прошла пятерка белых

изящных самолетов, сверкающих раздвоенными хвостами, — дальние бомбардировщики. На плацдарме решили: не было в достатке штурмовиков, вот и выслали дальние эти бомбардировщики. Не сбивая строя и хода, «петляковы» прошли позиции наши и немецкие, развернулись, заваливаясь в пике и почти отвесно падая на деревню, все ниже, все ниже и стремительней, опростались разом от груза и легко, даже изящно, вышли из пике, взмыли в небо, сверкнув крыльями на закатно краснеющем солнце, на вздыбленном небосклоне, а по-за ними от кучного бомбового удара, ушибленно ахнув, качнулся берег Черевинки, что-то громко треснуло в земле или на земле, подбросило дома, небо, солнце, скосившийся церковный куполок похилился, пошатнулся и, как поплавок, унырнул в черно взнявшиеся вороха взрывов.

Село Верхние Криницы сделалось развалинами, горело из края в край. Солома, старый камыш, будылья, бурьян, палочки оград как подняло вверх, так и крутило горячим воздухом, и сыпался горячий пепел, ошметья огня и сажки. И все содрогалась, вздрагивала земля в селе и вокруг него, и все тряслось что-то, рвало себя внутри земли иль по-за ее уже пределами.

Опытный вояка, майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества. «Уж постарался авиатор! Но, может, и товарищ Лахонин Пров Федорович о своих солдатах вспомнил после важных дел и забот с Улечкой».

Два «мессершмита», постоянно дежурившие над плацдармом, вывалились из слепи солнца, погнались за «петляковыми», но ведущий залепил по ним очередь из хвостовых турелей, ведомые перекрестили свои очереди на светящейся струе ведущего — и «мессершмиты» отвалили, боясь сунуться в эту, вроде бы маскаратно, на самом же деле смертельно пульсирующую букву «ж».

«Вот бы завсегда так помогали с воздухом», — не один солдат подумал на плацдарме о делах фронтовых, и майора Зарубина охватывало торжество и недовольство одновременно. «Чудо-самолеты, чудо-минометы — „катюши“, вместе с этим в славной девятой бригаде еще со времен Порт-Артура сохранились так называемые хоботные — этакий пердило-мужик, как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы-шнейдеровки и передвигает ее по мановению

руки наводчика. А связь... связь-то наша... Ну сегодня я насчет связи выскажу...»

— Однако ж брюзга я стал, — сам себе под нос буркнул майор Зарубин: — Дохожу потихоньку, забыл сорок первый? Ельню забыл...

## День шестой

Нет, Ельню он никогда не забудет и никому ее не простит. Не простит того унижения, той смертельной муки, которую там пережил.

Приданный боевому азартно рвущемуся в бой дальневосточному курсантскому полку, он, командир полковой батареи, в первом же бою имел счастье видеть, как бьют зарвавшегося врага, и сам тому немало способствовал. Сбив немцев ночной атакой с укреплений, удало гнали курсанты фашистов по полям и проселкам. В кальсонах бежали фрицы, оставив несколько деревень и хуторов. Артиллеристы, не отставая от курсантов, перли на себе орудия и, когда утром появились танки, встретили их спокойным, прицельным огнем. Сколько-то подбили.

Но танки шли и шли, валили и валили из-за холмов. Самолеты не давали поднять головы час, другой, пять, день, вечность. Остатки курсантского полка и дерзких артиллеристов, оставшихся без снарядов, затем и без пушек, оттеснили, загнали в густой сосновый бор и срыли этот бор под корень вместе с людьми, с оружием, с лошаденками, с зайцами, с белками, с барсуками, с волчьими выводками... А затем еще облили керосином с самолетов и зажгли этот бурелом с людьми, с белками, с волчьими выводками, птицами, со всем, что тут жило, пряталось, пело и размножалось. Десятка два оглушенных, полумертвых курсантов выползли ночью из раскрошенного, заваленного ломью, горящего сплошным огнем места, на котором сутки назад стоял древний русский бор, полный смоляных ароматов, муравьиных куч, грибов, папоротников, травы, белого мха, особенно много росло там костяники — отчего-то это запомнилось, может, потому, что ее кислыми ягодами смачивали спекшееся нутро, иссохший зев, горло, треснутые губы.

С ними, хорошо обученными курсантами, артиллеристами, умеющими за две минуты перевести старое, неповоротливое орудие в боевое положение, связистами, политруками, медсестрами, врачами даже не воевали. Их не удостоили боя. Их просто закопали в землю бомбами, облили керосином, забросали горящим лесом...

С тех пор его, вроде бы невозмутимого человека, охватывало чувство цепящего страха всякий раз, как только появлялись в небе самолеты. Он даже не мог скрывать своего страха. Он метался, прятался, царапал землю, срывая ногти, как тогда, в сосновом бору, в межреберье корней вековой сосны, снесенной накосом бомбою. Никто, конечно, не смеялся, не осуждал Зарубина — на передовой отношение к храбрости, как и к любой слабости, — терпеливое, потому что каждый из фронтовиков может испугаться или проявить храбрость — в зависимости от обстоятельств, от того, насколько он устал, износился. А тогда, в сорок первом, быстро все уставали — от безысходности, от надменности врага, от превосходства его, от неразберихи, от недоедов, недосыпов, от упреков русских людей, остающихся под немцем...

Лишь потом, когда немца обернули назад, когда этот нелепый вояка Одинец сшиб боевой самолет из трофейного пулемета, сам же, в поверженную машину залезши, содрал кожу с сидений — на сапоги, развинтил отверткой какие-то приборы, одарил плексигласом мастеров и те делали наборные ручки к ножикам и мундштуки, Зарубин тоже побывал в том распотрошенном самолете, посидел на ободранном сиденье пилота, впав в ребячество, покачался на пружинах и обрел некоторое душевное равновесие. Во всяком разе умел уже прятать страх, который, однако, терзал его и по сию пору: загудят самолеты — начинает в нем свинчиваться все, сходят гайки с резьбы, под кожей на лице холод захрустит, все раны и царапины на теле стыло обозначатся. «Ну вот, сподобился, дождался, пусть не на улице, как дорогой отец и учитель сулил нам, пусть на небе нашем узрел праздник». Майор не заметил, как уснул.

Вычислитель Карнилаев вел работу на планшете и карте. Над селом же Великие Криницы, почти задевая плоскостями крыши, ходили и ходили штурмовики, пластали, крошили село и высоту Сто. Уходили они с торжественным ревом, ведущий непременно качал крыльями, ободряя мучеников, считай, что смертников, бедующих на плацдарме. В селе Великие Криницы выше и выше взметывало земляную рухлядь — штурмовики угодили бомбами в артиллерийские склады. Тяжелые орудия девятой артбригады ухали непрерывно, по укреплениям высоты Сто работали даже двухсотмиллиметровые гаубицы. Жарко было фон Либиху.

Под гул и грохот орудий на сотрясающейся земле спал майор Зарубин и не знал, что в атаку пошла штурмовая группа Щуся, в помощь ей, отвлекая на себя огонь, двинулась рота бескапустинцев, поднялись остатки полка Сыроватко.

Майора Зарубина потребовали к телефону. Вычислитель нехотя, жалеючи, разбудил своего начальника.

— Ну, ты и наробыв винегрету, Зарубин! — частил по телефону быстро переместившийся со связью вперед полковник Сыроватко, — на вилку чеплять нэма чего. Ты шо мовчишь?

— Я сплю. Имею право...

— Го, во хвокусник!

Зарубин знал, что Славутич — стародавний друг Сыроватко, и страшное известие оттягивал, как мог, чего-чего, а хитрить война все же его научила.

Байковое одеяло приосело от сырости и земли, набросанной взрывами, обозначив под собой трупы Славутича и Мансурова. От реки, вытянувшись по ручью, тащились люди, глядели на буро намокшее одеяло. Впереди, с расстегнутой кобурой, держа картинно пистолет у бедра, шагал лейтенант Боровиков, напуская на лицо решительность. Собрал он по берегу человек до ста. И когда этот разнокалиберный, чумазый, большей частью полураздетый, босой и безоружный люд сгрудился перед блиндажом, майор Зарубин, выпрямляясь, разжал до черноты спекшиеся губы.

— Стыд! Срам! Вы за чьи спины прячетесь? За ихние?! — показал он на одеяло, грязно просевшее на телах убитых. — Там, — показал он на реку, — там, на дне, лежат наши братья. Вы хотите по доброй воле туда? Без боя? Без сопротивления? Тогда за каким чертом ели паек в запасном полку, ехали на фронт, переправлялись сюда?..

Зарубину не хватало воздуха. Шинель, накинутая на плечи, свалилась с него наземь, но он не замечал этого, зато пришедшие с берега бойцы заметили портянку, подsunутую под широкий пояс комсоставских брюк, от крови засохших до левого сапога. И черные губы, и начищенно ярко блестящие глаза, толсто слипшаяся онуча на бойцов действовали пуще всяких слов.

— Сейчас же! Сейчас же! — облизывая губы, сипло продолжал он. — Разобрать оружие, отнятое у противника, собрать обувь,

стащенную с убитых, обуться, перекрыть все выходы в пойму речки. Не давайте атаковать с фланга наши позиции.

Лейтенант Боровиков деликатно набросил шинель на плечи майора.

— Спасибо! — признательно глянул на него Зарубин и отер лицо ладонями. — И я надеюсь, — еще добавил он, — среди вас не найдется тех, кого придется судить трибуналом как дезертиров? — но и то уж наговорил лишка, сил совсем не осталось. — «Однако ночью умру...»

Пришедшие с берега бойцы потупились, глядели в землю. «Но они-то, голодные, всеми брошенные, при чем?» — Майор Зарубин вернулся в блиндаж, попросил затопить печку и сказал себе или дежурным:

— Можно отдохнуть маленько, — затем, обращаясь по-немецки к одному из пленных связистов, добавил: — Вы не солгали. Высота нами взята. При первой же возможности вас переправят на левый берег.

Вальтер опустил голову, скрестив руки на поясице, вышел из блиндажа, хотя ему никто не приказывал держать руки назад. В тесном проходе обернулся, двинул Зигфриду кулаком в скулу и под дулом автомата поковылял на берег реки. Оглянулся лишь раз и увидел, что село Великие Криницы из края в край горит, высота Сто как бы приосела от воронок, ее исковырявших, и выгоревшей земли.

\* \* \* \*

Булдаков принес охалку сучьев, ножом отпластнул оцепину от дверного косяка, и скоро бойко запотрескивала печь. Майор протянул руку к теплу.

— Олеха, Олешенька, подсади меня тоже к пече, а? — попросил Финифатьев.

Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой, сыплющейся стене блиндажа. Финифатьев, часто всхлипывая, отдыхивался.

— Это куда же он, псих-то, пазганул меня?



— В ключицу. Скользом руку ниже плеча распорол, — отозвался Булдаков.

О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсировала верхушка легкого, — не сказал. Зачем пугать человека...

— Кось не задета?

— Вроде нет.

— Ну, тоды нишчо. Была бы кось, мясо на русском крестьянине завсегда нарастет. В тридцатом годе на лесозаготовках эдак же спину суком распорол. Кровишшы! Ратуй кричал, думал, хана. Заросло.

— Ты бы, дед, не балаболил. Хлюпает в тебе, — посоветовал Булдаков.

— Тут, товарищ дорогой, така арифметика — ежели вологодский мужик умолк, шшытай, песенка его спета...

— Тогда валяй!

— Я все хочу спросить у тя, сержант, — заговорил присевший возле печки на корточках Шорохов, незаметно проникший в тесный блиндаж со своим телефоном. — Давно хочу спросить, — многозначительно продолжал он. — Отчего это говорят: вологодский конвой шутить не любит?!

Финифатьев долго не отвечал, вроде бы и не слышал Шорохова. Всем как-то неловко сделалось — очень уж не к месту и не к делу был вопрос Шорохова.

— Битый ты мужик Шорохов, и мудер, а дурак! — печально выдохнул Финифатьев.

— Ты не виляй, не виляй!

— Како вилянье, когда таких, как ты, сторожишь? Мужик наш вологодский, да и всякий мужик, хлебушко и прокорм от веку в земле потом добывает. И не может он терпеть всякую вшивоту, хлеб трудовой крадущую...

— Ага, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был, придурком то ись, — уверенно заключил Шорохов.

— А вы, товарищ майор, где по-немецкому-то? — не желая продолжать разговор с Шороховым, поинтересовался Финифатьев.

«А сержант-то с виду лишь простоват», — перебарывая сонливое томление, отметил Зарубин. Скоро должны на совещание собраться командиры, сил надо набираться, не до беседы, и он коротко ответил сержанту, что старательно учился в школе и в академии.

Сержант вознамерился продолжить беседу, но, заметив, что майор впал в полудрему, окоротил себя. Майор слушал солдатскую болтовню не без любопытства, ожидая, что же все-таки скажет Финифатьев Шорохову, но, будто боясь кого спугнуть, его вполголоса позвали к телефону.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — совали ему в руку телефонную трубку. — Возьмите скорее! Перехват. По-немецки говорят.

Майор лежа прислонил трубку к уху, но, слушая, начал приподниматься, опираясь на руку.

— В селе Великие Криницы, — начал он переводить, — взорван склад, разгромлен гарнизон. Генерал фон Либих убит. Высота Сто взята. Село Великие Криницы обойдено, завтра может быть взято. — Зарубин бережно отдал трубку и, глядя перед собой в земляную стену, произнес горячим ртом: — Было бы... позволил бы...

— А есть, товарищ майор, малость есть! — откликнулся понятливый Булдаков. — Эй, Шорохов, давай раскошеливайся!

Шорохов нехотя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу обер-лейтенанта Болова.

Майор отер горло фляги ладонью, глотнул и ожженным ртом прерывисто вытолкнул:

— Так и быть должно, — облизывая губы, говорил он. — Мы сюда переправлялись врага бить, но не ждатель, когда он нас перебьет. — И что-то повело его на разговор, он добавил еще: — Мы его растреплем в конце-концов...

— Жалко, — протяжно вздохнул Финифатьев.

— Кого жалко? Фон Либиха? — ухмыльнулся Булдаков, сделавший продолговатый глоток из фляги.

— Насерю-ко я на фон Либиха твоево большую кучу! — рассердился Финифатьев. — Мне деревню жалко.

Все примолкли. О деревне как-то никому и в голову не пришло подумать.

«Крепкие вояки немцы, — перестав слушать солдат, чтобы отвлечься от боли, терзающей его, размышлял майор Зарубин. — Но авантюристы все же и, как всякие авантюристы, склонны к хвастовству, следовательно, и к беспечности, надеются на реку. А у нас

заснайство — первая беда. Победы нам даются лавиной крови. Дома еще воюем, а потери уже, небось, пять к одному... Не от чего, не от чего пока нам чваниться. Народ наш трудовой по природе своей скромн, и с достоинством надо служить ему, без гонора. Но и сам народ сделался чересчур речист, многословен, часто и блудословен... — майор вспомнил Славутича, ощутил его рядом, поежился. Отгоняя от себя ощущение холода, путаясь в паутине полусонных мыслей, тянул, плел нить молчаливых рассуждений: — Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная — спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине — во все времена товар этот нарасхват. И никому в голову не приходит, что уже только одна замашка — походя трепать имя родины, употребление не к делу: „Я и Родина!“ — пагубна, от нее оказалось недалеко: „Я и мир“».

Пров Федорович Лахонин, помнится, что-то похвальное сказал однажды о нем и при нем. Смутившись, но без рисовки Зарубин сказал: «Я, Пров, человек обыкновенный. Родился в простой интеллигентной семье, хорошо учился в школе, скорее — прилежно. В военном училище был путним курсантом, но не примерным — мог надерзить начальству. Там вступил в партию, взносы платил аккуратно, работу исполнял добросовестно. Неужели мы дошли до того, что исполнение долга гражданина своей страны, проще сказать — исполнение обязанностей — сделалось уже доблестью?»

И вот тот давний разговор продолжился в полубредовой отстраненности. «Любовь? Ну что любовь? У меня вон Анциферов гаубицу любит не меньше, чем свою невесту. Что ты на это скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит, воевать, значит, убивать, понятие „любовь“ в ее, так сказать, распространенном историческом смысле не совсем логично. Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, я считаю слова их привычной, но отнюдь не невинной ложью. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то — правда. „Нигде столь не врут, как на войне и на охоте“, — гласит русская пословица, и никто-так не искажает понятия любви и правды, как военные. Я не люблю, я жалею людей, — страдают люди, им голодно, устали они — мне их жалко. И

меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет — за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви. Ты вот, давний друг мой, говорил, любишь меня, но ни разу не позвонил, не спросил, как я тут? Знаешь, что я ранен, но внушаешь себе — неопасно, раз не бегу в тыл. Нет в тебе жалости, друг мой генерал, нет, а без нее, извини, не очень-то близко я тебя чувствую, во всяком разе в сердце тебя нет. Спекуляцию же на любви к родине оставь Мусенку — слово Родина ему необходимо, как половая тряпка, — грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша. Я ее зову Мурашкой. И Наталья есть. Пусть они к тебе ушли, все равно есть. Вот их я люблю. Вот они — моя родина и есть. Так как земля наша заселена людьми, нашими матерями, женами, всеми теми, которых любим мы, стало быть, их прежде всего и защищаем. Они и есть имя всеобщее — народ, за ним уж что-то великое, на что и глядеть-то, как на солнце, во все глаза невозможно. А ведь и она, и понятия о ней у всех свои — Родина! Перед переправой маял политбеседами бойцов хлопотливый комиссар и нарвался на бойца, который его спросил: „А мне вот что защищать? — глядит поверх головы Мусенка в пространство костлявый парень с глубоко запавшими глазами, собачьим прикусом рта. — Железную койку в общежитии с угарной печкой в клопаном бараке?“ — „Ну, а детство? Дом? Усадьба?“ — настаивал Мусенок. „И в детстве — Нарым далекий, каркасный спецпереселенческий барак с нарами...“ — „Фамилия твоя какая?“ — вскипел Мусенок. Парень назвался Подкобылкиным или Подковыриным. Мусенок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. Это он, Подкобылкин или Подковырин, никого и ничего не боясь, грохотал вчера на берегу: „Э-эх, мне бы пулемет дэшэка, я бы им врезал!..“ — указывая на левый берег, где среди леса светился экран и красивая артистка Смирнова напевала: „Звать любовь не надо, явится неожиданно...“. На парня со всех сторон зашикали. — „Бойтесь? И здесь бойтесь, — презрительно молвил он. — Да разве страшнее того, что есть, может еще что-то быть? Вас спереду и сзади дерут, а вы подмахиваете... Еще и деток ваших употребят...“

Солдат тот, Подкобылкин или Подковырин, не знал, что рядом в земляной берлоге лежу я, раненый майор Зарубин, и страшусь слов его...»

Пришел полковник Бескапустин, спугнул сон и бред, — слышно, не один пришел, значит, скоро прибудет и комполка Сыроватко. «Буду лежать, не выйду наружу, пока не вытащат», — позволил себе слабодушие майор Зарубин.

— О то ж! О то ж! Сэрцэ мое чуло! — стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватко, которому уже успели рассказать, как и что получилось. — Та на який хер ему цей бляндаж?! Ой, Мыкола, Мыкола! Шо ты наробыв?.. — Зарубин не знал, что еще сказать командиру полка, чем его утешить. — Я до тэбэ приду, я до тэбэ приду...

Подвалившие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего комполка, но он никакого на них внимания не обращал. Среди незнакомых чинов оказался представитель танковой дивизии — складно замысливалась операция: передовые части прошибут переправу, партизаны и десант помогут раздвинуть плацдарм, и, как будет пройдена прибрежная неудобь, можно наводить переправу, пускать в прорыв танки.

Сыроватко пришел с врачом, тощим мужиком, у которого в тике дергались оба глаза и был все время полуоткрыт рот, синий, старушечий. Врач осмотрел рану майора Зарубина при свете огонька печи и фонарика, сменил бинты, больно отодрав присохшие к боку, старые, уже дурно пахнущие лоскутья.

— Вам надо во что бы то ни стало эвакуироваться, — тихо произнес врач, — рана неглубокая и в другом месте могла бы считаться неопасной, но здесь...

— Хорошо, доктор. При первой же возможности... Посмотрите и перевяжите, пожалуйста, сержанта.

Благодарно глянув на майора, Финифатьев охотно отдал себя в руки врача, у которого бинтов было в обрез, из лекарств осталось лишь полфлакончика йода.

Вошел Сыроватко, пощупал перекрытие бляндажа.

— О цэ крэпость!

— Да, и эту немцы вот-вот разнесут, — отводя глаза, произнес Зарубин. — Сегодня им не до того. — И не удержался, рассказал, как подполковник Славутич во что бы то ни стало хотел идти с солдатами в налет.

— А як же ж?! — подвел итог Сыроватко. — Сиятельные охфицеры да генералы наши на тому боци сидять да людьми сорять. Уси заняты дуже. Разрабатывають стратегичны опэрации. Воевать нэма часу.

Врач попросил отпустить его «домой», в полк, — он не столько уж лечил бойцов, сколько обнадеживал их своим присутствием и словами о скорой эвакуации. Сыроватко кивнул. Врач, надевая сумку через голову и поворачивая оттянутый пистолетом ремень на животе, без всякой выразительности и веры в успех поинтересовался:

— Товарищи, нет ли у кого лишних пакетов?

Все начали озираться, спрашивать друг у друга взглядами, лишь Шорохов ковырялся в телефоне, ту же затягивал клеммы. Два пакета он спер у Лешки из кармана, пока тот был сомлелый после потопа, своих два у него было, да еще у немцев несколько штук промыслил и спрятал, тюремной смекалкой дойдя, что пакеты ныне — самая большая ценность и на них он выменяет, когда будет надо, и табак, и хлеб.

— Пора, товарищи! — позвали с улицы. — С левого берега не торопятся. Надо начинать. Обстановка-то...

— Как это начинать? — стариковски-занудливо ворчал полковник Бескапустин. — С чего начнем, тем и кончим. Подождем их сиятельств.

Но «их сиятельств» набралось на правом берегу всего ничего — начальник штаба дивизии, переплывший на отремонтированной лодке Нельки; следом, сообщил он майору Зарубину, отдельно плывет Понайотов, приплавит немного продуктов. Сам же начальник штаба дивизии заметно нервничал на плацдарме, пойма Черевинки показала ему удавочной щелью, тогда как командирам, повылазившим из темных недр плацдарма, из выжженного вдоль и поперек межреберья оврагов, ручей казался райскими кущами. Некоторые командиры успели умыться, попить сладкой ключевой водицы, от которой в пустых животах сделалось еще тоскливей, и телу — холодней.

— Отчего ж костер не разведете? — спросил начальник штаба.

Угнетенное молчание было ему ответом. Он понял, что сморозил глупость, попросил доложить обстановку, по возможности кратко.

Длинно и не получалось, даже у Сыроватко.

— Так плохо? — удивился начальник штаба.

— И совсем не плохо, — возразил ему майор Зарубин. — Одолели реку, расширились, вчера взяли господствующую над местностью высоту.

— Дуриком! — подал голос из темноты командир передовой группы Щусь.

— И совсем не дуриком, а всеми огневыми и иными средствами, имеющимися в нашем распоряжении.

— Дуриком и отдадим, — не сдавался Щусь.

Сыроватко меланхолично поглаживал лысину. Майор Зарубин, отвернувшись, молчал. Снизу от реки тащила группа людей. Зарубин каким-то вторым зрением угадал сперва своего, косолапо ступающего, хитроумного ординарца Утехина, затем и Понайотова с Нелькой.

Понайотов махнул рукой у виска, доложил отчего-то только майору о прибытии. Зарубин на него покосился, ничего ему не ответил, слабо махнул рукой, мол, всех он видит, но остаться тут, на летучке, может лишь Понайотов.

— Товарищ майор, — присаживаясь рядом, вполголоса уронил Понайотов, — мы переправили немного хлеба и медикаментов.

— Шлите людей за продуктами немедленно! — распорядился Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескапустина, который сорвался, — накопилось в тихом, смиренном, даже раболепном командире столько, что он уже не в силах был себя сдерживать, назвал переправу не военной операцией — свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках преуменьшены, если вовсе не замазаны.

— Вижу вот — для вас это новость? — тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося, почти в речку им оттесненного начальника штаба, приплывшего на оперативное совещание в хромовых сапогах, в небрежно и как бы даже форсисто, вроде мушкетерского плаща, наброшенной на плечи плащ-палатке. — У вас там хитрые расчеты, маневры один другого сложнее, грандиозные операции, а тут пропадай! Пропадай, да? — полковник загнал-таки форсистого офицера в речку, опавшим брюхом затолкал его в воду и все еще выпуклой, ломовой грудью напирал на начальника.

Собравшиеся на летучку растерянно помалкивали. Сыроватко уже мокрым платком тер и тер совсем мокрую лысину. Из темноты выступил капитан Щусь, взял и, как дитя, за руку отвел в сторону своего разнервничавшегося командира. Комполка не унимался. Сорвав уздечку с губ, будто колхозная заезженная кляча, Бескапустин рвал упряжь, громил телегу.

— Настолько грандиозные планы, что и про людей забыли! Боеприпасов нет! Продуктов нет! Зато крови много! Ею с первых дней войны супротивника заливаем...

— Авдей Кондратьевич! Авдей Кондратьевич!..

— Да отвяжись ты! Я скажу! Я все скажу! — уже переходя на крик, от которого всем было не по себе, гремел командир полка. — Вот вы на лодке приплыли, на порожней...

— Нет, три ящика гранат, патроны...

— Гранаты! Патроны! А бинты? А хлеб? А табак? Забыли, что здесь есть еще живые люди... Х-художники!

Щусь догадался сунуть в горсть полковника табаку, комполка, изнемогший без курева, начал сразу же черпать табак трубкою с дрожащей ладони. Авиационный представитель зажег ему трубку самодельной фасонистой зажигалкой, полковник, закашлявшись от жадной затяжки, все пытался выговорить:

— Я этого... я этого... я этого так не оставлю! — курнув во всю грудь, мрачно и церемонно поклонился в сторону «своих» офицеров. — Извините, товарищи! — но начальника штаба презрел.

Начальник штаба, опутив хмурое лицо, поставил задачу на завтра: во что бы то ни стало удержать высоту Сто и во все последующие дни всячески проявлять активность, отвлекая на себя внимание и силы противника.

— Обстановка скоро изменится. Резко изменится. Я понимаю — тяжело, все понимаю, но надо потерпеть.

Щусь, оттеснив своего командира полка, опять же откуда-то из потемок заявил, что, если сегодня за ночь не переправят боеприпасов, не пополнят его батальон людьми — высоту не удержать — нечем.

— Мы и без того воюем наполовину трофейным оружием. Что же нам, как ополчению под Москвой — тем бедолагам-академикам и артистам, брать палки, лопаты и снова идти на врага — добывать оружие?..



«Сейчас приезжий чин начнет спрашивать фамилию у этого дерзкого офицера», — но в это время с берега подошли люди с носилками, и, воспользовавшись замешательством, начальник штаба поскорее попрощался со всеми не за руку — за руку поостерегся, командир полка Бескапустин не подаст ему руку.

— Хоть плащ-палатку-то оставьте — у нас раненых нечем накрывать, — пробурчали из темноты, — и табак.

Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начальник штаба заторопился выполнить просьбу, догадался, наконец, сдернул плащ-палатку через голову, свернул ее на берегу, сверху положил початую пачку папирос и, ощупывая себя, шаря по карманам, расстроено твердил:

— Я доложу... Я обо всем, товарищи, доложу...

Дождавшись, когда все разойдутся, Понайотов, не сдержавшись, приобнял майора Зарубина, бережно прижал к себе и, услышав, что лицо раненого колется, изумился до беспредельности: «Ну, значит, тут действительно...»

Два рюкзака до завязок были набиты хлебом, еще подсумок махры и полная противогазная сумка сахарного песка. Всем, кто находился в блиндаже, досталось по куску хлеба, посыпанного сахарным песком.

— И мне пожалуйста... — всеми забытый при дележке, напомнил о себе майор Зарубин.

Ему поспешно отхватили ломоть. Он отделил себе пряничек от ломтя, посыпал песочком, тщательно изжевал, слизнул сахаринки с ладони и сказал не то себе, не то Понайотову:

— Ничего, ничего, — и слабо улыбнулся. — Утону — хлеб напрасно пропадет, — и, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил: — Я же скоро покушаю.

Рюкзак с хлебом, котелок сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон Щуся. Поделались харчем и с ротой Боровикова, так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшее правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара назначено было отделить раненым в полк Сыроватко. Бескапустинцам нечего уже отделять, однако Понайотов сообщил, что две лодки, привезенные аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда.

Бунтарь Бескапустин ушел к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничижительно на хитроумного Сыроватко, ни в чем его не поддержавшего. Майор Зарубин позвонил полковнику. Бескапустин пожелал ему счастливо добраться до спокойного берега.

— Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина, — сказал с сожалением Зарубин.

— Да на кой здесь нужен этот художник? Вонять только. Дак тут без него вонько. А ты поправляйся скорее, Александр Васильич, поправляйся, дорогой. Бог даст, еще повоюем вместе. Берлин далече. — Подумал, помялся: — Слушай, дорогой, хоть ты и ранен, хоть изнемог, будь добр, поручи кому-нибудь из своих надежных товарищей найти мои тылы, и пусть набьют они там морды, от моего имени, командиру хозроты. Художники! С глаз долой, из сердца вон! Даже не напоминают о себе, попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда. У меня раненные мрут... — голос полковника упал в бессилии, — я уж сам пустую трубку всю изжевал... табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожопых художников на совещании отсыпал.

— Хорошо, Авдей Кондратьевич. Я постараюсь. К Сыроватко, кажется, переправили медикаменты...

— У хохла да у жида одалживаться — худая примета, — холодно откликнулся Бескапустин.

Он откровенно недолюбливал лукавого соседа, в глаза и за глаза презрительно обзывал его художником.

— А я — таежник, суеверный человек... Прощай, майор!

— Нет, лучше до свидания, товарищ полковник! — почему-то грустно сказал майор и осторожно подал трубку Шестакову. — Сейчас же! — приказал он. — Сейчас же отправить немножко табаку и хлеба Бескапустину. Но не с ним, — ткнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. — Уворует! — майор повременил и обратился к Понайотову: — Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Карнилаев на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту, и с вечера несколько облегчилась. Надолго ли — не знаю. Думаю, наутре немцы обязательно будут отбивать высоту. — Он опять сделал паузу, отдышался. — Шестаков, Алексей, проводи меня. Нет сил.

— А мы вас на носилочки, на носилочки, — засуетился вокруг него ординарец Утехин, и майор, морщась, подумал: как, отчего, почему этот удалец остался на том берегу? Почему он не с ним?

— Да, пожалуй, — согласился Зарубин, — до берега мне уже не дойти...

К лодке несли майора вчетвером: санинструктор, ординарец, Лешка и кто-то из подвернувшихся солдат.

— Несите, несите! — отступив в сторону, крикнула из темноты Нелька, уединившаяся с капитаном Щусем. Она погладила лицо комбата, привалилась к его плечу: — Одни мослы остались...

— Зато паразиты мослы не изгрызут. Ты вот что, забери этого дурака Яшкина. Загибается он. Пока еда, сладкое, фрукты были — ничего, а после переправы пожелтел, согнулся в три погибели.

— Следующим заплывом, если не потонем. Ты подождешь?

— Не могу. Надо к утру готовиться. — Вспомнилось, как пели перед отправкой на фронт солдаты в бердском полку: «С рассветом глас раздастся мой, на славу иль на смерть зовущий».

Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом.

— Шибко-то не ластись — вшей на мне...

— Стряхнем, разгоним...

— Я угоню Яшкина на берег. Дам связиста и угоню.

— Алеш! Алексей Донатович! Ты какой-то?.. Будто не в себе.

— Да все мы тут не в себе.

— Алеш! Алексей Донатович! Живи, пожалуйста, живи, а! Слышишь!..

— Лан. Постараюсь. Не сердись.

— Да не сержусь я. Давно уж ни на кого не сержусь, на Файку рыкну иногда, но она, как овечка, безответна.

Тем временем у лодки возникла схватка местного значения. Когда носилки с майором поставили в лодку, санинструктор быстренько вспрыгнул на корму лодки, цепко схватился за весло, ординарец Утехин суетился вокруг носилок, елозил коленями в мокре, что-то подтыкал под майора, поправлял на нем. Подле лодки толпились, лежали из нор повылазившие раненые, бинты их, тускло белея во тьме отраженными пятнами, колыхались вокруг лодки.

— Это-то еще что такое? — приподнялся майор, отстраняя от себя ординарца. — Встречать, сопровождать... Оставайтесь здесь! И вы тоже, — обернулся он к санинструктору, — оставайтесь выполнять свои обязанности. Не забывайте свою сумку!

— У меня есть свое начальство. Оно мной распоряжается!

— Экая персона! — фыркнула подошедшая к лодке Нелька. — А ну выметайся к... — матерщинница Нелька сдержалась из-за майора. — Начальство у него, у говнюка, отдельное! А здесь я — главный генерал! А ну, марш из лодки, харя бесстыжая!

Ординарец Утехин все лип, прилаживался к майору, бормотал, что привык к нему, как к отцу родному, ведь всегда и везде с ним, да, кроме того, никто майору так не угодит, не услужит, только он доподлинно знает все его привычки и по праву должен плавить его на ту сторону реки, чтобы в целостности-сохранности доставить, Лешка уже привык к этой, всех пугающей деликатности майора и боялся, что холуй одолеет его, уговорит. Среди полураздетых, кое-как перевязанных тряпками раненых Лешка быстро нашел кормового.

— Чалдон-сибиряк тут есть? — только крикнул Лешка, как из тьмы возник раненый, показывая руки, — целые, мол.

Лешка сунул весло в эти охотно протянутые руки. Тяжело виснувших раненых все волокли и волокли.

— Ут-тонем! Грузно! — залепетал, контуженно дергаясь, молодой солдатишко, уже попавший в лодку.

— Ничего, ничего. Сестрица, можно без носилок?..

Майор Зарубин все понял, сам скатился с носилок на мокрое днище лодки.

— Грести? Кто может грести? Только без обмана. Нужно второго гребца, второго на лопашни.

— Сможем, сможем! Хоть через силу, хоть как, — посыпали раненые, оттирая друг друга от лодки.

Почти не державшийся на ногах мужик с вятским частым говорком уцепился за борт лодки.

— 3-зубами, хоть зубами!..

— Зубами тут не надо. Надо руками, родимый.

— Отталкивайте! Доплывем как-нибудь. Шестаков! — выкрикнул из лодки майор. — Давай!

Лешка забрел в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал его руку в своей. Испытывая братское чувство, которого он стеснялся, майор сказал совсем не то, что хотел сказать:

— Звездами героев я не распоряжаюсь, но «Слава» тебе и Мансурову...

— Да вы что, товарищ майор! Об этом ли сейчас? До свидания, товарищ майор! Выздоровливайте скорее, товарищ майор. — Лешка навалился на скользкий обнос лодки, с трудом оттолкнул ее и какое-то время стоял в мелководье с протянутыми руками, ровно бы удерживая лодку или надеясь, что она вернется к нему.

Раненые гребли сначала суетливо, вперебой. Мужик, что сыпал вятским говорком, стал на колени перед гребцами на лопашках и начал рывками толкать весла, помогать им — дело пошло согласованней, лодка, уменьшаясь, удалялась по сталисто отблескивающей в темноте реке, оставляя за собой раздваивающийся след и круглые воронки от весел, похожие на след свежекованой лошади.

— Эх, товарищ майор, товарищ майор, — сыро хлюпал ртом ординарец майора Утехин.

Лешка удовлетворенно закинул за плечо ремень автомата, высморкался и пошел от берега. Следом слышались торопливые, на бег переходящие, шаги.

— Ну, че? Легче тебе стало? Легче?

«Легче!» — хотел отрезать Лешка, но сдержался и, не оборачиваясь, пошлепал по пойме Черевинки, которая простреливалась вдоль, поперек и наискось. Пули посвистывали в кустах, взбивали песок.

«Потревожили немцев, — отметил Лешка, — не спят. Или спят не так крепко, как мы». Ординарец Утехин шарахался во тьме, спотыкался, падал в подмоины, приседал под пулями. «Ничего, повоюй, потерпи, поклоняйся пулям. Изварлыжился, мордован», — испытывая удовлетворение, злорадствовал Лешка.

— Тут че, все время так?

— Днем будет хуже.

— Пропа-ал, пропа-а-а-ал! И че меня сунуло в лодку?

«А чем ты лучше нас? Чем? Почему мы тут должны пропадать, а ты жить? Почему?» — злился Лешка и сказал громко:

— Запомни! Если вобьешь себе это в голову, в самом деле пропадешь...

Когда он доложил начальнику штаба полка, что в их распоряжение прибыл еще один боец, мерекающий в связи, Понайотов обрадовался:

— Кстати, кстати! А то я гляжу, здесь работать некому, зато на другой стороне дружно идут дела, контора пишет, повар кашу выдает.

— А Бикбулатов водяру, — врезался в разговор Шорохов.

— Да че я мерекаю в той связи? Че? Подменял дежурных и только.

— В советской армии есть правило: «Не слушаешься — накажем! Не умеешь — научим?» Забыл?

— Ниче я не забыл.

— А раз так, садись к телефону, на утре сменим.

Немцы упрямо стреляли и освещали острова и берег, оттого от устья реки Черевинки тихая лодка шла хотя и опасно, но скоро, без задержек. Вот уж скрыло ее ночной мглой. Лодка, все ходче журча, вспахивала носом воду, правясь к тем, затаенным, мирно спящим лесам, вершины которых размыто, смазанно прочеркивались на глухом осеннем небе. К правому берегу опасно пристало еще две лодки. Из-под темного навеса, опережая друг дружку, к ним толпою бросились раненые, которые не отходили от воды, нахохленными птицами сидели вдоль уреза, втихомолку боролись возле лодок, стараясь кучею влезть в них, шепотом ругались, кого-то больно задели, раненый вскрикнул, и тут же во тьме зажегся, затрепетал вражеский пулемет.

— Тих-ха, тих-ха! — призвал кто-то, уже устроившийся в лодке. — Жить надоело?

Вернувшись в блиндаж, Лешка посоветовал Финифатьеву идти на берег и попытать счастья. Сержант долго кряхтел, собираясь, еще дольше прощался со всеми, но под утро вернулся с берега, удрученно присел на кукурки возле печки, которую на прощанье подживил Булдаков.

— Там такое сраженье идет, не приведи Господи! — ознобно втягивая в себя воздух, ответил он на немой вопрос. — Вот ежели б с немцами бились так же, дак Гитлера давно бы уж ухряпали. — И не возмущаясь, все так же удрученно поведал: — Девчонка эта,

Нелька, — дока! Углядела маньдюка одного — завязал голову бинтами, кровью измазался и тоже в лодку норовит. Она повязку-то сорвала и как гаркнет: «Убейте его!»

— Ну и...

— Забили палками, каменьями, как крысу, растоптали на берегу... — И ровно бы утешая слушателей или себя, длинно, со стоном выдохнул: — И хорошо, что в ту лодку я не попал, — опрокинулась она от перегрузу. Уж помирать дак на суше.

Булдаков подбрисил в печку хвороста. Приоткрытую дверцу заскребло огоньком, выхватило согбенную фигуру сержанта.

— Деваха та, не знай, утонула али нет. Сходили бы, робяты, а. Обогрецца бы ей, коли жива, — стоко она добра людям сделала.

— Хлопца своего похороните. А Мыколу я забэру, — сказал спустившийся к ручью Сыроватко и, отступив в сторону от своих бойцов, какое-то время глядел, как на одеяле тащили они в ночь подполковника Славутича, тяжело проседая, покойник высовывал ноги из узла. Сыроватко необходимо было выговориться, излить душу.

— Похороним мы его на крутом берегу, як батько его. Волны шумлять, пароходы слышать. Пионэры мимо пойдут, квиток ему на могылу кинуть... — Сыроватко снова закачался. — Ах, Мыкола, Мыкола!.. Зачем ты ране мэни загынув?

Пронзенные чужим горем, все кругом притихли. Сыроватко начал рассказывать Понайотову, но скорее вспоминать для себя, как учились они с Мыколой Славутичем в военном училище и как, на удивление всем, совершенно разные — даже лысины, и те были у них непохожие, — подружились навсегда. Только уж после боев под Москвой, когда Сыроватко лежал раненый в госпитале, Славутича забрали в штаб дивизии. Сыроватко как в воду глядел, думая, что без него друг его любезный обязательно натворит чего-нибудь.

— Дуже был Мыкола до людей железный, до сэбэ стальной. А пид тым железом така добра душа. Маты у його из дворянок происходила, больна, капрызна. Нэ жэнывсь из-за нее... — И другим, уже несколько взбодренным тоном, усмешливо продолжал: — В училище за мэне сочинение пысав и тактику сдавав одному близорукому преподавателю. Мы ж обы лыси, тики вин лысив со лба — от ума, а я, как блядун, — с потылицы. «Сашко! — говорив он, — цэ остатный раз! Усе! Ты охвицером хочешь стать? О чине мечтаешь?»

— «Який хохол, — балакаю я ему, — нэ мечтае о чине?» — и потыхэхэньку, полягэхэньку объеду его. Я ж с киевского Подолу, а хохол с того Подолу трех евреев стоить!

По блиндажу покотился легкий, деликатный смешок.

— Майор дэ вывчил нэмэцький? Хлопцы балакали, шо за нэмцами, як по кныжке садыв.

— В школе и в военном училище. — Зевая, но стесняясь лечь, слушая командира полка, ответил Понайотов.

— Балакай! — не поверил Сыроватко. — Шо в нашей школе вывчишь? В военном училище и зовсим наука проста: шагом арш, беги, коли, смирно, слухай сюда.

— Он рано женился, вот почему и было у него время заниматься языком.

— А-а, тоди ясно. Бабы — первый враг науке. То ж мэни Мыкола русскому учил, учил, та и отчепывсь. «Сашко! — казав вин, — ты русский не выучив тики за то, шо дуже до жинок ходыв».

Может быть, Сыроватко еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Понайотов попросил узнать, в чем дело, что там такое?

— Пленные дерутся, — доложил Лешка. — Старший младшего душить принялся.

— Вот еще беда! — с досадой произнес вычислитель Карнилаев. — Пленных не знаем, куда девать? Зачем их брали?

— Уничтожить их к чертовой матери! Расстрелять, как собак! — зло, на чистейшем русском языке выпалил Сыроватко.

Понайотов поежился. Попав на родимую землю, увидев, чего понатворили здесь оккупанты, украинцы, мирные эти хохлы, начали сатанеть.

— Нельзя нам, — сказал Понайотов. — Нельзя нам бесчинствовать так же, как они бесчинствуют. Мы не убийцы. К тому же, видел я, один из пленных совсем мальчишка. Дурачок. Грех убивать глупого...

«О то ж зануда ще одна, другий майор Зарубин, — поморщился Сыроватко. — Как с ним и люди ладят?»

— Ну и цацкайся с теми хрицами, колы захапыв. Мэни шо? — и попросил уточнить на карте несколько изменившуюся конфигурацию передовой линии.



Ушел Сыроватко наконец-то. Понайотов приказал пленных свести на берег, раненым отправляться туда же — может, до утра успеют переправить, здесь утром начнется стрельба.

За Черевинкой постукивали оземь лопаты, тихо переговаривались бойцы, копая могилу. Работники, изнуренные боями, решали: одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать — для всех убитых, собранных по речке; посоветовались маленько и порешили: пусть немцы роют ямы под немцев, русские — под русских.

Набрав команду из войска лейтенанта Боровикова, Шестаков повел ее к желобу, на окраину деревни — попытаться унести трупы товарищей. Лешке удалось обнаружить во тьме ключ. Трупы никто не убрал, они глубже влипли в грязь, начали вращаться в землю. Выковыряли убитых из земли, проделали обмотки под мышки и, впрягшись, волокли их вниз по речке. Лешка волок Васконяна, тот в пути все за что-то цеплялся, обувь с его ног снялась, шинель осталась в грязи. К братской могиле Васконян и его товарищи прибыли почти нагишом. Да не все ли им равно? Свалили убитых в яму, прикрыли головы полоской из брезента, постояли, отдыхиваясь. «Ну-к, че? Давайте закапывать», — предложил кто-то из бойцов. «Как? Так вот сразу?» — встрепенулся лейтенант Боровиков. «Дак че, речь говорить? Говори, если хочешь». Боровиков смутился, отошел. Закапывали не торопясь, но справились с делом скоро — песок, смешанный с синей глиной, — податливая работа. «Был бы Коля Рындин, хоть молитву бы почитал, — вздохнул Шестаков, — а так че? Жил Васконян — и нету Васконяна. Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты...»

Вспомнилось Осипово, мать Васконяна, ее прощальный взгляд и слова о том, чтоб они, его товарищи, поберегли бы сына. Да как убережешь-то здесь? Вон капитан Щусь изо всех сил и возможностей берег и Колю Рындина, и Васконяна, сейчас вот Гришу Хохлова пытается уберечь, за реку с собой не взял — рана у того не закрывается, свищ водой намочится — изгниет человек заживо. «Осиповны, Осиповны! Что стало с вами? Куда вас по свету

развеяло?» Сделалось холодно спине, дрожью пробирало все тело. Надо переодеться. Когда он полумертвый выбрался на берег и проблевался — месяц, неделю назад это было? Нет, вчера, а кажется, век прошел. Но нутро, будто жестяное, все еще дребезжит... Он переделся в сухие штаны и гимнастерку, снятую с убитого и кем-то ему закинутую в норку, скорей всего, опять же Финифатьевым. Хорошо, что белье сухое сохранилось, а то пропадай. Лоскуток брезента да мешок подстелил под себя, но все равно колотило, взбулындывало солдатика так, что земля сверху сыпалась. Зато вошь умолкла и надо засыпать скорее, пока она не сбилась в комок на теплом месте, не прильнула к телу. Вошь на плацдарме малоподвижная, белая, капля крови, ею насосанная, просвечивалась в ней насквозь. Та, чернозадая, верткая, про которую Шорохов говорил, что ежели на нее юбку надеть, то и драть ее можно, куда-то исчезла. Наверно, эта оккупантов, белым облаком опустившаяся на плацдарм, прогнала иль заела ту, веселую, хрястко под ногтями щелкающую скотинку.

Голодная слабость, полусон или короткое забытье, затем снова в глазах, будто спичечная головка, торчит осенняя звезда. Лешка лежал возле свежего холма на спине, смотрел в небо, по-осеннему невыразительное, льдистое. Серую его и холодную глухоту, далеко-далеко пересыпаясь, тревожили звезды или пули с ночных самолетов, коротко черкнет по небу светящейся искрой и беззвучно погаснет. Августовский звездопад давно прошел, зерна звезд, как и зерна хлебные с пашен, ссыпаны в закрома небесные и в лари да сусеки деревянные, а это в заполье, на краю неба какие-то обсевки иль такие же, что под Осиповом, заброшенные колосья роняют тощее, редкое семя. Вспомнилось поверье, будто каждая звезда отмечает отлетающую душу — и он, в который уже раз, угрюмо отметил, что человеческие поверья и приметы создавались в мире для мира, и потому здесь, на войне, совсем они не совпадают и не годятся, ведь если б каждая звезда отмечала души убиенных только за последний месяц, только на ближнем озоре, то небо над головою опустошилось бы, и было бы это уже не небо, на его месте темнела б мертвая, беспросветная немота.

С реки наплывал холод, низко опустилось небо, начинал высеиваться пыльный дождик, едва слышно застрекотало по опавшей

листве, зачиркало по сухой траве, погасило искорки на небе. Предчувствие белого снега чудилось в невесть когда и откуда пришедшем дожде. Лешка не мог согреться и в норке, полез в блиндаж, забитый народом до потолка.

— Кто там? — спросил из темноты Булдаков. — Ты, тезка? Разбей ящик, который у наблюдателей, в печку надо подбросить.

— Я, однако, заболел, Леха, — принесся дровец и протискиваясь с ними к печке, наступая на людей, произнес Лешка.

— Кабы, — отозвался Булдаков, принимая дрова и хозяйничая возле печки. — Тут не болеют, тезка, тут умирают... У меня вон ноги свело — уснуть не могу.

— Робяты! Откуль это покойником-то прет, аж до тошноты, — втягивая носом воздух, спросил из темноты Финифатьев.

— Хоронили мы... в грязе они навалялись — уже запахла.

— А-а, ну Царствие имя Небесное, Царствие Небесное. Как собак, без креста, без поминанья побросали в яму. — Финифатьев всхлипнул, видимо, думая о себе и своей дальнейшей участи.

Стояки, двери в блиндаж, стол, полка — все пошло в печку — скоро уходить из этого рая. Но все же пригрело, распарило. Набившиеся по крышу изнуренные люди, тесно прильнув друг к дружке, слепились, забывшись в каменном сне. Лешку кто-то больно прижал за печкой к железному ящику, на котором еще недавно сиживал и подшучивал над своим связистом обер-лейтенант Болов, ныне маялся, сидя на нем, без сна, топил печку русский боец Булдаков, подгребши ближе к печке тезку своего и давнего товарища по бердскому полку, от которого валил пар, пахнувший мертвечиной, и пикало у него в носу или в горле от простудного, непролазного дыхания.

«Эх, тезка, тезка, и в самом деле заболеть бы тебе — я бы тебя и деда в лодку к Нельке завалил — ты ж сибиряк, в лодке умеешь, я б и тебя, и деда спас... я бы и тебя, и деда... тебя и деда...»

Печка прогорела. Булдаков уснул. И все наутре уснули, только все шуршал и шуршал дождь бережно, миротворно.

На рассвете Лешка сменил Шорохова у телефона. Вся одежонка на нем высохла возле печки, но знобило его и воздух в нос шел, хотя и загустело, с соплями, однако в дырки шел, не застревал. Севером

рожденный и закаленный, ободренный сном, проверив связь, Лешка отстраненно думал о себе, плавно переходя в мыслях к дому.

«У нас Обь уже стала небось. Октябрь в середине. Пора и здесь снегу быть. Мы тут переколеем. А что Ашота закопали... Может, так оно и лучше. Отмаялся. Надо будет матери Ашота письмо написать. Если отсюда вырвемся, напишу большое письмо».

С левого берега вызвали «реку» — позывная эта как-то сама собой заменила прежнюю, и суждено ей было сохраниться до конца войны.

Сема Прахов, заступив на дежурство, делал проверку телефонных точек. Лешка ответил: «Есть проверка», — и отпустил клапан трубки, слушая то и дело возникающие на совершенно перегруженной линии разговоры, которые, впрочем, не мешали ему ни дремать, ни думать. Соломенчиха явилась и опять насчет звезды с могилы партизана Корнея хлопочет. «Бабушка, меня дома нету. Я на войне. Звезду сделать дяде Корнею я никак не могу. Вон ребят закопали вовсе без звезды и креста, черенок ломаный от лопаты вбили и все. Оставь ты меня, не мешай дежурить...» Соломенчиха не отступала. «Хох! — сплонула она на пол, — дежурит?! Спит возле военного телефона!..» — и голосом Семы Прахова заполошно позвала:

— Река! Река! Река! Фу-фу-фу! — дула Соломенчиха в трубку. — Река!

Лешка сделал глубокий вдох, посмотрел на пол, где только что сидела возле потухшей печки, ноги колесом, Соломенчиха, строго произнес:

— Сема! Ночью надо вызывать по-старому, новой позывной не разбудишь.

— Хорошо, хорошо! — обрадованно вскричал Сема.

Лешка даже представил, как он обеими руками прихватил трубку, согласно кивал головой.

— А я уж думал...

— Боров на свинье думает, — говаривал мой покойный отец.

В полуразобранном, но все еще погребом пахнущем блиндаже было знобко. Всхрапывал уползший на нары к Финифатьеву Булдаков, рядом с ним украдкой постанывал Финифатьев, скулил беспокойно ординарец майора Утехин. Лешка зевнул и порешил, что, если он, этот человек, и во сне будет бояться — его непременно убьют. Сменить

Лешку на телефоне должен Шорохов — так уж повелось на плацдарме, что у двух телефонов дежурит один телефонист. Шорохов забился в глубь нар, ближе к лазу, который вел наверх, где стояла немецкая стереотруба. Совершенно произвольно, мимоходом, не задерживаясь вроде бы вниманием ни на чем, этот человек оберегал себя, устраивал свою безопасность, и спал он сном зверя, крепко вроде бы спал, но при этом отчетливо слышал приближившуюся явь. Жил ровно, без напряжения, ровно спал. Но, на секунду воспрянув от сна, рычал: «А-а-а, в рот!..» — и отпихивал от себя Карнилаева, вычислителя. «Ат, фрай-ер, к бабе своей липнуть привык! — рычал Шорохов, утягивал голову, руки в шинеленку, но ласковый, нежный Карнилаев полз и полз к живому, теплomu человеку, что-то мыча, чмокая губами. — Ты получишь в рыло! — взлаял Шорохов. — Нашел шмару, жмет, лапает, того и гляди засадит!»

Понайотов, привыкший жить в удобствах, не спал, стараясь сохранять тепло, лежал не двигаясь, слушал, как зуммерят и переговариваются сонными голосами телефонисты, чувствовал, что Шестаков, изнуренный переправой, связистской работой, перетаскиванием и похоронами товарищей, изо всех сил борется со сном, хотел, чтоб он скорее дождался пересменки — во взводе управления отмечали этого смуглого паренька с узким разрезом орехово-лаковых глаз, с наметившимися реденькими усами, послушного, исполнительного, но характера строптивного.

Наступил час той расслабляющей усталости, отъединенности от мира и войны, когда все человеческое в человеке распускается, будто в цветке — до последнего лепестка. Час, когда действует разведка и просыпаются повара, моют кухню, наливают воду, делают закладку крупы, картофеля — для варева. Взлетели ракеты одна за другой. «Наша разведка у немцев шарится», — порешил Лешка. Отсветы ракет достигли почти уже разобранного блиндажа. Вот коротким, электросварочным замыканием мелькнуло, замерцало, высветило в кучу свалившихся людей, на мгновение вырвало разложье речки, пологие мысы на ее слиянии с рекой. Еще недавно были они круты, угласты — срубил взрывами мысы, стоптали их, спустили обувью солдаты. Стараясь уберечь свое тепло, Лешка засунул руки в рукава. Печку топить было нечем, да и выходить под дождь, как бы

растворившийся в воздухе, кисельно зависший над землей, было выше сил.

Погасла ракета, после нее еще плотнее накрыло теменью все вокруг. Лишь в районе высоты Сто, у Щуся, вдруг испуганно залился дворовой собачонкой пулемет, ему откликнулось несколько пулеметов, — и малого отсвета ракет, пробивающегося под навес и в проем, где недавно еще стояли косяки и двери, хватило, чтобы заметить, что вычислитель Карнилаев не спит. Сполз к погасшей печке, прислонился спиной к земляной стене, смотрит перед собой круглыми очками с ломаной-переломаной серебряной оправой. Жутко от его взгляда.

Пулеметы в районе высоты Сто унялись, зато потревожились Великие Криницы. Стрельба там поднялась. «Хорошо хоть, что успели покойных унести», — подумал Лешка.

— Ты че? — разжал губы Лешка. — Че не спишь, Карнилаев?

Вычислитель не отзывался и не шевелился. Весь взвод управления артполка знал, что Карнилаеву изменила жена, спуталась с военпредом на заводе. Карнилаеву сочувствовали, предлагали не падать духом, дождавшись конца войны, вернуться домой, припрятав трофейный пистолет, порешить любовников на глазах трудящихся автозавода. Можно быть совершенно уверенным — утверждали вояки — ему ничего не будет за такую священную месть. Но были и те, что презирали Карнилаева, прежде всего Шорохов: «Из-за бабы, сучки, страдать! Вот она, гнилопулая интеллигенция, чего делат!»

Парни-юноши, многие из которых еще даже и не целовались с девчонками, — решительны и непреклонны в своем мужском суде! Они просто воспринимают человеческие взаимоотношения: прав — виноват, начальник — подчиненный, счастье — несчастье...

В общем-то в простоте этой и есть, видимо, суть жизни, остальное домислы, полутона, плутовство, которыми так ловко люди научились перетолковывать и заменять вечные истины: «Не укради, не пожелай жены ближнего своего...»

«Замечал ли он, Карнилаев, за бабой своей?»

Она еще на втором курсе политеха влюбилась в преподавателя института и забеременела от него. Был студенческий скандал. Борцы за идейную чистоту своих рядов преподавателя согнали с работы. Затем был студент-старшекурсник, инженер-конструктор автозавода,

какой-то хохлатый тенорок из оперы и молодой, но уже лысеющий поэт, называвший себя «ииком».<sup>[2]</sup>

Солдатики, конечно же, представляли изменщицу неотразимой красоткой, но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом, опереточным, даже скорей птичьим, обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Карнилаев. Женщина эта твердо знала старую истину: мужчине надо постоянно твердить, что он хороший, умный, что лучше него в ее жизни никого еще не было...

Круглолиценькое существо с недоуменно оттопыренными губками, в кудряшках, небрежно раскудахтавшись, с прирожденными способностями к наукам, болтающее по-французски, впрочем, с ужасным произношением, она еще на первом курсе закрутила Карнилаеву мозги своим романтически-беззащитным видом, но держала его про запас. Когда наступил крах ее личной жизни, она приползла к бедному, голоштанному студенту, подающему большие надежды. Недоучившаяся, с поврежденным здоровьем. Мать с отцом наотрез отказались принять в дом эту, довольно известную в автозаводском районе, особу. И тогда он, очкарик, послушный сын, примерный ученик, саданул дверью родного дома, заявив, что любовь превыше всего.

И вот, спустя всего лишь четыре месяца после того, как он со скандалом и шумом снялся с брони, отбыл на войну, письмо от родителей, сначала торжествующе-злое, затем с мольбой, чтобы сын не воспринял весть о жене как катастрофу, не впал бы в отчаяние. «Этого следовало ожидать!» — такими словами заканчивалось письмо и знаком восклицания.

Банальная история, мелконькая-мелконькая драмочка по сравнению с тем, что происходило на фронте, что успел повидать и пережить Карнилаев. Зачем же восклицательный знак ставить? Надо посоветовать родителям прочесть стих Константина Симонова о современной женщине и попросить их не забывать, что Бог велел всех прощать и прежде всего заблудшую женщину. Он расскажет родителям про то, как в окопах стираются грани между добром и злом. Зло делается большое-большое — аж до горизонта, добра же совсем-совсем маленько, зеленая поляночка среди выжженного леса — но, чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь, ой, как беречь — с нее начнется возрождение всей тайги. Карнилаев умиленно всхлипнул,

перешагивая через спящих, вышагнул из-под навеса, долго протирая очки, незряче уставившись за речку Черевинку.

— О, русская земля, ты уже за холмами, — водрузив очки и разглядев дальний, дни и ночи не гаснущий пожар, сказал он.

— Эй ты, поэт, хворостину принеси, — шумнул на него Шорохов, выползший из тьмы менять телефониста.

— Нету. Все сожгли.

— Наломай.

Часовой в отдалении отчетливо сказал:

— Стой! Кто идет?

Оказалось, из батальона Щуся командир роты Яшкин и его сопровождающий боец медленно спускаются к речке, ищут фельдшерицу Нельку. Часовой объяснил им, как идти дальше.

— Тут совсем недалеко, — заключил он. — Не отпускайтесь от ручья.

Взяв автомат наизготовку, — самый глухой час прошел — бойся всякого куста, часовой помог Карнилаеву наломать чащи — возле блиндажа все уже было выломано и сожжено.

Шорохов ворчал — чаща сырая, матюгнул еще раз — для порядка — очкарика Карнилаева. Тот был к ругани привычен. На грязном, заплеванном полу, за печкой, натянув воротник шинели на ухо, успокоился очкарик. Переправлялся он позже — берегут ценный кадр, усмехнулся Шорохов, — в шинели потеплее все же, чем в телогрейке до пупа. Печка не разгоралась. Еще раз обматерившийся Шорохов произвел проверку — «Попробуй усни, падла!» — сказал заречному телефонисту и, прислонившись спиной к никого и ничего не греющей земляной стене, отдался отлаженно-чуткой дреме связиста, привыкшего полуспать, полузамерзать, полубдеть, полуслышать, полужить. «Может, пороху натрясти из патронов и все же зажечь хворост, — вяло размышлял Шорохов, — да побудишь всех шумом. Ну его! Бывало и студенее!»

Шорохов чувствовал себя на войне хорошо, ему все время казалось, что вышел он на дело и то лихое рисковое дело затянулось. Не отечественная тюрьма здесь, не советский лагерь, хоть частью себя и своего времени тут можно распорядиться с пользой для себя, существовать и даже быть независимым хотя бы от окружающей тебя



хевры. Не позволять только себе расслабляться, лезть на рожон, не писать против ветра, стало быть, не переть против начальства, — лица от соли не оближешь, сколько его тут, на фронте, особо подле фронта, начальства-то. А в остальном — живи — не тужи, не давай себе на ногу топор ронять, не соглашайся раньше времени пропасть — вот и вся наука. А ему пропадать нельзя. Он посулился выжить и достать того чубатенького, галифастенького, ласковенького полковника, что не за хер осудил его в двадцать первом полку, считай что на смерть. Много раз, многие мордороты судили Шорохова, за многие провинности, за многие дела. И сроку набрал он много. И фамилия Зеленцов — была у него не первая, да и Шорохов — не последняя. Никогда у него не возникало желания подняться против темной силы, его сломавшей, корень его надрубившей, но вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, соединил в себе все лютое зло, с детства на Шорохова навалившееся, и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотной змее, седенькую головку — не будет середь людей на земле спокойствия и порядка, по Коле Рындину, — милосердия. Блажной мужик — Коля Рындин, но рек Божье, не то, что эти попки-комиссары: борьба, борьба, борьба... С кем? За что? За кого это они — сладкогласые — борются-то призывают и заставляют? Для них! Во благо их! Поищите дураков — на Руси их завсегда и на всех хватало.

На родине меж каменьев, на супесных полосках росло жито — колосок от колоска не слышать голоска, маялась низкорослая, туманами измыленная картошка, едва зацветя, роняла плети, все, что по строгому кремлевскому указу могло походить на кулака, давно уже раскулачено, разорено, выгнано из села Студенец в болота. Жили в этом селе от веку не скотом и хлебом, рекой и рыбой жили. Кулачить некого, описывать нечего — бедняк на бедняке, голь голью погоняет. «Мое дело маленькое. Мне чтоб план по району выполнялся. Думайте, думайте, мужики, иначе вместе к стенке станем...»

Мужики-поморы мудрые придумали выход: явились всем населением к рыбаку-крестьянину Маркелу Жердякову, пали малые и старые на колени: «Маркел, пострадай за народ! Запишись в кулаки. У тебя всего двое робят, и на ногах уж оне...» Дрогнуло сердце Маркела: «Ладно, кулачьте!»

Довольны мужики. Доволен молодой уполномоченный. Загуляли вместе. Мужики по пьянке порешили отблагодарить полномочного человека, указали орлу-комиссару, где прячется отставшая от выселенцев девчонка, малолетка еще, но живая ж, все у нее и при ней по чертежам господним расположено — сгодится. Комиссар выковырял из захоронки девчушку, затащил ее в избу Жердяковых на печь — проявляя бдительность, он вместе с понятым ночевал в избе выселенцев, чтоб ночью не ушли куда иль по реке не уплыли.

Всю ноченьку глумился над девчонкой пьяный комиссарик. Слыша пустынный писк и стон, исторгаемый девчушкой, никто голосу не подавал. Лишь понятой беспокожно ворочался на полу, завистливо вздыхая: «Во, порет контру комиссар! Во как он ее беспощадно карает! Оставил бы хоть понюхать...»

Бабка, молившаяся во тьме, не выдержала, заклохоталась:

«Отольются, отольются вам, супостатам, и эти невинные кровя и муки...» Комиссар как аркнет с печи: «Какая гидра пасть дерет?» — и для изгального куражу, не иначе, ка-ак из нагана жахнет! Полыме сверкнуло, горелым порохом запахло. Тут уж все, даже и понятой, перестали шевелиться, и старуха заткнулась.

Утром ссаживали Жердяковых на подводу, мать и бабушка давай народу прощальное слово кликать, за что-то просить прощение. Комиссар стоял на резном крыльце с уже кем-то в щепье искрошенными резными перильцами, курил, плевался, яйца, слипшиеся от девичьей крови, неистово царапал, поскольку был он дик и ни о чем, в том числе и о половой культуре, понятия не имел, зато в политике дока — по его наущению до самой поскотины студеницкие подростки и деревенский дурачок Ивашка гнались за подводой, били камнями выселенцев Жердяковых:

«Бей их, бей кулачье! Бей кр-ровососов!..» — вослед неслось.

Не подходил ни по возрасту, ни по облику мезенский уполномоченный Анисиму Анисимовичу, да и загинул он где-то, сотворив много преступных дел на родной стороне. Может, его в конце-концов расстреляли свои же комиссары — за «перегиб»? Может, мужики где-то пришибли, может, он дурную болезнь подцепил и сгнил в заразной больнице. Бессмертный лик этого злодея соединился с черной толпой тех, кто гнал, судил, расстреливал, избивал, надсаживал на непосильных работах русский народ.

В дальнем-предальнем углу памяти отпечаталось: бежит он, Никитка Жердяков, по болотистому, вязкому следу за подводой, заплетаясь в корнях, падая в торфяную жижу, а отец настегивает коня. «Тя-атя! Тя-а-аа-тенька-а! Я-то... Я-то... забыли меня-то-о-о-о». Мать отворачивалась, закрывала полый дождевика голову сестренки; дед с бабкою дырами шевелящихся ртов выстанывали: «Храни тебя Бог, Никитушка-а-а! Храни тебя Бо-ог!»

Так и уехали, исчезли за лесистым поворотом родные его навсегда. Он же все бежал, падал, бежал, падал... Его подобрали рабочие торфозаготовительного поселка, дали ему в руки лопату — зарабатывай себе на хлеб и строй социализм. Было ему тогда четырнадцать. Ныне уже под тридцать, но нет-нет и увидит он во сне, как бежит по болотистой дороге за подводой и никак не может ее догнать, дотянуться рукою до телеги, до родных своих людей.

Два года он строил социализм, потом ему надоело это занятие, надоела борьба за всеобщее счастье. Добывать его лично для себя было куда интересней и ловчее. Он оказался среди бывших зэков-блатняков, вербованной хевры, которые и составляли основное население индустриального предприятия, возводящего здание социализма.

И пошло-поехало: тюрьма, этап, лагерь и новое, передовое индустриальное предприятие, только уж под охраной и по добыче угля каменного. Побег, грабеж, первый мокрятник, не очень ловкий. Снова кэпэээ, тюрьма, лагерь, предприятие индустрии, на этот раз потяжелше — добыча золота на Колыме. К этой поре Никитка Жердяков сделался лагерным волком, жившим по единственно верному, передовой системой созданному закону: «Умри ты сегодня, а я завтра...»

Жердяков, Черемных, Зеленцов, Шорохов — прижился в лагерях, как дома себя чувствовал, выпивку, жратву имел, порой и маруху. В одном лагере умельцы подкоп сделали, по веревочным блокам из женского лагеря марух таскали и пользовались до отвала, расплачиваясь за удовольствие пайками.

Продал ухажеров один «активист». Нарушилась половая система. Активиста того, как Иисуса Христа, к бревну сплавными скобами прибили и вниз по течению реки пустили. За две пайки хлеба, за спичечный коробок махры, за флакон политуры Никита перекупил

место на нарах, номер и фамилию Черемных. Там, в блатном мире, то же, что на войне, — все время настороже и в напряжении держись, на войне есть где и чего унести, но, если не совсем дурак, лучше всего к «патриотам» примазаться, однако против этого восставала натура гордого зэка — не хотел нигде быть дешевкой и все тут. Шорохов считал, что живет умней и содержательней всех этих «патриотов».

В штрафной роте Шорохов участвовал всего в двух боях. Он в первой атаке сообразил, что тут долго не прокантуешься, во второй атаке уже подставился, и фриц-меткач, дай ему Бог жизни и здоровья, всадил пулю будто по заказу — в бедро, не повредив кость. Кровищи много вышло — для искупления вины невиноватому человеку вполне достаточно. Перевязал сам себя Шорохов — лагерный же волк — сам умел управляться с собой, пополз в сторону санитарного поста, не забывая в пути обшаривать убитых. Тогда-то, на поле брани, он и надыбал архангельского парня по фамилии Шорохов, по имени Емельян, по отчеству Еремеевич, его, Никиты, года рождения. «Прости и прощай, Емеля!» — на санпост Зеленцов явился уже Шороховым. Память крепкая, голова ничем посторонним не забита, он никогда не сбивался, начисто забывая свою предыдущую фамилию и всякие прочие биографические данные.

У него одна цель: выжить и достать, во что бы то ни стало достать того трибунального соловья. Емеля Шорохов сладостно замирал в себе, явственно видя, как он всаживает свой косарь во врага своего. Немца вон заколол, как барана, — ничего, никаких чувств и печалей не испытал. Но того выжигу, доморощенного пророка, он, когда припрет, точно знает — запоровши, получит избавление от тяжести, что роженица, или удовлетворение вровень тому, когда он еще на торфяном участке смял девчонку. Она хныкала, обтираясь общежитским казенным полотенцем, а в нем все торжествовало, пелозаливалось — такое ли настроение его охватило, удовольствием это называется, совершенно правильно, между прочим, потому как лучше ничего не бывает.

Беда не ходит в одиночку, беда, как вода, откуда и когда хлынет — не угадаешь.

Немцы обнаружили-таки связь, проложенную с берега к высоте Сто. Щусь и то дивился, что немецкие связисты до сих пор на нее не

напоролись. И засекли они русских нечаянно, исправляя порывы и подсоединившись к чужому концу. По линии шел ликующий треп по поводу взятия высоты и разгрома штаба дивизии в Великих Криницах. Дотрепались! Добрагодуществовали! Допрыгались! Немцы теперь перещупают все нитки связи, вычислят ту единственную, нагло проложенную частично и по тем оврагам, где проходит связь противника.

Комбат предупредил командира полка и Понайотова, что на день связь будет отключена и подключаться батальон сможет только в случае крайней необходимости, на короткое время. Ночью же, пока лежит связь, надо переделать все дела, со всеми переговорить, все уточнить и, главное, спровадить с передовой этого хилобрюхого героя — чего доброго умрет в окопе своей смертью — вот диво-то будет.

\* \* \* \*

Нелька Зыкова сидела на камешке возле воды, в шинеленке, кем-то из раненых накинута на ее плечи, сушила своим телом мокрое белье и гимнастерку, сбросив безрукавку и ремень с пистолетом на колени. Лодка опрокинулась недалеко от берега, почти всех раненых удалось выловить и вытянуть на берег. Несчастные эти люди позалезли обратно в норки, выли там от боли, холода, безнадежности. Пока возились с ранеными, бегали взад-вперед, орали, матерились, лодку отбило на стрежь, потащило вверх дном. Немецкий пулеметчик, затаившийся на яру, продырявил пустую лодку в решето.

Увидев Нельку, одиноко, будто Аленушка, сидящую на камешке, Яшкин отослал сопровождающего, подошел, сел рядом:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Вы кто будете?

Яшкин сказал, кто он и откуда. Нелька, не открывая глаз, поклацывала зубами.

— Мне Алексей Донатович про тебя говорил. Че ж ты? Героизмом хочешь родину потрясти, так она у нас и без того до основания потрясенная.

— А мы ведь с вами знакомые, Неля. Давно. Да все не было случая разговориться.

— Вот как?! Не на танцах?

— Нет. Какие уж там танцы. — Володя Яшкин рассказал Нельке про окружение под Вязьмой, про то, какой был ад, когда прорывали кольцо. — С вами еще девушка была, Фая, по-моему.

— Она и сейчас со мной. Она и приплывет за нами. Она не бросит. — Неля со свистом втягивала воздух, ежилась. — Земной шар все же круглый — нет-нет да и повстречаю своих крестников на боевом пути. — Она покосилась в его сторону: — Раз я тебя спасла, помощи и ты мне, обними, к себе прижми, а то я скоро очочурюсь.

Яшкин послушно расстегнул шинель. Она почти вся вошла в ее просторы. Сверху набросили вторую шинель. Обняв лейтенанта, жмясь к нему, Нелька разочарованно уронила:

— Телишка в тебе... Но всешки маленько греет.

Яшкин хотел сказать или спросить, отчего она не залезает в норку к солдатам иль не уйдет в блиндаж, но тут же понял, что она не хочет огрести вшей. В блиндаже Шорохов-связист или тот, забулдыга Булдаков, непременно полезут с разговорами, а то и лапой в штаны. С сорок-то первого года на фронте маящуюся, ее уже вдосталь налапали, грязными ногтями исцарапали, обтеревили, словно цыпушку...

Чуть угревшись, Нелька задремала, благодарная лейтенанту за то, что он ее воспоминаниями больше не тревожит. Не хочет она никаких воспоминаний, устала от них. Дождаться бы скорее подругу — это главное на данном этапе войны. Фая — ее жизнь, ее сестра, ее надежда, опора, как и она Фае.

В сорок первом, с дней окружения свела фронтовая судьба девушек и развела лишь один раз, когда Нельку ранило под Сталинградом. Фая держалась все время поблизости, затем они без особого труда объединились.

Нелька Зыкова происходила из рабочей семьи, отец ее работал в прославленно-революционном месте — в Красноярском паровозном депо, котельщиком, ремонтировал и очищал от накипи паровозные котлы. Чего уж он с этими котлами утворил — ни за что не угадаешь — там и вытворять нечего, антикипин, в который входит каустическая сода и дубовая кора, даже не воровали — никуда сей химический элемент непригоден. Может, котел хотел взорвать работяга? При выходе из депо, через деповские ворота локомотив выпускал пар пеногасителем, и тут бы машине взорваться, но бдительные органы не

допустили того чудовищного акта, целый выводок деповских деятелей и работяг загребли и немедля расстреляли за военным городком, возле скотом отоптанной речушки Бадалык. В семье котельщика Зыкова велись одни девки, четыре штуки, да еще пятая женщина — мать, Авдотья Матвеевна. Верховская родом, значит, с богатых верховьев Енисея, — она вместе с молодым мужем на плоту приплыла в краевой город в поисках работы в начале двадцатых годов, и после долгой маяты молодой муж был взят на работу распоследней категории — мойщик котлов. Лишь обрета опыт, одолел Зыков следующую ступень квалификации, стал ремонтником тех же котлов. Может, и до слесаря высокого разряда дошел бы, но не сулил Бог мужику продвижения по службе, Он вообще к русскому мужику строговато относится — чуть русский мужик начнет жизнеустройство, чуть взнимется в гору — бац ему подножку и — в яму его.

Ни в железнодорожном поселке, ни в самом депо, ни тем более среди населения железнодорожного барака номер четырнадцать никто, конечно, не верил, что вредителем мог быть зачуханный котельщик Зыков, никакой материальной, тем более идейной ответственности не несущий. Мечту в жизни имел он только одну — сделать своей Авдотье парнишку, потому как девок в депо на работу не берут — нет там подходящей для них профессии. Его и хватило-то на решение лишь единственной дерзкой задачи — напившись, по подсказке врача Порфирь Данилыча, жившего с семьей в соседней комнате, назвать новорожденную девку именем Нелли. Впилося это имя, в какой-то книге вычитанное или в песне услышанное, в башку крестного отца, клещами не выдирается. Уж и поплакала жена: «Нарекли девку яманным именем!» (яманами в Сибири зовут коз.) И уж производили дочь котельщика в школе и на улице под названием Индустриальная. Но после гибели отца времена пошли суровые, обиды запоминать часу не доставало. Девки, что крепче телом, Надьку и Нельку, мать из школы забрала, запихала их в огород. Зинка, самая старшая из дочерей, рано поступившая на завод, держалась от семьи на отлете. И поныне у Зыковых за путями, на склоне горы Николаевской, тот огород — беда и выручка семьи. Лет пять возили девки перегной на тачке, назем — на санках из поселка Базаиха, что за рекой, — там материна сестра жила, корову держала. Возят, возят, нарастят рожалый слой земли на крутом склоне, а его смоем ливнем в одночасье. Научила нужда, построили

огород ступенчато, измученная городская земля безотказно кормит зыковское семейство овощью. «Горшок из-под девок еле подымешь», — говаривала матушка, дай ей Бог не убавиться здоровьем.

Авдотья Матвеевна еще и подторговывала у поездов; редиской, луком, укропчиком, картошки вареной с груздями вынесет либо вареники. Сама хозяйка была неграмотная, и в ней, как и во многих русских отсталых бабах, жила неистребимая мечта: во что бы то ни стало хоть одну девку вывести в настоящие, в культурные люди. Ради осуществления этой затеи не щадила она ни себя, ни девок. Конечно, по деревенским активисткам Авдотья Матвеевна видела — бабе грамота и лишняя умственность вредна, от нее разлад в голове и в бабьем организме. Но младшеньку-то, Гальку, все-таки хорошо бы до института довести иль хоть до техникума, мастерицей бы швейной сделалась она, всех бы Зыковых обшивала и себе белый хлеб добывала. За ради карьеры младшенькой дочери мать готова была до костей уездить старшенькую — очень уж нежная у них младшенькая, белокуренькая, в школе отличница, в пионерлагерях — активистка, ее на слеты, на соревнования разные посылают, несмотря что дочь врага народа. Хиленькая с виду, но хитренькая, Галка без мыла залазила куда надобно, еще в школе записалась в кружок кройки и шитья. Старшие девки земляной и грязной работой Галку не неволили, ворочали сами — ничего с ними не станется, здоровые кобылицы, считала мать и делала вид, будто не знает, что на кройку и шитье младшенькая записалась для отводу глаз, сама же к музыке устремилась и девки тайно копят деньги на какой-то «струмент».

Самая крутая нравом и ладная телом в семье была девка с нежным именем — Нелли. На ней и ездили, ею и помыкали, поэтому в ней раньше других зыковских девок вызрело чувство самостоятельности, норовистой-то она была с рождения, остальное все уготовила ей жизнь, закалила, укрепила и определила ее будущий путь, мать бы его распроезак, путь тот. Одно лишь послабление было Нельке в семье — мать разрешила ей носить косу, сама когда-то мечтала о косе, и волосы у нее были подходящие, да в этой жизни аховой до волос ли? Остальным девкам мать категорически заявила: «На всех мыла не напасешься!»



Четырнадцатый барак облупленным торцом выходил на улицу Ломоносова, в конце той улицы, у самого железнодорожного моста, стояла старая кирпичная больница. В больнице той врачом служил Нелькин крестный Порфирь Данилович, типичный выходец из мелкобуржуазной среды. В очках, в галошах, в молодом еще возрасте он надел шляпу. Любил выпить. Пока соседа Кирюшку Зыкова не ликвидировали, выпивал он с котельщиком-пролетарьем. Авдотья Матвеевна ненароком заглядывала в комнату врача, мыла пол, стирала, поливала цветы, выхлопывала одежду. Все эти занятия постепенно перешли по наследству крестнице Порфирь Даниловича. Как и всякое дитя из напуганной, растоптанной семьи, Нелька старалась всем угодить, старших слушаться и делать любую работу, не ропща, укрощая натуру свою, укрощая и страсти, рано давшие о себе знать. Исполнительная, но нелюдимая девчонка — такой ее знали дома и в людях, такую и терпели.

Порфирь Данилович — человек благодарный и внимательный, человек культурный, получив квартиру в итеэровском железнодорожном доме, женское поголовье Зыковых не бросал, помогал чем мог, поэксплуатировал крестницу в больничных уборщицах, затем к долгожданному палатному делу приставил. Она, как и ее папаша, начала трудовую карьеру с мойщицы, только папаша мыл паровозные котлы, а она — больничные коридоры, палаты, нужники, судна и другую посуду, сразу-то все и не упомнишь, чего девка мыла, скребла. Подросла, окрепла — к больным допустили, ухаживать за ними дозволили, но и судна, и утки не забывать выносить, мыть, подбирать, вытирать в палатах и из-под больных.

Все вытерпела Нелька и дождалась-таки своего часа — послали ее на скоротечные курсы медицинских сестер, она же, спасибо Порфирь Даниловичу, все уже про медицину знает, все по-больничному умеет, училась легко, с удовольствием, на танцы бегала в парк, дружить с парнями стала, а парни из предместья, известно, как дружат, — раз-раз — и на матрац. Явилась к матери в слезах. Та ее для начала отлупила, потом брюхо потерла, сказав: «Учись сама массажу, мне недосуг — вас четверо...»

Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч! Знал бы ты, крестный, куда заведут крестницу пути-устремления, может, за руку не вел бы дитя неразумное, в спину не подталкивал на курсы те медицинские...

Сидит вот она на смертельном бережку, мокрая, испростывшая, доходит на плацдарме, про который, гуляя перед переправой, кто-то из господ офицеров, отлично учившийся во всех умных заведениях, патетически шпарил из военного словаря: «Плацдарм — по-французски *place darmes*, есть укрепленный и подготовленный район для развертывания войск с целью перехода в наступление на противника, и еще — это территория, используемая каким-либо государством для подготовки нападения на другое государство и в качестве операционной базы — для развертывания военных действий против этого государства».

«Пляце де армес, — ежится Нелька, — напридумывали, засранцы, красивых слов, сюда бы вот вас, на это пляце де армес!..» — Не приплывет Фая на последней, на упочиненной, как обуток советского колхозника, посудине, возвращаться ей вместе сдохлым этим ее крестником в батальон Щуся — там раненых допона. Утром немцы, — говорил капитан, — непременно высоту отбивать начнут, раненых прибудет, а они, раненые, ей до смерти надоели за три-то года — грязные, окровавленные, в гное, в говне, во вшах, в глаза пособачьи преданно глядят, руки к ней, как к Богородице, тянут...

«Ах Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч... знал бы ты, сколько таких вот „пляце де армес“ я уже перетерпела, сколько дорог прошла, какие муки человеческие, какую кровь повиде-а-а-ала! Оскорблений, гадости, мерзости сколько вытерпела...»

Попала вот зимою под Сталинградом в госпиталь — мест, конечно, нет, для женщин и вовсе не предусмотрено, — их как-то не догадывались предусмотреть, видно, считали, что без баб на войне обойдутся. Сунули ее в коридор, за старинную этажерку с ширмой, на шелке которой нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие птицы. Топот, гогот, срам за этажеркой: «А-а, пэпэжэ! А-а, проблядь!.. А-а, офицерская подстилка! А-а...»

Выскочила раненая, припадочно брызгая слюной, костылем публику лупцевать начала, всех подряд: «Я же вас, говнюков, я же вас спасала!..» — Зауважали ранбольные поврежденную бабу, да нет, не ее зауважали, костыль зауважали, курить приносили.

«Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, все надоело-то как!..» Давно бы надо воспользоваться многими патриотками проверенным средством — забеременеть и на улицу Индустриальную податься.

Матушка Авдотья Матвеевна, конечно, рогачом встретит, да она, Нелька, кое-что и пострашней рогача видела. Стерпит Нелька. Мать приветит, куда ж ей деваться-то? Да еще сестрицы дома, старшая, Зинка, замуж выскочила, и, слава Богу, вроде бы удачно. Младшая, Галка, все еще на музыкантшу обучается, подрабатывает уже. Надежда, лямку от Нельки перенявшая, тащит семейную баржу, как бурлак. Нелька тоже не без рук — опыт работы большой имеется, больница рядом, Порфирь Данилыч еще жив, в беде не оставит. Но куда же девать Фаю?»

Фая, Фая! Что за участь, что за доля у девки? Миленькая, тоненькая, лицом похожая на сестрицу Галку. На бледном том лице как-то по-особенному печалится, никому неведомым горем светятся ее прекрасные глаза, от печали той сделавшиеся беззащитными, такими овечьими, что стон берет. Фая несла, скрывала от всех людей жуткую тайну: она была волосата, иначе, как Божьим наказанием, это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью. Будто вторую шкуру надел на Фаю Создатель. И так ли аккуратно это сделал Мастер Небесный: вверху — до шейки, нежной девичьей шейки, волосьями покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу. Беспечные родители ее, артисты кордебалета областной оперетты, играли с девчушкой, называли ее «наша обезьянка». Фая и сама как-то несерьезно относилась к своему физическому непотребству, с детства научилась скрывать «свою шкуру», думала, на войне, в куче народа совсем скроется, потому и подалась прямо из школы на курсы медсестер, затем напрямик на фронт, под большим пламенем объятый древний город Смоленск.

На нее навалились вши. Они плодились, кишели в густой шерсти, съедали человека заживо, безнаказанно справляя кровавый пир. Тело ее покрывалось коростой, промежность постоянно кровоточила, она не могла ходить, но ходить, даже бегать, было необходимо — началось отступление от Смоленска, стремительно обращающееся в паническое бегство.

На каких-то, чуть укрепленных позициях Фая, почти уже сошедшая с ума от страданий и бессонницы, заползла в командирский блиндаж, упала на земляные нары, застланные чем-то мягким, и умерла в каменном сне. Очнулась Фая от страшной, раскаленным

железом пронзившей ее боли. По-собачьи рычащий мужчина возился на ней. Она подумала, что это тот самый пожилой командир, который работал над картой в углу блиндажа, при свете коптилки, и на вопрос: «Можно мне?..» — кивнул головой: «Можно». «Да я же грязная, товарищ командир, не знаю вашего звания, — взмолилась Фая, — у меня плохо там... потом, пожалуйста, потом...»

Мужчине с осатанелой плотью немного и надо было. Он свалился с нее, будто бы со стога сена, и захрапел. Подтянув женские пожитки, полные крови, вшей и грязи, Фая выползла из блиндажа на карачках, потащилась по проходу в траншею, припоминая заминированное поверху место. На нее наступил сапогом и растянулся спешивший куда-то ротный старшина Пискаренко. Лежа на ней сверху, шупал, спрашивал: «Хто цэ, хто?» Фая попросила у него наган. Он был опытный вояка, понял что к чему, оружия ей не дал, увел в темную землянку, выгнал оттуда весь народ, дал ей водки и, когда она отключилась, намазал ее из банки керосином.

Старшина Пискаренко, Хома Хомич, Царство ему Небесное, надолго сделался ее «шехвом». Неподходящее для окопов существо — женщина, и, пока это существо соберет всю вековечную мудрость и хитрость до кучи, приспособится жить в аду, ой, как настрадается.

Вместе с солдатами наелась чего-то Фая, недоваренной конины, что ли, может, и дохлой, — всю ближнюю армию пронесло, бегают кто куда бойцы свищут. Но куда же девушке деваться? Ее шехв — старшина Пискаренко, Хома Хомич, велел перегородить с одной и с другой стороны траншею плащ-палатками: «Хто будет подслушивать, реготать — собственной рукой, из собственного нагана...» — предупредил он. Лаская Фаю, поглаживая, называя; «кошечка ты моя лохматенькая», вздыхал Хома Хомич:

— Тоби надо, Хвая, с хронту тикать. Я ось тоби дытыну зроблю, и комысуйся на здоровьячко...

— Да как же я такая в больницу-то, Хома Хомич? Вдруг ребенок наш волосатенький получится?..

— Да, цэ трэба обмозговаты...

Но на мозги старшина Пискаренко не шибко был поворотлив, и, пока «обмозговывал», убило его.

Заменял старшину Пискаренко тоже старшина, грузин по национальности, из Сванетии, с диких гор. Ему было все равно, что

женщина, что ишачка. Фая забеременела от горячего грузина. Неля, бывалая медсестра, боевая верная подруга, в окопных условиях сделала Фая аборт примитивным, зверским методом, которым пользовала себя и барачных баб Авдотья Матвеевна, передав свой навык дочерям: намылив живот, массировала его, проще говоря, постепенно и беспощадно выдавливала плод из женского чрева. Нелька узнала о Фаиной беде, о Божьем проклятии этом, и сделалась ей защитой и опорой, лютовала, обороняя подружку от мужиков, и кто-то из интеллектуально развитых грамотеев, понаблюдав уединяющихся, шепчущихся и что-то тайно делающих девушек, пустил слух:

— Живут, твари, друг с другом, по-иностранным это называется «лесбос».

— Да что же им, паскудам, нашего брата не хватает?! Кругом мужик голодный рыщет, зубами клацает!..

Терпи, девки, терпи, слушай, как поганец, какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде не зревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича: «Сестрица! Сестрица!..» — орет сейчас во всю нечищеную пасть: «На позицию — девушка, а с позиции — мать, на позицию — целочка, а с позиции — блядь...»

— О-ой, Нелечка! Я думала, ты погибла! — спрыгнув в воду с еще не ткнувшейся в берег лодки, закричала Фая и с плачем бросилась к подруге. — О-о-ой, Нелечка!.. Мне говорили, лодка опрокинулась, все перетонули...

— Уймись! Уймись, говорю, — сипло воззвала Неля. — Спиртику. Дай спиртику иль водки мне и лейтенанту.

— Есть! Есть! Я прихватила! Я догадалась! — сбегала к лодке и, на ходу развинчивая пробку на зачехленной фляге, чистила Фая: — О-ой, Нелька! — снова припала к груди Фая. — Ой, моя ты хорошая, ой, моя ты миленькая! Живая! Живая! — и руками шарила по подружке, ощупывала ее. — Ох, да ты вся-вся сырая...

— Лейтенант грел, да грева от него, что от мураша. Мы с лейтенантом на гребях греться станем, ты на корму, четырех человек в лодку. И ни одного рыла больше! Накупались! Хватит! — властно скомандовала Нелька какому-то замурзанному чину с грязной повязкой на рукаве, распорядившемуся на берегу эвакуацией раненых.

Выборал все-таки «художник» Бескапустин кое-что: переплавили сотню бойцов, совсем не боевую, с миру по нищему собранную, патронов несколько коробок и гранат ящиков пять, да сухарей, табаку и сахару, помаленьку на брата. Не от пуза, но с водой, с ключевой, поддержаться можно.

Щусь поручил своему заму Шапошникову заняться распределением харчей, сам залег в глубоком, крепко крытом блиндаже, отбитом у немцев, понимая, что блаженству скоро наступит конец. Утром уязвленные немцы полезут на гору — так повелось уж в здешнем войске звать горбато всплывшую над местностью высоту. Сначала он еще слышал, как Шапошников распорядился на улице, потом забылся, но еще какое-то время сквозь дрему улавливал, что происходит с батальоном. Привычка. Полу жизнь, полусон, полужед, полулюбовь. Слышал Щусь от трепачей-связистов, что на реке опрокинулась лодка с ранеными. Жалко, если Нелька утонула. Девка она ничего, и характером, и телом боевая. Надо было взять ее с собой в батальон. Скрылись бы в блиндаже этом, да уж распередний же здесь край передний, народ все время в окопах и по оврагам толкается, немцы колотят непрерывно, вдруг подстрелят девку, а оно вон как вышло...

— Вам сказано — часть патронов и гранат в запас оставить, а то порасстреляете спросонья, потом что? — Шапошников, доругавшись, возвратился в блиндаж, влез на нары, толсто застеленные соломой, — всего у немца всегда в достатке, даже соломы.

Спасибо хитрому Скорику за Шапошникова — не стравил парня. После расстрела братьев Снегиревых не отослал в срок бумаги в округ, затем началась суeta с формированием маршевых рот. Под шумок и Скорик куда-то слинял, бумаги или потерялись, или их вовсе не запрашивала военная бюрократическая машина. Вечный наш бардак помог сохранить Шапошникову и звание, и честь, да, пожалуй, и жизнь. Сам-то Шапошников решил, что это его Щусь отхлопотал, верный друг и боевой товарищ. Ах, парень, парень! Да положили они, судьи и радетели наши, на твоего Щуся и на тебя тоже все, что могли положить. Повезло — вот и вся арифметика. Братья Снегиревы на небе, видать, сказали кому надо, мол, порядочный, добрый человек этот наш командир роты Шапошников, хотя и среди зверья живет, вот

и дошла их молитва до Бога — невинные ж ангелы-ребята, их слово чисто.

Утихает в траншее всякое шебутенье, лишь часовой кашляет, сморкается, простуженно сморкается, продуктивно, соплей о каску врага шмякнет — оконтузится враг. Телефонист Окоркин, сидящий у входа, дорвался до табачку, беспрестанно смолил, сухари грыз, потом опять курил, после, как водится, задремлет, распустит губы и тело, обвоняет весь блиндаж. Бывалые связисты — те еще художники! Умеют всякое действие производить тихой сапой. Выгонять из помещения начнешь — нагло таращатся — «да я, да чтобы...» — и непременно на писаря сопрут — древняя, укоренелая неприязнь связистов к писарям, трудяги-связисты считают, что у писаря работа конторская, легкая, повар кормит писаря густо, по благу, девки ублажают. Связист же, как борзой пес, всегда в бегах, из еды — чего на дне останется, девки на него, на драного да сраного, и не глядят, командиры норвят по башке трубкой долбануть, поджопник дать — для ускорения, — осатанеешь поневоле. Поскольку с товарищем командиром в конфликт не вступишь — себе дороже, то писаря-заразу и глуши — он по зубам.

— Да не сплю я, не сплю-у-у-у! — тихо, чтоб не мешать товарищам командирам отдыхать, отругивался телефонист Окоркин. — Сам не усни.

Начинается треп насчет какой-то пары, которая почти всю ночь сидит на камушке, и лопух-лейтенант никуда фельдшеричку не манит.

«Яшкин и Нелька», — решают бойцы и командиры в блиндаже, значит, живая девка — и хорошо, что живая, народу она нужная, да, может, и им пригодится еще. О какой-то любви к батальонному командиру говорить — только время тратить. На славном боевом пути этих любовей у Нельки — что спичек в коробке. Он к Валерии, к Мефодьевне, Галустевой привязался, присох и прочно, видать, думает о ней, тоскует.

Конечно, с Валерией трудновато. С налету вроде бы тят-ляп и в дамки. Но вот из госпиталя приехал — совсем другой настрой и стратегия другая: она уже приняла директорство у Ивана Ивановича Тебенькова, совсем расхворавшегося, остаревшего как-то разом. Родовое село Валерии называется Вершками. Он с первого-то раза не потрудился ничего запомнить. Осипово как-то само собой в голову

вошло, да и ребята, нечаянную радость познавшие, всю дорогу талдычили: «Осипово, Осипово».

После многолюдствия, окопов, госпиталя Щусь долго приходил в себя в этих самых Вершках, в окно глядел, ждал кого-то или чего-то — не идет ли по дороге войско, рота его клятая-переклятая. В землянку б ему из-под докучливого взгляда Домны Михайловны и распалившейся от запоздалой любви, в игривые, нежные чувства впавшей Валерии Мефодьевны, к братве бы фронтовой, чтоб копилка дымила, чтоб кружка звякала, шум, анекдотец, песенка насчет баб и любви случайной, вальсок какой-нибудь о нечаянной встрече. «Все я угадала, Алексей Донатович, ай нет?» — посмеивалась, дурачилась Валерия Мефодьевна.

— Больно уж догадлива ты, дева! — усмехнулся Щусь, вскипая в себе: «Ни хрена ты не знаешь, мадама начальница, — песенка, анекдоты! Насмотрелась героических советских кинолент, позасирали вам мозги...» Но, в общем-то, ссориться им было некогда. В ту короткую, первую встречу в Осипово притереться-то друг к другу они не успели, теперь наверстывают. Делать по двору и дому товарищ офицер ничего не умел, да его особо и не неволили, да и Валерия, чуть чего — коршуном на своих: «Он после окопов, после госпиталя, раненый, избитый, усталый...»

Ездил, правда, раза два за топливом в лес, пилил с братом Валерии дрова, привозил и задавал скоту сено. Валерия для начала вышутила его — как и все неумехи, он пялил хомут на морду лошади книзу клячем. «Уронишь коня-то!» — скалилась белозубо. И она же, умница, наказала Василию по дрова в Троицу съездить, сообщено было капитану — дом Снегиревых занят, от самой Снегиревой никаких вестей не было и нет. Щусь постоял возле дома Снегиревых, Василий шапку снял и поклонился дому, Щусь следом за ним шапку снял и поклонился дому.

— Чисто вьюноши! — загорюнилась Домна Михайловна. — Одна за книжечками просидела, в поле да на пашне молодость извела, другой в мундирах промаршировал. Теперя наверстывают. То-то, наша-то дворянка уже и позабыла, што замужем была, о ребенке не напомни — не встанет, все у ахфицера на коленях бы лепилась. Я и не знала, што она экая! И в кого?..



— В тебя, мамочка, в тебя! — беспечно-веселая, с волосищами, до заду распущенными, в халате, едва застегнутом, шалая, беспутная, буровила дочь и все бродила, шарилась по избе да по кухне, нороя что-нибудь на ходу слопать, особо огурца соленого, иль грибов, иль капусты, без вилки-ложки, лапищей прямо гребет...

— Тошно мне! — хваталась за голову Домна Михайловна. — Робятишек натаскаешь. Че делать будем?..

— Растить, мама, растить да любить!..

— Вот и поговори с ей, окаянной, — будто с цепи сорвалась.

— И сорвалась! С цепи, к которой сама себя приковала, — уж больно деловая была, вот и пропустила юность, молодость. Стыд сказать — танцевать не умею. К мужчине с какого боку ловчее подвалиться да приласкаться — не знала, ничего не знала, ничего не умела.

Тогда еще, в сорок втором, в Осипово, при нашествии войска во главе с бравым командиром уяснила она, наблюдая девчонок, разом воспрянувших от музыки-баяна, девчоночьи шепотки, визг, смех, записочки, ревности — все-все вдруг уяснила и оценила. Как уходило войско за край села и след солдатиков простыл, лихой этот налетчик-командир, сапожками щелкнув, тоже утопал, она ночью стонала: да что же это она? Да почему такая правильная? Зачем такая она? Кому нужна? Так бы и бросилась вдогонку, так бы вот и обняла эти изветренные мордахи парней, обляпала бы губами. Всех.

Когда Иван Иванович Тебеньков, хитро сощурясь, сказал, что «наше-то войско» сосредоточилось перед отправкой в Новосибирске и ейный хахаль-офицерик «с имя», она даже не обиделась на хахалю, не до того было, скорее подводу, скорее по деревушке — собирать гостинцы и приветы. После ухода ребят на фронт приутихла, померкла, вовсе заперлась начальница — контора, поле, дом, ребенок. «Конечно, начальницей совхоза в военное время быть, — рассуждала Домна Михайловна, — не до игрушек. Но вон бабенки, которые побойчее, и даже об эту пору урвут на ходу, на лету чего-нито из удовольствия-продовольствия...»

Кавалер письмами не баловал: одно с дороги, коротенькое, одно уж перед самым сражением — подлиньше, затем из госпиталя написал да как написал — поэма, ода, роман!

— Мама! Мама! — налетела Валерия Мефодьевна на Домну Михайловну. — Алексей объявился! Ранен. В госпитале.

— Да ты спятила, девка! — отбивалась от дочери опешившая мать. — Человек в боли, в крове, а тебе, дуре, — радость! Не оторвало ли у него че важное?..

— Ничего не оторвало. Ранение под лопатку, осколочное, проникающее, легкое задето... Ой, и правда, мама, чего это я! — и уже через час: — Я к нему поеду! Все! Решено!

— Куда поедешь-то? На кого совхоз бросишь? Ребенка? Хозяйство? Мать?..

— Поеду и все! Никто меня не остановит!.. — но куда ехать, все же не знала. И не поехала.

Тем временем пришло второе письмо, более обстоятельное и ласковое, даже слово «тоскую» в него просочилось, намек в письме содержался, что, возможно, по излечении его отпустят на отдых, а куда ехать?

— Вот дурной! Вот дурной! Как куда? В Вершки, конечно. Разве непонятно?! — вопрошала у матери дочь.

— Да это тебе вот все как есть понятно, а ему и не совсем. Он в поле, в сраженье был, от жэншынов и мирной жизни отвык. Да вы и знались-то скоко? Двенадцать ден. На ходу сгреблись, дак это, по-твоему, любоф?

— А что, мама?

— Что, что? Сказала бы я тебе словечко, да волк недалечко.

— Ну, а вы с папой гуляли, года два друг за другом волочились, по-за тыном целовались, в скирдах обнимались, нас почти полдюжины сотворили. Много у вас ее, любви-то было?

— Много ли, мало ли — вся наша. И кака тут в селе любоф? Работа тут, вечна забота, робятишки, а он вот, папуля-то ваш, возьми да загуляй, с городской свяжись... Напоперек у их, у городских, причинное-то место, видать, игровитей, чем у нас — простодырок...

— Да ну тебя, мама. Тебе про одно, ты про другое.

— Да все про то же, все про то же, доча. Я по ем, по папуле твоему, думаеш, не тоскую? Э-э, милая, еще как тоскую... Возвернуть бы молодость-то, да главное, штоб он, сокол мой ясный, хоть какой, пусть раненый, искалеченный, но возвернулся, изменшык мой, проклятый, касатик ненаглядный...

Навидались, натешились, налюбились. Она, когда пыл иссяк и жар поутих, в ревность кинулась — все, как у добрых людей.

«Баба у тебя на фронте, конечно, была?» — «Была». — «И не одна?» — «Не одна». — «Много?» — «Не считал, некогда, воевать же надобно...» — Она кулаком его в грудь колотит. — «У-у, ирод! Ни во что ты меня не ставишь! Хоть бы соврал...» — «Зачем?» — «Чтоб легче было». — «Разве со мной может легче быть? Мне самому-то с собой тяжело...»

Перед расставанием разговоры пошли нешуточные.

«Боже мой! Бо-о-оже мо-ой! Что за профессия — убивать? Ты же враг всему живому. И ведь с концом войны кровь не кончится. Люди, в особенности наши дорогие соотечественники, всегда будут искать и находить, кого убить, истребить. У нас вон еще не все крестьянство доистреблено...»

Ну что объяснять ей, мол, веки вечные так было. Военные были, потому что война есть. Миряне, борясь за справедливость, враждуют меж собой, военные их усмиряют. Справедливость, конечно, понятие растяжимое и представление о ней туманное. Гитлер вон со своим рейхом справедливость отстаивает и свободу. Мы — то же самое — справедливость справедливую защищаем и свободу... лучшую в мире.

— А привыкнешь, Алеша, к крови, к смерти, тогда как?

— Тогда только по трупам до тех пор, пока сам трупом не сделаюсь.

И, кажется, привык. Считает людей для «работы», сожалеет, если их не хватает для одоления врага. И уже сбылось: на берегу реки, в оврагах, меж ними, по перемычкам люди по трупам ходят, в противотанковом рву, часть которого захватил батальон, — немецкие и наши трупы в обнимку лежат, в помойке с грязью смешанные, одни их черви точат, одни вороны клюют, одной их грязью покрывает... Осуществилось, наконец, подлинное братство. Живые, боясь увязнуть в протухшем мясе и грязи, норовят ходить по откосам, спускают обувь глину в смеси с песком, закапывая свои и вражеские трупы вперемешку с пустыми противогазными чехлами, с пустыми гильзами, пулеметными лентами, банками из-под консервов, подсумками, чехлами, письмами, бумагами, охальными открытками, игральными картами, иконками, драньем, сраньем — все в куче. Собака

деревенская как-то в ров попала, и ее втоптали. Собаку вот заметили и запомнили все. А он и его бойцы — осиповцы, да и офицеры тоже, больше других бедный Шапошников, горевали в Сибири о каких-то ребятах-снегирятах... Да это ж хорошо, что не попали они на этот уютный бережок, в эту ямину-ров, не превратились в вонючие отбросы войны.

«Что же сейчас в Вершках, в Осипове? Ночь? Нет, уже утро? Валерия встает, на работу собирается. Домна Михайловна ворчит, младшенький орал всю ночь — спеклось в животике — она уже под утро догадалась мыльце ему пустить. Успокоился сердешный. Молодой маме хоть бы что? Одна тоска гнетет по ахфицерику, да еще работа на уме, подкинула ребенок, будто щененок, — терпи бабка, сама хотела внучат побольше, да не безотцовщины же...»

«Спать! Спать! Спать!» — приказал себе Щусь, и, кажется, через минуты две его тронули за телогрейку, которой он накрылся с ухом.

— Товарищ капитан, — донесся голос Шапошникова, — немцы начинают гоношиться.

— Значит, война еще не кончилась.

Щусь сел, потянулся, взял котелок с приполка, пополоскал во рту, выплюнул на пол воду, тогда уж напился. Худа примета, — отметил Шапошников, — коли плюется в блиндаже капитан, значит, не надеется в роскошном этом помещении усидеть. И не бреется который день, сегодня вот и умываться не попросил. Застегнулся, проверил, полна ли обойма, пистолет за пояс, да обеими руками как зацарапает голову:

— Ой, до чего же вши надоели! Съедят, паразиты, как Финифатьев бает: «Фамиль не спросят». Кстати, как берег?

— Связь-то отключили, товарищ капитан, как вы приказали, но еще до того по телефону баяли — Яшкин уплыл, и Нелька уплыла.

— Финифатьева опять не взяли? Нет? Ах, старче, где так боек. Ладно. Добро. Ну, за дело, орлы боевые. Дадут нам сегодня фрицы прикурить за усердие и отвагу нашу... Шапошников, побудешь здесь, потом в роту, тебе родную, во вторую, вместо Яшкина отправляйся. Талгат, стоишь во рву, пока я отходить не прикажу. Справа и сзади вроде бы надежно, там сам художник сидит, в обиду ни себя, ни нас не даст. Он у нас о-го-го! На начальство уж хвост поднимает. Стало быть,

все внимание на левый фланг, на овраг, что жерлом к реке. Нас если отсекут, то уж до самого берега — и тогда нам хана.

В это время дежурный связист Окоркин, оставшийся не у дел, упавшим до шепота голосом позвал:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — и молча показал на провод.

Провод, отсоединенный от аппарата, шевелясь, уползал из блиндажа.

— Фрицы сматывают! Или... или уж наши шакалят, — совсем севшим голосом пояснил Окоркин и приступил в проходе блиндажа провод.

— Отпусти.

Вспомнилось, как в роте Яшкина, на Орловщине, ретивые связисты, беспощадно охотясь за трофейным проводом, на своей линии узрели прорыв, линия вся из красного, новенького провода — и давай ее линейный связист сматывать, ликуя от удачи, а на переднем крае товарищ Яшкин в трубку дует, матом всех подряд кроет, в клочья рвет. И вот, перед очми его, на бровке траншеи возникает жизнерадостный линейный связист, у которого почти полна катушка первоклассного трофейного провода, и, не иначе как на медаль «За боевые заслуги» надеясь, докладывает, каков он есть отважный боец и находчивый связист — под огнем вот отхватил, понимаешь ли...

Яшкин даже материться не мог. Сперва на согнутых ногах он ходил вокруг испускающего дух связиста, потом бегал и, прицеливаясь не иначе как задушить бойца, выкидывал руки со сжимающимися и разжимающимися пальцами. Издавая что-то подобное звериному: «Ух! Ух! Ух!» — и вдруг заплясал, затопал: «Уйди с глаз моих! Уйди! Не то...» Связист, спотыкаясь, падая, хватанул с места происшествия, до сего говорят, ни найти, ни поймать не могут...

Так то ж иваны, то ж славянское войско, с которым не соскучишься. А тут не иначе как хозяйственные фрицы тоже добришком поживиться решили.

Не дожидаясь команды, по мановению руки комбата, все, кто были вокруг, попрятались кто куда, позалегли в кустах, меж комков глины, скрылись за уступами оврага. Окоркин со своим напарником Чуфыриным, тоже опытным, давним связистом, стерегли провод, привязав конец за куст и навалив на него сухих комков.

По линии шли два немецких связиста. У нас народу хоть больше, чем у немца, хоть и работать, и воровать, и пьянствовать мы привычны артельно, когда дело касается особо ответственного характера, всегда его исполняет энтузиаст или безотказный дурак — на линию чаще всего ходит один человек. Отчего, почему Вальтер выходил на линию тоже в одиночестве — выяснить никто не догадался. Наверное, в роте Болова в самом деле был серьезный недокомплект.

Связисты приближались. Вот из размытого и разбитого оврага показалась голова в каске. Пожилой связист с карабином за спиной вытягивал нитку провода из-под комьев глины, с треском выдергивал из кустов и колочек. Второй, помоложе, идя следом, сматывал провод на катушку.

«Хозяйственный народ!» — отметили разом и командиры, и солдаты, сидящие в засаде. Впереди идущий солдат-связист увидел заизолированный порыв и насторожился: изоляция свежелипкая, грязно-серая, у немцев изоляция голубенькая, блестящая. Показывая провод напарнику, о чем-то его спросил. Связист с катушкой помял в пальцах провод, посоображал и снова двинулся по линии, поднимаясь на уступ оврага. Когда до блиндажа осталось метров десять, Окоркин отпустил провод и пристроился сзади связистов, увлеченных работой. Давши обоим немцам влезть в узкий отвесный проход, навстречу с автоматом наизготовку выступил Чуфырин, кивнул молодому связисту — продолжай, мол, работу, раз взялся. Немец машинально кивнул в ответ и, сшибая пальцы ручкой катушки, не моргая двигался на автомат, на него наставленный, домотал провод до того, что дуло автомата уперлось ему в грудь.

— Спасибо за работу, коллеги! — вежливо поблагодарил Окоркин, снимая ремень катушки со вспотевшей шеи связиста.

Пожилой связист дернулся было рукой к карабину, но Чуфырин помотал перед ним дулом автомата.

— Не балуй, фриц, не балуй!

«Эк, ребята-то с юмором каким! А покормить бы их досыта...» — мельком глянув на остолбенелых немецких связистов, усмехнулся Щусь и, пригнувшись, вышел из блиндажа.

— По местам. Все по местам. Любоваться на пленных некогда, — распоряжался комбат на ходу. — Скоренько спровадить их куда надо.

Пожилой немец или знал по-русски, или догадываться начал: песня их спета. Идет бой, фашисты атакуют, русские из последних сил отбиваются, им не до пленных.

Все куда-то разом улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела, и Окоркин крикнул Шапошникову, оставшемуся в блиндаже.

— Товарищ лейтенант, че с имя делать?

— Че с имя делать? Че с имя делать? — выглянул из блиндажа Шапошников. — На берег их надо отвести. Сдать.

— Кому?

— Кому, кому? Откуда я знаю, кому? Есть же там специальное подразделение, караул специальный...

— Никого там нету. Никто там пленных не охраняет. Они вместе с нашими по берегу шакалят, рыбешку глушеную собирают.

— Как же так? А если эти с берега уйдут к своим? Если сообщат о нашей хитроумной связи?

— Все понятно, товарищ лейтенант! — произнес толковый Окоркин и махнул рукой, показывая дулом автомата на тропинку, протоптанную вниз по оврагу: — Шнеллер, наххаус!

— Их бин айнфахэр арбайтэр. (Я — простой рабочий), — залепетал пожилой связист. — Унд дэр да вар эбен ин дэр шуле. Унс хабен зи айнгэцоген, каине эсэс, айнфахе зольдатен, айнфахе лейте, каин грунд, унс умцубрингэн... (А он только-только окончил школу, мы мобилизованные, мы не эсэсовцы, мы простые солдаты, простые люди, нас не за что убивать. Мы надеемся...)

— Шнеллер, шнеллер! — Окоркин был непреклонен.

— Вир хоффен ауф митляйд. Вир вердэн фюр ойх беттэн... (Мы надеемся на милосердие. Мы будем молить Бога...)

Окоркин и Чуфырин подтолкнули пленных в спину и, опережая один другого, скользя, спотыкаясь и падая, немцы поспешили вниз по оврагу. Видя, что их ведут в сторону реки, значит, в тыл, засуетились.

Шапошников проводил их бегающим, пугливым взглядом. Не успел он вернуться в блиндаж за автоматом, как услышал за первым же выступом оврага длинную очередь из пэпэша, короткий, лающий вскрик, и понял: русские связисты расстреляли своих собратьев по ремеслу.

«Их и в самом деле нельзя было оставлять», — убеждал себя Шапошников, оправдывая своих солдат, но смятение и неловкость все

не покидали его. Сказал связистам Окоркину и Чуфырину, что остаются они одни, — помялся, посмотрел в сторону реки и, не зная, что еще делать, заметил:

— Молодцы, что вот захватили еще один трофейный аппарат телефонный, вдруг наш разобьют... ночью, Бог даст... связь... — и все смотрел поверх голов солдат, боясь встретиться с их взглядами, и добавил еще, что хорошо, мол, и оружие вот, и патроны, и гранаты захватили — пригодятся.

— Натя вот закурите и ребятам отнесите, — сунул Окоркин лейтенанту полученную немцем сегодня утром и уже початую пачку сигарет. — Да не переживайте вы, товарищ лейтенант. Такой уж получился расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает, где, как, когда...

— Да-да... расклад и есть расклад. — Хотел сказать о расстреле братьев Снегиревых — тоже расклад, но зачем? Место ли тут для таких, душу его терзающих, неизбежных воспоминаний. Не расклад — судьба это называется... Сунув пачку сигарет в карман, Шапошников закинул автомат за плечо и, подсеченно вихляясь на комках глины, ушел на шум боя.

Окоркин забрался на пустые нары — отдыхать. Чуфырин же сложил гранаты на земляной полоч, поставил на предохранитель свой автомат, проверил немецкое оружие и занялся связью — дежурить им ночью с Окоркиным попеременно, потому как всех связистов из штаба батальона уже выбило.

Скоро, однако, связистам пришлось покинуть уютный блиндаж и вместе с отхлынувшими с высоты Сто ротами принять бой, не бросая при этом трофейный телефонный аппарат и катушку с красным проводом.

Передовой батальон все-таки отсекли. Первым же неожиданным ударом с правого фланга, без артналета, без всякой огневой подготовки, опрокинули немцы жидкий заслон русских, поперли со всех сторон, тесня с высоты Сто обороняющихся в дыры и завалы оврагов. Беда плацдарма, уже всем известная, та, что четкой передовой линии на нем нет: овраги, расщелины, земляные унырки, такие заманчивые, уютные, вот они рядом: вдоль, поперек, сикось-накось, беги, укрывайся в них от огня и пуль, припухай до ночи, там видно будет, как дальше жить.



— Да вы что? — без крика, без топота, засекшимся голосом спрашивал комбата и ротных командиров полковник Бескапустин.

Полные щеки полковника, обвявшие на плацдарме, усы, подпаленные трубкой, в которую он наталкивал сухую траву, и она вспыхивала.

— Ну, художники! Ну, художники! Вы сдурели? Вы понимаете, что Щуся подставили. Они ж его со всех сторон обложат. И что он с ними сделает?

— Да ничего пока страшного нет, — возражали неслухи-командиры командиру полка. — Щусь сидит крепко, в хорошо укрепленном немцами месте, боеприпасов ему подбросили, пополнения немножко дали. Займет круговую оборону по оврагам, до ночи, глядишь, продержится. У нас ведь не лучше: сзади — вода, да впереди — беда, боец от бойца — голоса не слышать, фашисты беспрестанно разведку ведут, вместе с крысами шарятся, знают, какой у нас заслон, вот и вдарили, где пожиже...

— Мне наплевать на все ваши рассуждения! — свирепствовал полковник Бескапустин. — Товарища своего подставлять я вам не позволю. Мне к полудню чтобы положение было восстановлено! Собирайте людей отовсюду — бродят тучей по берегу. Заберите и тех, что в речке, у Боровикова. Я с артиллеристами свяжусь, попрошу авиаторов помочь. Ну, художники! Н-ну, художники!

Майор Зарубин, попавши на левый берег, подбинтованный Фаей, потребовал вести его в штаб своего полка. Там собралась вся челядь, ахать начала, майора едва узнавали. Хлебная каша, попивая чаек с сахаром, майор распоряжался:

— Товарищи! Проникнитесь! Положение на плацдарме не то что тяжелое — ужасное положение. Одиноц! Капитан! Я вас попрошу еще одну линию связи. Трофейной. Наша не дюжит — намокает, садится. Без связи, без помощи нашей, без постоянного огня артиллерии плацдарму конец. И, пожалуйста, прошу вас, хоть как-нибудь, хоть на чем-нибудь еду... — и в это время телефонист из штаба корпуса выступил на свет из угла, бережно, словно грудного ребенка, неся телефонный аппарат:

— Вас товарищ седьмой.

— Скажите своему седьмому, что я не хочу с ним разговаривать! — громко, чтоб Лахонину было слышно, отчеканил майор Зарубин, чем едва не лишил жизни корпусного телефониста.

Он, протягивая трубку, шевелил омертвевшим ртом:

— Это же сам товарищ седьмой! Это же...

— Хотя дайте на два слова, Пров Федорович! — нарочно не называя позывную, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнес Зарубин. — Если вам хочется побеседовать со мной, милости прошу вечером в санбат. Здесь народ, беседа же нам предстоит не светского характера. — И отдал трубку телефонисту, который, нежно прижимая аппарат к мягкому брюху, упряился в угол и замер там, решительно не понимая, что произошло и происходит на свете.

Когда майора выносили на носилках к машине, он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробьиными ножками, сверхзабоченного начальника политотдела дивизии. «Куда же это Мусенок-то?» — успел еще подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, что для того и этот богоспасенный берег — уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой, самый-самый опасный. Мусенок тут дни и ночи сражается с врагом, от имени партии творит подвиг, суется по штабам, по огневым, мешая людям исполнять военную работу. Мусенок вместе с родной партией до того уже затоковался, что считал — главнее партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв, боевое слово — грознее всех самых грозных орудий.

На батальон Щуся, с которым на время была налажена связь и при этом убило несколько связистов, наседали фашисты со всех сторон, особенно на левый фланг, отрезая запасной путь к реке по коренному оврагу и по глубоким его отводам. Щусевцы в овраг немцев не пустили, более того, оттуда, именно с левого фланга, из ответвлений оврага, из земляных щелей, повыползали русские и перешли в отчаянную контратаку, едва немцы их загнали обратно в обжитые места.

«Ай да молодец Шапошников! Ай да молодцы у меня ребята, ай да золотые головы! Часок-два передышки дали», — хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Талгата — в самом

горячем месте — гитлеровцы пока не отобьют участок этого проклятого рва, не уймутся. И немцы шли, шли, перли и перли...

И в этот, именно в этот, самый гибельный час из заречья донесся блеющий голос:

— Внимание всем точкам! Всем телефонистам! На проводе начальник политотдела дивизии Мусенок! Передаю важное сообщение...

— Товарищ капитан, — зажав трубку, обратился к Понайотову Шестаков, — на проводе повис начальник политотдела.

— Что ему? — бросая карандаш на планшет, вскинулся Понайотов, заканчивавший расчеты поддержки огнем остатков полка Бескапустина, переходящих в контратаку, для того, чтобы облегчить положение щусевского батальона и помочь задыхающемуся соседу своему — Сыроватко, пусть он и хитрец, и выжига, но все же друг по несчастью.

Огонь был нужен плотный, беглый и точный, бить из орудий надо было между идущими в атаку капустинцами и не накрыть отрезанный, обороняющийся в оврагах батальон Щуся. Огонь надо было корректировать, вести его следом за цепями, если они, цепи эти, еще есть, если наберется людей на цепи. Не отрываясь от карты, Понайотов протянул руку, прижал трубку к уху — по телефону с Мусенком говорил командир полка.

— Вот что пишет о вас газета «Правда»: «Красная Армия шагнула через реку! Эта новая, великолепная победа ярко подчеркивает торжество сталинской стратегии и тактики над немецкой, возросшую мощь советского оружия, зрелость Красной Армии...» А вы, насколько мне известно, даже знамя не переправили...

— Боялись замочить, — сухо ответил командир.

— Товарищ начальник политотдела, — взмолился полковник Бескапустин, — у нас батальон погибает, передовой, в помощь ему в сопровождении артолета мы переходим в контратаку. Отобьемся — пожалуйте, передавайте...

— Значит, какой-то батальон вам важнее слова самого товарища Сталина?!

— К-как это — какой-то батальон?!

— А вот так, понимаете ли! Нашими доблестными войсками взяты Невель и Тамань. В честь этих блистательных побед напечатаны

приказы Верховного главнокомандующего и статья Емельяна Ярославского о вдохновляющем слове вождя. Всем вашим бойцам надо знать, чтоб устыдиться, — топчетесь на бережку, понимаете ли, пригрелись...

— Что-о-о! — взревел плацдарм всеми телефонами, какие были навешаны на единственно работающую линию, представители же разных родов войск маялись, связываясь с левобережьем по аховым рациям.

— Что ему батальон?! Что ему гибнущие люди? Они армиями сорили, фронты сдавали.

Это уже взвился Щусь, некстати оказавшийся у телефона.

— Кто это говорит таким тоном с представителем коммунистической партии? — повысил голос Мусенок.

Нужно встретить немедленно, сейчас большой политик начнет домогаться фамилии дерзкого командира.

— Товарищ начальник политотдела, Лазарь Исакович, ну, через час поговорите, сейчас немоготу, сейчас линия позарез нужна... одна линия работает... — встрял в разговор Понайотов.

— А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли...

— Внимание! — прервал Мусенка командир полка Бескапустин. — Внимание всем телефонистам на линии! Отключить начальника политотдела! Начать работу с огневиками!

Телефонисты тут же мстительно вырубili важного начальника, который продолжал греметь в трубку отключенного телефона:

— Н-ну, я до вас доберусь! Ну вы у меня!..

— И доберётся! — угрюмо прогремел в трубку Сыроватко, все как есть слышавший, но в пререкания не вступивший.

— Да тебе-то какая забота? — устало осадил его полковник Бескапустин. — У тебя, видать, дела хороши, все у тебя есть, недостает лишь боевого партийного слова...

— Да ладно тебе, Андрей Кондратьевич. Шо ты, як кобэль, вызвэрывся, вся шерсть дыбом.

— Шерсть-то поднялась, все остальное упало. Ладно. Таких художников, как Мусенок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника, пошебутились, отвлекли на себя. Помогай теперь ты Щусю. — И через паузу, постучав трубкой по чему-

то твердому, изможденным голосом добавил: — Да не хитри, не увивайся. Воюй. Положение серьезное. Понайотов, а, Понайотов! Начинай, брат, работать. А тебя, Алексей Донатович, завсегда, как черта в недобрый час, из-под печки выметнет. Гнида эта заест теперь...

Щусь уже не слышал командира полка, он уже мчался куда-то по основательно искрошенному, избитому немцами оврагу и орал:

— Патроны попусту не жечь! Гранаты — на крайний случай...

В санбате людно. Раненые большей частью спали на земле, сидя и лежа под деревьями, подле палаток. В отдалении, под вздувшимся грубыми складками брезентом, в ложбинах которого настоялось мокро от недавнего дождя, покоились те, которым уже ни перевязки, ни операции, ни еда, ни догляд, ни команды не требовались. Какой-то любопытный раненый боец, опирающийся на дубовый сук, приподнял палкой этот угол брезента, и Зарубин увидел так и сяк набросанных на холодную, смятую траву худых, грязных, сплошь босых и полураздетых людей.

«Наши, с плацдарма», — отметил Зарубин. Надеюсь переправиться через реку, попасть в санбат, в жилое место, бойцы отдавали с себя братьям-солдатам последнюю одежонку, обувь, кресало, огрызки карандаша — все свои богатства отдавали.

— Зарубин. Майор Зарубин!

— Я, — начал приподниматься с земли Александр Васильевич.

— Вы почему здесь сидите?

— А где же мне прикажете?

Женщина в белом халате, перепачканном кровью, с приспущенной белой повязкой на лице, которая, однако, не могла заслонить яркости лица, прежде всего круто очерченные брови и серые глаза, которые казались выпуклыми, брови, почти перехлестнувшие переносье, взлетающие к вискам и уже на острие сломленные, — придавали некую суровость этому лицу — так вот разом увиделась эта женщина! «Засиделся в норе, извалялся в крови, в грязи... Каждая женщина теперь мадонной видится», — смутился майор.

— Следуйте за мной! Вам помочь?

— Попробую сам.

Зарубин вошел в придел широкой палатки, вроде сеней был тот придел, веревками прикрепленный к дубам с коротко обрубленными

сучьями. Указав на сучки, женщина знаком велела раздеваться. Майор сбросил с плеч шинель, попробовал наклониться, чтобы поднять ее, но его косо повело к выходу. Зажав бок одной рукой, он другою схватился за туго натянутую веревку — чтоб не упасть. Женщина подняла шинель, повесила ее и, взявши руку майора, ловко ее занесла на свою теплую и гладкую шею, повела раненого в операционное отделение.

Там белел и шевелился какой-то народ. Стояли два стола, укрепленных на толстых плахах, и на одном из них лежал, не двигаясь, раненый с накрытым марлей лицом. В человеке рылись, выворачивали чего-то красно-тряпичное люди в окровавленных фартуках, в желтых перчатках, с которых слюняво стекала желто-багровая жидкость.

С Зарубина попробовали стянуть гимнастерку и нижнюю рубаху. Не получилось. Тогда умело, как будто в портновской мастерской, одним резом расплосовали на нем в распашонку слипшиеся тряпки, швырнули их к выходу, в кучу грязных военных манаток. В кармане гимнастерки были два письма и фотография дочки, партбилет, офицерское удостоверение, — майор поднял руку, чтоб кого-то позвать, попросить, и та же яркобровая женщина, уже сквозь марлевую повязку коротко уронила: «Не беспокойтесь!» Зарубину помогли взобраться на высокий стол. От соседнего операционного стола обернулся человек в серо-голубой медицинской спецовке, завязанной тесемками на спине, в такого же цвета чепце. Сдернув повязку с лица, он присел на пень неподалеку от стола. Был он усатый и седой. В рот хирурга сунули папироску, прижгли ее от немецкой позолоченной зажигалки, хирург умело, не притрагиваясь к папиросе, потянул, зажмурился и расслабился всем телом, похоже было — уснул, но через минуту-другую снова потянул, почмокал папироской — не тянулось. Он раздраженно сбросил мокрые, окровавленные перчатки себе под ноги, взял папироску меж пальцев, приткнулся к готовно поднесенному огоньку и глубоко, сладко курнул.

— Чистых осталось всего пять пар, — наклонившись поднять перчатки, унылым голосом заметила женщина с плоской, квадратной спиной, на которой многими петельками был завязан халат. — А привезут ли?..

— Так вымойте, подготовьте! — резко бросил хирург и тем же недовольным, сердитым голосом попытал Зарубина:

— Отчего так запущена рана?

— Вынужден был задержаться на плацдарме.

— Некем заменитьсь?

— Да, некем. — Зарубин подышал и отстраненно молвил: — Наш командир полка, Иван Харитонович Вяткин, отдыхает, — и увидел, как за соседним операционным столом женщина, заканчивающая операцию, на мгновение замерла и поникла.

Хирург усмехнулся, почти уже бодро хлопнул себя по коленям, поднялся, подставил руки, на которые стали надевать новые резиновые перчатки. Пока надевали перчатки, снаряжали доктора для дальнейшей работы, он вел отвлеченные разговоры с больным, расспрашивал про плацдарм, хотя и чувствовалось, что обо всем, что там происходит, он хорошо осведомлен. Осмотрев обработанную рану, хирург потыкал в нее зондом. Зарубин услышал, как зондом скребнуло по осколку.

— Осколок неглубоко, но рана очень грязная. — Себя или раненого — не поймешь, хирург спросил: — Хлороформ? Местная анестезия?

— Я вытерплю. Постараюсь. Истощился, правда, но я постараюсь.

Полусон, полуявь окутали Зарубина. Он то слышал боль и негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытие, отделялся в нечуткую, тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей, погружаясь в полумрак, где пригасло светилась лампочка, похожая на сальный огонек, поднимающийся над гильзой. Ему представлялся сырой блиндаж с бревенчатым накатом, густо заселенный, тесный, длинный, с бревен капало, он пытался достать шею, снять с горла петельку, но руки были вроде как у покойника, связаны на груди.

— Потерпите. Еще маленько потерпите! — доносилось до него издали, он пробовал трясти головой: «Хорошо, хорошо, потерплю», — и где-то далеко в себе усмехался: а что еще остается делать?..

Осколок звякнул в цинковом банном тазу, уже до ободка наполненном всевозможным добром — металлом, костями, багровыми тряпками, меж которых темнели обгорелые концы тряпочек — кресал, самодельные зажигалки, баночки из-под табака, две-три слепых фотографии, изображение на них съело грязным потом, даже денежка — скомканная красная тридцатка и другие ценности. Несли, прятали нехитрое походное добро солдаты, и самые ловкие доносили его аж до

операционного стола. Началась перевязка. Александр Васильевич облегченно и крепко уснул. Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого, в ноздри ударило запахом спирта. Виски, заодно и лицо ему протирала та самая женщина, что взяла над ним опеку. Звали ее Ольгой — слышал во время операции майор. Более в палатке никого не было, лишь возилась в углу белой мышью та женщина с плоской спиной, что ведала инвентарем, она что-то, видать привычное, ворчала, опрастывая тазы с отходами в железное корыто. Пожилой солдат цеплял корыто загнутым винтовочным шомполом и волок его наружу. Железное дно корыта взвизгивало на оголенных корнях дубов.

— Вот и прибрала я вас маленько, — сказала Ольга, глазами отыскивая, куда бы бросить грязную ватку. — Теперь на эвакуацию, в госпиталь, там и грязь, и гнус оберут.

— Спасибо!

— Не за что. Я с конца сорок первого в этом медсанбате, но таких запущенных раненых, как с плацдарма, еще не видела.

— Самых запущенных и не увидите. Люди умирают...

— Но там же медслужба, наши девочки.

— Что девочки? Что они могут сделать? Там массы...

Зарубин пристально всмотрелся в медсестру, снявшую маску, — нет, не показалось, молодая женщина не просто красива, но величаво красива, такая былинная пава, в хорошей девичьей поре, свежа лицом, со спело налитыми губами. Над верхней губой золотился пушок, чуть вздернутый нос властного человека подрагивает — от спирта, не иначе, чешуисто, будто у кедровой шишки, отчеркнутыми крылышками ноздрей. Во всем ее облике, в туго свернутых под белой косынкой волосах, в ушах с маленькими золотыми сережками, похожими на переспелую морошку, в неторопливых движениях, в скупом произносимых словах чувствовалась основательность.

— Вы что так на меня смотрите?

— Да больше не на чем глазу остановиться. А Бог иногда создает красоту, чтобы на нее смотреть и отдыхать от ратных подвигов. Не разучился еще Создатель творить.

— Ой, как цветисто! — усмехнулась Ольга. — Вы случаем не поэт?

— Да нет, всего лишь окопник.



— И по совместительству философ. Аль прелюбодей? — сощурилась она и вздохнула: — Я таких ли речей тут наслушалась. Я уже вся в дырах. Всю издырявили мужичье, всю разделали, как говяжью тушу. Как я устала от этого всего.

— Я без всякого умысла...

— Без всякого... одичали там... грязные, вшивые... — вдруг рассердилась Ольга и отряхнула грудь.

— Вшей и грязь можно отмыть, а вот душу...

— О душе не беспокойтесь...

— Я не о вашей, о своей беспокоюсь.

— Это Божья работа. Но боюсь, что Он отвернулся от этих мест. — Прибравшись, Ольга присела на пенек и, отведя взгляд, молвила: — Не надо вам больше ни о чем беспокоиться, у вас все страшное и грязное осталось позади, на плацдарме.

— Там-то как раз и не страшно.

— А где?

— Знаю, да не скажу. Ну, спасибо за перевязку, за беседу, за ласку и заботу. Нет-нет, спирту не надо. Я не пью.

— Вот как?! И не курите?

— И не курю. Если уж когда не вмоготу. — И вдруг ввернул неожиданно даже для себя: — Не все продается, что покупается. Давно читали Куприна?

— А это еще кто такой?

— Комиссар.

— Чей комиссар?

— Не наш.

Зарубин лежал на топчане в отдельной палатке, между дровами, ящиками и санитарным инвентарем. Здесь изволил его навестить командир родного артиллерийского полка Иван Харитонович Вяткин. Зарубин плотно прикрыл глаза, чтобы не видеть этого мурлатого товарища с густоволосой, одеколоном воняющей прической. На утре, облившись холодной водой после здорового сна, он выпячивал бочкой круглящуюся грудь, на которой оттопыренно, точно у бабы, болталась пара медалей.

Вяткин протяжно и выразительно кашлянул. Зарубин нехотя открыл глаза.

— Здравия желаю, — приподнял Вяткин пухлую большую руку к фуражке и протянул ее для приветствия.

Корпусом, да и лицом, и прической Иван Харитонович Вяткин будто родной брат Авдею Кондратьевичу Бескапустину, тоже полковнику, но только в звании они и роднились, в остальном же, прежде всего в деле — небо и земля.

Александр Васильевич не вынул руку из-под одеяла и не повернулся к гостю. Вяткин сделал вид, мол, протянул руку затем, чтобы поправить постель раненого собрата по войне.

— Ну, как оно там? — повременил, переступил, — у нас?

— У нас неважно. У вас, я вижу, лучше.

— Х-ха! Шутник вы, Алексан Васильич! — переходя на свойский тон, хохотнул Вяткин. — Что дела там аховые, по раненым, по потерям знаю. Почему ты раненый на плацдарме сидел? Все геройствуешь? Ох, Алексан Васильевич! Алексан Васильевич! — отеческим, журиющим тоном гудел командир полка.

Зарубин пристально взглянул на Вяткина. Тот не выдержал его взгляда.

— Оттого, что заменить было некем.

— А Понайотов что? Отсиживался? Не спешил на помощь?

— Понайотов не умеет отсиживаться, и вы это прекрасно знаете.

— Так что же он?

— Вяткин! Уйдите из палатки, а? Уйдите!

— Да я, как старший. Я пришел вас спросить, я всешки командир полка.

— Вот именно всешки! Я вас презираю! Пре-зи-раю!

Ах, если б была сила и мог бы он взять полено, право же, гвозданул бы по этой причесанной «под политику» пустой башке.

— Ха-ха! Он презирает! Он презирает! Слова-то, слова-то все старорежимные. Тебе бы в царской армии, среди дворянчиков...

— Только чтобы не с такой мразью, как вы!

— Ну, ты это... выбирай выражения! — побагровел и затрясся Вяткин, готовый и дальше сражаться за себя, но в палатку влетела, схватила за руку мужа Анастасия Гавриловна и потащила его, бросив на ходу:

— Извините, товарищ майор. Извините... — выудив мужа из палатки, оттащив его в глубь леса, она вдруг размахнулась и дала ему

звонкую оплеуху. — Дур-рак! Чтобы сегодня же был в полку! Сейчас же! Вон! На нашей машине. Зарубин в любимцах у командира корпуса ходит. Что если он напишет на тебя докладную. Тебя ж... Да не напишет. Он гордый. И в полк к тебе он больше не придет. Некем тебе, дураку, закрываться станет. Пропадешь! Живи смирно, не ерепенься. Понайотова не раздражай. Тот, чего доброго, пристрелит тебя. Его дед или прадед у генерала Скобелева воевал... Потомственный боец. А-а, тебе что Скобелев, что Кобелев... — Подняв лицо на дрожащее сквозь полуопавшие дубы солнце, Анастасия Гавриловна слизывала слезы с губ.

— Ну, Тося! Ну, Тося! Ну не разостраивайся ты, не разостраивайся, — топтался Вяткин подле нее. — Ну, уеду я, сейчас уеду...

Анастасия Гавриловна была хорошим хирургом, но как женщина не удалась — малопривлекательная, простолица, незатейливо, хотя и добросовестно состроенная, она лучше смотрелась бы формовщицей в литейном цехе или трактористкой, шофером среди мужичья, на фронте связисткой или прачкой. Однако суждено ей было по роду и призванию сделаться врачом, да еще военным. На Халхин-Голе в госпиталь, где она начинала свой боевой путь, привезли молодого лейтенанта Вяткина, тогда и в самом деле болевшего язвой желудка, от курсантских и походных харчей обострившейся. Язва давно зарубцевалась, мужик здоров, но около жены изрядно избаловался, разнежился, обнаглел.

Баба, она все-таки есть баба, хоть и в чинах, и при должности. Наград у нее больше, чем у мужа, характер рубаки, умна, самоотверженна и в то же время слаба — расстанется со своим оболтусом, скажет себе: «Все!», — да через неделю затоскует о нем, захочет его нестерпимо и поедет на попутной в полк, чтобы потом опять сутками стоять возле операционного стола, отрабатывая «увольнение», и выпрашивать затем внеочередной выходной.

Как туго на передовой, Ванечка опять за брюхо держится, конем вокруг нее копытит: «Тосенька! Тосенька!» Она его и выручала, и помогала ему в продвижении по службе, в получении званий, в получении наград — не в коня корм! Не умнеет Ванечка, опять его надо выручать, подлаживаться, угождать. С нею все еще считаются в дивизии. Генерал Лахонин, качая головой, не раз говорил: «Ох,

Настасья ты, Настасья! На горбу тащишь несчастье. В последний раз! Слышишь — в послед-ний!» Сколько было тех «последних разов». Но вот генерал Лахонин переместился выше и дальше. В дивизию назначен новый командир, пожилой, виды видавший, а в артполку отсутствует командир, и в такое время, когда и солдату симуляция не прощается.

Майора Зарубина увезли на санитарной машине вместе с другими ранеными. На большой, разбитой дороге, по старым картам именуемой шоссе, набралась целая колонна машин, и под охраной двух бронетранспортеров двинулась та колонна в долгий, изнурительный путь. Не всем раненым суждено доехать до госпиталей, не всем предписано будет вернуться на фронт или домой.

— Ну, как он, Александр Васильевич, герой наш и упрямец? — поздно вечером позвонил в санбат командир корпуса.

Хирург коротко и сухо доложил, что рана в межреберье была бы неопасна, если б вовремя сделать рассечение, удалить осколок. Начался абсцесс, оба ребра раскрошены, выбиты — надо вынимать, и их вынут в госпитале. Он боится, что дело этим не кончится, — загнила костная крошка. Надо смотреть на рентгене — дошло ли гниение до позвоночника. Пока же они сделали, что возможно было сделать в полевых условиях: почистили рану, вынули осколок, сбили температуру, обиходили человека и отправили в эвакогоспиталь.

— В какой, не знаете?

— Где есть места. Госпиталя у нас, как всегда, переполнены.

— Ну, хорошо. Спасибо. Отвоевался, видимо, тезка Суворова.

— Думаю, да.

«Вот как хорошо. Вот она, жизнь наша. Обиделся друг мой сердечный, и правильно сделал. Замотался я вконец».

Зарубин, конечно, дошел умом своим, что их плацдарм всего лишь вспомогательный, что готовится грандиозная операция. Но вот попробуй теперь оправдаться и перед ним, и перед Натальей. Не дай Бог, узнает она, что он Зарубина на плацдарме забыл, раненого не навестил. Он-то, сам-то герой, не напишет ей, но как скроешь? Надо будет разыскать Зарубина в госпиталях. Надо, чтоб кто-то осторожно сообщил, что вот-вот будет указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза, и надо самому, непременно самому, вручить герою Звезду. Получит, конечно, Пров Федорович от Александра

Васильевича, сполна получит! Но такая уж доля генеральская: терпи, коли умного друга хочешь в сердце сохранить. А ведь его, такого прыткого, неуживчивого, железно-мудрого, однако, никто и не любит... кроме меня, конечно. Ну, еще Наталья, ну, еще Ксюшка, ну, еще солдаты... ну, еще... Ах, если б всем так!»

День прошел в страшном грохоте, суматохе и непрерывных боях. Высоту Сто противник очистил, реденькое войско русских фашисты потеснили: заняли кинутую часть противотанкового рва, теперь в нем немцы накапливаются, потому как в ров тот, будто в речку Черевинку, выходят все стоки-притоки, траншеи, ходы сообщений, устья многих оврагов и водоемов. Из того рва атаковать передовой батальон — ловкое дело. Но еще свободен овраг до самого берега реки, и не дать ли возможность Щусю отойти подобру-поздорову. За это снимут голову и батальонному начальнику, и художнику Бескапустину, даже хитровану Сыроватко не поздоровится.

На левом берегу ночами большое шабутенье, накапливается войско — для помощи Велико-Криницкому плацдарму или для нового удара? Сиди вот тут, точно кулик на кочке, тяни шею и высматривай — жениться пора, а подруга долгоносая с кем-то в пути и не торопится к родному болоту.

Кроме всех прорух и бед, еще одно крушенье — потерялась трубка. Без трубки полковник, что местный казак, тоже, между прочим, полковником именовавшийся, — Тарас Бульба, — никуда. Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескапустина, обшаривали землянку, обползали каждый вершок земли, ощупали все щели — нет трубки, пропала, провалилась проклятая...

И утро суматошное выдалось. С рассвета обнаружилось — весь берег бел от овощей. Где-то в верховьях реки немцы раздолбали баржу с сахарной свеклой, и в силу все того же течения Бэра, землевращения, значит, прибило буряки к берегу, где и доски, брусья от разбитого судна тоже прибило. Началась уборка урожая, вскорости перешедшая в массовую драку.

Пленные тоже сунулись за буряками, да куда там?! Оттеснили их боевые ряды русских обратно в земляные щели. Но буряков хватило всем. Пленным, правда, пришлось, снявши штаны, бресть вглубь и

вылавливать овощ. В оврагах самые отважные вояки пекли буряки в огне, по ним с противоположной стороны гитлеровцы бросали мину за миной, и, слух шел, одной миной угодило прямо в костер, над которым висела каска со свеклой. Сообщение это не повлияло на смекалистых костровых, оно лишь обострило их сноровку: варили свеклу в норах, продалбливали дымоход прямо из земли наверх, ели полусырую, сладкую овощ.

Пленные грызли овощ сырьем, лезли к кострам русских солдат, те морщились, будто от дыма, косились на фрицев, но уже не дрались, хоть немцы эти и пленные, — но тоже ведь люди, и тоже жрать хотят. Но скоро пленных собрали, сбили в строй, погнали в пойму Черевинки — копать могилу соотечественникам.

Немцы, в том числе Вальтер и Зигфрид, вырыли яму рядом с могилой русских солдат, сложили рядом до кальсон раздетых братьев своих. Чужеземцы — не какие-нибудь красные нехристи — связали обрывками провода две палочки, водрузили на братской могиле крест, — так и просвечивало сквозь кусты над Черевинкой рядышком обломок черенка от лопаты над могилой русских солдат и древний намогильный знак, пусть жалкий, пусть временный, но заставлял он людей почтительно притихнуть возле могилы, поклониться тем, кто еще не забыл Бога.

Перед уходом немцы кланялись могиле, тихо молились, читая молитву. Дитя гитлерюгенда Зигфрид Вольф, как и советский пионер, ничего божеского не знал, но старательно повторял за старшими товарищами: «Хайлиге Мариа, мутер готэс, битте фюр унс зюндер, унд ин дэр пггундэ унзэрэс тодэс...» («Святая дева Мария, прошу тебя о величайшей милости, чтоб некогда и я соединился с Христом на небе...»)

«О Боге вспомнили, падлы! — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. — Ишь, какие смирененькие сделались. Ишь, какие добренькие. Оне, чего доброго, после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, че делать? Нам кто грехи наши отпустит?..»

На левой стороне Черевинки, в соседстве со свежими могилами, солдаты выкопали нишу, соорудили мат из прутьев, насыпали сверху земли, чтоб заслонить планшет Карнилаева и карту Понайотова от дождя, перенесли телефон в земляное это сооружение, печку

перенести не успели. Едва рассвело, едва убрались с хозяйством из разоренного блиндажа, как минометчики обер-лейтенанта Болова аккуратно и яростно разнесли свой наблюдательный пункт.

Пленные немцы запали за бугорком свежей могилы. Несколько русских солдат залегли меж ними. Вальтер вскочил и, словно римский император, вознеся руки, закричал:

— Вэк мит инэн. Шлагт зи нидэр! Фюр майн шмах унд шандэ! Фюр ди шандэ унзэрэр вермахт. Фюр ди фюрере шандэ, дас эр айнмаль фершвиндэт, хойтэ нох. Фор аллем фернихтэт мисгебурт Зигфрид... (Кройте! Бейте! За мой позор! За позор нашей армии! За позор фюрера! Чтоб он сдох! Разбейте всех тут в куски! Прежде всего выродка Зигфрида!..)

Поднялись с земли после обстрела, отряхнулись. Шорохов трубку телефона продул, проверку сделал и ото всей-то душеньки вмазал по уху митингующему фрицу, да так вмазал, что рухнул ослабевший враг в самое речку и высказываться перестал. Зигфрид, возвращаясь на берег, в обжитую нору, упрекал товарища по несчастью:

— На, унд вас хаст ду эрцильт? Вас? Вильст ду, дас ман алле фернихтэт? (Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтоб нас всех уничтожили?)

— Ихь виль, дас ду эндлихь ден мунд хальт. (Я хочу, чтоб ты заткнулся.)

## День седьмой

Весь этот день самолеты не покидали неба над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики на сшибленные с высоты Сто остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно опустился на землю долгожданный вечер, затихла канонада, оседала вздыбленная земля, овражными токами тащило к реке дым, копоть, сажу, растягивая и осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы.

Благословен будь Создатель небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемой ночью. Знал Он, ведал, стало быть, что Его чадам потребуется время покоя, чтобы подкопить силы для творенья зла. Будь все время день, светло будь — все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет.

Допущен наконец-то был до работы с непокорным берегом начальник политотдела дивизии. Уж отвел он душеньку, уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь, среди закостенелого руководства, управы на аполитичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет, начал передавать новую информационную сводку — много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии. Мусенок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переяславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из «Правды» под названием «Боевые приказы Верховного главнокомандующего товарища Сталина», выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусенок приказал переписывать патриотический стишок «Гвардейское знамя», чтобы не надули, велел телефонистам вслух повторить записанное.

Алый шелк широко развернули,  
Стали строже удары сердец.



На почетном стоит карауле  
У заветного стяга боец.  
Боевое гвардейское знамя,  
Я тобой, как победой, горжусь!  
Я к тебе припадаю губами, —  
Я целую тебя и клянусь:  
Если споря с бедой грозовой,  
Ты костром зашумишь надо мною,  
Только в сердце раненье сквозное  
Не позволит идти за тобою.  
Лучше пусть упаду без сознанья  
По-гвардейски — лицом к врагу.  
Только б реяло красное знамя  
На удержанном берегу.  
Знаю я, кто сражался, умер, —  
Навсегда остается в живых  
В этом сдержанном шелковом шуме,  
В переливах твоих огневых.

— Вот, понимаете ли, что такое настоящий патриотизм? — сыро шлепал в телефонную трубку Мусенок. — Вот, понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед родиной!

И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами... Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, Мусенок шел все же, как говорят в Сибири, вразнопляс с бойцами, а сосуществовали они, как опять же говорят в Сибири, и вовсе вразнотыку.

— Да ладно, хоть отвязался, — увещевал Бескапустин своих художников-командиров.

Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь, и общества, ее породившего, держать всех и все в унижительном повиновении, чтоб всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтоб постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего невпопад, не сделал

ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул...

Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воюющего человека — и честный человек, добросовестный вояка, Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной: напишет «художник» Мусенок в верха, своему старому дружку Мехлису, или не напишет? Рычит полковник на ближних своих, измотанных за день до того, что, не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном, — до политики ли им сейчас, до шелком ли шелестящего красного знамени?

Успокаивались, приводили себя в порядок, умывались, готовились к ужину и на противной стороне. Генерал Конрад Штельмах, назначенный вместо старикашки фон Либиха, давал понять русским, что прибыл сюда не семечки лузгать, как здесь говорят, а воевать, и, хотя в этот его первый день присутствия в дивизии ощутимого перевеса не принес — русские сражались с отчаянием висельников — активность его войск была пусть и не очень результативна, но похвальна. Он уже отметил одобрительным отзывом действия минометной роты, работавшей без передышки, результативную атаку отдельного батальона, которым командовал майор Пауль Шредер. Батальон понес большие потери, нуждается в пополнении, но пока и наличными силами действует эффективно. Хорошо работала авиация, слава и благодарность асам Геринга. Фон Либих, еще в империалистическую войну привыкший воевать неторопливо, запустил дела, давая войскам вовремя обедать, себе позволял иметь часовой отдых после обеда, иначе голова его отказывалась соображать. Во вверенной ему дивизии есть случаи неподчинения, дезертирства, самострелы появились, причем количество их с прошлой зимы увеличилось. Новый командир дивизии требовал подкреплений, увеличения огневой поддержки с тем, чтобы сделать, наконец, этот давно обещанный «буль-буль!» русским. Но подкреплений дивизии не дают, более того, спешно сняли — для переброски на другие направления — полк истребительных орудий, увели роту самоходок, находившихся в резерве, и оба эсэсовских изрядно поредевших батальона. И вообще командующий группой войск дал понять по

радиосвязи — отныне без его ведома и распоряжения резервы не трогать.

Подавляя в себе раздражение, недовольный тем, что ему не дают развернуться, что всегда эти фонны-моны, повылазившие в чины из штабов и родовых имений, затирают выдвиженцев фюрера, добывших себе звания и награды в сражениях, новый командир дивизии Конрад Штельмах решил все же атаковать русских и отбить у них на первый случай хотя бы высоту Сто, так постыдно оставленную и давшую много преимуществ противнику.

К удивлению Конрада Штельмаха отдельные подразделения вверенной ему дивизии особого рвения и тем более радости по случаю прибытия нового командующего аж из Африки не проявили. Получив приказ о наступлении, командиры двух эсэсовских батальонов, по войсковому положению приравненные к командирам полков, вести наступательные действия отказались, сославшись на особые инструкции о передислокации, полученные ими от высокого командования. Весь день они проболтались без дела, точнее говоря, проспали на запасных позициях. А будь они, эти батальоны, в действии, купаться бы русским в реке, принимать общую освежающую ванну.

Воевавший в Африке ни шатко ни валко: оклемаются англичане, соберут силенки — он их расколошматит, отгонит в пески пустынь и опять спокойно устраивает смотры, попивает кофе в прибрежных виллах Средиземноморья — Конрад Штельмах жаждал доказать своими успехами в России, что талант полководца всюду может иметь преимущества перед чахлой бездарностью. Начальник штаба дивизии, привыкший, как видно, быть полным хозяином в дивизии при ленивом и вялом старикашке фон Либихе, деловито докладывая об итогах прошедшего дня, охладил пыл нового командира дивизии и еще более обескуражил данными разведки: у противника артиллерии намного больше, и стоит шевельнуться немецким частям, как начинается, по-солдатски говоря, благословение, на головы и без того усталых солдат обрушивается залп за залпом.

Еще до Сталинграда авиация противника отвечала ударом на удар, над плацдармом же советская авиация и количественно, и качественно превосходит геринговскую, прежде всего бомбардировочная. Ю-87, устаревший, допотопный самолет, сеющий бомбы, опять же по-

солдатски говоря, черт знает куда, порой на свои же окопы, не может уйти от маневренных истребителей советов. Зенитная артиллерия и истребители уже выбили половину, если не больше, эскадрилий бомбардировщиков, и, несмотря на высокое мастерство и храбрость асов рейха, русские самолеты, неуклюже, с большими потерями, завоевывают родное небо. Штурмовики «Илы» ходят чуть ли не по головам немецких солдат, нанося страшный урон наземным частям, территория же здешняя для действия танков — этого конька-спасителя — непригодна. Не иначе как русскими частями вспаханный берег реки не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую. Немецким частям, привыкшим к образцовому порядку, кажется, что вокруг них бродят русские, ведут разведку — обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь, — работает себе без смущения, прицельно крошит наши боевые порядки вражеская артиллерия, бродят в боевых частях самые невероятные, окопные слухи — пароль в уборной это называется — противник собирает еще один ударный кулак на левом берегу для проведения еще одной операции. Вот почему снимаются эсэсовские батальоны и другие части, так здесь необходимые, передислоцируются и те, что стояли в резерве, — на случай прорыва фронта русскими.

— Нам предстоят серьезные испытания, господин генерал.

Не понравился Конраду Штельмаху доклад начальника штаба, скребануло уши недопустимое выражение типа «родное небо» — небо у всех одно, но человек с желтым лицом, выгоревшими бровями, облезлый, обезжиренный, с нервно суетившимися руками, с изношенными гусеницами витого погона, не желающий смотреть в глаза, не напускал голубого тумана, не занимался очковтирательством.

Откуда же, откуда взялись такие силы у русских? Ведь не раз и не два в сводках вермахта и докладах фюреру сообщалось, что русские в прах разбиты, что армия их взята в плен, ресурсы исчерпаны, уголь и руда в наших руках, еще одно усилие, один нажим — и этот деморализованный сброд, называемый Красной Армией, будет уничтожен...

Но вот начальник штаба его дивизии, навидавшийся и натерпевшийся на Восточном фронте всякого, сделав общий обзор

положения на вверенном дивизии участке фронта, откинув голову, печально прикрыл глаза:

— Хотя полных сведений с левобережья еще не поступило, данные воздушной разведки подтверждают — сил для очередного прорыва там достаточно.

Генерал молча и пристально вглядывался в своего начальника штаба: не очень тщательно выбритое костлявое лицо как бы обнажилось под тонкой, изношенной кожей; глаза его словно углем обведены — как же устал этот человек!

— Вы хотите сказать, подполковник Кюнер, дела наши...

— Я ничего не хочу сказать. Я докладываю, — как бы проснувшись, собирая со стола бумаги, произнес начальник штаба. — И предостерегаю, гер генерал, нужно беречь силы — за прошедший день мы понесли неоправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают, и нужно, я полагаю, не атаковать противника в лоб, но, если противник позволит, отрезать его от реки, уничтожать все, что может плавать... Через очень короткое время русские или вымрут, или перейдут в плен... — И не удержался, все-таки сказал в лицо своему генералу то, что бродило, ползало по окопам: — Здесь не Африка, гер генерал. Здесь красивой войны не получилось. Здесь обе стороны бьются насмерть, и все средства хороши, коли они ведут к успеху, чего, к сожалению, не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортабельно и даже гуманно.

«Да он же дерзит!» — надо бы осадить этого, серыми жилами опутанного по лбу, даже по полуоблезлой голове, полковника. Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерное наступление невозможно. Для наступления нужны подкрепления. Но их не дадут, потому как затеваемая русскими переправа через реку — не последняя. Новокриницкий плацдарм, операция, теперь это уж ясно, вспомогательная — отвлекающий удар. Если бы удалось русским развить операцию, они, возможно, и перешли бы в общее наступление на правобережье. Но не получилось. Может, и новый удар не получится.

— Но... пока мы топчемся в этих оврагах, отражая один за другим удары противника, он готовит и подготовит где-то главный удар.

— Где? — пожал плечами Кюнер. — Знать бы заранее. Вот почему личным распоряжением командующего центральной группой войск, — начальник штаба дивизии подчеркнул голосом — личным! рас-по-ря-жением! — запрещено вести наступательные действия. Активная оборона — вот что нам рекомендуют наши стратеги.

Конрад Штельмах грузно опустил голову: «Да-да, его предположения оказались точными — не от добра, не от хорошей жизни выгребают войска из Африки и Европы. Дела на Восточном фронте после Сталинграда и на Курском выступе не просто пошатнулись, они... Но как все запутано! В Германии полная дезинформация! „Новый вал на реке!“, „Непреодолимая преграда“, „Окончательная могила для русских!“, „Дело фюрера непобедимо!“»

— Так что же, будем сидеть у речки и ждать погоды, как говорят русские, господин подполковник? — с неприязнью, однако, и с занимающимся в нем раздражением к этому измотанному войной, но самоуверенному человеку заметил строгий генерал.

— Я полагаю, господин генерал, русские не дадут нам такой возможности, — подчеркнуто равнодушно, пожав узенькими плечами так, что обмахрившиеся погоны ожили, выгнулись, заползали по плечам лесными гусеницами, заявил начальник штаба: — Как предписано — будем вести активную оборону. Пока же я прошу вашего распоряжения насчет снятия саперной роты с передовой, оборудовать штаб дивизии — прежний, как вам уже известно, разбит.

— Кому нужна, кому выгодна ложь? — спросил или подумал генерал.

Подполковник пропустил мимо ушей опасную реплику своего начальника и, словно заведенный, ровным, утомленным голосом продолжал вводить в курс дела генерала, уныло, будто по книжке читал о том, что русская артиллерия, этот воистину бог войны, как ее совершенно справедливо именуют в Красной Армии, крушит все и вся. Особенно прицельно действует гаубичный полк и бригада, с крутой траекторией полета снаряда достает в любом овраге, в траншеях, за высотой Сто, в пойме речки и в противотанковом рву. Как стало известно из подслушанных телефонных разговоров, на плацдарме артиллерию возглавляет какой-то майор, он ранен, но не покидает поста и держит в постоянном напряжении правый фланг и тылы боевых подразделений.

— Дерзкая, чистая работа! Делается малыми силами, но с большой точностью.

«Этого только не хватало! Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника!»

— Так поучитесь воевать у этого большевистского маньяка! — не сдержался Конрад Штельмах.

— Учимся, учимся, гер генерал! — усмехнулся Кюнер, как показалось генералу, даже снисходительно. — С сорок первого года, то они у нас, то мы у них. Конечно... когда совсем научимся, перейдем друг у друга полностью опыт, по-видимому, им уже воспользуются два оставшиеся на свете мудрых учителя.

«Это он о ком же? Что за намеки? — похолодел генерал. — Ну, они тут довоевались до предела, ничего уже не страшатся».

— И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских? — избегнув продолжения разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах.

— Но я уже говорил, гер генерал, что у русских и орудий, и самолетов слишком много, гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом? И тем не менее я прошу вас разрешить обратиться с просьбой к нашей авиации ночного действия о нанесении бомбового удара по артиллерийским позициям противника. — Кюнер как-то странно, по-птичьему клюнул носом, наклонив голову, — не поймешь — в поклоне или у него на шее чирей, — и бочком поплыл из блиндажа.

В этом полупоклоне или тоже манере генералу снова почудилось что-то насмешливое, если не издевательское. «Он разговаривает со мной, как с малым дитем! Битый вояка, хотя и сволочь, но прав, прав во всем, да еще и деликатен. Не сказал вот о том, что советские самолеты пробомбили ближний аэродром, так что ждать активности авиации не приходится и надо подчиниться обстоятельствам. От ночных же бомбардировщиков беспокойства много, толку мало, и это хорошо знает начальник штаба».

## Все остальные дни

Сердце Финифатьева слипается в груди капустными листьями, скрипит. В груди волгло, непродышливо. Надо бы выпрямиться, распусться телом, дать сердцу простор, но он боится потревожить притупившуюся боль, упустить тепло из-под одеяла и шинеленки, которое надышал: сердце, завязываясь в вилок, складывает, прижимает лист к листу, замирая в сиротливом отдалении, в знобном уюте, но какая-то струна звенит, дребезжит расстроено в голове или в груди — не поймешь. Сержанта смывает с земли, несет по воздушям под гору, к железнодорожной линии. Он и железную дорогу увидел первый раз, когда ездил по бесплатной путевке на курорт, он ее робел и, если она ему снилась, считал — не к добру. А тут что ни сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на железнодорожной линии. Он знает — нянька-бабушка захворала, Алевтина пошла на ферму, Марьюшку отпустили в детсад одну. А садик-то за рекою, в Перхурьеве, но вместо реки Ковжи, взявшей малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия — когда и проложить успели? Финифатьев раздвигает закутанную в шали, в платки безликую и безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам. Живы только глаза, все больше расширяясь, затопляя голубым светом землю, глядят на него с укором и с мольбой глаза Марьюшки иль Алевтины Андреевны, как глядели на него дети, когда болели, как глядела Алевтина Андреевна, когда он уходил на позиции.

«Мне же больно, тятя! Что же ты не поможешь мне?» — «Доченька! Марьюшка! Марьюшка!» — стонет Финифатьев, стараясь выловить, поднять с рельсов дитяню. Под руками пустота, и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины, Алевтины ли Андреевны глаза...

После такого оторопного сна Финифатьев страшился заснуть, принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье, деревня Кобылино, колхоз «Заветы Ильича», ныне Клары Цеткиной, не к ночи будь она помянута. Ждет его в далекой северной стороне, как и всех русских мужиков ждут жены, дорогая, Богом ему данная супружница, Алевтина Андреевна. И



наградит же Господь человека именем, назначению его и качеству соответствующим. Это сколько же он, будучи парнем, творил из имени зазнобы своей складных слов: Аля, Аленька, Аленочка, Алевтинушка, Тина! — и не упомнить, пожалуй, всех-то ласковых имен. И одно ведь басчей другого, каждое к языку медом льнет, сладкой каплей к нему прилипает, разливается теплом по нутру.

Будучи парторгом колхоза, не сам, конечно, по настоянию сверьху, презрев грубое, конечно, но родное название деревни Кобылино, навязал он населению родного села имя Клары Цеткиной. Население, конечно, безропотно одобрило революционное название, но на письмах и на коробках посылок кобылинцы упрямо писали «Клара Целкина». «Хэх! Каков народ-то вологодский! — дунет в валенок и озиратца вокруг, доискиваясь, кто это подвез?»

Щука шла из нова города,  
Она хвост волокля из Бела озера!  
Как на щуке чешуйка серебряная,  
Что серебряная, позолоченная,  
а голова щуки унизанная!

К богачеству эта припева велась да присказывалась. Еще бы, еще бы чего из древности-то в голове воскресить?

Ласточка-касаточка!  
Не вей ты гнездо в высоком терему,  
Ведь не жить тебе здесь и не летывати...

Эту девки пели, об замужестве когда мечтали-изнывали. Дальше-то, дальше-то вот как же?

Уж я золото, золото хороню-хороню!  
Уж я серебро хороню-хороню!  
Я у бабушки в терему, в терему!  
Гадай-гадай, девица, отгадай, красавица!  
В какой руке былица, змеиная крылица?  
А я рада бы гадала, и я рада бы отгадала,

Через поле идучи, русу косу плетучи!  
Шелком прививаючи, златом присыпаючи!

Утешение самолучшее страждущему, кровь за отечество пролившему — слово родины милой! Царица Небесная, отринь, отгони во тьму беспамятности нечестивый смысл и вид жизни моей прошлой, очисти душу от сора и плевел видением стороны родной, согрей теплом слова родного, горячей, сладкою слезой омоюсь я перед кончиной. Не учуял бы я, нет, глубинно, чисто и больно свет жизни, войны и бедствий не познав. Разве б возлюбил я так ближних своих, сторону родную, небо, землю, белый свет, весну-красну, лето зеленое, осень золотую, не изведав разлуки, не приняв страданья? «Господи-ы-ы-ы! Мать Пресвятая Богородица, намучий человека, намучий, постращай адом, но дай ему способ сызнова вернуться на землю, вот тогда он станет дорожить жизнью, и землей, и небом, им дарованными. Господи, Мать Пресвятая Богородица, пусть в горячем бреде, пусть в беспамятстве, пособи мне прислониться к теплу родительского очага!..»

Пал, пал перстень во калину-малину,  
В черную смородину, в зеленый виноградник.  
Очутился перстень да у дворянина,  
Да у молодого, да на правой ручке,  
на левом мизинце!  
Девушка гадала, да не отгадала,  
Наше золото порохом пропахло  
да и мохом заросло...

«Да и порохом пропахло, да и мохом заросло», — прошептал Финифатьев, и такая пронзительная, горькая жалость к себе охватила его, что, обращая взор в пространство, он спросил: «Алевтина Андреевна! Детки мои: Ваня, Сережа, Машенька, Граня, Веня, Марьюшка, Феденька — неприятная душа! Вот лежу я в земле, пожалуй что обреченный, но вас слышу, чую вас всех рядом и люблю, ох, как люблю-ууу!..»

Растерзанный жалостью, боясь спугнуть видение нутряным, беззвучным плачем, Финифатьев затаился в себе, напрягаясь изо всех сил, выуживал из памяти еще и еще что-нибудь, светлое, хорошо бы веселое, чтоб только приглохла боль, до крестца уже раскатившаяся, но главное — отогнать бы губительные предчувствия и липкий этот, капустный озноб.

Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после, как и всякому гражданину страны Советов, сделалось недосуг наполнять жизнь достойным смыслом, закутило, завертело его, как весь народ: организация колхоза, свары, распри насчет того, кто должен рыбу ловить, кто ее кушать; строительство дома, отделение старшего сына, еще постройка дома, гибель сына Феди — школьника — шел он из заречной перхурьевской школы домой, Ковжу уже прососало, ледоход налаживался, налаживался, тут вот и начался — даже не нашли мальчика, не похоронили, льдом его растерло, отчего и вина перед ним всегдашняя. Тестя раскулачили, самого Павла Финифатьева чуть было лишенцем не сделали, ладно смекнул в колхоз записаться да поскорее в партию вступить. Партейные товаришсы тут же его на все пуговицы застегнули да казенным ремнем запоясали, в доносчики завербовали, парторгом колхоза назначили. В светлое-то будущее он не особенно верил, сомневался в нем, но ради семьи, ради жизни живой дюжил, унижения переносил, приспособливался. Война, которую все время сулили, перекатным грохотом по российской земле прокатилась. До сорок третьего года хитрил, даже и подличал, должностью парторга заслоняясь, ан подмели по деревням остатки-сладки — некому фронт держать.

Над Ковжей-рекой, в крестовом доме с мезонинчиком, деревянным кружевом обрамленным, осталась бедовать с ребятишками Алевтина Андреевна. Допрежь он исхитрялся одну ее никогда не кидать. Жалел потому что, и она его жалела — любовь промеж них была ранешная, негромкая, зато крепкая.

Алевтина Андреевна происходила из села Перхурьево, что лепилось по другую сторону Ковжи. На подмытом бережку, поросшем мелкорослым, пихтачем, косматым можжевельником, во тьме похожим на притаившиеся человечьи фигуры, голое, безлесое, зато на виду село и на солнце всегда, с церковью, со школой посередке.

В двадцать четвертом году в Перхурьево начал работать ликбез, молодые девки и парни полетели на вечерошний огонек, что метляки на лампу, потому как ни в Перхурьево, ни в Кобылино клуба не велось. Игрища собирались в откупленных избах. А тут на-ко тебе! Без хлопот, забот — бесплатное место сбора образовалось, да еще и грамоте учили там же. Учительша — молодая совсем. К ней быстро приладился сельсоветский секретарь в военном галифе с блистающими во глубине рта железными зубами. Подучивши ковженцев счету и мало-мало корябать на бумаге, строчить любовные записки, учительша та полностью переключилась на просветительно-массовую работу, сделалась как бы уже и не учителем, а затейником на селе, ставила постановки про буржуев и попов, организовывала шествия против религии, праздничные демонстрации, танцы, разучивание песен про мировую революцию.

Вскорости появился у нее горластый малец, революционный энтузиазм свой учительница полностью обратила на дитя, так как секретарь сельсовета в галифе по весне уплыл вниз по Ковже — решать «в центре» вопросы большой важности. Решение вопросов затянулось, в Перхурьево военный кавалер не вернулся. Однако дело, начатое учительшей, пропасть уже не могло, потому как всколыхнулись молодые массы, да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходяще, так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться.

Финифатьев Павел еще в ликбезе начал пристраиваться к Алевтине Сусловой из Перхурьева, тогда еще просто Тинке. С ходу успеха не имел, но цели своей не кинул, внимания своего не ослабил, на других девок его не рассеивал. Уж больно хороша была Тинка-то! И слепы же парни в Перхурьево-селе, не умели разглядеть, до чего же она хороша! Телом пышная, но не рыхлая, вся как бы молоком парным мытая, со спокойными голубыми глазами, умудренно глядящими на мир этот, революционно всколыхнувшийся.

Никак бы не одолеть ту крепость Пашке Финифатьеву, если б не грамота, так кстати ему сгодившаяся. По дому ходила книжка без корок, завезенная в Кобылино когда-то еще при деде Финифатьева веселым офеней, таскавшим кованый сундучок на гнутых санках, — «капиталы» от выручки в кошеле на груди. Однажды развернул ту книгу Павел и оторваться от нее не смог. Хотя он и считал себя в ту

пору полностью от веры отринутым, активным атеистом значился, в комсомол записался, порешил все же про себя — сам Господь Бог перстами своими трепетными вложил ему в руки такую дивную книжку.

На первой странице книжки крупно, с завитушками было написано: «Поучительные и полезные наставления по политесу, приятным манерам, такожде содержащая поучения разного свойства; по написанию любезных посланий, умственно-изящных выражений, по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинства любовные; такожде загадки, ворожбу, невинный обман в стихах нравоучительного свойства; такожде советы по отысканию счастья в супружеском лоне и многому иному, потребному для человека, жаждущего культурного усовершенствования и приятного обхождения в благородном обществе».

Белым потоком хлынули послания в Перхурьево из-за реки Ковжи на имя Алевтины Сусловой. И какие послания! «Лети, листок, прямо на восток. Упади, листок, у любезных ног!..» Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет счастья и любви, которые были обозначены лишь намеками, но все равно угадывались, и таился в них призыв, однако не настолько уж тонкий, чтобы не прочитывалось личное чувство и отношение к затронутому вопросу: «Что тужить, мой друг! Утро завтрашнее разрушит вашу печаль и уменьшит ваши страдания...», «Судьба того никогда не оставляет, кто тверд и решителен в предприятиях своих», «Натура ваша сотворена доброй и мягкосердечной, но только сдержанность ваша и холодность могут сослужить вам к несчастью и одиночеству». И так далее, и тому подобное. В конце любезного письма непременно уж загадки, да такие мудреные, что никак не отгадаешь: «Я молча говорю издалека с тобою, не слышу, не смотрю, но то, что видели и слышали, — открою», «Сорву космату голову, выну сердце, дам пить — будет уметь языком не всяк говорить», «Штучка-одноручка, носочек стальной, а хвост льняной!», «На ямке-ямке сто ям с ямкой», «Маленько, кругленько, в середине беленько, и горько, и сладко, и маслянисто».

И, протомив день, порой и три дня «любезную даму сердца», сломленный мольбами, слал он за реку письменные отгадки: «Письмо», «Перо», «Игла», «Наперсток», «Орех».

Лишь повоевав достаточно и достигнув чина сержанта, Финифатьев узнал название всему этому — тактика! А в молодости он, однако, мало чего понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. «Любезная дама сердца» из сил выходила, напрягаясь, чтобы так же складно и изысканно отвечать на послания «любезного друга сердца из села Кобылино», потому как имя пламенной революционерки Клары Цеткиной значилось на вывеске сельсовета, в протоколах собраний, на лозунгах и в разных отчетах, а в остальном приживалось туго, да и не приживется, пожалуй что. «Отдала колечко со правой руки, полюбила парнечка я из-за реки», — лепетала Тина и доходила совсем уж до явного откровения: «Я сидела на лужку, писала тайности дружку. Я писала тайности про любовны крайности...»

Но что это за изречения по сравнению с теми, которые обрушились на нее из-за Ковжи-реки. «Живи, лови минуты счастья, не унывай в седой тоске. Пройдут невзгоды и несчастья, ты улыбнешься солнцем мне!» По этой, только по этой причине стала казаться себе Тина недотепистой, отсталой, не раз плакала она сама об себе и об горькой своей участи, тем более что кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы: как принести воды в дырявом ведре; как протолкнуть голову через кольцо; как снять с себя рубашку, не скидывая сюртука. Кроме того, он помнил святочные гадания, песни и полностью уж заменял на игрищах учительшу-затейницу, уехавшую учиться в город на киномеханика. Словом, кончилось все тем, что Тину-Алевтину утешать взялся перхурьевский архаровец Венька Сухоруков, имеющий бельмо на глазу и по этой причине не угодивший на войну, ныне заправлявший колхозной рыболовецкой бригадой.

«Не бывать тому!» — сказал себе кобылинский кавалер, и, сообщив «даме сердца» о том, что «змея ползет к человеку для уязвления, а вы лучше хорошенько бы рассмотрели и основывались на истине, а к пустым словам не прилеплялись, ибо в них яд сокрыт...», Финифатьев неделю при тусклой лампе переписывал наставления в тетрадь и подкинул труд в дом Сусловых.

Снова пошла между Кобылино и Перхурьево такая переписка, что, захваченная ее бурным порывом и загадочной, небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров, от Веньки бельмастого и всяких иных воздыхателей.

Вознегодовав, перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой бельмастым прошли по Кобылино, громко выкрикивая: «Как кобылински девицы, из отрепий, из кострицы, ходят задом наперед — никто замуж не берет!..» Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста-комсомольца Пашки Финифатьева.

Мы ребята — ежики,  
У нас в кармане ножики,  
По две гирьки на весу,  
Левольвер на поясу!

Но ничего уж не могло удержать двух пламенем объятых сердец, стремящихся в «лоно семейного очага», тем более, что в том же умном наставлении было как будто специально для них сказано: «Счастье — не пирог, дожидаться нечего...»

А и будучи женатыми, оставались они радыми друг другу и нет-нет да и затевали игру, им только и понятную, вгоняя родителей в сомнение насчет сохранности ума у молодых. «Счастье — кипяток, разом обожжешься!» — хитро сощурившись, бывало, начнет Алевтина Андреевна заманивать Павла в горницу. А он ей тут же: «Искусный плаватель и на море не утонет!» Украдкой, совсем уж тихо шепнет сваренным голосом голубица ясная: «Грех сладок, а человек падок!»

Само собой, от игры такой пошли детки. И вот уж старшие сыновья, той вечной радостною игрой увлечены, пошли-поехали гулять, хотя и не было у них ранешних полезных наставлений, они все равно привели в дом молодух.

Тетрадку, когда-то ей в Перхурьево посланную, Алевтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевеля губами, прочтет: «Счастье — не голубь — кого полюбит», уронит слезу на желтые листки, жалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоится, норовя трудом своим изладить лучше жизнь другим людям — детям своим.

Еще какой-то миг Финифатьев удерживает видение — супружницу свою драгоценную, с годами сделавшуюся дородней, но

все голубицей ласковой глядящей. Он чувствует взгляд жалостливый, призывный, но то, что когда-то в наставлении означалось загадкой: «Что сильнее всего на свете?» — вдавливая Финифатьева в земляную щель, на смену приятным воспоминаниям наплывают темные, жуткие видения, подступает явь, которая страшнее снов. Видится ему зыбучее болото, по болоту тому, не увязая, хватаясь за горелые сосенки, бредет в белом халате медсестра обликом точь-в-точь Нелька Зыкова, что сулилась за ним приплыть, да что-то никак не плывет. На ходу она стряхивает градусник, навалившись на грудь сержанта, раздвигает зубы, расщеперивает рот, сует под язык градусник... нет, исправилась, градусник перенесла куда надо, под мышку, в рот-то закатился комочек земли, может, галька. Отчего же градусник-то шевелится? Холодно от градусника — это спервоначала всегда так, пока не согреется градусник от тела, но чтоб шевелился... Да ведь это змея, болотная гадюка под мышку-то заползла, жует градусник кривыми зубами, треск стекла слышно...

— Аа-а-а-а! А-а-а! — вскинулся Финифатьев.

И что-то отпрыгнуло от него, мягко выпало из норки.

— Божечки! Крыса! — зашевелились реденькие волосы на голове сержанта.

Фашисты выжигают и рвут вдали древний город — вся нечисть из него ринулась в бега, ей, нечисти, тоже жрать чего-то надо. Едят мертвых, у беспамятных носы и уши отгрызают.

В штабной нише под козырьком сменились связисты. Отдежуривший связист уполз на обогретое место, на растертый бурьян, из-под праха которого обнажилась кореньями надолго уже остывшая земля. Выступивший на дежурство связист навесил на башку две телефонные трубки, пытался оживить печку, перенесенную из блиндажа (убить эту сваренную из броневоего железа печку не могли даже доблестные минометчики обер-лейтенанта Болова), собрал с полу все, что может гореть, выдернув горсть ломаной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, раздувая трут или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткой в середине, наконец, добыл огня, поджег бурьянок в печке и, замороженно стоя на коленях, неотрывно смотрел на огонек, вроде бы пытаясь постигнуть тайну его или просто порадоваться огоньку с горьким, полынным дымком, отдающему пусть и слабенькое, но не предвещающее смерти тепло. Из тьмы, зачуяв



запах дыма, выступил постовой, вывернул карманы, кисет, выбирая из пыльных уголков золотишки табака, попросил связиста то же сделать.

«Да некурящий я», — отозвался Шестаков, — но на всякий случай все же вывернул карманы штанов. На нем, кроме нижнего белья, все было с чужого, мертвого тела, так, может, прежний хозяин одежды был курящим человеком. «Нет, ничего нету, — тихо уронил он, — и печка прогорела». Подумал, может, от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие, головешки ли, попросил часового сходить туда. «Ладно», — согласился постовой, намявши в горсть полыни, он смешал ее с табачной пылью, прикурил, захлебнулся едучей горечью дыма, сердито бросил цигарку и какое-то время стоял перед печуркой на коленях.

Лешка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал ее уже, вступив на дежурство, придумывал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя ими на дежурстве, которое за делами проходит быстрее, но главное — не дает уснуть. В свете дня писать письмо, починять штаны и рубахи, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто читающий и запасся старыми газетами, прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. Но коли ты выспавшийся, сытый — вспоминается кое-что из прошлой жизни, такое, что манит заняться Дунькой Кулаковой, — грешку этому шибко подвержены связисты.

На Брянском фронте, помнит Лешка, до дыр зачитали оставшуюся с зимы в окопах «Историю ВКП(б)» — до чего же нудная и противная книга, но читать-то нечего, вот и мозолили ее, с бумагой плохо сделалось, начали ее курить — и тут нелады — напечатана на дорогой, толстой бумаге, на цигарках при затяжке она воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу, самое вэкэпэбэ, и никто из чинодралов придраться не мог — брань совершенно обоснована.

Много занятий у опытного связиста, главное из них — треп. За этот грех шишек насобирает связист полну голову: уснет или затокуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедля завезет телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, легкие, от них, если стукнут по башке — один только звон, шишек же нету, кроме того, трубки эбонитовые

хрупкие, и, если отец-командир переусердствует — трубка растрескается, когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционной лентой обмотают, проволочками разными скрепят, но качество техники уже нарушено, мембрана в трубке катается при разговоре, чего-то дребезжит и замыкает. Взовьется товарищ командир: «Что со связью?!»

«Сами же об мою голову трубку разбили, сами вот теперь и работайте, как хотите».

У старого, заслуженного, поди-ко еще с царских времен телефонного аппарата ящик тяжелый, трубка с деревянной ручкой, зимой пальцы от нее меньше мерзнут. Все остальное из нержавейки или из меди отлито, трубка, почитай, килограмм весом — завезут ею в горячах — долго в башке звенит и чешется...

У Щуся, у того не задержится — чуть чего и долбанет, делает он это психовато, но никто на него не обижается. Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал, чтоб трубкой бить — у него и моды такой не было, сделает замечание либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай и от старого аппарата. Понайотов — человек очень даже культурный, но кровей не наших, его уж лучше и не доводить до психа — он не только долбанет трубкой, но в гневе и из блиндажа вышибет.

При таком вот действенном воспитании фронтовые телефонисты с одного раза много чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров, не переспрашивают, не тянут волынку с передачами команд — плохая, хорошая ли слышимость — работают четко, соответствуют своему назначению, иначе вылетишь из-под крыши и, язык на бок, будешь носиться по линии, проматеренный, проклятый насквозь, и поджопников насобираешь полные галифе. Линейному-то связисту не то, что починиться, на ходу, на скаку, как собаке, жрать приходится. Одно преимущество у линейных связистов — ранят и убивают их часто, так что и намаяться иной братан не успеет, ляжет на линии, тут его в случайной канавке или воронке и зароят.

Нет у Шестакова ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь, треп на линиях прекратился, да и строго-настроено запрещено телефонистам на плацдарме трепаться — враг во тьме шустрит, к

ниткам связи подключается, планы наши выведывает, тайную щусевскую линию ищет.

Чего только в голову телефониста не лезет ночью, прямо помойка — не голова, напичкано в ней черт те что! Ползут, шевелятся под трубками в башке неторопливые думы, замедлят ход, возьмутся лезть одна на другую — значит, дрема подкатывает, мешаться начала явь со сном. И надо отгонять дрему единственным, тоже давним и привычным способом. Лешка шарит под бельем, лезет под мышки, в мотню, вылавливает тварей — в этом деле опытный телефонист тоже наторелый охотник — он за одной тварью гоняться не станет, он их в волосьях пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает. Упираются плененные зверюги лапами в брюхи пальцев, задами вертят, если б кричать умели, так всех бы на плацдарме разбудили!.. Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма: щепотью их связист вынимает и отпускает на волю, не на долгую — уронит вниз к ногам и обувью их заживо стопчет, похоронит: не кусайся, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой.

Лешка еще и уловку придумал: начнет дрема его долить — он зверье с волосьями прихватывает и как бы нечаянно рвет растительность с корнем — сразу сон в сторону отскакивает.

Сидит солдат-телефонист во тьме, носом пошмыгивает, возится, охотничает добычливо, на голове у него телефонные трубки на подвязках, словно огромные негритянские серьги, болтаются, по ним, ровно с того света, — писк, свист, шорохи, завывания, звоны тихие и тайные — работает, сторожит войну тревожный, хитрый ящичек, пощелкивают капли в брезент, которым прикрыта ниша. Скрипят осоки над речкою, внятно лепечет обсохшая иль вояками выпитая, избитая Черевинка. Ракеты реже и реже взлетают в небо. Полет их делается как бы продолжительней, сонным мерцанием, желтым зевком унимается ракета, корчась на земле. Реденько постреливают орудия с левого берега. Чиркая, распластнут черное полотно ночи светящиеся пули и улетают в никуда. «Кукурузники» шарятся над плацдармом, чего-то ищут, косо посикивая светлыми, быстро угасающими струйками. На земле, да уж вроде над землею, все стоит и стоит купол грозного пожара, ровно бы кто-то изо дня в день все сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорно истлевает город.

По линии все идет и идет индукция, от лежащего в воде провода она слышнее. Может, это Ашот Васконян, закопанный за речкой, с того света весть подает, плачет в небесах от одиночества.

Ночь осенняя длинна, не скоро еще утро. Изредка нажимая на клапаны, по возможности бодрее — совсем он не дремлет, даже не думал дремать, — телефонист говорит в невидимое пространство:

— Проверка.

— Есть проверка! — откликается ему пространство.

На утре сменили на посту того олуха, курившего полынь, но так и не раздобывшего топлива. Громко, с подвывом зевая, Леха Булдаков замахал руками, присел раза два, чтобы разогнать остамелость из костей. Ботинки, насунутые на полступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле съезженными пальцами ног. Не везет Нелька обещанные прохаря, не везет, видно, достать не может. Разогнал вроде бы сон Булдаков, но внутренняя дрожь в нем не унималась. Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле. В темноте невидимая шлепалась пенистая сырь, упругой струей вымывая в песке лунку. «Есть еще, чем облегчиться, значит, живу, — потрясши штаны, удовлетворенно отметил Булдаков. — Но пожрать, пожра-а-ать бы! А-ах!» Он перешел речку под навес, заглянул в ячейку связиста. Шорохов тоже только что сменил Шестакова — так они попеременно вдвоем и бьются с врагом, держат отечественную связь в боевом настрое. Пробовали ординарца майора в облегчение себе употребить, путается в работе, нарочно путается — заподозрили связисты, но Понайотов — мужик головастый, знает, как с разгильдяями обращаться, — отослал хнычущего вояку в батальон Щуся связным — там путаться не в чем, быстро поймет, где свои, где чужие, филонства там нет никакого — сплошная война и работа лопатой.

— Не спишь? — спросил Булдаков Шорохова. — Тогда одну трубку с уха сыми, будь на шухере. Я деда на берегу попроведаю.

Булдаков поспел на берег вовремя, Финифатьев как раз норвил с визгом вывалиться из норки.

— Ты че, дед? Чего испугался? — подхватил его Булдаков.

— Крысы, Олеха, миленький, крысы... Шарятся, грызут чего-то? Покойников, а?

— Ладно, дед, не паникуй. Не страшной фашиста крыса. Ты, может, попить хочешь?

— Водицы-то? Холодяночки-то? А я глону, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пишши. Кто на посту-то? Нас эть тут крысы не съедят, дак немец переколет. — Отныне Финифатьев больше всего боялся штыка.

Булдаков пошел к ручью с котелком Финифатьева.

Приподнявшись на локоть со здорового бока, Финифатьев хлебнул несколько глотков воды, пронзившей холодом пустое, но жаркое от раны нутро, крикнул, будто от крепкого самогона, передернулся зябко:

— Мне дом опять снился, Олеха.

— Дом? Дом — это хорошо, дед, — Булдаков был где-то далеко-далеко.

Так и то посудить — он вон лежит в норе под одеялом и шинелью, и ему холодно, а другу сердешному, Олехе-то, неслуху этому, каково? Уработался за день, ухряпался с пулеметом, но ни питанья, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушел вот с поста — завсегда готов ради друга пострадать. Под дождем, на улке, голодом... Ох-хо-хо-хохонюшки-и!.. Жалко-то как человека, а чем поможешь? Сунул ему две бечевочки, сам их и свил Финифатьев, выдергивая нитки из трофейного одеяла.

— Подвяжи ботинки-то на ногах, подвяжи, — все меньше спадывать будут. Тебе на утре в бой.

Булдаков принял бечевки саморучные, в карман их сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил — это Олеха-то, вечный-то балабол!..

— О-о, Господи! — тихо уронил сержант и всхлипнул.

Булдаков думал о еде, только о еде. Он хотел, но не мог стронуть мысли в другом направлении, дать им ход в другую от харчей сторону. Пытался представить родную Покровку на зеленом взгорке — там на окраине поселка, на самом крутике, стоит часовенка, что игрушка! Стоит она на том месте, где был в давности казацкий пост, и гора, и часовенка зовутся Караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая Богом, никого не боясь, не почитая, на ее стенах пишут и рисуют срамоту, а часовенке хоть бы что — все бела, все независима, ветры вольные над ней и в ней гуляют-гудят, птицы свободные над нею выются, стар и мал, если верующие, мимо идя,

перекрестятся, поклонятся: «Прости нас, матушка». Неподалеку от той часовенки, в парке имени Чернышевского, малый, видать, здешнего казацкого рода, на пыльной листве до того однажды утолок Леха младую туготелую сибирячку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полку в бане. Пришлось ее, сердешную, волоком туда втаскивать. На полке теснотища, и он, не имеющий никакого опыта в любовных делах, до того устряпался в саже, что назавтра все дома узнали, где он был и что делал. Тятя сказал: «Ишшо баню спалишь, бес!» — и кулачище сыну поднес, дескать, увлеченья увлеченьями, но про родительский суд не забывай. Накоротко возвращаясь из тюрьмы, тятя завсегда наводил порядок в своем доме, бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам Караульной горы. В житье тятя размахист, не скупердяй, со стола валилось, особенно если не из тюрьмы, а с заработков, с золотых приисков возвращался родитель — изобилие в доме, выпивки, жратвы, сладостей до отвала.

«Ах, нет, никуда от пишшы мысля не уходит! И до чего же жрать хочется!» — устав с собою бороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том, чего, где, сколько, с кем ел и сколько мог бы съесть сейчас. Хлеба уж не меньше ковриги, картошек, да ежели с молоком, пожалуй, ведро ошарашил бы, ну а коснись блинов или пельменей — тут никакая арифметика не выдержит!.. В это время из соседней с Финифатьевым ниши, в которой еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец, отвернулся от людей к реке — помочиться — культура! «Как это их продерьгивают-то? „Русь культуришь?“ — „Ну а хулишь!“» — Не убегают вот немцы чего-то? Шли бы к своим, там поели бы, он бы на посту сделал вид, что не заметил, как они утекли. Пропадут же. Но Булдаков все же пригрозил врагу на всякий случай:

— Не вздумай бежать. Не вздумай цурюк, нах запад. Стреляю сразу на свал. Из Сибири я.

— Бист ду аус Зибириен? Дэр зибириэр ист айн видэрштандсфэхигэс тир, эс кан онэ эсэн бай фрост, им шнэе лебэн. (Сибиряк-то выносливый зверь, он может жить без пищи, на морозе, в снегу.)

— Не знаешь, так не трепись, — пробурчал Булдаков.

Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальты одни, то есть катухи мерзлые на дорогах, ветер холодный свистит, и больше ничего нету.

— У нас, если хочешь знать, хлеба урождаются — конь зайдет — не видать! Шишки кедровые — завались! А рыбы! А зверя! А Енисей!..

Но пленный его уже не слышал. Он всматривался, вслушивался в ночь, из которой белой крупой высеивался сыпунец, тренькая по камням, шурша по осоке, по песку. Немец взглядом проводил вроде бы рядом вспыхнувшую ракету, подождал, пока погаснет, и едва слышно молвил:

— Гот мит унс. Дер криг ист шлафэн... (Спит война. Бог над миром склонился...) — перекрестился и послушно залез обратно в земляную нишу, где вместе с ним, сидя, спали два русских раненых бойца, плотно вжав в землю то и дело дергающегося, взмыкивающего Зигфрида, который простудился и метался в жару.

— Херр майор хат унс бетрюгт. Эс гибт каин ротэс кройц, каин лагэр фор криксгефангэнэ. (Господин майор обманул нас: нет красного креста, нет лагеря.)

«Какой народ непонятный: молится и убивает! — размышляет Булдаков. — Мы вот уж головорезы, так и не молимся».

Семья Булдаковых деранула из таежного села в город от коллективизации, и весь, считай, поселок Покровка состоит из чалдонов, из села сбежавших, быстренько пристроившихся к политическому курсу и переименовавших Покровку в слободу Весны. Дедушка с бабушкой, сказала мать, перед посевной, перед сенокосом, перед страдой постукаются лбом в пол, тятя же родимый, попавши в Покровку, в церкви не на иконы зыркал, а на бабьи сельницы. Крупный спец был тятя по женской части, матерился в Бога, братаны-удальцы тем же путем следовали, одно слово — пролетарьи. Да ведь и то посудить: кормежка какая!

— Не, я больше не могу! Я должен раздобыть пожрать!

— Собери глушеной рыбешки, пожуй. Я пробовал, да бессолая-то не к душе. Время-то скоко, Алексей?

— Целое беремья! Зачем оно тебе, время-то? — но все же не без отрады взглянул Булдаков на светящийся циферблат наручных часов.

Шорохов захапал в блиндаже минометчиков четыре штуки — одни отдал ему. Форсистые, дорогие часы.

— Двенадцать с прицепом. В прицепе четвертак.

— О-ой, матушки мои! Я думал, уж скоро утро. Голодному ночь за год.

— Не-эт, не я буду, если жрать не добуду! У бар борода не бывает, у бар усы. — Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке под стоптанными, хлябающими на ногах ботинками.

«Где добудешь-то? — хотел остепенить друга сержант. — Тут те не красноярский базар, тут те...» Шаги стихли, и, коротко вздохнув, Финифатьев снова влез в глубь норы и снова начал отплывать от этого берега, погружаясь в зыбкую мягкость полусна.

В самый уж глухой, в самый черный час, когда и звезды-то на небе ни одной не светилось, все свяло, все отгорело, все умолкло на земле и на небе, лишь над далеким городом накаленно светился небосвод, руша камни и песок, в Черевинку свалились Булдаков с Шороховым, волоча за лямки три немецких ранца. Добыткики возились в затоптанных и обрубленных кустах возле Черевинки, сбрасывая напряжение, всхохатывали:

— Ну, бля, помирать буду, не забуду, как его перекосило! — Булдакова распирал восторг, тугой его шепот, переходя в восторженные всплески, шевелил свернувшиеся листья на ближних кустах. — Фриц похезал, штаны на ходу натягивает, со сна прям в меня уткнулся. Я хотел его спросить: «Ну, как паря, погода? Серкая?» — да вспомнил, что не в родной я Покровке. Хрясь его прикладом, но темно же, скользом угодило. Он завыл: «О-о, русишен, русишен», должно быть, и дохезал в штаны все, что на завтра планировалось...

— Я бы его, суку, припорол, чтобы вопшэ никогда больше хезать ему не хотелось.

Шорохов с Булгаковым гутарили и в то же время разбирали трофеи, чавкали чего-то, торопливо пожирая, пили из фляжки шнапс, передавая посудину друг дружке. Под козырек, накрытый матом, входило всего трое неупитанных людей — Понайотов, Карнилаев да Лешка с телефоном. Грея друг дружку спинами, вычислитель и командир теснились в глуби ячейки. Удальцы-молодцы затиснулись



под козырек, вдавили обитателей этого убежища в землю. Захмелев на голодное брюхо, Булдаков дивился превратностям жизни:

— Вот, братва, житуха! Подходило — хоть помирай, и уже ниче... — И братски делясь харчем, совал фляжку, наказывая делать по глотку, по длинному.

— Я, однако, не буду пить, — отказался Лешка. — Голова с голодухи и без того кружится. Где это вы?

— Я, сучий рот, в мерзлоту, в вечную вбуривался и там, в мерзлоте вечной, харч добывал, выпить добывал. Когда и бабу! — в который уже раз похвастался бродяга Шорохов.

— А я, — подхватил хвастливо Булдаков, — ковды на Марее ходил...

— На какой Марии? — заинтересовался Понайотов.

— На сестре Ленина.

— Пароход это, пароход, — встрял в разговор Шорохов. — А ты че подумал, капитан? Ну, бля, поте-эха!

— Постой, кореш, постой. Так вот, на Марее в рейс отправимся, дойдем до первой загрузки дровами, сразу покупаем корову — для ресторана, рыбы пол-лодки, тайменя, стерляди, ну и для судовой кухни тоже. Еда — во! Пассажирок — во! Э-эх, жизнь была! Гонорил, выдрючивался, хайло драл...

— Целки попадались? — в кровожадную стойку вытянулся Шорохов.

— Всякие попадались. Но, говорю же, не ценил, олух царя небесного, роскошную такую жизнь.

— Роскошь! Дровами пароход набивать! Весь груз на горбу.

— Мерзлоту долбать краше?

— Мерзлоту долбаешь под охраной, никто тебя не украдет, все бесплатное кругом. Удовольствия скоко!

— Ну, лан. Я к деду сбегаю.

— А я, пожалуй, схожу, козла припорю. Съедим. Ну-к, Шестаков, уточни, где ключ-то, возле которого козел жирует? Я этого хапаря без карты сыщу.

— На немцев напорешься?

— Ну и што! — храбрился Шорохов. — Не бойсь, боевой мой друг. Советкай конвой пострашнее фашиста будет, да я и его не раз оставлял без работы. — Шорохов затянулся ремнем, сунул лимонку в

карман, свой знаменитый косарь за голенище и, под нос напевая гимн любви, который он заводил всякий раз, когда посещало его хорошее настроение: «Дунька и Танька, и Манька-коса — поломана целка, подбиты глаза...» — растворился во тьме.

Финифатьева продолжали преследовать кошмары, он замычал, задергался, когда его вместе с одеялом, точно куклу, выпер из норы Булдаков. Одеяло то, которым накрывали убитых, подполковника Славутича и Мансурова, Финифатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем из осоки от крови и вшей, просушил на солнце и теперь вот в тепле, в уюте пребывал, если б еще рана не болела и не текла, дак и совсем ладно.

— На, дед, на! — совал сержанту в засохший, волосатый обросший рот ребристое, студеное горлышко фляги Булдаков.

И не успел спросить сержант, что там, во фляге-то, как его полоснуло по небу, по горлу, он поперхнулся, но зажал обеими горстями рот, чтоб ни одна брызга не вылетела. Булдаков радостно балаболит, угощая Финифатьева празднично, как ребенку, совал в руки что-то маслянистое, вкусное. Деревенский, домашний человек гостинцу радовался, но на сухую есть не привык. Булдаков черпанул котелочком в речке водицы полной мерой, с песком вместе. Ничего, ничего, песочек чистый, промытый от крови, что за день по ложбинкам да по кипунам насочилась, привыкли уж брать воду в Черевинке по ночам, тогда она менее дохлятиной отдает.

— Олеха, да ты никак пьяной?

— А че нам, малярам, день работам, ночь гулям! — колоколил Булдаков. Радостно ему было услуживать болезному товарищу. До того разошелся чалдон, что зашвырнул и пленным немцам пачку галет, сказав: — От земляков с приветом! «Данке шен, данке шен!» — запели в ответ немцы в два голоса.

Сержант, конечно, понимал, что харч к другу его сердечному не манной небесной свалился, у супротивника он добыт, может, даже с боем взят. «Ка-акие робята-а! Какие головы отчаянные! И немец захотел нас победить?!..»

Выговаривался, бахвалился Булдаков, слабея от еды и выпивки. И Финифатьев, сам большой мастер поговорить, только вот не с кем сделалось, сам с собой много не натолкуешь, малоллюдно собрание и

повестка дня из одного пункта состоит, не то, что в колхозе имени Клары Цеткиной. В том родимом колхозе, если повестку дня на одном листе уместить, — никакое собрание не начнется. Мужики, бывало, соберутся да как заведут тары-бары-растабары, так где день, где ночь — не уследишь. Надо Олехе душу облегчить, надо. Немцу вон и говорить не о чем. Немец способен на экое рискованное действие? «Нет, нет, и еще раз нет! Жопа у него не по циркулю!»

Олеху развезло совсем. Воротит уже: «У бар борода не бывает, бля, усы...»

Финифатьев, как старший, приказал первому номеру лезть в земляную дыру, стянул с его хворых ног разжужаланные ботинки, босые ступни одеялом укутал, задевая пальцами мозоли, назревающие и уже лопнувшие. «Парень один-одинешенек за полфронта управляется, а его обувь не могут. Это шче же за порядки у нас такие?!» Сам командир приютился в устье норы, от врагов оберегая друга любезного, да и крыса не лезет, чего-то завернутое в хрустящую бумажку пожевал, обломочек галеты маслицем намазал, слизнул, продолжая успокаивающие себя рассуждения: «Конечно, у нас килограмм хлеба дают, ну, варево делают, но порой так уработается солдат, что не хватает ему полевой пайки. Немцу и шестиста-то граммов хлеба хватает, банка масла, галеты, жменя сахару, шоколадку ли соевую, то да се — и к шестиста-то граммам набирается питательного продукту досыта. И ведь не обкрадут, не объедят своо брата немца — у их с этим делом строго — чуть че и под суд. А у нас покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит, его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем годе, несши булку из перхурьевской пекарни, — один мякиш домой, бывало, доставят. Несчастные те сто граммов водки, покуль до передовой довезут, из каких только луж не разбавят, и керосином, и ссякой, и чем только та солдатская водочка не пахнет. Олеха, правда, пьет и таку, завсегда за двоих, за себя и за своего скромного сержанта, потому как Олеха Булдаков — это Олеха Булдаков! Такому человеку для укрепления силы и литру на день выдали бы, дак не ошиблись».

Мысли Финифатьева идут, текут дальше, дремные, неповоротливые мысли. Как и положено на сытый желудок, начинают они брать политическое направление: «А эть воистину мы непобедимый народ! Правильно Мусенок говорит и в газетах пишут.

Никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить, эть это какой надо ум иметь и бесстрашие како, штобы догадаться у самово противника пропитанье раздобыть... Олеха, значит, фрица-то очеушил по башке. Тот: „Русиш, русиш!“ — хорошо, если опростаться успел фриц. Ох, Олеха, Олеха!.. „Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить!..“ — про тебя, Олеха, песня, про тебя-а-а, сукин ты сын... А ранец немецкий я под голову приспособлю — мягкий он, это ж не то, что наш сидор с удавкой».

Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к Великим Криницам, он приволок за ногу не козла, а козлушку, козел, говорит, маневр сделал боевой, смылся.

— Пущай порадуется жизни денек-другой, пущай будет резервом питания Красной Армии. — С этими словами Шорохов забросил в обрубыши кустов серую тушку, приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать, сварить ее в земляных печурках, пока темно, и съесть. Что, что без соли? Жрать все равно охота.

Солдаты, наученные Финифатьевым, умевшим коптить рыбу в земляной щели, приспособились скрывать огни от немцев, пробили в дерне дырки из норок, варят ночами рыбешку, заброшенные в речку осколки тыкв, когда и картошку сыщут — немцы чуют дым, пальнуть бы надо, а куда?

Георгий Понайотов, хотя и выросший в России, — отец его политэмигрант, — но так и не понявший русского народа до конца, поскольку тот и сам себя никак до конца понять не может, порой столетия тратит, чтоб в себе разобраться, в результате запутается еще больше и тогда от досады, не иначе, в кулаки — друг дружке скулы выворачивать начнет. «С кем ты, идиот, драться связался?!» — это про Гитлера думал капитан Понайотов, дальше уж про все остальное: «Воровство в окопах противника! Надо же довести до такого состояния людей. Немцам и в голову не придет, что к ним воры, а не разведчики приползли! Надо бы приказать, чтоб хоть мяса кусок Щусю отнесли. И еще надо... Надо продержаться следующий день. Но если будет то же самое, что в прошедшем дне, нам на плацдарме не усидеть. Первого сомнут в оврагах Щуся с его почти уже дотрепанным батальоном».

Но немцы прекратили активные действия. С утра еще гоношились, местами атаквали, однако вяло, без большой охоты и огня, потеснили еще дальше к реке пехоту полковника Бескапустина, загнали уж в самую глушь оврагов передовой батальон Щуся.

Из штаба дивизии потребовали восстановить положение и вообще вести себя поактивней. Но чем, как проявлять ту активность? Прекратив атаки на плацдарме, немцы блокировали реку и берег реки, били, не переставая, по всему, что плыло и могло плыть, по любой чурке, доске, бревну всю ночь, не глядя на плохую, вроде бы нелетную погоду, над рекой гудели самолеты и спускали долго тлеющие фонари. Сами же самолеты трассирующими очередями указывали цели, и с земли расстреливалось все, что обозначалось на реке или возле нее.

На исходе сил, с последними боеприпасами, надеясь в основном на поддержку артиллерии и реактивных минометов, полковник Бескапустин решил контратаковать противника.

Припоздалое бабье лето выдало еще одно звонкое утро. Иней повсюду искрился, солнце было сплошь простреляно синими стрелами, взлетающими от земли и ломающимися в его настойчивом свете, соломой пылали лучи солнца, крошась, осыпались вниз. Берег, хрустально сверкающий, сплошь испятнан следами крыс, ворон и чаек: крысы, объевшиеся человечинной, никого и ничего уже не страшась, плотной чередой сидели по урезу реки, время от времени припадая к воде, поднимали сатанинские драки, с визгом свивались в грязный клубок, заваливались в воду и, мокрые, скулили за камнями, облизывали себя, напропалую лезли в обогретые людьми норы.

Неспокойное течение покачивало у приплесков и в уловах черную шубу мухоты, которая и по берегу лежала слоями осыпавшейся смородины, сонно ползала трупная тварь по чуть уже пригретому яру, пыталась сушить крылья, залезала в норки, клеилась, липла к теплым лицам. К полудню все эти мухи обыгаются, высушатся, закружат, залетают над трупами, питаются ими и размножаясь в них несметно.

Громко орали, зло ругались чины из штаба полка, собирая по берегу людей. Финифатьев едва растолкал Булдакова:

— Олеха! Олеха! Пора тебе итить на бой. Патрули вон за ноги цельных-то людей из берегу тащат, прикладами бьют, на подвиги

призывают.

Булдаков патрулей лаял, пинался. Недопивший, недоспавший, Олеха был шибко лютой: «Сказано, сам приду, ко времени».

— Олех, Олех! Пора тебе, брат, пора...

— Туда, где за тучей темнеет гор-р-ра-а-аа, — заорал из земли Булдаков и, царапаясь, вылез на волю, зажмурился от яркого солнца, зевая, пялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. За ночь ноги отекли, каждая косточка болела. — И где та лахудра, чего она не плывет? — ярился Булдаков, прихватывая бечевочками маломерные ботинки.

Он видел: Финифатьеву за ночь стало еще хуже, сержант нехорошо раздумялся, глаза его ярко светились, кашель бил в грудь из нутра так, будто в рельсу колотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем отягу и пояснил редкое и такое емкое слово: силы сопротивляемости, мощи духа.

Булдаков понимал: Нельку с лодкой не пустит за реку немец — кончилась обедня, возросла бдительность, — измором решили взять иванов фашисты, но все равно ругался на нее распоследними словами.

— Ох, не ко времени переводят меня с берега, дед, не ко времени. Не глянешься ты мне седня.

— Дак че сделаеш, Олеха. Служба.

— Не знаю, как с тобой быть? На кого оставить?

— Ступай давай, ступай. В котелок водицы черпни и ступай. Потом придешь. Придешь ведь, Олексей?

— Рази я брошу, — набирая в ручье водицы, успокаивая дружка своего, Булдаков и себя успокаивал.

Но в груди томилось-куталось в клубок нехорошее: «Ах, притворяйся не притворяйся, лукавь не лукавь — у деда начинается горячка. Во что бы то ни стало надо его переправлять в санбат».

— Под Сталинградом, сказывали ребята, раненых привяжут к бревну — оне и плывут вниз по Волге-реке...

Уходить бы надо Булдакову, однако он топчется. Из подкопанного яра вылезли пленные, жмурятся на солнце, дрожа от холода, тепла ждут. Вальтер сердито заговорил, поминая «гер майора», значит, снова требуют пленные исполнить обещанное командованием — переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военнопленных или обратиться по радио в Красный Крест.

— Ну дак и плыви! — мрачно буркнул Булдаков наседающему на него ефрейтору, за короткое время покрывшемуся густым, колючим волосом и болячками. — Скидавай штаны и валяй саженками, — и кивнул на посиневшего Зигфрида, съезжившегося под яром, покорно ожидающего решения своей участи, — на горб себе посади! Он тощей, не задавит. Гутен морген! — натужился Булдаков, вспоминая школьные познания в немецком языке.

Горестно покачав головой, немцы поползли к реке умываться, пинали крыс, бросали в них камнями. Врассыпную разбегаются твари, сукотая, волокущая по камням брюхо крысища ощерилась. Напоследок произошел разговор, которого раньше сержант себе не позволял. С закоренелой мужицкой тоской говорил сержант о том, что отдал родной партии, почитай, всю жизнь, а она вот его ни разу ни от чего не уберегла, ничем ему не помогла, бросила вот на берегу, как распоследнюю собачонку, и никому до боевого ее соратника нет дела. А ведь Мусенок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести в роте воспитательно-патриотическую работу.

— Видно, стихок про шелково ало знамя, шчо он вчерась по телефону продиктовал, разучивать с ранеными надо... — Губы сержанта мелко-мелко дрожали.

Из-под воющих мин сыпанули от уреза воды к яру люди, если их еще можно назвать людьми, — выбирали они за ночь глушеную рыбешку и принесенное водой добро. Густо плавали начавшие раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенящимися, будто намыленными, лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки. Но приторно-сладкий дух жареного человеческого мяса слоем крыл всякие запахи, плавая под яром в устойчивом месте. Саперы, посланные вытаскивать трупы из воды и захоранивать их, с работой не справлялись — слишком много было убито народу. Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду, но трупы никуда не уплывали, упрямо кружась, прилипали к берегу, бились о камни, от иного раскисшего трупа крючком отрывало руку или ногу, и ее швыряли в воду. Проклятое место, сдохший мир. За ухвостьем головешкой чернеющего острова не было течения, кружили там улова, иногда относя изуродованный труп до омута, на стрежь, там труп подхватывало, ставило на ноги, и, взяв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глубь.

— Я знаю, знаю, чево имя надо, — продолжал Финифатьев, глядя на левую сторону реки, пылающую дорогами, дымящую кухнями, явственно в это утро освещенную, — оне в партию народ записывают для того, чтобы численность погибших коммунистов все возрастала. Честь и слава партии! Вон она, родимая, как горит в огне. Вон она какие потери несет оттого, что завсегда впереди, завсегда грудью народ заслоняет, завсегда готова за него пострадать...

— Да что ты, дед! — испугался Булдаков, озираясь вокруг. — Ты чего несешь-то?

— А все, Олексей, все. За жись-то тут сколько накипело, — постукал себя в грудь Финифатьев, — надо ж когда-то ослобониться. Оне нас с тобой в последних гадин презренных превратили. Теперича из нас мясо делают, вшам и крысам скармливают...

— Да ну ты, дед! Че ты в самом-то деле? Ну стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и оне от меня отвязались.

— Ты вот врал, а я вот ей, партие-то, честно служил. И ох, скоко на мне, Олешенька, сраму-то, скоко слез, скоко горя сиротского... Знал бы ты черну душу мою, дак и не вожгался бы со мной. Гад я распоследний, и смерть мне гадская от Бога назначена, оттого что комсомольчиком плевал я в лик Его, иконы в костер бросал, кресты с Перхурьевской церкви веревкой сдергивал, золоту справу в центры отправлял... Вон она, позолота, святая, русская, на погоны пошла, нехристей украсила...

— Один ты, што ли, такой?

— Счас, Олешенька, считай, один. Бог и я. Прощенья у Ево день и ночь прошу, но Он меня не слышит.

— Ты че, помирать собрался?

— Помирать — не помирать, но чует мое ретивое: видимся мы с тобой в остатный раз... Не такую бы беседу мне с тобой вести — в бой идешь... Ну, да шче уж... прости, ежели шче не так было...

— Да дед, да ебуттвою мать, да ты че?!

— Бежи, бежи, милай, бежи, опоздашь к бою, дак свои же и пристрелят. Бежи, милай... — Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел.

Финифатьев сыпал мелконькие слезы на обросшее лицо, распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его вослед.



В апатию впавшим Вальтеру и Зигфриду жутко было слушать хохот, пение, присказки, доносившиеся из соседней, глубоко вырытой норки. Уже не чувствующий боли, коробящей сердце, безвольно уходил Павел Терентьевич в мир иной. Докучала ему крепко все та же болотная змея, угнездившаяся под мышкой, он ее выбрасывал за хвост из-под одежды, топтал, вроде бы изодрал гада на куски, но куски те снова соединялись, снова змея заползала под мышку, свертывалась в холодный комок, шипела там, пыталась кусаться. Финифатьев устал бороться с гадом, пластая на себе гимнастерку, высказывался: «Не-эт, товаришшы! Мы тоже конституцию страны социализма изучали, тоже равенство понимаем — и никаких!.. Алевтина Андреевна! Не слышу я тебя. Не слышу. Ты продуй трубку-то, продуй...»

Нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростна и нещадна. Работая на последних пределах высоты, лапотники неистово пахали клочок земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии Люфтваффе, стиравшей с земли древние европейские города, порты, станции, колонны танков, машин, сотни эшелонов, тучи беженцев и устало бредущих иль по окопам залегших полков.

И вот над этим паршивым, когтями дьявола исцарапанным берегом, над землей, где и земли-то, как таковой, нет, рыжая ржавчина, перемешанная с серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую конину, именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли, поистребили неустрашимую дивизию.

Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сипя и рыча плохо тянущими моторами, ходили и ходили над берегом, соря бомбами, втыкая в его кромки пули из крупнокалиберных пулеметов, готовые лапами цапать, корпусами давить все, что еще шевелится там, внизу, в туче рыжей пыли. На выходе из пике, когда черный дым из надсаженных моторов густо тащился за машинами, на них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет напополам, или гонялись за лапотниками, понужая его в хвост и в гриву. А выше и дальше лопаются взрывы зениток.

Носок, мысок, часть суши, намытая рекой и речкой, подсеченная ледоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка или, как уголок уже начатого желтого пирога, отрезана, употреблена, лучше по-шороховски — схавана воздушными едоками. Весь яр вроде бы приподнялся и со вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распущенная хулиганами подушка, исторглась мягким, сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собою, успокоила людей в непробудной тьме, они и вскрикнуть не успели. В голове Финифатьева, наглухо укрытой одеялом, промелькнуло: «А шчо же это было? Жизнь? Сон?» — и все мысли его на этом месте остановились, даже последний вздох раздавило в груди. Петька Мусиков, игравший в детстве с маньдомскими шпанятами в игру, которую только маньдомские ребята могли и придумать: во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам, — ринулся Петька Мусиков встреч бревносвалу, выскочить норовил на грохот, но его сбивало и сбивало бревнами и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился. В борьбе за себя он совершил ошибку, а какую — уяснить не успел. Под катящимися, грохочущими бревнами хрустели его кости, смялось в земле и смешалось с землею, растеклось, размичкалось его худое, с детства замороченное тело.

Вальтер и Зигфрид сколько-то еще плыли в сдвинувшейся с места земляной дыре, сделавшейся сразу тесной и душной, истошно крича, пытались руками упереться, отбросить наседающую со всех сторон, молниями разрываемую землю. Но их все крепче, плотнее, сдавливало и, наконец, утащило, смяло, рассыпало, и тела, и крики их, и движения, как и сотен других людей, спасавшихся в земляных норках.

Когда развалился мысок у реки Черевинки и осел берег вниз, в реку еще долго катились комья и комочки земли, мелькая чубчиками седых трав, обломками сохлого бурьяна. Попав в воду, комья делали еще один-два подскока и, намокнув, утихали, пузыря вокруг себя желтую муть. От каждого комка растягивало по воде, с каждым днем делающейся прозрачней и холодной, желтую полоску, подле берега кружило нарядный, горелый лист, пух осенних бурьянов, мусор кружило, из рыхло оседающего яра с комками вместе выкатило безумно хохочущее, барахтающееся в земле что-то. Раскопавшийся из гиблых недр лохматый человек плевался, плевался и запел: «Па-яа-лю-

би-ыл ж-жа я и-ие, па-а-я-лю-у-уби-ы-ыл горячо-о-о, а она на любоф не ответила ниче...»

Другой воскресший житель земли русской рыдал, умываясь в речке, и блажил при этом на весь белый свет: «А-а-а, живо-во-о-о-ой! Распрот-твою-твою-твою мать, в пе-печо-о-онки, в селеззе-о-онки, жи-ы-ы-во-о-о-ой!»

Натужно хрипя, тянули, везли за собой густые дымы лапотники, гнались за ними, вертась шало, словно бы балуясь на свету зари, плюющие огнем истребители. Завалившись беспомощно на спину, пособачьи, выставив лапы, обреченно падал и горел один, другой бомбовоз, и единственный белый цветочек парашюта расцвел на сером, почти уже темном небе, но и его смахнули с жиденько желтеющего лоскутка зари.

Умолк неугомонный Финифатьев, отмучились раненые и пленные, снесло мысок, намытый Черевинкой, осадило яр, разлетелись в разные стороны самолеты, сделалось на берегу и в небе просторней, свету и пространства прибавилось.

Месяц-два спустя в Вологодское село Кобылино придет извещение о том, что сержант Финифатьев Павел Терентьевич пропал без вести на полях сражений. И Алевтина Андреевна, изработавшая и силу, и тело, прибьет четвертую красную звездочку на угол своей избы — по северному обычаю отмечая память вылетевших из этого гнезда на войну защитников отечества. Может, год, может, десять лет спустя — дни и годы сольются у русской вдовы воедино, пойдут унылой чередой, станут одинакового цвета — покорная вдова повяжет вместо черного белый платок и подастся в избу Вуколихи, обставленной богатым иконостасом с круглосуточно горящей перед ним лампадой, заправленной соляжкой, — молиться по убиенным и страждущим. Она встретит здесь женщин, которые были вроде бы уже старыми еще тогда, когда они с Павлом играли в счастливую любовную игру — время поравняло всех женщин, они сделались одинаково белы волосом, воздушны телом, тихи голосом.

Теперь они жили только воспоминаниями о прошлом. Собравшись у Вуколихи, рассказывали друг дружке о своих детях, братьях и мужьях, прося Господа дать павшим на поле брани место на

небе поудобнее — уж больно худо им было на земле, так пущай хоть на небе отдохнут.

Мужья теперь у всех баб сделались, как на подбор, хорошими, умными, добрыми, хозяйственными, жен своих и родителей почитавшими, детей без ума любившими, власть и Бога не гневившими. Никто из них не колотил жен, не пропивал получки, не крушил окон у себя и у соседей, не заглядывался на молодых.

Перхурьевский начальник, рыболовецкой бригадир, Венька Сухоруков, счастливо отделавшийся от войны по причине бельма, накрыл однажды собравшихся у Вуколихи старушек. Но бабы страсть какие увертливые сделались за годы, прожитые под лукавой, воровской властью, вывернулись из сложного положения, выставив Веньке поллитру, он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую, икряную щуку.

С тех пор, как только Венька бывал не при капиталах, но выпить ему требовалось, прижимал он старушек, сулясь разоблачить их секту в газетке, предать их суду общественности, прикрыть гнездо, сеющее вредную идеологию, идущую вразрез с научным атеизмом и постановлениями партии. Старушки, как и весь русский народ, боялись партии и раскошеливались.

Разговоры и самодельные молитвы-напевы облегчали душу Алевтины Андреевны, не истребляя, однако, в ней вовсе загустелую тоску, теперь уж вечную — догадывалась она. Алевтина Андреевна носила ту тоску в себе, как зародыш ребенка, которым не разродиться, который уйдет с нею в могилу. По праздникам Алевтина Андреевна доставала из сундука завернутую в расшитый рушник тетрабочку — бумага истлела и ломалась, но надпись на корке: «Али на память от любящего доброжелателя» — еще угадывалась. Ничего без очков в тетрадке не видя, никаких букв не различая, Алевтина Андреевна все же вспоминала кое-что из написанного и от себя кое-что добавляла.

Последнее письмо от Павла Терентьевича было с берега Большой реки, он перед переправою его писал, где — сердце ей подсказывало — и погинул. Слов «без вести пропавший» она не понимала, да и не мог такой человек, как Павел Терентьевич, взять да и пропасть куда-то, безо всякой вести. Пытаясь представить тот берег реки, землю ту далекую, глядя на белые снега, текущие с неба — небо-то везде одно, Алевтина Андреевна, сидя подле окна с веретеном или упочинкой,

раскачиваясь безлистой лесиной или едучи в санях за дровами, за сеном, за всякой другой кладью, творила складную молитву:

«Падай, падай, бел снежок, на далек бережок. На даль-дальнем бережку прикрой глазки мил дружку...»

Полк Авдея Кондратьевича Бескапустина, наполовину выбитый, но все еще боеспособный, перебросившийся на плацдарм через островок и мелкую протоку, первоначально имел успех и начал, хотя и вразброс, путано, продвигаться вперед, где с боем, где втихую, как группа Щуся, занимать один за другим овраги, пока не достиг противотанкового рва, с какой неизвестно целью или хитростью здесь вырытого, поскольку танкам на этом берегу ни дыхнуть, ни пукнуть. За рвом начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватило светлыми вспышками ракет крышку клуни на окраине села Великие Криницы, тербнуло взрывами, подбросило клочья соломы, крыша клуни сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, невдолге и вспыхнула.

Увидев пожар за спиной и стрельбу там заслышав, немцы, прикипевшие к кромке берега и добивающие ранее переправившиеся взвод, роты, забеспокоились, загомонили и вдруг кинулись в темноту, сорвали в бега почти всю береговую оборону. В противотанковом рву, выкопанном в версте от берега, немцы начали скапливаться, отдыхиваться и соображать — не попали ли они в окружение? И что вообще происходит? Ночь же, ничего не видно и не понятно.

Было высказано предложение, что с тыла их атакуют те самые партизаны, слухи о которых в немецких частях строго пресекались, и заранее сообщено было, что район предполагаемой переправы русских от партизан блокирован, что партизаны будут истреблены, за тылы беспокоиться не нужно. Но тут, на берегу реки, было уже много солдат, не раз битых, в том числе и на Дону, и под Сталинградом. Они не верили успокоительным речам и больше доверяли своему нюху и ногам. Скорее всего из противотанкового рва немцы один по одному утянулись бы дальше, к селу Великие Криницы, попрятались бы по оврагам да в пойме речки Черевинки. Но в это время бескапустинцы нарвались на заминированный склон высоты Сто. Мины-эски, прозванные «лягушками», начиненные стальными шариками, прынули

выше голов, жахнули, рассыпая смертоносный груз, черно взнялась в ночи земля, серо брызнула врассыпную наступающая пехота.

Большую беду нельзя было и придумать. «Эсок» этих большинство бойцов, прежде всего новичков, видом не видели, но слышать о них слышали и заранее боялись. Сразу в ночи раздалась многочисленные вопли о помощи. Заметалась пехота, подрываясь на привычном уже противотанковом мелкотье. Мины в деревянных коробочках, похожие на мыло, не такое, правда, красивое, фирменное, какое в пути на фронт мастерски изготавливали и меняли на жратву умельцы под руководством Финифатьева. Противопехотные эти мины скорее смахивали на квадратные куски домодельного хозяйственного мыла. Немцы очухались, рота Болова накрыла из минометов мечущуюся в потемках толпу, не разбирающую уже, где рвется, на земле, или в небе, — нет хуже ощущения, что каждый клочок земли под ногами ненадежен, да еще и небо гудит, сорит бомбами, сыплет воюющие мины, бьет из пулеметов.

Бескапустинцы-художники, вырвавшись с минного поля, побросали оружие, которого и без того не доставало, ринулись обратно к реке, натываясь на свои же роты, сминали их. Пока одумались да разобрались, что к чему, — много потеряли людей, оружия, главное — оставили так дорого доставшиеся, так необходимые позиции, сбившись у берега и под берегом.

Утром спохватились: полоска-то в районе действия полка бескапустинцев — двести-триста сажень вглубь, вширь — кто говорит, три версты, кто пять — усиди попробуй на таком клочке земли.

Пробовали атаковать. Продвинулись, захватили несколько оврагов, раза два достигали противотанкового рва, пытались закрепиться в нем, да вытряхивали их из рва, как поросят, заступивших в кормушку, чешут назад солдатики, только копытца постукивают.

К исходу вторых суток у полковника Бескапустина осталось всего около тысячи так называемых активных штыков, да у Щуся в батальоне с полтыщи, десяток батальонных минометов с тремя минами на трубу, несколько чудом перетащенных пэтээров, которые тут едва ли понадобятся, два станковых пулемета, десятка полтора ручных — «Дегтяревых», в остальном автоматы почти без дисков, винтовки с тремя-пятью обоймами, гранат несколько ящиков.

Хорошо, что в атаке, начатой с ходу, взяли порядочно трофейного оружия, патронов, но и своего немало кинули, драпая из-за треклятых «лягушек». Один станковый пулемет был отправлен в батальон Щуся, к нему отряжен надежный, умелый пулеметчик-пермяк Дерябин. В его же руки Щусь передал помощника Петьку Мусикова. Этот неустрашимый воин, про которого сержант Финифатьев говорил — точнее не скажешь: «У нашего свата ни друзей, ни брата», — и на фронте продолжал жить и действовать по своему уставу. В Задонье было — во время боя бегал по траншеям, ползал на брюхе меж окопами, в ту еще пору командир роты, старший лейтенант Щусь и зрит картину: лежит в уютной ячейке вояка и постреливает вверх, израсходует обойму, неторопливо всунет другую, утрется рукавом и пошел по новой палить «по врагу». Щусь полюбовался на воина, помотал головой и изо всей-то силушки отвесил ему пинкаря: «Воюй!» Тогда вот, в Задонье, он и передал Петьку в распоряжение Дерябина — у того не забалуешься, тот заставит Петьку Мусикова пулеметный станок таскать, копать землю, о лентах и патронах заботиться. Сам Дерябин мало спал и помощнику лишка спать не давал, главное, никуда от себя его не отпускал, даже на то, чтоб харч промыслить, — хотя оба номера пожрать большие охотники.

Очень обрадовался Петька Мусиков, когда узнал, что пулемет их, переправляемый на помосте, сооруженном на бочках из-под горючего, утоп. Петька Мусиков и знал, что пулемет утопнет, и все, что есть на помосте, утопнет, — высоко плывут бочки, и стоит хоть одной пуле попасть хоть в одну бочку, как она забулькает, набирая воду, потянет за собой все остальное сооружение, на котором только политическую литературу переправлять да разных агитаторов — говно на воде не тонет. Петька Мусиков с маньдомской шпаной по заливу по шуге иль весной, еще по большой воде, на бревне плавал, когда на плотках, когда и на двери от сортира, один раз сам сортир в воду столкнула шпана, поплыли маньдомские пираты на просторы, а в сортире человек окажись! Орет! Так ведь плавали-то без груза, в трусах одних, чаще и без трусов, упадешь в воду — сам выплывай. А тут пулемет, минометы, пушки на бочки вкатили — при такой-то плотности огня! Э-эх, умники.

Очень расстроился, духом упал Петька Мусиков, когда прикатили к ним пулемет, и рожа эта пермяцкая, Дерябин-то, пустил его в дело.

— Грызите землю, бейте фашистов лопатами, камнями, чем хотите, но расширяйтесь! — дергаясь щекой так, что кривая, с коротеньким мундштуком трубка взлетала до уха, просил-приказывал полковник Бескапустин.

Еще один бой. Этот уж из последних сил-возможностей. И трубки нет. Хоть пропадай. Капитан Понайотов, пригнувшись, вошел в добротню, в три наката крытый немцами блиндаж и доложил командиру полка о своем прибытии. За начштабом топтался, поблескивая очками, Карнилаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами, за спиной шнурком прихвачен планшет. Следом, треща катушкой, отчего-то вприпрыжку спешил связист.

— Кстати, кстати! — подав все еще пухлую, но холодную руку, сказал Бескапустин. — Сыроватко хорошо! Везунчик! У него территория в три Люксембурга да в одну Бельгию, а тут, на бережку, как плишки — бегаем и хвостики в воде мочим...

В полдень начали атаку. Пехота частью потекла по размешанным уже оврагам, частью двинулась вослед за огненным валом, в отчаянии, без крика, прямо на окопы, в направлении противотанкового рва, куда смещались разрывы снарядов.

— Плотнее, плотнее, капитан! — наблюдая в бинокль развитие атаки, просил полковник Бескапустин.

— На пределе работаем, товарищ полковник. Нельзя плотнее. Побьем своих.

— А-ах, ч-черт! Минометчиков бы, минометчиков бы! — стонал полковник Бескапустин. — Ну, где эта трубка? Куда подевалась? Ах, молодец, парень! Ах, молодец! — поймав биноклем крупного парня в подпоясанной телогрейке, который, прихрамывая, должно быть, ранен в ногу, бросками шел к вздрагивающему огнем в окопе немцев пулемету.

Забирая чуть правее, к ложбинке, парень падал, неторопливо целился, делал выстрел. Но там, у противника, видать, тоже сидели опытные вояки, и не просто сидели, но работали, работали. Если подарок от Иванов прилетел, пулемет смолкал, значит, пулеметчик оседал на дно ячейки, старательно, во весь профиль выкопанной, в это время, в миг краткий, парень делал стремительный бросок к цели. И по тому, что он не разбрасывался, не суетился, выбрав одну цель, к ней



и устремлялся, угадывался в нем бывалый вояка. Один раз он все же угодил куда надо из винтовки. Пулемет вздрогнул, с рыльца его опал красный лепесток, дымок потек вверх из дула пулемета. Видно, не напрасно говорится: народ любит гриба белого, а командир — солдата смелого.

— Ах, молодец! Ах, молодец! — хвалил парня полковник Бескапустин и загадал себе: если этот его солдат дойдет и уничтожит хорошо поставленный пулемет — будет всеобщая удача.

С Булдаковым и его срядой маялись сперва родители, затем все старшины рот, какие встречались на его боевом пути. У него, как уже известно, сорок седьмой размер обуви. Самый же крайний, как и в запасном полку, присылали на фронт сорок третий. Радый такому обстоятельству, Булдаков так же, как и в бердском доходном полку, швырял чуть не в морду старшине новые ботинки: «Сам носи!» — забирался на нары, да еще и требовал, чтобы пищу ему доставляли непременно в горячем виде.

Потрясенный такой наглой и неуязвимой симуляцией, старшина резервной роты, что стояла на Саратовщине, достал лоскут сыромятины, из нее по индивидуальному заказу сшили мокроступы, пытались выдворить на боевые занятия отпетого симулянта, к тому же припадочного: «У бар бороды не бывает», — рычал симулянт и падал на пол. Мокроступы не вязались с боевым обликом советского воина, раздражали командиров, те гнали Булдакова вон из строя, подальше с глаз, чего вояке и надо было.

Он шлялся по опустелым подворьям выселенных немцев, находил вино, жратву и пил бы, гулял бы, но в нем оказались устойчивыми советские, коллективные наклонности — непременно угостить товарищей. «Ну-у, хруст мне достался!» — мотал головой старшина роты Бикбулатов, по национальности башкирин.

Первый раз, завидев бойца с совершенно наглой, самоуверенной мордой, в немыслимо шикарных обутках, с множеством стальных застежек, одновременно похожих на сапоги и на ботинки с голяшками, с присосками на подошвах, Бикбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горя. Булдаков напропалую хвалился редкостными скороходами, сооруженными, по его заверению, аж в Персии, но не объяснял, каким путем диковинная эта обувь попала на советскую территорию и с кого он ее снял?

Сносились, однако, и те персидские, на вид несокрушимые обутки, Булдаков ободрал сиденье в подбитом немецком танке, выменял или упер у кавалеристов седло — на подметки. Дождавшись передышки, отыскал в боевых порядках сапожника, отдал ему все кожаное добро, и мастер, исполу, то есть за половину товара, сработал ему такие сапоги, что в них кроме огромных, с детства простуженных, костлявых ног Булдакова, измученных малой обувью, входило по теплomu носку с портянкой. Булдаков до того был доволен обувью, что от счастья порой оборачивался, чтобы посмотреть на свой собственный след.

Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую воду, сдал их под расписку старшине Бикбулатову. Чтоб расписка не потерялась, не размокла, спрятал ее сначала у телефонистов в избе, под крестовиной, потом передумал: изба-то... скорее всего сгорит — и засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивался карманчик под животом, на ошкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Булдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее, доступное ему командование, стало быть, на сержанта Финифатьева, что, ежели его не обуют, он уплывет опять обратно, — воюйте сами! Финифатьев стянул с какого-то убитого бедолаги ботинки крайнего, опять же сорок третьего размера. Снова маялся Булдаков, смозолил пальцы на ногах, но никому не жаловался. Да что тут, на этом гибельном берегу, мозоли какие-то? Прыгал, будто цапля, по берегу Булдаков, и в атаку шел вояка неуверенно, спотыкаяючись, прихрамывая, полковнику же Бескапустину казалось — боец ранен.

Будь у Булдакова сапоги, те, что хранились у пропойцы Бикбулатова, иль хотя бы редкостные персидские мокроступы, он давно бы добежал уже до вражеского пулемета, и вся война в данном месте, на данном этапе кончилась бы. Он и в тесных, привязанных к ногам бечевочками деда, скоробленных ботинках достиг немецкой траншеи, по вымоине дополз до хода сообщения, спрыгнул в него, двинулся с винтовкой наизготовку, чувствуя, что обошел пулеметное гнездо с тыла, свалился туда, где никто никого не ждет, тем более Леху Булдакова. Командиришко тут, видать, зеленый или самонадеянный. «Балочки, низинки, всякую воронку, глины комок надо доглядывать, закрывать, господин хороший! Закрывать-закрыва-а-ать!» — будто детскую считалку шепотом говорил Булдаков, бросками двигаясь к

пулемету, по извиристо — по всем правилам копанной траншеи. Совсем уже близко работающий пулемет, — эта цепная собака, тетказайка — по окопному, фрицевскому прозванию. Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи, звон гильз, опадающих по скосу траншеи, из пулеметной ячейки, из кроличьей норки, как ее опять же называют фрицы, тащило дымом, окислой медью, и по тому, как сгущалось горячее шипение, как, захлебываясь, частил пулемет и россыпью, жиденько отвечали винтовки и автоматы нашей пехоты, да как-то по-киношному, будто семечки выплевывая, сыпал шелуху пулек «максимко», Булдаков догадался: бескапустинцев прижали к земле. Да и как не прижмут? Немецкий пулемет М-42, — дроворуб этот, сказывал дока Одинец, — одновременно станковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом, в ленте пятьсот патронов — это супротив сорока шести «Дегтярева» и сотни или двух прославленного «максимушки», с которого вояки и щиты снимали, лишнюю в переноске демаскирующую деталь. А вот еще достижение: пошли патроны — медь с примесью железа — провоевали сырье-то российское, эрзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают, и бесстрашный пулеметчик выковыривай пальцем из ствола трубочку гильзы. Пока возишься — тебя и ухлопают и идущих в атаку славян в землю зарюют. Э-э, да что там говорить? А кожух пулемета — попадет пулька — и вытекло охлаждение, подтягивай живот, иван, сматывай обмотки — тикать пора. Так вот и воюем. Новые пулеметы — заградотряды, киношного героя «максимушку» — на передний край.

Уже без маскировки, без излишней осторожности, Булдаков не крался, шел, пригнувшись, на звук пулемета, на запах горелого ружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек, он сосредоточился, устремился весь к цели, да так, что не заметил, точнее заметил, но не задержал внимания на отводине ячейки, прикрытой плащ-палаткой, потому как встречу ему выскочил немчик в подоткнутой за пояс полой шинели, из-под низко осевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры — седые, правда. «Связной!» — мелькнуло в голове Булгакова, поблизости командир. «Стрелять нельзя», — не спуская глаз с седенького плюгавого немца, автомат у которого висел за спиной, Булдаков перехватил винтовку за ствол, продвигаясь к жертве, словно балерина на пуантах, шажочками,

вершочками. Немец тоже почему-то шажочками, вершочками пятился от грязного, щетиной обросшего существа, похожего скорее на гориллу, чем на человека. Запятники малых обуток, на которых стояло это существо, делали его еще громадной, выше. Глыбой нависала над врагом небесная, карающая сила. Колени немца подгибались, он хотел сделаться еще ниже, творил молитву: «Святая Дева Мария!.. Господи!.. Приидите ко мне на помощь...» — дрожал перекошенным ртом, зная, что, если закричит, русский громила сразу же размозжит ему голову прикладом. Ужимая себя, стискиваясь в себе, немец надеялся на Бога и на чудо: может, русский пройдет мимо и не заметит его, пожалеет, может, Гольбах с Куземпелем, ведущие огонь из пулемета рядом, за поворотом траншеи, почувствуют неладное. И зачтется же, наконец, когда-то перед Богом все добро, какое он сделал в своей жизни по силам своим и возможностям... Мало, правда, очень мало тех возможностей отпускал ему Господь, но он старался, старался изо всех сил. Уроженец маленького аккуратненького городка Дайсбурга, с восьми лет он уже прислуживал знаменитому местному доктору Грассу, следил за лошадьми: поил, питал, чистил лошадей доктора, убирал навоз. Ему разрешалось в сумке уносить тот навоз в цветник, разбитый возле маленького, из старых шпал и досок слепленного домика, который прежде был сторожевой, служебной будкой на железнодорожной линии, и отец его, смирный, блеклый человек по фамилии Лемке возле той будки зачах и умер в сорок пять лет, оставив жене такого же, как он, еще в утробе заморенного мальчика.

Цветничок, выложенный из кирпича возле будки, был дополнительным источником доходов к казенной пенсии за отца — местная владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удавшиеся, бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками анютины глазки — скупые немцы охотно их покупали на святые праздники, в поминальные дни для украшения могил и потому, что стоили цветы недорого, и потому, что подолгу могли стоять в воде, не увядая.

Доктор Грасс был не просто знаменитый на всю Германию филантроп, он являлся еще и набожным человеком, думающим о бедных. Он помог жене покойного Лемке пристроить бедного, старательного мальчика в пристойную воскресную школу для сирот и, когда мальчик, пусть и с трудом, выучился читать, писать и считать,

сдал его на службу санитаром, сначала к себе в клинику, затем, когда ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, определил его на курсы военных санитаров.

Одевши форму, получив достаточное питание в военном училище какого-то уж совсем распоследнего разряда, Лемке воспарил, вознесся в себе, познав целенаправленную, нужную родине жизнь, имея такую благородную цель — помогать воинам обожаемого фюрера всем, чем только мог он помогать, даже жизнь отдать за родину, за фюрера, если потребуется, готов был Лемке.

На фронт он прибыл полный ощущения радостных побед и радужных надежд на будущее, прибыл во главе санитарной команды, состоящей из пяти человек: он — уже имеющий скромные лычки на погонах, и четверо крепких ребят санитаров.

Уже в начале войны, в сражении под Смоленском, Лемке уяснил, что обещанной легкой прогулки по России не получится, а радужные надежды угасли оттого, что работы было не продохнуть, потоки раненых убавляли в сердце звуки победного энтузиазма, да и команда его наполовину убыла: два наиболее активных и толковых санитаров убыли из строя, осталась пара баварских увальней, отлынивающих от работы, жрущих напропалую шнапс, стреляющих кур по российским дворам, насильно принуждающих беззащитных женщин к сожительству и, что самое ужасное, обшаривающих трупы не только русских командиров, но и своих братьев по войне.

Эти пьяницы и мародеры в грош не ставили своего начальника, вышучивали его, особо выделяя пикантную тему, мол, ефрейтор не имеет дела с женщинами не потому, что трус, не потому, что верующий, а потому, что ничего не может с ними путного сотворить, все у него еще в детстве засохло и отпало.

Унижение — вот главное чувство, которое он познал с детства и которое всегда его угнетало, обезоруживало перед грубой силой. Воспрянув духом на войне, в неудержимом, все сметающем походе, Лемке, однако, раньше других самоуверенных людей почувствовал сбои в гремящей походной машине, война хотя и была все еще победительно-грозной, тащила за собой хвост, сильно измазанный кровью и преступлениями. Положим, войн без этого не бывает, но зачем же такая жестокость, такой разгул ненависти и низменных страстей? Они же все-таки из древней, пусть вечно воюющей, но в

Бога верящей культурной страны. Они же все-таки не одних фридрихов и гитлеров на свет произвели, но и Бетховена, и Гете, и Шиллера, и доктора Грассе. Неужели так мало времени потребовалось просвещенной нации, чтобы она забыла о таком необходимом человеку слове, как милосердие.

Нет, нет и нет, не все забыли о Боге и Его заветах, Лемке, во всяком случае, их помнил и при любой возможности, а возможности тогда у него были немалые, делал людям добро не потому только, что это перед Богом зачтется, но и потому, что не забывал: он тоже человек, пусть маленький, пусть чужеземный пришелец. Чтобы делать добро, помочь человеку, не обязательно знать его язык, его нравы, его характер — у добра везде и всюду один-разъединственный язык, который понимает и приемлет каждый Божий человек, зовущийся братом.

Лемке не раз перевязывал русских раненых в поле, не единожды разломил с ними горький солдатский хлеб, оросил страждущих водой, оживил Божьей кровью — сладким вином. А сколько русских раненых, спрятанных по сараям, погребам и домам «не заметил» он, сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях, под Смоленском, под Ржевом, Вязьмой...

Заглянул он однажды в колхозную ригу, а там на необмолоченных снопах мучаются сотни раненых и с ними всего лишь две девушки-санитарки, он и по сию пору не забыл их прелестных имен — Неля и Фая. Все речистые комиссары, все brave командиры, вся передовая советская медицина, все транспортники ушли, бросив несчастных людей, питавшихся необмолоченными колосьями, воду девушки поочередно приносили из зацветшего, взбаламученного пруда.

Он пригласил девушек с собой. Думая, что над ними сотворят надругательство и убьют, девушки покорно шли за ним и старались не плакать. Два его санитар-жеребца гоготали: «Эй, ефрейтор! Отдай этих комсомолок нам, мы будем тщательно изучать с ними труды наших знаменитых земляков — Карла Маркса и Фридриха Энгельса...»

Где они, эти воистину героические девушки? Погибли, наверное?.. Разве этот ад для женщин? Как же изменится мир и человек, если женщина приучится к войне, к крови, к смерти. Создательница жизни,

женщина не должна участвовать в избииении и уничтожении того, ради чего Господь создал Царство Небесное...

Бог помнит добрые дела. Через три всего месяца, отступая от Москвы, Лемке обморозил ноги, почти лишился руки и где-то, опять же под Вязьмой, — Господь не только помнит доброе дело, но и отмечает места, где они сделаны, — в полусожженном селе заполз Лемке на тусклый огонек в крестьянскую, обобранную войной избушку, старая русская женщина, ругаясь, тыча в его запавший затылок костлявым кулаком, отмывала оккупанта теплой водой, смазывала руки его и ноги гусиным салом, перевязывала чистыми тряпицами и проводила в дорогу, сделав из палки подобие костыля, перекрестив его вослед.

«Русский, русский... я еще много должен сделать добра, чтобы загладить зло, содеянное нами на этой земле, чтобы отблагодарить ту женщину и Господа за добро, сделанное мне. Русский, русский, зачем тебе маленькая жизнь маленького человека? Убей Гитлера или оберлейтенанта Мезингера, пока он не убил тебя...»

Два спаренных выстрела раздались за спиной Булдакова. Толкнуло под правой лопаткой, щекотно потекло по спине. Будучи человеком веселым, Булдаков впал в совершенную уж умственную несуразность — подумал: в него стреляют и попадают, но стреляют вроде бы как шутя, из пугача, пробками. С ним в войну играют, что ли? Он в недоумении обернулся и увидел отодвинутую с ячейки плащ-палатку, пистолет, направленный на него. Пистолет подпрыгивал, отыскивая цель, ловил Булдакова тупым рыльцем дула. «Вша ты, вша! В спину стреляешь и боишься!» — возмутился Булдаков, носком ботинка отыскивая опору, чтобы броситься на пистолет, скомкать, затискать того, кто прячется за палаткой, придавить к земле, задавить, как мышшь, — у него еще хватит силы...

Он потерял мгновение из-за малых ботинок, ища опору для броска. Не зря говорят чалдоны: с покойника имущество снимать да на живое надевать — беды не миновать. Потерял он, потерял ту дольку времени, что стоит жизни. Э-эх, не сдай он свою обувь старшине под расписку!.. И чего жалел-то? Зачем? Все равно Бикбулатов пропьет сапоги. Две желтые пташки взлетели навстречу Булдакову, ударилось в грудь, он инстинктивно заслонился прикладом от винтовки, от приклада отлетела щепка, занозисто впиалась в телогрейку, под которой

двоилось, распадалось нутро, дробились кости, смещалось в сторону все, что дышало, двигало, удерживало стоймя тело бойца. Ему чудилось: он ощущает движение пули, на пути которой вскипала, сгущалась кровь, делалась горячей и комковатой, двигаясь по жилам толчками. Привыкши к своему превосходству над всем, что есть живого на свете, Булдаков не ведал чувства смерти, но тут явственно ощутил: его убили. Одна пуля пробила его насквозь. Он слышал, как ожгло, не защекотало, а ожгло спину кровью, потекло по ней, как начал намочить ошкур штанов. Захотелось выпрямиться, дохнуть полной грудью, дохнуть так, чтобы вздох приподнял сердце, опадающее вниз вместе со всем, что было в середине. Стараясь остановить свое падающее сердце, не дать ему разбиться, Булдаков напрягся, но сердце укатывалось в мерцающий и тоже убывающий свет, попрыгав где-то в отдалении, громко стукнувшись в грудь, сердце стремительно покатило под гору, беззвучно уже ударяясь о ребра, об углы тела, все закружилось, завертелось перед Булдаковым, и самого его свернуло, сдернуло с земли и понесло во тьму. Печенки, селезенки, раненое сердце человека еще пульсировали, гнали кровь, но все это работало уже разъединенно — то, что связывало их, было главным командиром в теле, обессилилось и сразу померкло.

Пустым звуком взметнулось, гулко ударилось в бесчувственную пустоту. «Все! Неужели кранты?!» — просверкнуло вялым недоверием, вялым несогласием, но сей же момент, будто занавес упал в покровском клубе имени товарища Урицкого, обедня в Покровской церкви завершилась, отзвучали колокола, поп какать ушел... По немецким меркам прозвучало бы это примерно так: «Унзэр концерт ист аус. Кайнэ музик мер. (Концерт окончен, музыки больше не будет.)

Пулемет, которого так и не достиг Булдаков, продолжал сечь, рубить русских солдат. Впрочем, может, это каменья гулко катились по железной крыше покровской часовни — в детстве они пуляли на верхотуру камнями и, боязливо прильнув спиной к кирпичной стене часовни, слушали, как они, гремя, катятся вниз... «Как же Финифатьев-то? Он же сулился... Ах, дед, дед! Ах, Финифатьев, Финифатьев!..»

Царапая, скребя стенку траншеи ногтями, которые росли на плацдарме отчего-то скорее, чем на всякой другой стороне, падал, оседая на дно окопа, приникал к земле русский солдат. Обер-лейтенант



Мезингер все давил, давил на собачку пистолета. Пистолет не стрелял — половину обоймы он, балуясь, расстрелял еще в начале атаки. Не веря тому, что он сразил русского великана, и пугаясь того, что наделал, он тонко скулил: «Русиш! Русиш! Русиш!» Лемке, метнувшись послушно исполнять какое-то поручение господина офицера, он уже забыл — какое, увидев, как на него движется человек, перехватывая винтовку, будто дубину, в минуту прожил свою жизнь и смерть, но прозвучали близкие выстрелы, выронив винтовку, набухающей кровью спиной, на него начал падать чужой солдат. От неожиданности, от радостного открытия: его не убили! — Лемке расставил руки, поймал словно бы разом отсыревшую тушу русского солдата и вместе с ним свалился на дно траншеи. Русский солдат мучительно бился, спихивая с ног стоптанные ботинки, привязанные тонкими шнурками к стопам. Лемке догадался сдернуть их. Русский сразу же перестал биться, вытянулся и облегченно вздохнул или испустил дух. Стоя на коленях над поверженным великаном, держа продырявленные известкой от воды и окопной пылью покрытые ботинки, Лемке никак не мог сообразить, что же дальше-то делать, и вдруг очнулся, обнаружив, что все еще скулящий, самого себя или сотворенного убийства испугавшийся господин обер-лейтенант Мезингер никак не может выпрыгнуть из траншеи, карабкается и опадает вниз, карабкается и опадает, не замечая, что топчет свой форсистой офицерский картуз. Выстрелы его, но главное — вопли, похожие на стон отдающего Богу душу человека, достигли пулеметной точки. Опытная пара пулеметчиков, подумав, что русские их обошли, вознеслась из траншеи, перескочила через бруствер и помчалась к противотанковому рву. Вслед им обрадованно стеганул русский пулемет, посыпались ружейные выстрелы.

Полковник Бескапустин, отнимая бинокль от запотевших надглазниц, освобожденно выдохнул: «Молодец, парень! Достиг! Добрался-таки до пулемета! Надо узнать фамилию».

Лемке догадался, наконец, посадить обер-лейтенанта, и Мезингер, перелезши через бруствер траншеи, хватанул вослед Гольбаху. Мезингер не сразу и заметил, как меж воронками, царапинами вымоин по серенькой, метельчатой траве, где смешанной кучкой, где вразброс трюхает, ползет, а то и откровенно, поодиночке утекает какой-то люд во мшисто-салатных, выцветших за лето

мундирах. Иные солдаты, ткнувшись в землю, оставались кусать траву, убило их, значит.

«Моя рота отступает! Без приказа? А я?.. А я?..» Мезингер совсем не так представлял себе отход боевой части, тем более своей роты. Она должна сражаться до последнего. Ну а если уж противник вынудит — отходить планомерно, отстреливаясь, прикрывая друг друга. А они бегут! И как бегут! Зады трясутся, что у баб, ранцы клапанами хлопают, будто рыжие крылья на спинах взлетают, железо побрякивает, возможно, котелки, возможно, противогазные банки... Ужасаясь покинутости, не замечая ничего, кроме немислимо быстро утекающих солдат, Мезингер протянул руки, молил: «Я!.. Меня!.. Я! Меня!..» Все ему казалось, тот огромный русский с азиатским лицом настигает сзади, вот-вот схватит за ворот, уронит, задавит грязными ногтистыми лапищами. Как он, командир роты, оказался во рву — не помнил. Лишь попив водицы, вытерев лицо сперва рукавом, затем носовым платком, глянув на оставленные траншеи, то белесой, то коричнево-бурой бечевкой вьющиеся меж оврагов, он, прикинув спиной к рыжо и беспрестанно крошащейся стене рва, плаксиво спросил у угрюмо помалкивающих, уже покуривающих солдат:

— Вы что сделали?

— Делать пожары — это у нас называется! — насмешливо отозвался кто-то из солдат.

— Делали то же самое, что и вы, между прочим, — буркнул Гольбах, Куземпель, его заместитель, что-то промычал.

И тут только Мезингер понял: он тоже драпал, тоже «делал пожары», бросив в окопе связного Лемке, это животное в перьях, как опять же солдаты по-окопному беспощадно и точно зовут всякого рода прислужников. А ведь Лемке, именно Лемке, помог ему выбраться из траншеи, где остался тот страшный русский.

Вспомнив, как он испугался русского, как палил в него из-под плащ-палатки, в страхе закрыв глаза, обер-лейтенант ужасался себе: «Трус я! Трус...»

— Ничего, обер, не мы войнами правим, война нами правит, — тронули его за плечо.

Мезингер капризно, по-девчоночьи дернул плечом, пытаясь сбросить руку солдата. Солдат, усмехнувшись, убрал ее сам. Его заместитель, хромой, израненный унтер-офицер Гольбах с нашивкой за

прошлую зиму, с солдатской медалью, обернувшейся плоской стороной и номером наружу, с блестками гнид на ленточке медали, делал вид, что задремал. Остальные награды, а их у него полный кожаный мешочек, находятся в полевой сумке, которую волочит за собой везде и всюду хозяйственный помощник Гольбах Макс Куземпель. Нарядный картуз, в котором обер-лейтенант Мезингер форсил в Африке, где-то потерялся, и Гольбах, ни к кому вроде бы не обращаясь, приказал:

— Найдите командиру роты головной убор! — и ни на кого не глядя, в том числе и на самого командира роты, ткнул в его сторону фляжку.

Мезингер отпил, сморщился, пытаясь выговорить «благодарю», закашлял, брызнул слюной. Гольбах дождался, когда Макс Куземпель вслед за обер-лейтенантом сделает глоток, сделал два глубоких глотка, завинтив крышку фляжки, отвалился головой в кроличью нору, значит, в кем-то давно уже выдолбленную нишу, и, снова вроде бы ни к кому не обращаясь, не открывая глаз, с сонной вялостью произнес:

— Всем проверить оружие, снарядить ленты, — и, не меняя тона и позы, добавил: — Обер-лейтенант, вы тоже приведите оружие в порядок — оторвет пальцы, либо глаза выжжет. О картузе не беспокойтесь — найдется... как снова пойдем в атаку...

Тут только Мезингер спохватился — пистолет он все еще держит в руке, и дуло плотно забито землей. Он вывинтил шомпол, принялся суетливо пробивать дырку в стволе пистолета, выдувать из него землю. Пыль вместе с гарью перхнула в глаза, в рот. Он облизал пресную, чужую, скрипящую на зубах землю и, вытирая рукой глаза, заскулил в себе: «Зачем это все? Почему мы должны пропадать здесь, и кто имеет право гнать нас в огонь, в грязь?! Мы устали. Я устал...» — он в страхе — не произнес ли эти слова вслух? — обвел глазами изможденно сникших солдат, приткнувшихся в грязной рытвине, замусоренной, невыносимо воняющей дохлятиной, человеческим дерьмом. Он сейчас, вот только сию минуту отчетливо понял: эти его солдаты, ползающие в пыли люди, не раз и не два уже задавали себе подобные вопросы, и с такими мыслями, с такой давней и отчаянной уже усталостью никакой вал им не удержать. А если они и усидят здесь, за этой водной преградой, удержат позиции, что же будет дальше? Дальше-то что? Еще бои, еще кровь, еще и еще гнетущая

усталость, тоска по дому, по родине... Сколько это может продолжаться? Сколько еще может вынести, вытерпеть немецкий железный солдат, всеми здесь ненавидимый, чужой?..

«Отчего вы не носите боевые награды?» — спросил однажды Мезингер у Гольбаха, поначалу еще спросил, желая как-то заявить о себе, поддеть своего вечно насупленного помощника.

«Берегу для более торжественного случая! — Гольбах поглядел прямо и нагло в глаза Мезингеру. — В окопах от пыли и сырости тускнеет позолота».

Понимай его как хочешь! Угрюмые, затаенные психи все на этом Восточном фронте. Не знаешь, что делать с ними, как быть? С какого боку к своим подчиненным и подступиться? В Африке непринужденны и понятны были отношения: офицер с офицером в ресторан или на пирушку, солдаты — в бардак, мять темнозадых ненасытных девок.

Гольбах отдыхивался, подремывал, и тяжело переворачивались глыбы его мыслей в плоской голове, посаженной на плечи. Их, этих мыслей, совсем немного, поверху, совершенно вроде бы отдельно, шла явь: щелчки выстрелов, вой мин, шорох снарядов над головой, звуки разрывов, дальних и близких, движение по окопам, звяк котелка зазевавшегося постового — холуй этот, еще одно животное в перьях, заскребал, зализывал посуду после командиров — как точно, как беспощадно все же говорят русские о тех, кого презирают. И воюют эти русские вроде бы из последних сил, но здорово — наше дело — правое — говорят они, и тоже правильно говорят...

Гольбах на минуту подключил слух и нюх — иваны с голоду могут рвануть в атаку и переколошматят имеющего обед противника. Забьют и сосунка этого, потерявшего боевой картуз... Как это по-русски? Укокошат.

Но нет, не шевелятся русские. «Голод — не тетка». Вот уж воистину — не тетка, и не муттер, и даже не кузина. Свалил все же подносчика патронов какой-то русский возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншее, прикрытый лоскутком от плащ-палатки. И если русские не выбросят его из окопа, если не подберет похоронная команда, гнить ему там.

Мысли под пилоткой текут вязко, полусонно, иногда вдруг отпрыгнут в сторону. Гольбах сунул два пальца в подстеженный

нагрудный карман мундира и достал оттуда пять половинок железного жетона. «Орденом смерти» и «собачьим орденом» нарекли фронтовики эти жетоны, на них коротко означены все сведения о погибшем «за фатерлянд». Скользнув глазами по одной пластинке, Гольбах подумал, что, если обратно отобьют окопы, пять оставшихся на шее убитых половинок пластинок снимет с покойников похоронная команда. Порядок есть порядок.

Но в Германии ничего не знают об истинных потерях на фронте. И в России о своих потерях не знают — все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. Высокое командование трусит сказать правду народу, правда эта сразу же притушит позолоту на мундирах. В госпитале он имел любовь с одной сероглазой, звал ее кузиной. Она была не против любви, но с теми, у кого есть чем платить. Копит капитан, готовится к будущему, к победе готовится! Ну и он, Гольбах, тоже готовится...

Мезингер этот глуп как пуп, в войне ничего не смыслит да и в жизни понимает, видать, столько же! А Гольбах как-никак повидал и жизнь, и войну всякую. Горел возле топки парящего всеми дырами угольщика, таскавшегося от Киля до Амстердама и Роттердама. Когда эта калоша все-таки утонула, шипя машиной и пуская пузыри, он хватил и безработицы. Побегал по улицам во время кризиса; «Долой!», «Требуем!», «Акулы капитализма!» — чуть в коммунисты к Тельману не подался. Но тут с неба свалился избавитель от всех бед и напастей — фюрер, мессия, спаситель или как там? Все сразу переменялось. Впрочем, что для него, для Гольбаха, переменялось-то? Получил работу, стал «иметь» свою комнату в портовом районе в сыром доме с угарными печами, постоянную женщину бесплатно имел, поскольку она являлась его женой, ребенка ей сотворил. Куда-то они делись, и жена, и ребенок, скорей всего взлетели в воздух от английских бомб, испарились, как и весь древний портовый город Киль.

Поражение? Да! Оно началось еще летом сорок первого года, двадцать второго июня. Кто-то вверху, говорят, в самом генштабе вякнул: «Нас — восемьдесят пять, их — сто восемьдесят. Сто миллионов не в нашу пользу...»

Отрубили башку говоруну. Красиво отрубили, революционной гильотиной — знай наших! Мы все делаем, как в театре. Сплошной

всюду театр, артистов полна сцена. Идут непрерывные массовые представления. Идет игра. Доигрались!

Он сдвинул в горсти пять отпотевших, скользких пластинок — это только за сегодняшнее утро, только из его взвода. А по всему огромному фронту, только сегодня, только за утро — сколько же?

Из нутра пилотки, которой глухо закрыл лицо Гольбах, разит кислотой, грязью, потом, нужником, всем-всем, чем только может вонять война, — самые мерзкие запахи она вмещает. Тьфу! И открыться нельзя. Невозможно видеть эту страдающую рожу Мезингера. Надо кончать всю эту музыку. Концерт окончен.

Авантюристы! Проходимцы! Безбожники! Портовая шпана — приспешники фюрера будут воевать до последнего человека. Пока всех не сбросают в пекло, не сожгут, надеясь на чудо, на самом же деле — отгоняя свою гибель, спасая свою шкуру.

«Не-эт, довольно! Довольно-довольно! Гольбах дурак, да и дурак весь вышел. Он был дурак, когда деранул из плена. Как шли... Что они с Максом пережили?! Ох, дураки, дураки! Сидели бы вдали от войны, вкалывали бы на стройке, в свободное от работы время изучали бы труды Карла Маркса. К Марусе какой-нибудь приклеились бы. Они, Маруси-то, сначала за топор: „Проклятый гад! Фашист!..“ — Но скорчишь убогую рожу: „Арбайтен. Гитлер ништ гут...“ — ну и тому подобное. И вот уж отошла Маруся, картошки сварила: „Дети-то есть? Киндеры-то“ — „Я, я. Драй. (Да, да. Трое.) Лучше „фюнф“, сказать. (Лучше „пять“ сказать)“ И вот уж совсем Маруся размякла: „А воюешь, дурак! Хоть бы детей-то пожалел...“ — „Я! Я! Есть гросс дурак!..“

В общем-то народишко отходчивый. Наши вон показали им, русским киндерам, вселенское братство. В рудники! На каторгу! В печь их — пепел на удобрения! Наши! Нет, они уже не наши. Не-на-ви-жу! Себя ненавижу! Этого сосунка Мезингера, его, как же русские говорят? — шестерку Лемке. Где-то застрял? Может, подох? Или прячется? Может, остался? Дурак! Разве на плацдарме в плен сдаются?..»

— Спокойно, Гольбах! Спокойно! — по-русски мычит Макс Куземпель и через какое-то время добавляет: — Гольбах, не стоит вонючка эта со всеми своими Шиллерами, Гейнями, Генделями и Бахами и всякой прочей культурной бандой, со всей своей

аристократической семейкой, которую большевики и без нас вырежут, не стоит он нашей жертвы. Гольбах, ебит твою мать, мы можем не дожить до отпуска.

У Макса Куземпеля есть где-то знакомая штабная крыса. Они набрали на полях сражений золотишка — полную солдатскую флягу: кольца, зубы немецкие, русские, часы и браслеты — все вперемешку. За это они получают отпуск. В честном бою, кровавой работой им отпуск не заработать. Они уйдут в Грац, купят документы, право на жительство, спрячутся в горах, отселятся подальше от Великой Германии в Альпы. Ищи их там фюрер! Мыловары-родители ищите — умыли детей на войне, чисто умыли. Может, большевики не всех немцев вырежут? Большевики, те, что за войной, — тоже демагоги, как фюрер наш драгоценный и его прихлебатель Геринг, — любят в рыцарей поиграть. Вот и бросят красные владыки жизнь оставшимся от побоища немцам. Как кость. Нате, грызите! Пользуйтесь нашей добротой, нашим невиданным, коммунистическим благородством! Вы нас в крематории, в печи, в ямы, в рабство, мы вам возможность трудиться, налаживать демократический строй, плодиться и слушать духовые оркестры.

И что дальше? Он знает. Красные не знают. Он знает, потому что он — немец, они русские. Эти же вот мезингеры, переодевшись в цивильный костюмчик, сменив коричневую рубашку на беленькую, чистенькую, будут поливать цветочки на балконе, торговать пирожными, играть в теннис и пальцем показывать на безногого и безрукого вояку: «Это они! Это они! Мы ни при чем!..»

Гольбах успокаивает себя, успевает даже накоротке уснуть, пустив по округе рычанье, похожее на пулеметную очередь. Но и сквозь сон твердилось в голове: «Надо отрываться!» — именно так говорил один русский, под видом немца затесавшийся в лагерь. Он хорошо знал немецкий язык и российские порядки. Прихватили его с собою для того, чтоб вместе сподручней было явиться к немцам, но вышло так, что он их прихватил, — без него они никуда бы не дошли. Тот русский, замаскировавшийся под немца, скорее всего был шпион, потому что, как только они перешли фронт, он исчез бесследно.

После госпиталя и последнего ранения пошел уже второй месяц. Это много. Судьбу нельзя так долго испытывать, да и Макс поторапливает. Кровью и тайной они соединены.

Колодец в Граце надежней всяких банков, даже швейцарских. Да и не верили Гольбах с Максом в такие сложные штуки, как банк. Они доверяли только наличности. В старом заброшенном колодце засыпанная сохлой тиной банка из-под патронов. Запаянная банка тридцати килограммов весом. Этого хватит начать дело там, в Австрии, в Судетах, в Триесте — где угодно, но только не в родной стране. С них хватит! Они наелись досыта германской отравы.

«Золото?! Откуда?» — русский пленный говорил: «Нашел! Едва ушел!»

В тридцать девятом в Польше, по которой, как по податливой бабе, катаются армии, то русские, то французские, то немецкие, то все вместе, трянули они усадьбу одного пана под Краковом. Шкуры кругом, и они с Максом — шкуры, но не такие уж шкуры, как те, что в тылу, понаграбили себе добра, кофии попивают, заткнув салфетки за галстуки, ждут, когда настанет пора драпать.

Не дадут отпуск, они с Максом пальнут друг в друга: Макс прострелит Гольбаху ногу, он Максу — жопу. Но с такими ранениями, пожалуй что, далеко не уедешь. Залатают — снова в котел. Да и крови мало уже в теле осталось, да и усечь могут! Доки-доктора разоблачают самострелов. «У-у-у, блиять! Не-на-ви-жу!»

Есть еще вариант. У Макса Куземпеля спрятана в сумке старенькая, но точная карта. На ней густо-зеленой краской обозначено: Березанские болота. В сорок первом году сюда загнали множество русских из армии Кирпоноса, так загнали, что до сих пор они оттуда не вылезли, да и никогда уже не вылезут — глубоко лежат. Вот сюда Гольбах с Максом и свернут, тут и отсилятся недельку-другую. Потом на дорогу, с поднятыми руками: «Гитлер капут! Сталин зэр гут! Арбайтен гут! Дойчланд, Дойчланд дас ист капут!»

Русские отчего-то очень любят дураков, жалостливо к ним относятся, сами дураки, что-ли?

Мезингер спит, слюни на отворот мундира пустил, полуоткрытый рот облепили мухи. Это бывает после смертельной встряски. Мгновенный провал.

Булдаков утих, вытянулся, всхлипывающий, переливчатый стон вырвался из его груди. «Воистину испустил дух» — эта мысль струнула и заторопила другие мысли в голове Лемке. Он осторожно



поставил к ногам русского ботинки, потер ладонь о ладонь, будто хотел отгореть руки, сделать себя непричастным к убийству. Как и всякий тщедушный, плохо в детстве кормленный человек, он пропитан тайной ненавистью и завистью к людям, от природы сильным, однако к богатырям всегда относился с подобострастным почтением, считая, что они уже не в его умопонимании, сотворены Самим Богом. Лично. Для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь! К чувству страха и жалости в душе Лемке применилось сомнение: что же будет с человечеством, если замухрышки выбьют таких вот? Останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да?

По бровке окопа черкнуло пулями, выбило пыль из бруствера, ссыпало комки, на русского струйками потекла сухая, порохом, гнильем воняющая пыль.

Глаза русского, еще что-то вопрошающие, начали сонно склеиваться, однако Лемке казалось, окраснелыми веками русский снова вот-вот сморгнет пыль, разлепит полусмеженные ресницы, захрипит, выдувая грязную пену изо рта. Лемке встал на колени, чтобы зашипнуть русскому солдату глаза, и увидел в бездонной серой мгле глаз мелькающие дымы войны, взрывы зениток. Веки солдата, еще теплые, еще не тугие, и когда Лемке, пожелавший облегчить последние страдания человека, дотронулся до глаз русского, тот дрогнул веками: «Ты кто? Ты кто? У бар... бар... бар». Лемке поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ-палатку, набросил ее на русского и, царапаясь тощим брюхом о сухо ломающуюся полынь, выступающие из худородной глины острые каменные плитки, пополз к своим. Русские не стреляли по нему, может, выдохлись, устали, пили водичку — кушать им нечего. По привычке, давно уже, пожалуй что век назад приобретенной на войне, Лемке утягивал голову, вжимая ее в плечи, прятался, ладясь ползти меж бугорков, неровностей земли, западал отдохнуть в воронках. Братья его, непобедимые воины фатерлянда, ушли, удрапали. Лемке не то чтобы позавидовал тому, что они спаслись, продлили свою жизнь на час или на вечность, он завидовал тому, что они, быть может, не испытывают той пустоты, той душевной боли и прозрения, которые нахлынули на него: все напрасно, все неправильно, все не по Божьему велению идет на земле.

Когда он свалился в ров по обкатанной, полого оплывшей, стоптанной стене рва и угодил руками во что-то жидкое и понял, что вляпался руками в разложившийся труп, слегка присыпанный взрывами, — какое-то время не двигался, не открывал глаз, все в нем содрогалось от невидимых миру рыданий: «Пресвятая Дева Мария, прости, смилуйся...»

— Ранен что ли? — приподнял пилотку с грязной морды командир взвода Гольбах.

Говорить он уже не умел, он рычал, и в рычании том ни сочувствия, ни внимания, — спросил и спросил. Лемке ничего не ответил. Гольбах приподнялся, сел, огляделся, показал кивком головы на откос, где что-то еще росло, не все было вытоптано, выдрано. Лемке потряс руками, сбрасывая липкую слизь с пальцев, как собака с лап. После Подмосковья, после той зимней кампании на правой руке у него остались два пальца и на правой ноге два пальца; следовало бы его давно списать, отправить домой, но кто ж тогда на фронте останется, кто любимого фюрера оборонит? Ловко выудив рогулькой из кармана носовой платок, Лемке принялся вытирать руки, каждый палец по отдельности, ни на кого не глядя, никого ни о чем не спрашивая.

Обер-лейтенант Мезингер, завалившись боком в выемку, выбитую вскользь ударившим снарядом или болванкой, морщился от возбужденной вони, махал и тряс рукой, стирая с лица липких трупных мух, не замечая Лемке, брошенного им в окопе. Свалившись в ров следом за своими вояками, которые, казалось ему, бежали в беспамятстве и панике, не сразу, однако, но по тому, как солдаты быстро успокоились, расслабились, дремали, ожидая обеда, командир роты, догадался Гольбах, чтобы не рисковать собою и остатками подразделения, увел солдат с того места, к которому пристрелялись русские и вот-вот благословят огнем, мощным, плотным, все сметающим. Мотнув головой второму номеру, рывкнув по-медвежьи так, чтоб слышно было и всюду, схватил лапищей пулемет и, поддерживая фильдеперсовые кальсоны, облепившие промежность, выветренный до мамонтовых костей, грузно, но натренированно рванул из пулеметной ячейки, где он уже по колено стоял в горячих гильзах.

— Глоток. Освежиться. Глоток на руки! Не пролей! — Гольбах протянул Лемке флягу. — На реке русские... — И рывком отнял флягу

после того, как Лемке отпил и отлил разрешенные ему капли шнапса на руки.

Обидеться бы надо, но на кого?! На Гольбаха? На Ганса? Да не будь его, Ганса этого, они бы все уже гнили в этом или каком другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей. Мезингеру мнится, что Гольбаха все ненавидят так же, как и он, неприязненно к нему относятся. Но начинает и он понимать: тут не до нежностей, тут окопное братство, лучше по-революционному сказать — солидарность, которая крепче в окопах, нужнее всяких нежностей. И Гольбах, и солдаты ненавидят войну, и, страшно подумать, они ненавидят и фюрера. Разных мезингеров Гольбах и его солдаты перевидали и пережили за войну столько, сколько червей сейчас копошится в проткнутой рукой Лемке корке трупа, уже и не поймешь, чьего — русского или немецкого. И Гольбах, и Куземпель, и все солдаты его роты — эти испытанные герои-окопники жили с теми же чувствами и вопросами, какие подступали, подступали и вплотную придвинулись к Мезингеру — в какое же это дерьмо они вляпались! Ради кого и чего? Колеблющийся, в сомнение впавший воин — это уже не опора для фюрера, не надежда фатерлянда. Они опозорят, всенепременно опозорят славу немецкого оружия, бросят фюрера, бросят своих командиров, чтобы сохранить себя. Стали они, опытные окопники, магами и волшебниками войны, способными угадать, что будет в следующую минуту, в следующий час, день, и отчетливо понимают: надо суметь пережить минуту, день, дожить до следующего дня, там, глядишь, и жизнь проживешь...

Вон они, русские-то, — обрушились на оставленные позиции так, что в воздух поднялись и сами позиции, и все, что в них осталось. Гольбах знал, долго засиживаться там, в заселенном месте, нельзя, увел из-под огня товарищей, увлек в бега и командира роты. Так что ж ему теперь за это благодарить Гольбаха, знающего сотни, если не тысячи уловок, спасающих от опасности, обладающего чутьем зверя, способного унюхать гибельный миг, гибельное место и улизнуть из-под огня, кого-то подставив при этом. Здесь это не считается предательством, и никто не терзается совестью, совесть — лишний, обременительный груз на войне.

Еще вечером, выдвигаясь на передовые позиции для утренней атаки, Мезингер сделал открытие, которым был потрясен. Скопившись

в овраге, солдаты курили, переговаривались, но вот разом смолкли, подобрались. Для перебежки в траншею из оврага первым поднялся Гольбах. Перебежать поверху всего-то нужно метров пятьдесят. Но новички с уважением и страхом глядели на собирающегося первым преодолеть опасность, показать им пример. Они-то смотрели на помощника командира роты Гольбаха, открыв рот, а он-то не смотрел на них, отводил глаза. В осевшей на плечи каске, плоский, квадратный, в тщательно залатанных ботинках, подбитых железными подковами на подборах и пластинками на носках, всаживая отшлифованные эти скобы в глину, Гольбах на карачках выбирался наверх, ни разу не обернувшись. Но в его спине, в напряженной шее, черной от солнца и грязи, на полусогнутых ногах, в звериной, настороженной позе была такая сосредоточенность, что только тут, глядя на Гольбаха, Мезингер уразумел, какая опасность там, наверху, и вообще, какая жуткая штука — война! Дойдет Мезингер умом своим, сам дойдет: пуля пробивает шкуру, и она, шкура, болит и гниет от осколков, душа же отлетает обратно к Богу. Слишком это глубокая штука — душа, поэтому в бою никто о ней не заботится. Заботятся лишь о шкуре — она ближе и дороже. Так вот этот самый унтер Ганс Гольбах прекрасно наловчился беречь свою шкуру. Редкий тип. Редкая боевая биография. Воюет с начала войны в окопах. Был в русском плену. Бежал! Из русского плена бежал! Такого можно за деньги показывать! Почему-то мало кто убегал из русского плена. То ли там хорошо сторожат, то ли хорошо содержат. А если даже и сбежишь — к своим не дойдешь. Любой мальчишка, любая баба выдадут, снесут башку топором, заколют вилами, отравят. «Смерть немецким оккупантам!» — И все тут! Большевистский иуда-писатель во всех листовках, на всю Европу визжит: «Хочешь жить — убей немца!» Ох уж эти иуды! Бьют их, вешают, жгут, травят, посыпают порошком, растирают в пятна, но они отсилятся в какой-то щели, выползут, вялые, тощие, с порошком на заднице — и снова принимаются за свои делишки.

Ганс Гольбах прошел войну вдоль, поперек, наискось, но унтер-офицер — край его карьеры. Офицером ему не стать — был в плену. Вернулся! Герой! Но все же какой пример? Крестов Гольбаху не жалеют, медалей и орденов тоже. У него даже есть орден какой-то королевы, шведской, что ли? Награды Гольбаха носит в ранце Макс Куземпель. Гольбах — налегке. У него нет никакого имущества. Макс

Куземпель трясет мешочком, бренчит наградами друга, словно рыбацкими блеснами, посмеивается.

Старший унтер-офицер Гольбах — бесстрашный громила — вылез из оврага, подавая пример храбрости своим солдатам, рванул через перемычку оврагов, птичкой слетел в траншею. Следом за ним Макс Куземпель — куда иголка, туда и нитка. Гольбах перед тем, как упорхнуть, подмигнул дружку своему, будто жулик жулику, идущему на дело. Следом храбро ринулся командир роты, кто-то из старичков бесцеремонно поймал его за сапог, стащил обратно и отдельно произнес:

— Сей-час не вы... — И в том, как говорил солдат, как смотрел на Мезингера, таился скрытый смысл.

Идущего следом за Максом Куземпелем новичка убил русский снайпер. Спустя время в траншею перебежал, обрушился пожилой, вроде бы неуклюжий солдат, резервиста же новичка русский снайпер опять снял. «Что за чертовщина?!» — ломал голову Мезингер, попавши в траншею и слыша, как его помощник по телефону непочтительно огрызнулся: «Быстрее нельзя, господин майор?!» Мезингер морщился, но трубку телефона не брал. Гольбах тут царствовал, распорядился на боевых позициях не только за командира роты, но и за командира батальона, держа на отлете трубку телефона, он закрывал глаза, протирал потную шею и башку грязной тряпкой, шипел, изрыгал ругательства.

Над траншеей прошли два советских истребителя. Не переставая вытирать шею и башку и выслушивая наставления майора, Гольбах проводил их скучным взглядом. Война шла своим чередом, по своим подлым законам. — Гольбах точно знал, что господин майор не придет на передовую, не побежит от оврага в окоп под прицелом снайпера. Он будет сражаться в уютном месте, в селе Великие Криницы, под накатом крепко сработанного блиндажа. И командир батальона, и ротный знали: во всем этом военном бардаке мог еще разбираться, что-то делать, чем-то и как-то управлять Ганс Гольбах, портовый грузчик. Раз он пошел первым из оврага в окоп, значит, так надо. В другом месте не пойдет. В другом месте нужно будет действовать по-другому, только вот надлежит угадать — как действовать.

Снайпер, будь он хоть расснайпер, — все равно человек, все равно он все время до предела сосредоточенным быть не может. И не в одну

точку он смотрит. У него зона, сектор — и вот в этом секторе что-то мелькнуло. Может, заяц промчался, может, человек, может, и померещилось что-нибудь. На всякий случай надо за этим местом понаблюдать. Наблюдал, наблюдал — никого. Значит, померещилось. Распустился снайпер, пружину в себе ослабил, онемелый палец со спусковой скобы снял. И в это время снова на противоположной стороне что-то промелькнуло. «А-а, дак вы хитрите! — сказал сам себе русский снайпер. — Теперь-то не обманете!» И уж весь он — внимание. И вот тебе, пожалуйста! — чешет на всех парах по земле фриц, бренчит котелком. Хлоп его — и ваших нет, как говорят картежники.

Все стихло. Никто не шевелится. «Значит, фриц этот здесь ходил один, надо другое место посмотреть», — совершенно разумно решает русский снайпер. И только он перенесет внимание, переключится в другую зону, глядь, двое-трое опять проскочили, и заметьте — старички все первые, первые!.. Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеется. Они много умеют... «Но так же поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, и эти трусливые мамалыжники румыны, и вороватые итальянцы, и неповоротливые умом мадьяры — все-все предают друг друга».

Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов — они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. Вот он, офицер из благородных, из древнего германского рода, сегодня стрелял в спину человека, стрелял и боялся, что четырьмя пулями, оставшимися в обойме, не свалит его. Расстреляй он всю обойму в сторону вражеских окопов наугад, его мальчишество, игра в войну, в бесстрашие стоили бы ему жизни — русский задавил бы его вместе с этим рахитным Лемке и попер бы на пулемет Гольбаха, низринулся бы сверху медведем — можно себе представить, что за свалка тогда получилась бы в пулеметной ячейке. У русского, когда он упал, из кармана выкатилась граната — могло никакой схватки и не быть, русский в пулеметную ячейку, как в

колодец, булькнул бы гранату — и для Гольбаха и холопа его — Макса Куземпеля уже полчаса назад закончилась бы война.

«Интересно, осознают ли эти двое героев, командир роты и связной его, которых я увел из-под огня, что обязаны мне жизнью?» — мельком подумал Гольбах. Но тут, на фронте, все повязаны одной судьбой, и все живые обязаны друг другу, не благодарят за услугу. Поезд грохочет вперед, не сбавляя скорости, остановка у многих пассажиров одна, коротко и выразительно называется она — кранк.

Гольбах валяется на закаменелой глине, рожу пилоткой накрыл, рожа с прикипелой грязью в щетине, но под заросшим подбородком бледное пятно, поднял пилотку, одним глазом скопил на своих вояк и снова сделал вид, будто уснул. Макс Куземпель тоже морду под пилоткой скрыл — у этого кадык, как собачье вылизанное яйцо, — ничего на тощей шее не растет, лишь жилы толсто и грязно сплелись. Затрещал телефон, брошенный в ров. Гольбах, не глядя, протянул руку, приложил трубку к уху, послушал.

— Курт, Иохим — за обедом. Лемке, пойдешь за жратвой обер-лейтенанта, не забудь умыться — вонь невыносимая. Макс, распорядись там, как положено, и отдай вот это господину майору — на память! — пересыпал он из горсти в горсть Макса половинки пяти жетонов.

И снова пилотку на харю, снова лежит ото всего отрешенный.

— Вы что-то хотели сказать, господин обер-лейтенант? — спросил он, не снимая пилотки с лица.

Да, это, пожалуй, хорошо, что Гольбах никакой почтительности не изображает. Он и с майором-то через губу разговаривает. В глуби его глаз беспросветная темь — такое уж волчье одиночество во всем его облике, что вот-вот завоюет и ты ему подвоешь. Солдаты собирают термосы, котелки. Гольбах подгрел ранец Макса Куземпеля под голову, устроился основательно: ноги его упирались в разбитый ящик из-под мин, углом всосавшийся в осеннюю, не желтую, а беловато-синюю с черными прожилками глину, холодом и цветом напоминающую намогильный мрамор и блевотину одновременно. И лежит-то умелый боец головой в сторону русских, в прокопанном из рва узком лазе. Русская артиллерия хлещет — старый вояка даже в мелочах ошибок не

делает: чем ближе к противнику лежишь, тем больше шансов встать невредимым.

— Вы хотели сказать, что мы нечестно получаем пищу и выпивку? — вжимаясь все глубже в рытвину, пробурчал Гольбах. — Да, солдаты получают сполна, по утреннему списочному составу жратву и выпивку.

Ничего он не хотел сказать! От роты осталась половина, что тут говорить? И пусть солдаты напьются. Здесь вот, в навьюченном, трупами и барахлом заваленном рву, где он сначала не мог есть, выворачивало его, свалятся, и выдвори их потом под меткий огонь. Никому они здесь не подчиняются, кроме своего Гольбаха, и они, вот эти разгильдяи, выживут, не все, но выживут.

— Я же не возражаю, — вяло и нехотя отозвался обер-лейтенант Мезингер.

Гольбах фыркнул, сгоняя муху с грязных губ и одновременно как бы говоря: «Еще бы ты возражал!..»

Над головой пронеслись снаряды. За рвом рассыпались, заухали разрывы, прибавилось шуму и треску — русские заметили оживление на позициях противника и, зная, что у немцев начинается обед, от злости хлещут из всего, что есть под руками. Не во все окопы, не ко всем солдатам донесут сегодня обед.

Булдаков был жив и медленно, заторможенно начинал ощущать себя. Будучи сам большим брехуном, он считал веселой брехней доводы артиллеристов о том, что после большого артиллерийского огня непременно в том районе, где бабахали орудия, будет дождь. Если бы у Булдакова и его сотоварищей было время и возможность сосредоточиться и заметить явления не только их жизни на плацдарме, но и окружающей природы, они бы обнаружили, что почти каждую ночь над плацдармом и близким забережьем происходит дождь, то шальный и краткий, то осенне-затяжной, водяной пылью облегающий здешнюю местность, войну и людей утишающий.

Прошедший день плацдарма был каким-то особенно раздерганным, психозным. Немцы и русские то там, то тут бросались друг на дружку, и не в атаку, не в бой, ровно бы в осатанелую собачью драку. Много было шуму, дыму, неожиданных схваток, непредвиденных смертей, неоправданных потерь. И весь день



свирепствовала артиллерия с обеих сторон, одно звено немецких бомбардировщиков сменяло другое — это все, что осталось от еще недавно осыпавших небо над плацдармом черных, лапистых птиц. На горячие самолеты садились экипажи, уцелевшие со сбитых машин. Почти на ходу заправленные самолеты непрерывной цепью взмывали в воздух, торопились к реке, хотя и сметал их с неба зенитный огонь, пагубно действовала истребительная авиация.

Отчаяние, может уже безумие, охватывало воюющих на Великокриницком плацдарме, уже силы противоборствующих сторон на исходе, и только упрямство, дошедшее до массовой истерии, удерживало русских на растерзанном берегу реки и бросало, бросало в тупое, непреклонное движение немцев, инстинктивно чувствующих, что, ежели они не удержатся за великую рекою, не остановят здесь лавину русских, им уже нигде не удержаться.

Тем временем с приречного аэродрома улетели по новому назначению тяжелые бомбардировщики Ю-88, эскадрилья «хейнкелей» и «фокке-вульфов» — все до единого подметены. Чиненые, латаные-перелатаные «лапотники», оставшиеся, по существу, без прикрытия, бросались в небо, в эту гибельную преисподнюю, горели, падали, в слепой осатанелости врезались в высокий берег реки, но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок еще смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков.

Прошел и этот день. Берег и плацдарм обессиленно умолкли. Лишь одинокие крики раненых людей, умирающих в заглушь оврагов, оглашали ночь. И в этой оцепенелой ночи по припадочно горячим, пыльным зевам оврагов, по изнеможенно дышащему ломтику земли, точно по ржавому железу, звонко ударила капля-другая, и вдруг обвально, хорошо в народе говорят, как из ведра, хлынуло с небес, пролило и оживило непродышливую темноту, размыло оцепенелую темноту, размягчило судорогой схваченную, испеченную землю.

И дождь-то лил минут десять-пятнадцать, но какую благодетельную работу он сделал! Перестали кричать раненые, умолкли дежурные пулеметы, даже ракеты сигнальщиков с боевых постов взлетали редко, нехотя, да и неуместно. Ночь подложила теплую солдатскую ладонь под мягкую щеку и затихла в глубоком сне, не слыша войны и вроде бы не ведая тревог.

Дождь пролился и над Булдаковым, лежащим на дне добросовестно немцами выкопанной глубокой траншеи под плащ-палаткой, скомканно брошенной на него немцем. Когда русская артиллерия обрушила огонь на окопы противника, раненого Булдакова забросало землей и почти уже похоронило в комках и едкой пыли. Но обвальный дождь смыл с плащ-палатки пыль, накопился в складках брезента и по одной из них, точно по желобу, влага потекла на лицо и в рот раненого. Он хватал влагу распахнутым ртом, пытаясь загасить пламя, бушующее в груди, но разве каплями этими небесными загасишь большой такой огонь? Бывало, как забросят с берега на пароход «Мария Ульянова» дров кубиков четыреста-пятьсот, сначала пугая пассажиров бойким: «Па-а-абереги-и-ы-ы-ысь!» — и к концу погрузки усталым окриком: «Не видишь, что ли?!» — на ходу снимая робу с просоленного потом, крошкой коры и пылью опилок забитого тела, аа-а-ах ты, переа-а-ахты! Поостыв, покурив, словом-другим перекинувшись с друзьями-матросами, оставляя мокрые следы в коридоре, с закинутым на плечо полотенцем — в душ, под струйки теплые, щекочущие, мыльцем на вехте в пену взбитом, пройтись по всем закоулкам. Какое торжество, какой воскрешающий праздник телу! Затем, нежась, повалиться на скользкой скамейке, как бы балуясь, забыться в краткой дреме и с осевшей в кости усталостью волокчись в свою чистенькую служебную каюту, в чистую постель, даже не пугая растопыренной ладонью, нечаянно гребущейся в затень юбки, девок, заблудившихся в недрах судна и совсем случайно угодивших на служебную половину парохода — не было сил на эту забаву.

Еда, девки, танцы на палубе, нехитрые забавы — все потом. А пока сон под шум машины, под бухающие по воде возле уха плицы, под свежий ветерок с Енисея, залетающий в открытую дыру иллюминатора, под певучий гудок «Марии», разносящийся по крутым берегам Енисея, улетающий за хребты и горы аж в самое небо, к ангелам.

Он со стоном перевернулся со спины на живот, все в нем захрустело, захлюпало. Внутри разъединенно, хватками работало, точнее, пыталось работать сердце, толкалось в грудь. И так вот, то впадая в забытие и недвижимость, то чуть ощущая себя, ничего вокруг не видя и не понимая, он полз, зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием

природы он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз, а все стоки здесь ведут к реке. На реке же его ждет дед Финифатьев, он обещал ему помочь...

Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался в траншее, кричал, что Бог не дал ему роженного брата, так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал — и объяснилось ему все: из-за них, из-за клятых ботинок Олеха в передрагу попал, хватанул теми ботинками дед во врагов, затем гранату, вывалившуюся из булдаковского кармана, туда же метнул — хрястнул взрыв, и заорал Щусь: «Чего ты, старый хрен, тут делаешь? Чего тебе на месте не сидится? Ты же раненый, вот и жди переправу...» — «А Олеха как?» — спрашивал капитана Финифатьев. «Как, как? — затруднился капитан. — Он к Богу отправился, Богу хорошие люди, тем более отчаянные бойцы, во как нужны!». «Ему ангелы нужны, а не бойцы. Олеха же не уродился ангелом, он — бес, правда, бес очень душевной, его агромадного сердца на всех хватит, последнюю рубаху с себя отдаст...» Щуся куда-то унесло. Немцы по траншее зашебутились. Финифатьев винтовку Булдакова схватил. «Я, Олеха, хоть и бздилловат, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу и сам, ешли шчо, пулю в лоб — мне в плен нельзя, я ж партейнай...»

Унесло куда-то и Финифатьева. Он его звал, звал, вроде вот где-то рядом друг сердечный, но сыпучий, круглый его говорок едва слышен. «А-а-а, — догадывается Булдаков, — он же в норке, дед-то, в земле, из земли и слышно глухо. Де-э-э-эд! Де-э-э-ээд!» — склеившимися от крови губами звал Булдаков. Финифатьев все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друга своего, брата нероженного... «А-а, — догадывается Булдаков, — он же раненый, ему меня не утащить, он от природы запердыш, а тут эвон какое туловище выдурело!.. Вот и зовет он, вот и манит, — хи-ытрый дед, ох, хитрый!..»

Булдаков выбился к реке, уперся в воду руками, пощупал недоверчиво и уронил в нее лицо, и, если бы мог видеть, обнаружил бы, как красно клубится вокруг его головы вода, вымывая с губ, изо рта, из ноздрей, из ушей кровь, с бурой коростой сросшихся волос, которые так же, как и ногти, росли на плацдарме не по дням, а по часам — питанье им шло обильно: земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натываясь на комки глины, склосы, вымоины, камни, горячая плита под ним постепенно остывала. Он

перестал звать деда, лакал воду распухшим языком и все бодался и бодался с рекою, катая в ней свою голову, будто грязную брюкву с грязной ботвой. Когда он приподнялся, из хрустнувшего его тела, из нутра его дрожащего потекла по губам горячая, соленая кровь, он понял по вкусу, что это кровь, и попытался перевязать себя, чтобы остановить кровь, он даже скусил и разъединил шов на индпакете, обмотнул себя по гимнастерке бинтами, телогрейка где-то в траншее или дальше свалилась, или ее с него кто-то из живых и боеспособных успел снять. Он и второй пакет из нагрудного кармана достал, вытянул зубами из него бинты и зубами же да одной рукой начал обматывать себя, но до раны не доставал и мотал, мотал бинты на шею, смутно надеясь на то, что, когда сил прибудет, он спустит бинты на грудь и на спину, спустит и затянет...

Когда он в очередной раз очнулся и увидел, что светает, попробовал уяснить, где он, куда ползет? Местность он не узнал, но увидел, что перед ним речка и в устье ее, примаскированная желтой осокой, стоит лодка. Но ни мыска, ни знакомого издырявленного яра в устье речки не было. «Де-эд! Де-эд! — просипел яркими от легочной крови губами Булдаков. — Где ты, де-эд?»

Дед не отзывался, его нигде уже не было.

Плесневелое, непроницаемое, опьяненное от сытости, еле ползущее облако вшей накрыло людей на клочке земли, называемом Великокриницким плацдармом. Высоту Сто, заваленную трупами, снова пришлось оставить. Отход прикрывала вторая рота и полностью погибла. Тяжело был ранен в этом бою надежда и опора комбата — киназ Талгат, и его, раненого, никак не удавалось переправить на левую сторону реки.

Немцы после недельной осады плацдарма особо не гоношились, не атаковали, но били по всему, что пробовало плыть, ходить, кричать, дымиться. Враг решил взять врага измором, зная, что русские из последних сил держатся за клочок истолченного взрывами, прахом пылящего берега. Русские даже не играли в активную оборону, изображая беспрерывное старание улучшить позиции, сковать и закрепить возле себя побольше фашистских сил. Они выдохлись, обессилели, обескровились. Смысла существования их на этом клочке земли никакого не оставалось, но по рациям, по все еще работающей

линии связи артиллерийского полка с левого берега твердили: «Потерпите! Еще чуть-чуть!»

Утрами парили берега. По воде несло, в воздухе кружило желтый лист, высоко в небе тянули стаи птиц, роняя печальный клик на землю, охваченную войной. Над самой водой, то рассыпаясь, то вытягиваясь в живую, легко и прихотливо дышащую нить, неслись утки, взмывая над плывущими трупами. Тут же снижались, жались чутким пером и лапами плотно к воде. Лешка Шестаков шел к берегу и все задирает голову, слушая птиц, верил совершенно твердо — летят они с низовьев Оби. Он направлялся к реке, чтобы набрать глушенной рыбы, предположить он даже не мог, что привычка, обретенная еще в детстве, есть сырую, несоленую рыбу — «сагудай» называется это по-эвенкийски, так пригодится ему. Опухшие, тихие от голода бойцы, глядя на него, тоже пытались «сагудать», но их рвало. Сварить же рыбу фашисты не давали, били по каждому огоньку, засыпали минами каждый дымок, даже по вспышке сигарки стреляли снайперы.

Но огоньков от сигарок давно уже не мелькало — на плацдарме табак давно кончился. Только Шорохов, сидевший подле двух телефонов в одном с Лешкой ровике, еще добывал где-то курево, еду, был брит, сыт и беспечен. Бриться он умел стеклом, косарем своим, предлагал циркульные услуги за плату бойцам и товарищам командирам, но тем было уже не до бритья. Даже всегда подобранный Понайотов, на котором, кажется, пылинки нельзя было увидеть, зарос черной, янычарской бородой, глаза его свирепо светились в буйных зарослях. Полковник Бескапустин сосал форсистый наборный мундштук, изгрыз его до половины. С ним, мающим сердцем, были уже два тяжелых приступа, о которых он не велел никому говорить, особенно бойцам, закопавшимся в землю по берегу и оврагам.

Про вшей на плацдарме говорили: «Из тела идут» — и верили, что есть в человеке где-то мешочек с этой тварью, пока человек в теле, пока он силен и соков в нем в досталь — они сосут нутряную жилу, но как ослабеет человек и «нутряная жила» иссохнет, вша выходит на тело.

Командир батальона Щусь, тоже подзапущенного вида, молчаливый и злой, замотав вигоневым желтым шарфиком шею, называл его ловушкой, через час-другой разматывал шарфик, высвобождая концы его из-под воротника гимнастерки, — шарф

серый, брось на землю — поползет. Вытряхнув шарфик, лип к телефону, требовал, чтоб взяли из блиндажа, переправили во что бы то ни стало командира второй роты, обозвал кого-то в штабе «шкурой».

Полковник Бескапустин приказал не подпускать комбата Щуся к телефону. Вот в это время и случилось малозаметное событие — с передовой исчез Петька Мусиков. Предположили: ушел к немцам. По утрам, еще в сумерках, со стороны немцев работала агитационная установка, переманивала русских солдат в плен, обещая всяческие блага и прежде всего еду. И хотя лупили по агитаторам из всяких видов оружия, ловили, стреляли изменников родины беспощадно, переходы к немцам участились. Надеялись: Петька Мусиков, нажравшись от пуза в гостях у фрицев, вернется к дерябинскому пулемету. Но Петька исчез, и угрозы пермяка Дерябина — напирать шалолая, когда он возвратится «домой», оставались неосуществленными. Лешка Шестаков знал, что его однополчанин лежит подстреленный в земляной норке. Выбросил умершего или беспмятного раненого бойца, влез туда и, как всегда, сам, один борется за свое существование. Лешку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды. Напившись, спросил: как часто приплывают за ранеными? И когда Лешка недоуменно произнес в ответ: «Че-о?» — в Петьке заныло и сжалось сердце. Уж не допустил ли он оплошность, выставив из пулеметной ячейки ногу под пули, когда Дерябин спал. И не одна, две пули просадили Петьке ногу. Не разбудив своего начальника, никого не потревожив, опираясь на карабин, будто на костыль, Петька Мусиков убыл из боевых рядов в ближние тылы, чтобы уплыть с проклятого, смертельного берега и покантоваться месяцок, если получится, так и полтора, изловчиться, так и полгода, в госпиталях и всякого рода военных шарашках, а там, глядишь, и войне конец. Просчитался Петька, оплошал чуткий зверек, завалило, задавило его землею.

Осторожно выбравшись на берег, Лешка огляделся, прислушался.

Шел обычный обстрел. Шум и гул были так привычны, так соединились со слухом, что требовалось что-то включить в себе, чтобы заставить себя слышать их. Он приложил ребро ладони ко лбу и долго глядел на другую сторону реки, подрагивающую в дымном мареве, дрожащем над водой. Даль просматривалась глубоко, воздух был по-осеннему прозрачен, небо просторно — и не верилось, что днями

пробрасывало снег, ночи студеные, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, рыба начала уходить с отмелей, сбиваться в глубинах — на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой, несмотря на холод, сгустился, облаком плавал тяжелый запах разлагающихся утопленников. Но пора обложных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая, серая осень. Вода в реке убывала и оттого обсыхали трупы. Только теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах. Берег, заостровка, отмели, стрелка и охвостье острова, все заливы, излучины были завалены черными раздутыми трупами, по реке тащило серое, замытое тиной лоскутье, в котором, уже безразличные ко всему, вниз лицом, куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена. Так, в мыльно-пузырящейся пене и уносило трупы вниз по реке, таскало по стрежи, трепало в омутах, прибывало к берегу.

Мухота, воронье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали у утопленников глаза, обожрались человечинной и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах — так любят они плавать на бревнах.

По берегу теньями бродили саперы, загнутыми крючьями из шомполов стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой, живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык. В яру саперы выдолбили яму, прикрыли ее бортами разобранного баркаса, выложив подле той землянки горку подсумков с патронами, полупустые автоматные диски, лопатки, кое-что из одежки — все это снято с мертвецов, взято из карманов и меняется хоть на какую-то еду, на табак, но товар оставался не востребовавшимся.

Лешка спустился к самой воде. На босом утопленнике, лежавшем вниз лицом, поджав лапку, стоял кулик и дремотно качал долгим носом. Услышав шаги, он встрепенулся, разбежался и пошел низко над водой, беззаботно, по-весеннему запиликав. Его нехитрое, с пеленок привычное пение, этот удалявшийся трепетный полет потрясли Лешку.

«Умру я, видать, скоро», — подумалось ему безо всякого страха, как о чем-то неизбежном и даже необходимом. Он знал, отлично знал: безразличие к себе, к смерти, ко всему, что происходит вокруг, — это медленно входящее в душу: «Хоть бы уж скорей убило...» — начиналось у него где-то на десятый день непрерывного пребывания в боях. На плацдарме хватило и недели, пятнадцать-двадцать минут в

сутки сна-обморока, избавляющего человека от потери рассудка, но не снимающего усталости, — и вот человек готов в покойники. Добровольно, сам, махнувши на свою жизнь рукой, плохо чувствуя себя в миру, готов он расстаться с душой и телом. Тыловики работали тяжелее, надсаживались, надрывались до смерти, но все же они не знали того изнуряющего, непрерывного напряжения, которое приводило человека к тупому равнодушию, когда смерть кажется избавлением от непосильных тягот окопной жизни, если можно назвать это жизнью.

Лешка смотрел на труп, с которого только что снялся куличок. Замытые песком белесые волосы, сосулькой опускавшиеся в глубокую ложбинку на шее, уже отставали от кожи. Он напрягся и уже безо всякого чувства покаяния и боли вспомнил утопшего связиста и направился туда, где бабочками-капустницами трепетали серенькие чайки-корольки, безошибочно угадывая — там рыба. Набил мешочек из-под дисков густерой, плотвичками; две уклейки, оскоблив с них чешую грязными ногтями, тут же равнодушно изжевал, остальных рыбешек, завернув в тряпицу, спрятал в холодном ровике. В прежние дни он чистил рыбу, убирал из нее кишки, ныне порешил и этого не делать — все равно понос мучает. От воды, от запущенности ли, заметил он, шибко отросли ногти и совсем уж ни к чему задичали волосья на голове. Хоть и принадлежит он, солдат, кому-то и кто-то распоряжается его жизнью, но тело-то его с ним, оно ушибается, чешется, страдает. Душу выпростали, подчинили, оглушили, осквернили, так и тело избавили бы от забот и хлопот о нем. А то вот оно родственно болит, жратвы и бани требует...

Шорохов возился в ровике, чего-то толлок камнями, попадая по пальцам, ругался.

— Ты куда отлучился? — как будто с того света, затушеванным расстоянием голосом спросил Сема Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу.

— На промысел я ходил, Сема... на рыбный.

— А-а, — начал успокаиваться Сема. — Надо все же предупредить, а то вдруг че...

«Ах, Сема, Сема! Какое тут у нас может быть „вдруг“ или „че“. Вот еще денек-другой — и связь утихнет. Все утихнет...»



— Сема, вы чего ели сегодня утром? Картошку с американской тушенкой, хлеб и чай с сахаром? Хорошо-о-о! Сема, к вам куличок прилетел. Этакий куличок-холостячок! Помажь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда, а?

Сема Прахов поперхнулся:

— Я думал, у вас совсем плохо... Покойники вон плывут и плывут. А ты шутишь, значит, ничего еще... Конечно, и на рыбе жить можно...

Как далеко был Сема Прахов! Совсем в другой жизни, на другом берегу он обретался.

— Не дай Бог ни тебе, ни детям твоим жить на такой рыбе. Не дай Бог... — Лешка, не завершив беседы, подхватился, побежал в овраг.

Когда вернулся, дрожащий от озноба, с ноющей болью в животе, Шорохов протянул ему недокурок.

— На, зобни, хоть и некурящий, но прочисти башку, а то, я гляжу, ты, как покойник Финифатьев, заговариваться начал. Деду Финифатьеву ныне хорошо, отмучился...

Лешка потянул и закашлялся — в сигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее.

— Че это? — переждав головокружение, проговорил Лешка.

— Трубка. Бати Бескапустина. Уснул он, трубка выпала. Я ее растолок, с травой смешал...

«Ведь вся жизнь у полковника в трубке!» — Лешка хотел обругать Шорохова, но сил на ругань не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось.

Как только ободняло, налетели «лапотники», густо клали «яйца», то есть сорили бомбами. Взрывами подбрасывало, разрывало трупы на берегу и на отмелях, мучило и мертвых бедолаг войною. «Лапотники» улетели, ударили минометы. Артиллерия с левого берега ответила. Дым. Пыль. Прах. Все смешалось и поднялось над плацдармом, заслонило солнце, которое так славно пригревало. Закрывать бы глаза, уснуть и во сне увидеть Шурышкары, мать, сестренку, скорее время до ночи пройдет. Ночью лучше. Господь, говорил мудрый Коля Рындин, сотворив свет, оставил кусочек тьмы, чтобы укрыть ею людские грехи, но грехов тяжких так много, что хоть вовсе не светай, не укрываться

человеку от поганства и зверства никакой тьмой, не отмолить никакой молитвой... «Ах, Коля, Коля! Где ты сейчас?.. Живой ли?»

Ночь на плацдарме встречали с желанием, утро — век бы оно не наступало... Лешка покорно смотрел на небо и дремал с открытыми глазами, пытался чего-то вспомнить, выловить из глубины памяти. Если бы только не нудило в животе...

— Кореш! Кореш! — потряс его за рукав Шорохов. — Я на часок смоюсь. Жди меня, понял? — в голосе Шорохова возбуждение — к немцам на промысел подался деляга, все же боится малость, нервничает. А чего бояться-то? Ну, убьют — и убьют. Лешка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона. Завернулся в шинель, съежился. Шинель принесло водою, он ее высушил на солнце, выхлопал о камни, но сукно так напиталось духом мертвечины, что не вытрясешь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пуще всякой скотины, потому что жрет всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы ни увиливал, мысль обязательно повернется к еде. Ломкая полынь похрустела под усохшим задом Лешки, умялась, перестала колотиться, и он перестал шевелиться. Слышнее сделалось вшей в паху, под мышками, особенно под поясом — жжет, чешется тело, шею будто ожогом опетляло. Когда он увидел убитого Васконяна, подумал: что за бурая петля у того на шее? Теперь сам ею обзавелся. Пусть едят. Немцев тоже едят. У них вши задумчивые, вальяжные. Наши — юркие, с круглой черненькой жопкой, неустанную труженицу напоминают, поднялись вот ни свет ни заря, работают, жрут...

По телефону шел индуктивный писк, ныло в нем, словно в придорожных телеграфных столбах. На другом, на живом берегу, телефонисты тревожили постоянную жгучую тему — трепались про баб — голодной куме все хлеб на уме. Телефонист с девятки без негодования, но с завистью рассказывал, как командир дивизиона, сей ночью залучив в блиндаж сестреницу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе под шинелью энтим делом, не глядя на то, что телефонист тут дежурит, — за человека не считает иль уж так оголодал, что не до человека ему. Как и всякий здоровый парень, готовый уже быть мужиком, любивший уже Томку, в другое время слушал бы Лешка охотно солдатский вольный разговор, но ныне не манило даже и слушать завлекательный треп. Достать из тряпицы

плотвичку да погрызть? Однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурлило, под ложечку подкатила тошнота. Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, ну хотя бы про ту же Томку, но ярко воскресала не она сама, а ее изобильное угощение. И эта попытка отвлечься не удалась, не продраться памятью к Томке, воспоминанье о которой всегда высветляло в нем добрые чувства. Шурочка вот забылась, сразу и навсегда. Оттого забылась, что не было с нею, как с Томкой.

— Кореш! Кореш!

— А? Что такое? — Лешка схватился за шейку автомата, лежавшего на коленях.

— Тихо! Тихо! — остановил его благодушный голос Шорохова. — Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты! Такой же я рабочий, как твой отец и брат... кто нас поссорить хочет, для тех... — Шорохов щелкнул его по лбу: — Понял? Для тех оставь заряд! Помню! — удивился сам себе Шорохов, шарясь в брезентовом мешке. — Когда учил-то стишок? Еще на Мезени. Во, память, бля! Где пообедать, туда и ужинать спешу! Ха-а-ха-ха-а!.. На, рубай! — и уже наполненным ртом пробубнил: — Пользуйся!

В руке — кусочек хлеба! Лешка не верил сам себе. Еще не успел пережить потрясение, но зубы уже кусали, хватали хлеб. Давясь, задыхаясь, Лешка глотал его, забивая рот до отказа. В дыхательное горло попала крошка, связист поперхнулся.

— Да ты не торопись! — лупил его по спине изо всей силы Шорохов.

Лешка кашлял в горсть, чтобы не разбрызгивались крошки.

— Не хватай по-песью! Тут вроде масло! С маслом легко покатится.

Лешка мигом проглотил хлеб, заглядывая на напарника, униженно ждал, руки готов был протянуть за подающим, не интересуясь: откуда, где добыл такие богатства Шорохов? Как ему харч достался? Сунув в ладони Лешки галету, пальцем мазнув на нее масла из пайковой пластмассовой баночки, Шорохов простонал:

— Ах, Булдакова нет? Загнулся кореш, видать, загнулся. Мы б с им... А-ах, падла! Табаку нету! Все не предусмотреть. Надо было пришить арийца. Спит в землянке, едало расшаперил...

— Ты в землянке побывал?! — ахнул Шестаков нарочито громко.

— Побывал, побывал. В окопах не пошаришься. День. А он спит. Истомился. На посту, небось, был ночью, так и поковырялся бы у него в зубах косарем. Ну хоть еще раз ползи. Хорошо, догадался на хапок шнапсу выпить, унес в курсаке — не выплещется. Э-эх, на верхосытку махры бы иль листовухи!..

Лешка, сжевавший галету, слизал с пальца остатки масла.

— Н-ну, ты и ловкий! — восхитился он. — Н-ну, ты, ты... — получалось заискивающе.

— Эт че-о! — небрежно швырнув Лешке в колени, будто собачонке в лапы, початую пачку галет, самодовольно хмыкнул Шорохов. — Тройная проволочка, овчарка — человекодавы, охраншыки, нашенски, архангело-вологодские, на три метра в землю зрящие... за невыход на работу кандей без отопления... за пайку — смерть, за невыполнение нормы, за сопротивление, за разговоры в строю, за нарушение режима — смерть... смерть... смерть. Тут, кореш, можно и нужно жить. Но я существовать без табаку и выпивки не могу... Тем паче — все это рядом, выдается задарма... — Шорохов явно намечал пойти в поиски вторично. Передохнет маленько и... «Надо же дорезать чужестранца-то, нехорошо оставлять подранка — угодые засоряется»... — Будто на вечерку сходил человек, девку потискал да по пути в чужой огород забрался, огурцов нарвал...

Шорохов на крайнем нервном взводе, но напряжение все же схлынуло, сытость и чувство исполненного долга расслабили его, и он замертво уснул в твердой уверенности: коли потребуется, сменщик, им благодетельствованный, можно сказать, от голодной смерти спасенный, сутки отдежурит. Может, Шорохов и не думал так, но Лешке-то мнилось всякое, дрема тоже долила его, и, чтобы не уснуть, он часто делал проверки.

Немцы палили густо и злобно по переднему краю. Шестаков уже несколько раз выходил на линию — перебивало то свою, одинцовскую, связь, чаще других конец, поданный в штаб полка, обрывало и накоротко включившуюся связь к Щусю. Шорохов безмятежно спал, отвернувшись лицом к неровно стесанной лопатами стене ровика, никакой войны не чуял, никаких снов не видел.

Связь с Щусем исхудилась, приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода. Воспользоваться привычной и невинной

находчивостью, стало быть, отхватить кусок провода из соседней линии иль даже смотать на катушку провод у рот открывшего соседа нельзя было. По соседству, где и поперек, лежала и работала вражеская связь, трофейный провод выручал пока. Связистам было приказано не только не воровать немецкий провод, но даже не изолировать стыки нашей, отечественной, изоляцией. По ней, сделанной не иначе как в артели инвалидов или в арестантских лагерях, мохрящейся нитками, неровной, с быстро отмокающей клеепропиткой, в воде и на солнце делающейся просто тряпицей, — по ней немецкие связисты мигом узнают — чья красуется работа и что сию, совсем уже классную продукцию изладили стахановцы.

И прятаться от немецких связистов приказано было: увидишь фрица, бегущего по линии, — в бой не вступай, тырься, линию не демаскируй.

Шорохов в потемках нечаянно на немецкого связиста напоролся. Тот мало того, что нарушил дисциплину, — один на линию вышел, так еще на беду свою курил во время работы. За коробок спичечный, наполненный махрой, свово брата-русака запарол на Колыме Шорохов, а уж врага-то, фашиста-то, оккупанта народ и партия призывают всечасно и всеместно уничтожать. Где увидишь, там его, значит, и дави. И за почти полную пачку дешевеньких сигарет, а еще за зажигалку, за носовой платок и за сумочку со связистским прибором враг поплатился жизнью. Зарезав врага, грузного, пожилого, Шорохов сволок его в овраг, засунул в щель меж комков, прикопал землю. Старый лагерный волк привык делать дело чисто.

Лешку смахнуло в овраг взрывом мины. Место у стыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и было-то метров десять-двадцать, но немцы пристреляли его, и батальонные малокалиберные минометы все здесь, меж оврагами, изрыли, изъязвили, и, когда впереди, затем сзади связиста, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он понял, что третья будет его, сиганул вниз, в овраг, на лету его подхватило волной, в полете обдало словно бы банным, горячим паром, обжигающим листом веника хлестануло в лицо.

— Ма-а-ама-а-а! — закричал Лешка и провалился во тьму.

Будь он не так устал и издерган, сообразил бы третью мину перележать в воронке, в щелочку земляную туловищем засунулся бы, за мертвого связиста залег — там их валялось изрядно — не раз и не два ведь за трупами скрывался. Хлестанет, бывало, по трупам пулями, и поползешь, волоча на себе трофейное добро, жижу, белых червей, но живой всегда ототрется, отплюется, тем паче что под боком Черевинка — полощись, отмывайся, сколько душеньке твоей угодно. Это тебе не Сальские степи, где, ребята говорили, за глоток воды жизнь готовы были отдать люди. Он знал, твердо знал: лежащего, к родной земле припавшего солдатика трудно угробить, но во весь, пусть и невеликий рост бегущего или маячащего — сшибут запросто. Боец, если опытный боец, должен уметь почувствовать свою пулю, брызги осколков, мгновенно увернуться от них. Опытный боец должен знать, где, когда бежать, сидеть, ползти или не двигаться вовсе, приняв позу мертвого человека. Вернее всего спектакль делать там, где много убитых, — затеряешься среди покойных братиков, в одежонке, сделавшейся к осени под цвет земли.

Все это Лешка, конечно же, знал — жизнь и война научила его военной мудрости, да вот выдохся, великая солдатская сообразилка, эта палочка-выручалочка, помощница и подлинная командирша, — притупилась в нем, сломалась ли, и потому лежал он в сизых комках на дне оврага, в изгорелой грязной телогрейке, в бесцветных, чиненых-перечиненых штанах, в дыроватых сапогах, стащенных с кого-то дедом Финифатьевым, лежал и чувствовал, что остывает на нем нижняя рубаха и кальсоны, которые так выручили его, когда он, накупавшись в реке, снял с себя все мокрое, переделся в сухое и хоть чуточку согрелся. Когда же это было? Давно было, однако, век назад.

Мягкая, багровая пыль над Лешкой сделалась еще багровее. Тело становилось бесчувственным, но все искало место поудобней, поглубже, втискивалось, проваливалось в комки.

До самого дна оврага он не долетел, упал на один из многочисленных уступов. Над ним совсем недалеко и невысоко разнорост, какие-то ершистые, колючие, до звона высохшие растения, бурьян этот, среди которого Лешка узнал лишь лопух, достал огонь, обчернил его, подкоптил, понизу почистил сушь и мелочь, а что было повыше, позеленей — осталось, правда, у родного лопуха съежились

листья и в них, в тряпье листьев, жила и спокойно, бесстрашно кормилась пестрая птичка с оранжевым туго набитым зобком.

«Однако, щегол?» — очнувшись в сумерках, угадывал Лешка птичку, возившуюся в лопухе и ронявшую на его лицо пыль. Рассеивая дым на небе, изгорала морковного цвета заря, отблеск ее достиг уступа оврага. — «Нет, не щегол это, чечетка это, мухоловка!» — отгадывал Лешка, как будто сейчас это было главное для него. Мать привезла с какого-то слета рыбаков-передовиков картинку с разными птицами и хорошо, неспорченно на бумагу перевелась вот эта яркогрудая птичка, он ее прилепил над столом, за которым делал уроки, после за тем же столом трудились Зоя и Вера — сестренки его. Значит, жизнь на земле еще не кончилась, раз птичка жирует и обретается в оврагах. Правда, дед Финифатьев обратил внимание: нету воробья, упорхнул с фронта, жулик, улизнул от опасности. Горящих в огне воробьев видеть не доводилось, и мертвых никогда и никто их не зрел. «Счастливым все же народ — птицы! И эта вот пташка, выклевывавшая белых червей, и вороны, что жрут мертвечину, — все-все они счастливые, обилию корма рады. Приплод весной у здешних птиц будет великий. Ну и пусть. И Бог с ними — должна же земля-то жизнью быть наполнена... Мне бы вот в Черевинку перелететь, однако по школьной еще хрестоматии известно: „...рожденный ползать...“, погрузить бы лицо в холодную воду...» — Лешка попытался перевернуться на живот, чтобы ползти к речке, и дело кончилось тем, что он снова потерял сознание.

Шорохов проснулся от непрерывного зуммера — так зуммерят, когда нервничают, злятся, не получая ответа от телефониста. Зудел артиллерийский телефон. Пехотный молчал. Лешки в ровике не было. «Опять почту гоняет!», — широко, с подвывом зевая, Шорохов поднял трубку.

— Шорохов! — в телефон заорал сам полковник Бескапустин. — Где тебя черти носят? Нет связи с батальоном! Почему?

Шорохов хотел по привычке огрызнуться, но, скосив глаза, уяснил: все еще день на дворе, да и невыгодно с командиром полка грызтись — хозяин все же.

— Разрешите на линию, товарищ третий?

— Крой! Чтобы одна нога здесь...

— Рву, товарищ полковник! — рявкнул Шорохов и сразу же успокоился, позевал, шарясь под мышкой, пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска, глянул на солнце, решая; сейчас попользоваться трофейным добром, перекусить и выпить, или потом?

Лешки все не было. Сложив руки у рта рупором, негромко — немцы могли стрельнуть на выкрик — Шорохов позвал связиста, поискал его за ближним поворотом — нету. Растревоженный Шорохов рванул по линии, пропуская через горсть вязаную-перевязаную, едва ерошенную узлами, ладонь рвущую нитку провода. С речки Черевинки пришлось уйти — линия укоротилась, протянута она теперь поверху. На стыке двух оврагов и проползти-то пустяк, метры какие-то, но сколько тружеников-связистов, изъеденных червями, безобразно вздувшихся, валялось здесь. Шорохов из-под пулеметной очереди рухнул с обрыва. За ним, обгоняя друг друга, сыпались, шелкали об сапоги комья сухой глины, припоздало прыснули автоматные очереди. Меж щелястых, перегорело лопнувших комков тоже комочком, но сереньким, лежал, скорее сидел, лицом уткнувшись в колени, человек, зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув оборвыш провода.

— Лешка! Шестаков!

Связист не откликнулся. «Пропал харч, с таким риском добытый», — мимоходом мелькнуло в голове Шорохова. Выдернув из пальцев Лешки провод, он поискал глазами второй конец, с усилием стянул и соединил линию. Посидел, пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей-ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой скользкой обертки его выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помет напоминающая жижица. Рука Шестакова, из которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, а ногти белели, оттеняя траурную полоску грязи. По непобедимой привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста, услышал тепло его живого тела, слабый, как бы уже сонный стон издал напарник, пытаюсь кого-то дозваться, что ли.

Вернувшись к телефону, Шорохов доложил:

— Все в порядке. Связь налажена. — И попросил передать артиллеристам, чтоб выслали своего связиста: Шестакова шлепнуло.



За двоих же дежурить он не намерен.

Из оврага, ослабело дыша, поднялся Понайотов, за ним Сашка-санинструктор, вычислитель Карнилаев, у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица.

— Где? — упав грудью на бруствер, тыча в Лешкин телефон рукою, загнанно спрашивал Понайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубило в груди. — Где?

— Шестаков-то, что ли? Там! — Наудалую, не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов.

— Зачем он туда? — все еще не продышавшись, спросил Понайотов. — Там нет нашей связи. Там ваша связь... В батальон. — Понайотов разом умолк, поняв, в чем дело, и, растерянно глядя из черной бороды на Шорохова, сбивчиво, почти плача, лепетал: — И вы?.. И вы?.. Бросили?!

— А че мне, ташшыть, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы, а дежурить кому? У телефона кому?

— Вы хоть перевязали его?

— Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уже перевязка.

— А ну! — сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Понайотов. — А ну, выходи сюда!..

— Че вылазить-то? Че вылазить-то? Ты мною не командуй! У меня своих командиров, что вшей в кальсонах... — выбираясь однако из ровика, нудил Шорохов и, не дожидаясь распоряжений, позвал Сашку-санинструктора: — Айда, покажу. Сам-то я туда не полезу. Издаля покажу.

— Это я, — подал голос Сашка-санинструктор, зная, что для раненого важнее всего знать, что он не брошен, не один, по возможности меньше врать, обрисовывая его состояние, — ложь раненые чувствуют обостренно и, хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся этой лжи — раз обманывают, значит, плохи дела. Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздехалки — батальонного миномета — больше пакости, чем убоя. Санинструктор сходил в Черевинку — она в самом деле была рядом, за поворотом, принес воды, влил несколько глотков в рот раненого. Раненый шевелил

губами, трудно глотал воду. Санинструктор обтер лицо раненого водичкой, перевязал, привел его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях, и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Понайотов не добьется, чтобы и других раненых переправили за реку. Щусь орет-надрывается, пистолетом трясет, чтоб раненых взяли.

— Кого еще? — шевельнул губами Лешка.

— Талгата.

— А дед? Деда как?

— Дед никак. — Сашка помолчал, поник. — И Булдаков из боя не вернулся.

— Гриша... Гриша Хохлак?

— Гриша?! — обрадовался санинструктор. — С Гришей порядок. Рана у него открылась. Нелька его снова в госпиталь погнала.

— Хо-ро-оо-шо, — прошелестел губами Шестаков. — Пи-ыть, пи-ыть...

Вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника Бескапустина. Голова и лицо Лешки были сплошь забинтованы, бинты пугающе белели в чуть освещенном блиндаже. Медленное дыхание его едва касалось реденькой, слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул плащ-палатку, взглянул на окровавленные бинты, которыми было обмотано лицо Лешки, покрутил головой, подавляя громкий вздох. «Это я, тетка, Щусь, комбат. Как ты, дорогой?» — прокричал он будто глухому.

Лешка что-то силился сказать. Щусь встал на колени, подставил ухо к жарко дышащему ртом раненому:

— Живы будем — не помрем...

Свирепствовал полковник Бескапустин, взывая о милости к левому берегу, кого-то вежливо и настойчиво убеждал Понайотов, не выдержал с переднего края прорвавшийся Щусь, затребовал к телефону доступного ему начальника, Нельку Зыкову.

— Эй, ты, действующая медсила! Нелька! — со свистом дыша, сквозь зубы, задушенно говорил он. — Если Талгата и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы — застрелю!

— Стреляло какой! — огрызнулась Нелька. — Ты как переправился, так реки и не видал, что на ней делается, не знаешь!..

— Я те сказал!

— Сказал, сказал...

Нелька все-таки продралась на правый, на гибельный берег. Суровая, в суровую робу одетая, самой же ею придуманную, — война научила Нельку не только биться за свое женское достоинство, не только раненых спасать, но и себя обихаживать в полевых условиях, да попутно и ребенка своего — сестру ли — Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нелю, не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходяще. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пестрой плащ-палатки. Нелька одета по-походному: поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги, курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на талии затянутой, стеженная безрукавка, с правого бока из-под куртки свисал конец кожаной кобуры с пистолетом тэтэ, всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указывать Нельке на нарушение военной формы. «Бабе своей указывай!» — отшивала она начальство, не глядя на ранги.

«Указчику — говна за щеку!» — совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка, мать Нельки. На передовой довольно навидалась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов и ухажеристых сладострастников, и просто погани всякой, прошла через такой разношерстный военный строй, перешагнула через такие беды и страдания, что ни начала, ни конца им уже не угадывалось. На этом участке фронта, возле речки Черевинки не было сейчас, пожалуй, более самостоятельного, независимого человека. Слезами, кровью, насадой сердца далась ей эта самостоятельность.

Зимой сорок второго года Нелька много работала, ползая и бегая по подмосковным прославленным полям. Проявляя неустанный героизм, шибко застудилась патриотка, набухли у нее буйные, никем еще как следует не размятые, дитем не рассосанные груди, и она попала в хитренький госпиталь-отстойник для детей призывного возраста, медицинских военных, политических светил и воротил, уютно спрятанный в старой дворянской усадьбе под Малоярославцем. Вот где к месту пришелся ее крутой, обмужичившийся характер,

умение держать твердую оборону. Мужички-тыловички отъелись в хитром заведении, считали, что грудь и все прочее у бабы, да еще у военной, да еще такой ладной, — болеть и ныть может только по причине отсутствия массажа и любовных объятий, насылались с услугами, припирали, покоя не давали. С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталек. С тех пор Нелька не снимает с себя теплую безрукавку. С тех пор знает также, что детей у нее никогда не будет, — застужена не только грудь, вся эта ненаклончивая девка или баба навсегда уже подшиблена войной.

Так что всякие наставления, угрозы Нельке все равно, что жужжание мухи перед лицом, — отмахнется и пошла дальше работать. Обид, унижений, пересудов и судов перетерпела она столько, что научилась уже и не слышать их. Самые горькие обиды пережила она от своих же военных подруг и самые жгучие слезы пролила по причине их. Выделенно жила под сердцем ее одна неизбывная обида. Потеряв свою часть под Москвой, Нелька с девчоночьим пополнением, беспечно-визгливым, взвинченным, двигалась в эшелоне под Сталинград. Дорогу ту вспоминать и смех, и грех. Двигались спешно, почти без остановок. Но едут-то сикухи же, им на улку надо. Иные воду пить перестали, горят-перегорают, в себе затаившись, иные нороят ночью в приоткрытые двери свеситься — по эшелону слух: вывалилась одна девушка, в куски ее...

В своем вагоне порядок держала Нелька — все же фронт видала, по званию — старший сержант, по ее команде, хочешь не хочешь, стыдишься не стыдишься: под мышки подхватят боевую единицу и к двери тащат. Одна боевая единица, как потом выяснилось, скрыла беременность и в таком виде двигалась добивать проклятого врага. Терпеть ей совсем невмочь. Подобрав полы шинели, ее выпячивали наружу. Железнодорожная линия во многих местах еще только восстанавливалась, военного и всякого рабочего люду на полотне тучи. Трудармейцы, этакий «цирк» завидев, головные уборы снимают, кланяются. Резвушки-хохотушки, ослабев от смеха, чуть было не упустили боевую подругу под колеса. Будущая мать в слезы. Старшая вагона боевым матом подруг кроет.

Ехали девки бить врага полуобмундированные — гимнастерки, шинеленки, шапки, обувь выдали, но — живем же в стране чудес — вместо юбок или брюк надели на них теплые мужские кальсоны.

Разгрузились под Котлубанью, неподалеку военный городок с аэродромом. Вечером там затеялись танцы под духовой оркестр. Как слышали девчонки музыку, так и заперебирали ногами. Нелька отговаривала боевых подруг, не пускала их на танцы, но природа свое взяла. Через колючую проволоку девки полезли на аэродром, оставляя ключья кальсон на заграждениях, сотворили распотеху!

Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и летчиц-то считай что не было, — подносицы и подвесчицы бомб, у которых от надсады не прерывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые, закучерявленные, поднакрашенные, — держались аристократками, тыкали в кальсонниц пальцами, гоготали. Не сдавшая в госпитале форму, при орденах, при медалях, Нелька, охваченная бешенством, ворвалась на танцплощадку с гранатой и как на виду у всех начала выдергивать кольцо из чеки, так аэродромные девки в воздух и поднялись. Бросила Нелька боевую гранату за ограду, пинками погнала своих кальсонниц «домой».

«Ведь свои же... свои, русские же, советские!..» — рыдали девки. «Еще комсомо-о-ол-ки-ии!» — подпела тонко какая-то молодяжка.

Где-то, с кем-то они сейчас на этом большом и беспощадном фронте танцуют?.. Некоторые уже и в земельке лежат, которые потихоньку убрались домой — рожать. Есть и те, что толкуются в окопах, ниже или выше по течению через эту реку плывут под пулями...

Нелька подтянула лодку повыше на берег, привязала ее, переждала артналет, разбрасывающий комья глины и песка в пойме речки, дробящий камни на берегу.

Разбуженные своим же налетом, немцы застреляли отовсюду. Пригибаясь, Нелька перебежала пойму Черевинки, влезла в яму с навесом из прутьяного мата, который Понайотов передал Боровикову, оборонявшемуся со своим войском в устье речки, разбудила ротного:

— Коля! Дай бойца — мне к Щусю надо, а где он сейчас, не знаю. — И сунула Боровикову пару сухарей, кисет с табаком.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — окончательно проснулся лейтенант. — Мы тут совсем...

— Знаю. Скоро кончатся ваши мытарства.

— Скорей бы. А Щусь недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали... положение отчаянное...

— Говорю, не пропадете.

— Дай-то Бог, как верующие говорят.

— И неверующие тоже.

Щусь не пожелал встречаться с Нелькой, никого, говорит, видеть не хочет. Злой, ошетиленный, с командиром полка ругается, всякому начальству дерзит, своих командиров поедом ест. Впрочем, есть-то уж совсем почти некого.

Талгат, лежавший на самодельных носилках, был в сознании, шепотом попросил:

— Жэншын, Нель, руху дай.

Она дала ему руку. Он благодарно прижал ее к груди и так вот держал ее, пока шли к лодке. Ради таких вот минут, ради редкой этой мужской признательности жила, войну переносила, околевала, мокла Нелька Зыкова.

Наперерез несли плащ-палатку с утухшим, скомканным Лешкой Шестаковым. К берегу вышли одновременно. Возле лодки что-то чернело. Нелька приблизилась к лодке и ахнула: перекинув руки за борт, держась за лодку зубами, лежал черный человек в слабо на себя намотанных спутанных бинтах, хрипя, он выдувал кровавую пену и в тяжком беспмятстве грыз дерево. Нелька запустила пальцы в пистончик штанов, нащупала адресный патрончик раненого. Пока грузили Талгата и Лешку в лодку, пока выбирали из столпившихся на берегу раненых гребцов покрепче, заслоняя полой безрукавки огонек фонарика, Нелька прочла: «Булдаков Алексей Геннадьевич, 1924 года рождения, город Красноярск, слобода Весны, улица Побежимова, дом...»

— Землячо-ок!

Нелька приосветила раненого, с трудом узнала в нем того веселого забулдыгу, что в прошлые дни здесь вот, в устье Черевинки, «катил под нее колеса», завлекая ее, зубоскалил. Вместе с домашним адресом хранилась в пистончике престранная бумага-расписка:

«Дана бойцу первой роты Булдакову А. Г. в том, что он оставил на сохранение 1 (одну) пару сапог и я обязуюсь вернуть их, когда Булдаков А. Г. возвратится обратно. Если же Булдаков А. Г. не вернется по какой-то причине назад — сапоги продать и пропить на помин души.

Верно! Старшина первой стрелковой роты 126 гвардейского полка 1 батальона Р. Бикбулатов».

— Этого тоже в лодку, — показала Нелька на Булдакова.

— А перегруз? Опять перетонете. Это ж Леха Булдаков, в ем весу центнер...

— В нем одна душа осталась, она весу не имеет.

— Леху, сибирякам... рядом кидай, брат брату, — подал слабый голос из лодки Талгат, — не абидам...

— Так тому и быть.

Отплыли тихо. На гребни угодили ребята умелые — работают веслами размеренно, стрельбы прицельной, слава Богу, нет. Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мели, и навстречу к лодке шало, в обуви и одежде метнулась Фая.

— Ты еще застудись, дура! — рявкнула Нелька и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылезши в воду во всем, но что была одета, обута.

Волоком тащили лодку. Фая ужималась в себе, ведая, как подруга ее верная, смертная подруга, напьется с мужиками, впадет в истерику. Пережив крайнее напряжение, смертельную опасность, горькую обиду, Нелька делалась невыносимой — жестокой, и на ней, на Фая, на покорной подруге, сносила зло, отводила душу. Но кто-то же должен терпеть и Нелькин характер, кто-то же должен и ее бунт сносить. Она-то ведь терпела тоску, обиду, бабьи хвори. Люди об ее слабостях и болях знать не знают, зато Фая хорошо и подробно все о своей подруге известно, или, уж точнее сказать, о родной сестре, а сестер не выбирают, сестер Бог посылает, сестер полагается жалеть, беречь и любить.

Ополудни вверх по реке километрах в десяти от Великокриницкого, почти уже не действующего плацдарма началась артподготовка. Снова небо содрогнулось от слитного все нарастающего гула, горизонт затянуло тучами дыма, начали наползать на реку клубящимся роем самолеты, разбрызгивающие вокруг себя огни, спускающие сверху клубки бомб. Качало землю, бултыхало реку, смешивало день с ночью.

Советское командование еще раз, который уж, не перехитрив противника, начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок. Переправа через реку на сей раз совершалась не ночью и не горсткой сил. Наносился мощный удар. И снова рвало берег взрывами, снова било, поднимало в воздух, трепало, разбрасывало, обращало в прах и пыль родимую землю. С землей давно уже люди обращались так, будто не даровалась она Создателем как награда для жизни и свершения на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги для того, чтоб он распинал ее, как распоследнюю лахудру, чтобы, выдохшись, опаскудившись, оголодав, опять и опять припадал он лицом и грудью к ней, зарывался в нее — для спасения иль вечного успокоения.

За крутым мысом реки, на котором каким-то чудом уцелел судоходный знак, отделялась от реки громада из дыма и огня. Нижний, самый толстый слой этой огнедышащей преисподни клонило к реке, всасывало берегами в русло, тащило вниз по течению. Река почти невозмутимо, лишь помутнев слегка возле берегов, лишь на минуту покрываясь взбитой рябью, катила и катила глубокую воду в назначенное ей место, в море, отражая в себе ветлы верболаза, яры с дырами ласточкиных гнезд, дереvушки, рассыпавшиеся и замершие в ожидании своей судьбы по склонам берегов. Кружило копешку сена, неизвестно откуда взявшуюся и в воду угодившую, подбрасывая, будто поплавки, тащило деревянные ящики из-под снарядов, телегу с расщепленным высоко взнятым дышлом, какой-то кузов или огромный сундук, чью-то шапку, похожую на сбитую птицу, чей-то бушлат, скоро поплыла густо щепы, чурки, сдобно белеющие спилыши деревянных торцов — на реке под огнем начиналось возведение переправы. Развертывалась не просто боевая операция, не просто переправа военных сил через водную преграду, там начиналось то, что в газетах назовут битвой за реку.

«Сколько же ты взяла и возьмешь еще людей?» — почти враждебно глядя на реку, будто была она одушевленным, но бесчувственным существом, думал Щусь. Весь народ, способный двигаться, повылазил из окопов, блиндажей, береговых нор, и поскольку ничего за мысом, кроме тучи дыма, не было видно, сидельцы Великокриницкого плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по-большому самолеты, искрами



мелькая в голубых прорехах неба меж зенитными разрывами, все гуще и гуще заполняющими небесное пространство.

Артподготовка всегда казалась Щусю похожей на работу огромной, всю землю облапавшей, немыслимо мощной машины — этакое адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна и ни покрывки, с котлами, kloкочущими огнем, со множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, которые проворачиваются, перемалывая зубьями все, что есть на земле. Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, с воем разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала, и выше, дальше, недостижимо глазу от грохота и огня трескались перекаленные своды.

Боже Милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем Ты прежде, чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем Ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, в одном лице сюда и царя, и холопа — пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей — на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм! Чтоб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война. Чтоб и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззавший: «Да убивайте же скорее!..»

По реке все плыли ящики от снарядов, солома, обрезь, тряпки, протащило пробитый, перевернутый паром, брякающий о донные камни цепями. Вот и люди появились, бултыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая о помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в воде. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши. Но за гривы лошадей цапались, лезли на спины им тонущие люди. Хватая воздух гулко охающими ртами и ноздрями, отфыркивая воду, лошади крушили все, что

попадало под копыта, ниже и ниже оседавая вглубь. Вот голова одной лошади, вознесясь ноздрястой мордой над водой, начала огрузать, утягивая за собой пару свою, и загасли в воде безумно горящие глаза животных, следом осаждало, утянуло крутые их гривы, крупы, хвосты. Сгинули, пропали совсем ни в чем не повинные создания природы, безотказные помощники человека на земле.

На рассвете захохотало и ниже по реке. Здесь также затеялась переправа и велено было остаткам подразделений Великокриницкого плацдарма идти на соединение с соседями, вступившими в битву. За ночь на верхнем плацдарме была наведена переправа на понтонах, на правом берегу перешли танки, перевезена артиллерия, реактивные минометы, части боепитания.

Командир полка, Авдей Кондратьевич Бескапустин, тучный пожилой человек, раньше всех ослабевший от голода, потирая ладонью грудь, отдал приказ в батальоны, оттуда приказ передали в роты: после короткого артналета поднять полк, прорываться к своим, умереть в бою, но не доходить по оврагам, в грязных окопах, отдавшись на истребление фашистам.

За рекой плеснули огнем «катюши», озарив другой берег до самого неба, ударила артиллерия. Собрав последние силы, поднявшись во весь рост, вслед за огненным валом пошли в атаку бескапустинцы, саперы, десантники. Боровиков с пестрой ротой снялся с речки Черевинки, Понайотов со своими управленцами, артиллеристами — все-все, кто мог двигаться, пошли в бой. Связь с правым берегом ослабела настолько, что работать по ней было уже невозможно. Гаубицы стреляли без корректировки, по заранее намеченным целям.

И так шли и шли бойцы, командиры Великокриницкого плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и те, кто падал, больше уже не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собою, загнанно хрипя от пыли и простуды, словно в старые, довоенные времена, словно в ранешном довоенном кино, с обнаженным пистолетом шел командир батальона Щусь. Но не было никаких киношных, патриотических криков, никакого «ура», только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересеченно-овражистая, не давала возможности атаковать дружным, киношным строем. С кручи на кручу, с отвеса на отвес, из ямы в яму, из оврага в

овраг, вдоль берега еле двигались недобитые, недоуморенные, вшами не доеденные бойцы, все еще пытающиеся исполнить свой неоплатный долг.

Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Щусь увлекал за собой остатные силы полка — выше идти легче, там нет глуби, там истоки оврага, там разреженной оборона противника, наконец, оттудова, сверху, почти с тыла, способней навалиться на противника, вцепившегося в берег, — ах, какие мудрые русские мужики выросли в российских деревнях. Как же здорово научили их жизнь и война маневрировать, соображать, хитро спасать свою жизнь — и научила война же главному: начальник, командир, вождь — не народ за тобой, ты за народом.

Вторая линия оборона была уже вдали от берега, уже в стороне от реки, и, почуяв, что путь впереди свободен, бойцы гиблого, Великокриницкого плацдарма покатались на задах, на животе, побежали к реке, вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности.

Навстречу им, сначала редко и робко, спешили бойцы с нового плацдарма, еще никак не названного, затем хлынули толпою. Соединились! Наконец-то! Сошлись с теми, кого пытались представить изможденными, битыми, но уж не такими же, какими оказались они на самом деле. То, что были они за рекой, почти рядом, стреляли, говорили по телефону, давало ощущение, будто живут они, как и все, ну, может, чушь-чуть поголоднее, однако не осажденные же они в крепости! Но выпала судьба бойцам первой Великокриницкой переправы выдержать нечто худшее, чем осада, выдержать такое, чего на других войнах еще не было и быть не могло.

По окопам, по рву, по оврагам шарились саперы, санитары, хозяйственники. Старшина Бикбулатов пытался покормить полковника Бескапустина жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе..

— Нет-нет, — навалившись спиной на колесо повозки, устало отговаривался полковник. — Покурить сначала, покурить, ребятушки!.. Трубку!.. Трубку утерять где-то... иииии... — закашлявшись от сигарки, сквозь буханье пытался сказать: — Ар...

артиллеристы где-то?.. — Дыхание у него налаживалось. —  
Покормите их... последним делились, спасали нас огнем...

Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук  
Мартемьяныч. Оцарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал  
Понайотоаа, Карнилаева и срывающимся голосом спрашивал:

— И это все?! И это все?!.. Милые вы мои, милые, пострадались-  
то...

— Как Зарубин? — спросил Понайотов.

— Ат, кузькина мать!.. — Мартемьяныч хлопнул себя руками по  
бедрам. — Запышкался! Главное-то и забыл. В госпитале майор.  
Письмо уже было. Недалеко госпиталь-то... Че Шестаков? Где? Тоже  
убит?.. Булдакова-шелюму не вижу, а сержант-то, сержант-то,  
младший-то политрук где? Тоже не видать...

В хуторке, почти подчистую выгоревшем, где осталось несколько  
глиняных коробок от хат, меж коими копаны блиндажи и землянки,  
суетился, как всегда подвыпивший, старшина Бикбулатов, раздавал  
скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак. Пораженный и  
сам своей честностью, выдержкой, приставал старшина ко всем,  
указывая на безмен, где-то раздобытый, проводом подвешенный на сук  
обгоревшего дуба, — чтоб все лично перевесили полученную  
продукцию.

— Успокойся, старшина, успокойся, — останавливал его  
начальник штаба батальона Барышников. — В твоей честности никто  
сейчас не сомневается. Белье, мыло принеси. Поделись с  
артиллеристами.

Носилась по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с  
водкой, орала, ругалась Нелька:

— Сдохнете! Окочуритесь! — и старшине Бикбулатову: — Если  
кто умрет, я тебя, заразу, рядом закопаю.

Этакая роскошь! Этакая редкость! Водку выдавали не разливуху, а  
в бутылках, под сургучом! Все по правилам!.. Фершалица-дура  
бутылки вырывает, бьет вдребезги, самих бойцов клянет и умоляет:

— Миленькие солдатики-страдальцы... нельзя, нельзя вам...

Прижимая руки к груди, Фая вторила ей:

— Вам же сказано — нельзя. Вам что, умереть охота? Умереть?

Уже корчились, барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали, пили, жрали от пуза, и свежие холмики добавлялись к тем, что уже густо испятнали и левый берег. Из медсанбата по распоряжению главного врача мчали изготовленные для промывки клистиры с водой, клизмы с мылом, разворачивали койки. Старшина Бикбулатов куда-то убежал, скрылся. В обрубленной, обтопанной старице, где Лешка нашел свою знаменитую лодку, плавали кверху брюхом оглушенные караси. Мусором, ломью, дерьмом были забиты поймы стариц, никакой живности в порубленной, обгоревшей, смятой, разъезженной местности не осталось, и вроде бы пристыженно ужималась в себя приречная местность, всегда таившая в своей полутемной гуще много хитрых тайн, поверий, колдовства всякого.

Где-то возле старицы, в крепко рубленном блиндаже укрылся и на люди не показывался товарищ Вяткин. Понайотов доложил ему о выполнении задачи и по виду начальника штаба, по черной бороде, по печали в провалившихся, красных от перенапряжения глазах Иван Тихонович усек: каково оно было там, на другом берегу. Слышать-то он слышал, будучи в санбате на излечении, что происходит на плацдарме, но одно дело слышать от бойцов или гнев раненого человека, майора Зарубина, на свою голову принять — другое дело зреть смятого, грязного, простуженного, сияющего капитана Понайотова, в бороде которого толкутся, месят серое тесто вши.

Вяткин и Бикбулатов ушли в подполье, зато в полевой, запыленной форме, повязав под рыльцем развевающуюся, укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношился начальник политотдела дивизии. На ходу, можно сказать, выскочил он из кабины хромающей на одно колесо «газушки», засеменял по берегу, вонзился в гущу народа, кому-то пожимал руки, кому-то вручал газеты с описанием подвигов первопроходцев через реку, прибывал к стволу дерева к сроку выпущенный «Боевой листок», значки цеплял на вшивые гимнастерки с изображенной на них рекой, которую из середины Красной Звезды пронзала вольная птица-чайка, устремляясь ввысь и вдаль. Красивый значок. Успели вот когда-то изготовить реликвию, скорей всего сработана она заранее, может, еще до войны.

Во многих местах, особенно густо вдоль старицы, парили бочки-вошебойки, и вокруг них плясал народ. При приближении начальника

политотдела солдаты стыдливо зажимали в кулак добро свое с присохшей на нем кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосьев — неловкое для бритвы место, задумывалось оно Создателем для созидательных дел, но не для болезненной санобработки.

— Понимаю, понимаю, — приветствовал и ободрял нагих, отощавших людей Мусенок. — Непременно, как только народ приберется, проведем летучки, партийные собрания, беседы, на которых пройдут громкие читки газет с приветствиями товарища Сталина, разрешено будет присутствовать на массовых мероприятиях и беспартийным воинам.

Кто-то робко сказал, что на Великокриницком плацдарме, за рекой, много раненых, бедуют оставшиеся там роты — им бы помощь-то оказать надо, к ним бы поспешить с едой и лекарствами.

— Уже, уже, товарищи, все брошено через переправу: и медикаменты, и продукты, прямо на правом берегу, на новом плацдарме разворачивается медсанбат. Мои агитаторы, помощники, газетчики и предводители комсомола устремились ободрить и помочь героям. Это, понимаете, благородно, это по-советски, товарищи, по-нашему, понимаете, — прежде о товарищах заботиться... Хвалю!

Попался на пути Мусенку бурной деятельностью охваченный Одинец, потный, без ремня, сам себя загнавший до того, что рот его открыт во всю ширь, как у тех глушеных карасей. Одинец усовершенствовал бочку-вошебойку и теперь вот всем показывал, что никакой проволочной сетки спускать внутрь бочки не требуется, все это заменяется обыкновенными палочками, которые валяются под ногами. Бойцы не понимали такого примитива, не знали, как палочки вставлять в бочку. Удивляясь технической безграмотности людей, — бобийэхомать! — Одинец метался от бочки к бочке, лично забивал в каждую окружность бочки палочную решетку и, совершив техническое чудо, бодро орал ошеломленным бойцам: «Вот и все, бобийэхомать! А ты, дура, боялась!»

Но где-то перегрузили бочку, обрушили решетку, замочили амуницию. Где-то бочку вовсе опрокинули, в кустах вопил ошпаренный боец, уже раздавался здоровый призыв: «Бить еврея!». Одинец ответно выдавал: «Бобийэхомать!», — отважно налетал на объект, мигом все приспособление восстанавливал и запаленно

кричал: «Сначала вошей бить научитесь, потом уж за евреев принимайтесь!» — и рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке.

— В каком вы виде, капитан? До чего вы распустились... — отчитывал Одице полковник Мусенок.

Но это был единственный начальник в дивизии, которого Одице не боялся, подозревалось даже, что он его презирал. Взяв разгон, деловитый Одице заполошно крикнул:

— Занимайтесь своим пропагандом у другом месте, а мне вас некогда выслушивать! — и умчался помогать народу баниться, истреблять паразитов самыми простыми и доступными средствами.

Средство это, до которого так и не дойдет умом высокограмотный, мозговитый, технически подкованный немец, да и вся Европа вместе с ним, доживет до конца войны.

— Я еще с тобой встречу! — грозился Мусенок. — Я еще поговорю с тобой! — и подался на окраину хутора, где без дверей и без окон стояла коробка обгорелой хаты.

Помывшись в такой же пустой полуобгорелой хате, занавесив отверстия окон, двери и дыру в потолке для трубы плащ-палатками, прямо на полу хаты, на соломе вповал спали в свежем нижнем белье уцелевшие в боях офицеры. Полковнику Бескапустину в порядке исключительного положения был сколочен топчан, возле которого дежурила Фая. Врач из медсанбата, осмотрев командира полка, определил у него предынфарктное состояние, велел сделать уколы, дать снотворное, но с места пока не трогать. Когда полегчает, надлежит полковнику приехать в медсанбат, на что Бескапустин пробубнил, что он, слава Богу, не ранен, что сердце придавило, так это еще с сорок второго года, под Москвой, как придавило, так придавленное и дюжит, худо-бедно ретивое еще тянет, скворчит, правда, как сало на сковородке иной раз, но вот человек поспит, каши поест, может, даже и выпьет сколько-то и, благословясь, наладится — повернулся несокрушимой широкой спиной ко всей публике, сказав, чтоб художники не торопились во все горло жрать водку и харч во все пузо.

— Загинаться станете, а я за вас отвечай.

Фая прислушивалась, улавливая тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки, так она,

зажатая в кулаке, и осталась, но погасла или не погасла — Фая не знала, все боялась, кабы под Авдеем Кондратьевичем не загорелся матрац. В холодной и сырой хате рушил стены, подымал потолок монолитный боевой храп, раздавался кашель, стоны, время от времени кто-нибудь из командиров принимался командовать — попробуй тут расслышать дыхание больного человека. Фая не только не слышала дыхания больного человека, она и Мусенка, вошедшего в хату, не услышала, и только когда он громко спросил:

— Есть тут кто живой? — вздрогнула и торопливо отозвалась.

— Есть! Есть! Все живые.

— А почему часового нет?

— Чего ж ему, часовому, тут караулить? Я тут дежурю, бойцы изнуренные.

— Изнуренные! Война кончилась? Ни охраны, ни бдительности уже не требуется? Здесь же штаб полка, насколько мне известно.

— Штаб, штаб. Но штаб отдыхает, полковник болен.

— Что значит болен? Почему тогда не в медсанбате?

— Авдей Кондратьевич не хотят.

— Что это за Авдей Кондратьевич?! Что значит, не хотят? Здесь, понимаете, богадельня или полк?

— Полк, полк, — раздалось с полу из-под толсто наваленных шинелей и плащ-палаток. — Богадельня — это у вас.

— Где это у нас?

— В политотделе.

— А-а, это опять командир батальона, который пререкается со старшими по званию, собачится с командиром полка. А высоту, понимаете, между тем сдал.

— А ты вот пойдя, поведи за собой партийные массы и возьми ее обратно, раз такой храбрый!..

Это было уже слишком. В избе затих храп. Товарищи командиры, привыкшие на плацдарме спать вполглаза, проснулись. Сделалось слышно тяжелое дыхание Авдея Кондратьевича. Фая подумала, что надо звать Нельку, только она еще могла управляться с совершенно осатаневшим капитаном и укрощать нравного полковника Бескапустина. Но Нельку куда-то унесло, бегаёт, спасает войско от переёда и перепоя, да и злится на нее Щусь, на всех он злится.

— Встать! — взвизгнул Мусенок. — Встать! Я приказываю!



Одно окно неплотно прикрыто, Фая увидела, как на полосу света свинцовой дробью вылетают пузырьки изо рта начальника политотдела и под каблуками его детских сапожек постукивает. Чечетка получилась. Нервная.

— Тебе приказано старшим по званию встать, дак вставай! — раздалось с топчана.

Чего-то ворча под нос, шурша соломой, Щусь полез из совместно свитого теплого гнезда, предстал перед пляшущим, чего-то по-сорочьи трещащим человечком, ничего пока со сна не понимая, да и понять было невозможно, но брызги слюны до лица долетали, комбат брезгливо отворачивался к окну, Мусенок, видя это, сатанел еще больше. Босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кальсоны, мятый, с соломой в волосах, щекочущей под рубахой остью, стоял комбат на холодном полу. Привыкший к выправке, к строгому, пусть и убогому, военному порядку, даже к щегольству, умеющий из армейской амуниции сотворить форс, он понимал, как нелеп, как жалок и унижен сейчас. Сонная одурь сходила. Глаза его блестели от бешенства. Плотно, в ниточку сжались губы, отвердели и покатались по лицу желваки, но ничего этого, к несчастью, не видел разгневанный политначальник. Он кричал, что политическая работа в полку, понимаете, запущена, дисциплина, понимаете, хлябает, разброд, халатность, понимаете, попустительство, низость нравов и антисоветские, вредные настроения да разговорчики. Если кое-кто полагает, что войско находилось за рекой, так здесь никому, ничего, тем более в политотделе не известно? Это глубокое заблуждение. Славную гвардейскую дивизию всегда отличала высокая бдительность и идейная сознательность.

Работая по Южному Уралу корреспондентом «Правды», где главным редактором заправлял его давний соратник Мехлис, Мусенок писал разносные статьи об оппортунистах, троцкистах, врагах народа и загнал в лагеря, подвел под расстрел Челябинский обком партии, следом и руководящую верхушку области подчистил. Златоуст, Миасс — города уральских мастеров и потомственных умельцев, так трягнули, что в прославленном трудом своим и красотой Златоусте не осталось ни одного храма, вместо царя прямо у богатейшего музея рылом в дверь поставили Ленина, махонького, из чугуна отлитого, черного. Обдристанный воронами, этот гномик — копия Мусенка —

торчал из кустов бузины, что африканский забытый идол. Слух о прошлых великих делах начальника политотдела кем-то старательно распространялся и поддерживался в дивизии. Мусенка ненавидели, боялись. Это он прекрасно знал, лез в каждую дыру, торчал на всех, в том числе и оперативных совещаниях, даже на узком военном совете советовал, как надо умело побеждать врага. Единственно, на что хватало бравого генерала Лахонина, так воззвать к политическому начальнику:

— Пожалуйста, короче.

Но Мусенок не умел и не хотел короче. Язык его, от рождения болтливый, устали и удержу не знал. Товарищи командиры, воздев очи в потолок, кривились, усмехались, начальник политотдела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейший идейный документ эпохи «Историю ВКП(б)», речи Сталина и как бы ненароком всякий раз поминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии, товарища Мехлиса.

Лахонин, конечно же, был рад, что его отнесло чуть в сторону от боевого партийного товарища, но после бурной деятельности на реке Мусенок скорей всего пойдет на повышение — ему уже пора и по заслугам, да и по возрасту становиться генералом, и если кинут этого деятеля на корпус? Во генерал Лахонин обрадуется!

При политотделе дивизии содержалось четыре машины, это все равно, что лично при Мусенке, толклась и сладко ела партийная челядь, несколько его замов, комсомольских и прочих начальников-дармоедов, удобно устроившихся на войне, которым жилось еще вольготнее оттого, что Мусенок горел на работе, везде и всюду лез, маячил, говорил сам. На «эмке» он ездил в тылы на разного рода очень частые политические совещания, ведь чем дальше в лес, тем больше комиссаров — и все воюют, сражаются, руководят. На «виллисе», предназначенном для поездок на передовую, не на самую, конечно, передовую, на им намеченные места — где-нибудь в штабах, в санбате, в ротах боепитания, в местах сосредоточения резервов и пополнения. На «газушке», где шофером был мордатый мужик Брыкин, он развозил газеты, листовки, агитационную установку. В кузове «газушки» стояла походная кровать, прикинутая солдатским одеялом, — здесь большой начальник спал во время боевых выездов. Еще у него был «студебеккер», оборудованный под более обстоятельное жилье.

Царствовала в «студебеккере» машинистка Изольда Казимировна Холедысская, красавица из репрессированной польской семьи. Начальник политотдела изъял ее из типографии дивизионной газеты, где она сражалась корректором, для того чтобы сам он лично мог диктовать важнейшего содержания секретные документы, статьи, наставления, — «студебеккер» превращался в походный домик. Презираемая всеми Изольда Казимировна старалась из домика на колесах не возникать, если являлась свету, то ходила, опустив долу очи, однако ж имела орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Щусь знал, что Нелька собирает для Холедысской на полях брани чехольчики с адресами раненых и убитых бойцов, — если напрокудничает Нелька, Изольда через своего начальника защитит ее, водочки добудет, папирос, свежее бельишко, мазь от вшей. Нелька понимала: ох, не зря, не напрасно копит застенчивая труженица фронта адресочки списанных воинов. Однажды Мусенок поможет ей оформить документик, укажет в наградном, листке, какое ошеломляющее число раненых вынесла с поля боя отважная девушка, — и носить ей «Золотую Звезду» героя на пышной груди. Но для этого надо быть ей при Мусенке, как при арабском шейхе, — покорной рабыней — и делать вид, что она почитает своего господина и боится его.

Разойдясь в праведном гневе, политический начальник сокрушал строптивного офицера с явным расчетом, чтобы все в хате его слышали и на ус мотали, прежде всего командир полка, этот неповоротливый вояка, которого давно бы надо заменить да некем, из тыла на поле брани никого не выцарапаешь, а из шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь.

До того распалился Мусенок, до того ослеп от праведного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана, искаженное судорогой лицо его. Мусенок грозился сделать все, чтобы была разогнана распустившаяся шайка офицеров, своим поведением позорящая боевое знамя гвардейской дивизии. Все это происходило при попустительстве бывшего командира дивизии и продолжается не без высокого покровительства и поныне, но он знает кое-кого и повыше, и подальше, и писать еще не разучился.

— «Убью курву!» — каталось, каталось в голове, стучалось, стучалось в лоб и, наконец, осколком ударилось в череп Щуся твердое

решение. Плохо, ох, как плохо знал товарищ Мусенок боевую шпану, этих издерганных, израненных трудяг-офицеров. Если б знал, понимал, чувствовал — не полез бы в полуразбитую, с горелым переломанным садом, в момент прополыхавшую, закопченную хату.

Зато преотлично знал своих «художников» командир полка Бескапустин. Когда, стуча дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, Мусенок упорхнул, он похвалил своих офицеров:

— Вот молодцы, вот умно поступили, что не пререкались с этим говном.

Молодцы тяжело молчали, подозрительно примолк и комбат — один, этот всегда не ко времени возникающий, предерзкий человек, позволяющий себе иметь свое мнение. Это в нашей-то, доблестной-то, свое мнение? Ха-ха-ха! Выйди сперва в главнокомандующие или хотя бы в начпуры и имей все, что тебе хочется, в том числе и свое мнение, подавай свой голос на здоровье... — Полковник встревоженно повернул голову, отыскал глазами белеющую у стены фигуру досадника-комбата — лежит поверх одежды, в потолок уставился, молчит. Об чем вот он, ухарь, молчит?

— Не вздумай какой-нибудь номер выкинуть! — на всякий случай прикрикнул Авдей Кондратьевич и услышал, как снова вошла в грудь длинная, медленная игла, погрузилась вглубь и остановилась, острием воткнувшись в самую серединку груди. Да и какое тут сердце выдержит?.. Стоит боевой офицер, а его, как бурсака, за чуприну таскают. Хорошо, хоть той оторвы Нельки не случилось здесь в это время, — быть бы скандалу великому.

Командиры-молодцы зашевелились, заворчали, Шапошников резко чиркнул зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратьевич робко предупредил, чтоб не запалили солому. Никакого ответа. И вдруг опалило жаром голову — а в прежней, в русской армии попробовал бы какой-нибудь тыловой ферт оскорбить окопного офицера, унижить его достоинство? Что было бы с ним? Впрочем, не было тогда, слава Богу, никаких политотделов, один поп-батюшка осуществлял свою агитационно-массовую работу, а к батюшке отношение особое, и он, батюшка, блюл себя, на рожон не лез, окопным людям, войной измятым, не досаждал моралью, больше о душе живых и усопших пекся.

— Душечка, миленькая! — позвал полковник Фаю, все так же остыло — настолько она испугалась и застыдилась — сидевшую возле топчана. — Накапай иль лучше кольни... — нарочно жалобно, нарочно внятно обратился Авдей Кондратьевич к медсестре, чтоб слышал, слышал мятежный комбат этот, чтоб все художники слышали, как тяжело и больно их отцу-командиру.

За них, за них, зубоскалов и мошенников, им, полковником Бескапустиным любимых, страдает он, из-за них и помрет, коли надо, но чтоб без скандалов, чтоб не хорохорились, зубы чтоб при начальстве не выставляли, — в боевой обстановке, в сражении — давай, дуй, крой, зубаться. Он и сам в боевой обстановке лютой. Да не бой, не окопная обстановка, не дела и отвага в актив записываются, примерное поведение, которое называют достойным, учитывается. Снова плешивого Сыроватку и его офицеров орденами осыплют за то, что послушные, за то, что меньше у него, чем в соседнем полку, потерь. Товарищу же Бескапустину Авдею Кондратьевичу втык будет — гнида эта из политотдела еще и выговор по партийной линии запишет. Зато он, Авдей Кондратьевич Бескапустин, твердо знает: ни один из его художников, этих битых и клятых офицеришек, его не подведет, никуда никто от него не уйдет, хотя бы к тому же Сыроватке, пусть там и снабжают лучше, и награждают чаще.

— Приспустите белье, товарищ полковник.

— Чего?

— Приобнажитесь маленько, я вам укольчик сделаю.

— А-а, укольчик! Давай-давай, делай-делай. — Авдей Кондратьевич переворачивался на живот, ловил на спине, отводил подштанники ниже ягодицы, жалостно ворча:

— Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше бы в берег лечь, чем видеть и слышать такое.

— Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба? — попробовал кто-то разрядить обстановку.

На шутку ни Щусь и никто из офицеров не отреагировали. Полковник Бескапустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку.

— Нельзя вам, не велено курить... — Полковник большой, пухлой рукой погладил Фаю по аккуратной головке, сам, мол, знаю, что можно, чего нельзя, давно знаю, милая девушка. — Спите, робяты.

Постарайтесь. Первый ли нам комок грязи в лицо? Отплюемся и станем дальше дело свое исполнять. Это главное.

Алексей Донатович бродил по берегу и по окрестностям хутора. Обмундирование было прожарено, пропарено, он побрился, подстригся, начистил сапоги, туго затянул под обмундированием и шинелью обноски своего тела, от природы не размашистого, на плацдарме же и совсем убывшего. Похожий на подростка-старшеклассника, но с усталым-усталым, даже старым лицом, он ни с кем не общался. Полковник Бескапустин отослал на берег Нельку. Щусь одарил ее таким взглядом, что она вмиг улетучилась на прежние позиции, в полуразбитую хату, где по приказу командира полка на сбитых в виде стола плахах был накрыт торжественный обед в честь благополучного возвращения с того света и одновременно — поминовение павших. Бескапустин выслал Барышникова за своим комбатом, и когда тот сказал давнему другу про коллектив, который без него не начнет обедать и про поминки, Щусь, сердито хрустя камешником, двинулся в расположение штаба. Войдя в хату, молча взял стакан водки, выпил его до дна, заткнув кулаком рот, постоял и, смахнув горстью со стола неначатую бутылку с водкой, на ходу засовывая посудину в карман шинели, удалился.

Все удрученно молчали. «Че он один пить подался, че ли?» — не одна Нелька впала в смятение.

— Гордыня! — спустя время прокряхтел полковник Бескапустин. — Она его, змея подколодная, гложет. Она его, однако, и погубит. Гордыня в нашей армии не к месту. Носить ее разрешено одному только товарищу Жукову, Георгию Константиновичу. Прежде Ворошилову можно было, но с него галифе принародно спало... — и похихикал мелко над своим юмором, и опять его никто не поддержал. — Ну делать нечего, давайте, робятушки, гулять. Напейтесь сегодня хоть до усеру — заслужили, только языки не распускайте, митингов не устраивайте — у политика этого важнее всего везде свои сторожа с колотушками расставлены.

Щусь нашел то, чего искал, — «газушку» Мусенка. Сам комиссар был в массах, сражался, палил словами, поддерживая боевой дух воинов. Шофер его, Брыкин, дрыхал в кабине, выдувая сытый, однако

приглушенный храп. Подлетали с лица его толстощекого, румяного две мухи, кружились по кабине, норовя присесть, укрепиться на губе и, осторожно перебирая лапками, подбирались ко рту спящего — пососать сладкой слюнки.

— Я здесь! Я не сплю! — от первого же прикосновения вздрогнув, вскинулся шофер.

«Вышколил его, однако, хозяин!» — усмехнулся Щусь и спросил, отчего ж он корчится в кабине, тогда как есть кузов, да еще и брезентом крытый, кровать в нем.

— Мне туда не положено, — утирая кулаком рот и настороженно глядя на незнакомого офицера, прохрипел Брыкин. — Там партийно-агитационная литература хранится. А вам че надо-то, товарищ капитан?

— Да вот пришел с тобой выпить, за здоровье начальника твоего, — постукал себя по карману Щусь.

— А я за него могу рази что ссаку пить, — отворачиваясь, буркнул Брыкин, однако тут же обернулся и еще пристальней всмотрелся в лицо капитана — много всякой сволоты повидал Брыкин, служа уже два года при политотделе.

Много солдат-мужиков перевидал на своем веку и Алексей Донатович Щусь, умел ладить с ними, а этот солдат с медалькой «За боевые заслуги» был ему почти земляк, из города Кургана, всего-то тыща, может, полторы тыщи верст от Тобольска. Работал Брыкин до призыва в армию тоже шофером на кондитерской фабрике, выпить любил и умел.

Они отошли в кусты, расстелили на траве родную газету Мусенка — «Правду». Брыкин выложил на газету богатую закуску и, когда опустела поллитра, принес от себя продолговатую банку из-под американского колбасного фарша, ловко запаянную и залепленную иностранными этикетками так, что в ней и дырки для вылития и налития незаметно.

Изболелось, исстрадалось, черной кровью запеклось сердце Брыкина, оно жаждало выплеска. Среди всех ненавидящих Мусенка существ лютее Брыкина никто его ненавидеть не мог. Мусенок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина, но по молчаливому его сопротивлению чувствовал, что так до сих пор и не перевоспитал. Начальник беспрестанно грозился упечь солдата Брыкина на

передовую, и Брыкин признался, что уж и рад бы хоть в пекло — от греха подальше — не ручаясь за себя, боится, что однажды заводной ручкой зашибет эту ползучую тварь, тогда уж ему не просто штрафная будет, расстрел будет.

— Вот, капитаха, послушай, послушай! — хватался за рукав Щуся распалившийся Брыкин. — Он ведь на людях один, по-за людям другой. Ходит на кухню с котелком сам, один, пежит поваров за нерадивость, за недоброкачественную пищу, а в машине, в «студебеккере» газовая плитка, на ней ему отдельно готовит паненка, крепостная его, живет он с ней, как муж с женой, у самого семья на Урале, дети. Он имя посылки посылат, этой пэпэжэ пикнуть не дает. А как он ее шорит! Ка-ак он ее шо-о-о-орит! — вожделенно зажмурился Брыкин, — я зеркальце так подстрою, что из кабины все видать, инда думаю — отыму — терпленья нету!.. — Брыкин наклонился к уху Щуся, горячо и сыро дыша, шептал об интимных подробностях. — Токо на немецких да на румынских открытках таку срамотишшу и видел... — Тихоней паненка прикинулась, шляхетский норов будто усмирила, дает вроде бы ноги об себя вытирать, но похаживает к одному штабисту и потихонечку да полегонечку забирает власть над своим владыкой, с налету, с повороту не дает уже, благов требует. Слух есть, что ее представляют чуть ли не к Герою. Весь штаб ропщет, гундит, командир дивизии новый не в курсе дел, может дать ход наградному листу...

«Нельке, глядишь, еще одну медальку „За отвагу“ отвалят и матюков без счету, может, и на гауптвахту свезут, если она напьется сегодня и забушует», — совсем помрачнел комбат и, как бы между прочим, поинтересовался:

— Говорят, да и сам я видел, начальник твой любит водить машину.

— А как жа?! Ка-ак жа! Чтоб народ видел, какой он старатель, какой самоотверженный труженик войны. Ох, и хи-и-итрай же, паразитишка! Проедем все хляби, кочки и болота — дремлет, но как в гарнизон, или в расположение какое, иль в штаб въезжать — канистру под жопу и пошел рулить!.. Без канистры-то руля не достает. — Брыкин запьянел, но хлопнул еще чеплашку, засунул в рот целиком красный помидорище, в досыл кинул брусочек сала и, жуя, помотал головой: — Скажу я те, капитаха, одному тебе токо и скажу: нет ничего



на свете подлее советского комиссара! Но комиссар из энтих... — сказал и, испугавшись сказанного, Брыкин заозирался.

— У «газушки» одно колесо приспущено.

— Ну и глаз у тя!

— Не глаз да не ухо бы, давно бы уж... Чего не накачаешь? Обленился совсем?

— У него обленился! Баллон унутренней брошеным патроном проколело, часто это случается, особо в глубоких, грязных колеях. Надобен газовый ключ, мой спер кто-то, ну и...

— На ночь глядя вы отсюда не поедете никуда?

— Никуда, конечно, — заминировано кругом, токо выезды расчищены.

— Парковая батарея далеко?

— Версты две или три отсюда.

— Брыкин! Землячок! Сейчас ты ложишься спать. Так?

— Так.

— Вечером, желательно поздним, ты идешь в парковую батарею, за ключом. Так?

— Та-ак.

— Получишь ключ в инструменталке и непременно, непременно распишешься за его получение в амбарной книге кладовщика и, как бы между прочим, спросишь у него время, понял?

— Та-а-ак. А ты че, капитаха? Ты че?

— И не торопясь, не торопясь пойдешь обратно, старайся людям на глаза попадаться... Потрепись с кем-нибудь из знакомцев, лучше с шоферней, чтобы ключ у тебя видели.

— О-о-ой, капитаха, о-оооой! Ты че задумал-то, о-о-ой! У меня ж баба, парнишка растет.

— У меня тоже баба, двое детей, малых.

— Ну, все! Все правильно! Нельзя такой твари по земле ползать, нельзя! Он столько уже зла наделал, ишшо наделает... Все! Давай лапу, капитаха.

— Брыкин! Боец! Во всю жизнь нигде, ни слова!..

— Да пусть меня на куски режут!..

— Будем надеяться, до этого дело не дойдет.

На сиденье «газушки» к кирзовой спинке солдатской иглой была пришпилена записка, с одной стороны которой кругленькими каракулями решительно написано:

«Ушел за ключом. Боец Брыкин».

С другой — мелко, убористо:

«Разгильдяй ты, не боец! Вернешься, немедленно езжай на место. Я очень устал. Ложись спать. Будешь иметь со мной беседу».

Щусь влез в кабину «газушки». У Брыкина было много времени, и он, отменный шофер, отладил все так, что машина его заводилась от стартера. Прежде чем нажать на шишку стартера, капитан прислонился горячим лбом к ободку холодного руля. В кузове под одеялом спал махонький, жалкий человечек, широко открыв слюнявый рот. И на эту гадину он, боевой командир, честными людьми возвращенный для службы Родине, своему народу, поднимал руку. Начавши боевой путь на Хасане, выходявший из боев только по причине ранения или на переформировку, он собрался бить из-за угла! До чего же так можно дойти? До какого края? Великокриницкий плацдарм — это не край? Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадывающих кальсонах перед вельможно гневающимся сиятельством, не смеющий переступить стынувшими от земляного пола ногами, — это не край? Не край?!

И он дакнул на стартер. Схватило сразу. Капитан выдохнул, отбросил из себя воздух, густой, тяжелый, что песок, и вместе с ним всякие колебания. Подождал, чтобы прогрелся мотор, начал искать рычагом переключение скорости, попал, кажется, на вторую. Ну, ничего, полегоньку, потихоньку и на второй передаче повезет машина куда надо нетяжелую кладь. Брыкин говорил, начальник его обожает спать во время езды, убаюкивается в пути качкой, — ведет-то машину классный шофер, будто коляску с малым сыном катит.

Шофер из Щуся никакой — в забайкальском училище по программе занимался на машине, балуясь, или по нужде иногда за руль попадал. Последний раз, когда у Валерии Мефодьевны в совхозе после

ранения сил набирался, за дровами, за сеном ездил, брат Валерии руль ему доверял, поэтому он и скорость переключать не станет — чтоб не заглохло, — куда надо, «газушка» сама доковыляет. Ее последний путь будет непродолжителен — минные поля справа и слева от дороги, все уже плесневелые, на них полегла, сопрела нескошенная трава. Подорвавшийся на минах домашний скот бугорками вздымает, на осиповские плоские копны похоже, вонь с полей тащит оглушительную. По обочинам дорог, старых и вновь накатанных, горками, кучами лежат и просто так, вразброс валяются, ржавеют снятые с дорог, с полей противотанковые мины. Указатели где есть, где нет, где упали, где пропали, писанные химическим карандашом или углем — дождями многие посмыло. Работа немецких минеров завершалась российской зачисткой, отечественными радетелями. Десятки лет после их работы на бывших полях войны будут взлетать разорванные в клочки пахари, мальчишки, кони, коровы.

Щусь выбрал некрутой уклончик с неровностями, проплешинами и сивыми кочечками. Чуть разогнав машину, он легко выпрыгнул из кабины, отбежал и залег в ближний кювет. Машину волокло, гнало под уклон, но чей-то бог, не иначе как басурманский или кремлевский, продлял секунды жизни руководящего нехристя. Болтая незакрытой дверцей, беспризорная машина съехала в ложину и вот-вот должна остановиться. Тогда ничего не останется, как снова сесть за руль и самому, уже прицельно, наехать на мину — нельзя подставлять Брыкина под удар, хороший он все же мужик, хотя увалень и плут порядочный.

Уже на исходе уклона, почти уж в самой низине «газушку» наволокло на гниющую тушу животного, качнуло, раскатило, следом за колесами поплыла вонючая жижа, машину повело в сторону, на травянистый бугорок, и тут ударил взрыв такой мощности, что из низины аж в кювет, на Щуся забросило комки земли, натащило вместе с вонью дохлятины удушливый, порченым грибом отдающий дым.

Щусь поднялся, отряхиваясь, поглядел в низину: на месте взрыва, в спеченной воронке что-то тлело и дымилось. Он отплюнул с губ пыль, вонючие брызги, дождался, когда вспыхнут останки машины, и, постегивая себя прутиком по сапогу, неторопливо пошел «домой». Осветив зажигалкой стол, макнул в соль круглую цыбулю, изжевал, чтоб отбить запах вони, и завалился досыпать на незанятое место. И

крепко-накрепко уснул, отрыгнув во сне громко и вроде бы облегченно затхлость водки, тлеющего чеснока, хотя только что потреблял лук, а чеснок и не помнил, когда ел.

Командира полка в хате не было, он бы непременно спросил: «Куда тебя носило?» — и строптивец капитан непременно ответил бы: «На кудыкину гору».

Поздней ночью под бочок к капитану Щусю подбортнулась Нелька, погладила его по щеке, куснула за ухо. Он не оторнул боевую подругу.

На правом берегу реки похоронные команды и в помощь выделенные бойцы саперных и стрелковых частей вели скорбную страду. Конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты, скрученные ремешки, сморщенные под сумки, баночки из-под табака, кресала, ломаные расчески, оржавелые бритовки — все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по оврагам, по закуткам, по речке Черевинке и по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс. Около иных трупов крысы уже успели окотиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные, они яростно защищали свои оголенные гнездовья, с визгом бросались на людей. Их били лопатами, камнями, затапывали обувью.

\* \* \* \*

На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии.

«Чего его, заразу, понесло на ночь глядя? По Изольде своей, видать, соскучился?»

С затаенным злорадством штабники ждали прилета семьи Мусенка с Урала, но никто не прилетел — далеко и страшно добираться до фронта.

Изольда Казимировна в нарушение военной формы, надев на голову черный кружевной платок, занятый на время похорон у здешней учительницы, являла собой целомудренную, непреходящую скорбь. Сидя на табуретке возле орехового гроба с серебряными ручками, в котором покоилась коричневая, обгорелая косточка, найденная на месте взрыва мины, внятно шептала: «Чешчь его паменчи. Чешчь его паменчи», — и, вынимая из-за рукава платочек, промокала глаза. Сверху, посередь крышки гроба, серебрилась лавровая ветвь. Крышка и обрез гроба также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета, выглядящим неуместно, хотя и художественно. Вдова не вдова, в общем-то близкий покойнику человек, по заключению грубияна Брыкина — «просто блядь», гладила и гладила тонкопалой, изящной и трепетной, что у дирижера, рукой крышку гроба, поправляла живые цветочки, ленточки на венках; слеза прорезала на ее тонкой щеке тоже серебрящуюся, тоже нарядную полоску, похожую на шрам, однако нисколь не безобразящий ее лица, даже как бы придающий ему романтическое страдание. Хоть картину скорби пиши с пани Холедысской. А и писали. Придворный дивизионный художник чуть в стороне, никому не мешая, решительными мазками набрасывал с натуры полотно под названием, которое сам и придумал: «Похороны героя-комиссара». Оркестр играл революционное, не чуждаясь, однако, и утвержденных новым временем камерных произведений. Изольда Казимировна составила список-директиву к исполнению: вторая соната Шопена, отрывок из героической девятой симфонии Бетховена и непременно полонез Огинского «Прощание с родиной». Чужеземные сентиментальные музпроизведения оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальсы и фокстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил.

Чиновный народ, в парадное одетый, при орденах, все прибывал и прибывал. Привезли с гауптвахты шофера Брыкина, бросившего своего начальника в неурочный час. Ушел, подлец, за каким-то ключом, получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник крутенек был нравом и норовист характером. Желая наказать разгильдяя — пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и логам ноги набьет, — взял и сам зарулил. Автоас того не учел, что на ответственной политической работе с

массами переутомился, бдительность утратил, за рулем, может, уснул и с дороги съехал...

С Брыкиным Мусенок конфликтовал всю дорогу, грозился под суд или на передовую упечь. И жаль, что не успел исполнить своего сурового намерения. Надо бы этого сукиного сына Брыкина судить и в штрафную его определить, но за что? На всякий случай упрятали раздолбая в отдельную хату, назвав ее гауптвахтой. Спит на соломе Брыкин, сало жрет и яблоки, а что начальник его умолк навсегда, так ему на это наплевать.

Нет, не наплевать. Подошел вон ко гробу, рукавом заутирался:

— Эх, товарищ полковник, товарищ полковник! Что ты натвори-ы-ыл? Зачем ты за руль ся-ал? Скоко я те говорил-наказывал: не твое это дело — баранка, не твое-о-о... Твое дело — пламенно слово людям нести, сердца имя зажигать...

«Во, художник, — удивленно покрутил головой Щусь. — Во, артист!» И покосился на полковника Бескапустина, который топтался рядом. Начинался митинг. Командиру полка предстояло выступить, но что говорить — он придумать не мог, вот и тужился, будто на горшке.

— А ведь есть тама что-то! — толкнул полковник локтем в бок Щуся и воздел набухшие очи в небо. — Наказывает Он время от времени срамцов и грешников.

И слишком уж внимательно, слишком пристально поглядел на Щуся.

— А ты что, в этом сомневался? — подавляя занимающееся смятение, поспешно отозвался Щусь, слишком хорошо он знал своего командира полка, так он делает заход издали, ждет, что дальше последует.

— Да не то, чтобы сомневался... ох-хо-хо-о-о-о! Узнать бы вот, успел он, этот художник, — он кивнул в сторону покойника, — написать туды, — полковник опять возвел очи вверх, — или не успел?

— Не успел.

— А ты откуда знаешь? — возрился на Щуся полковник, и что-то настораживающее все яснее проступало во взгляде комполка.

— А все оттуда же! — кивнул головой вверх Щусь, стараясь удержаться в полушутливом тоне, но внутри уже что-то сместилось, и тревога подступила плотнее.

Авдей Кондратьевич отвернулся, посопел почти пустой трубкой и внезапно, резко повернувшись, в упор глядя на капитана, покачал головой:

— Мо-ло-дец! Экой ты молодец! Ай-я-а-ая! Ай-я-я-а-ай! А ты обо мне, о товарищах своих подумал? Об своей, наконец, сидящей, но нисколько не умнеющей голове подумал? Об детях своих и наших? Ты че, досе не понял, где живешь? С кем бедуешь? До чего же эдак-то можно докатиться?.. — Авдей Кондратьевич не успел закончить разговор, его затребовали на трибуну, и, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом он начал речь:

— Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи, верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу, — полковник удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения, отдельно повторил, — самозабвенного, — и освобожденно, всей грудью выдохнул: — Прощай, дорогой товарищ!..

«Так тебе, старому хрену, и надо! Не хитри!» — хмурясь, усмехнулся Щусь.

А когда полковник снова возник рядом и начал набивать трубку, все не желая или не умея сойти со взятого им язвительного тона, сказал:

— Эк ты возлюбил покойного-то. Недавно, совсем недавно, помнится, говном его называл.

Авдей Кондратьевич смолил трубку и вытирал лоб платком, напряжение умственное от речи вогнало его в испарину.

— Некоторым людям, — не сразу ответил он, засовывая в карман сырую тряпицу, — беды народные, горе, слезы ниче не значат, имя свой норов соблюсти и потешить гордыню превыше всего... — и, покачав головой, добавил: — Израненный мужик уж вроде, а где уму быть — все еще синенько... — плюнув Щусю под ноги, Авдей Кондратьевич, тяжело ступая, ушел с похорон.

Брыкин стоял у изголовья гроба, хлюпал уже распухшими от слез глазами; рукав, которым он утирался, потемнел от мокра. Как понесли под скорбные звуки оркестра гроб к машине, кузов которой был украшен красным полотном, чтоб доставить покойного на берег, поместить на ветровой круче, Брыкин первый подставился под изголовье гроба плечом и во время похорон помогал делать

погребальное дело толково, со все той же, душу пронзающей, горькой скорбью.

Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный, обелиск с золотом писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жахнул дружный винтовочный залп над кручею.

За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих павших на Великокриницком плацдарме так и не удалось найти по оврагам, предать земле.

Через десяток лет покроет место боев, кровью пропитанную, нерожалую землю и самое деревушку Великие Криницы, покроет толстой водой нового, рукотворного моря и замочит песком, затащит илом белые солдатские косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено в глубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами, еще более впечатляющим залпом будет предан земле на новом месте. Каждый год пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, венками, кланяясь могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами.

Тем временем привычно, с обыденным тупым напором советские войска переправятся южнее Великокриницкого плацдарма через Великую реку, начнут затяжные, кровопролитные бои за соединение всех четырех плацдармов и, в конце концов, убедят немецкое командование, что здесь, именно здесь, с этой неудобницы начнется главный удар — наступление в Заречье. Гитлеровцы стянут сюда основные силы центральной и южной групп войск, чтобы отразить упорное, с огромными потерями наступление Красной Армии. Отразив его, войскам непобедимого рейха ничего другого не останется, как перейти в контр наступление, переправиться обратно за реку и продолжить поход в глубь этой проклятой, самовозрождающейся страны под названием Россия. Главари вермахта надеялись еще и на то, что, ежели силы той и другой стороны



окажутся на исходе, заключить с советским командованием, со вчерашними этими союзниками и братьями по партии и смертельными затем врагами, почетный мир, оттяпав у России большую часть плодородных земель и установив границу по берегу Великой реки.

Завоеванного для работающего, умеющего копить и экономить немецкого народа, расширившегося вдвое, если не втрое, хватит для накопления сил и новой, на этот раз уже все сметающей, победоносной войны. Под крылышком Гитлера человечеству готовится кое-что из таких подарков, которые сметут не только русские войска и русские города, они способны уничтожить, испепелить, прахом развеять в поднебесном пространстве любое государство на земле — нужно время и терпение.

Терпение у немцев было великое, в мире только русские превосходили их по покорству и терпению. Но времени на затяжку войны русские не оставляли. В отдалении от четырех первых плацдармов, в среднем течении Великой реки, советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силы, такая масса войск и техники хлынула на просторы Заречья, что на этот раз немецкое командование совсем уже не знало, где и чем латать дыры. Войска вермахта еще будут переходить в контрнаступление, нанесут несколько ощутимых ударов по зарвавшимся, как всегда при большом успехе шапкозакидательством заболевшим, норовистым войскам Красной Армии, даже отбросят назад целый фронт. Крепко попадет и корпусу Лахонина. Уже примеривающий на себя мундир командующего армией, Лахонин на какое-то время задержался на старой должности, но скоро должность командарма все-таки получил, и в достижимо близких далях сверкнули ему в пятак величиной золотыми звездами маршальские погоны. После харьковской и ахтырской конфузий, где гвардейской дивизии Лахонина пришлось принимать на себя удары и выручать отступающие войска, дивизию его, затем и корпус привычно засовывали туда, где труднее, посылали на самые кровавые дела. Он-то знал, что те же командующие соседних армий, коих выручала дивизия, а затем и корпус, не могли простить ему своего позора. Командующий фронтом все время старался поручать Лахонину проведение операций локальных, выводил, где возможно, из зависимости тех, кто умел сокрушительно рассчитаться за добро. Так что сибирская дивизия не просто так, не прихоти ради попала на отвлекающий, мало чего в

общей наступательной операции значащий Великокриницкий плацдарм, хотя бойцам и командирам, там воевавшим, казалось, что они-то и есть самый центр войны, они-то и решают главные задачи фронта.

Получив под начало резервную, вспомогательную армию, генерал-полковник Лахонин изловчился забрать под крыло свое и «родную» дивизию, где сибиряков осталось по счету. К началу ноября, когда был взят древний город — колыбель славянского христианства, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой лад и вид. И ей, опять же ей, пришлось в конце осени, почти зимою, прикрывать ударную силу главного фронта, позорно драпающую от совсем и далеко не превосходящих сил противника.

Во время тех, предзимних, боев, наступлений-отступлений в походных условиях закончат земные сроки полковник Бескапустин Авдей Кондратьевич, выйдет в генералы, примет под начало свою родную гвардейскую дивизию генерал-майор Сыроватко. Еще раз ранена будет Нелька Зыкова, в ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке неизвестной хаты Нелькина верная подруга Фая. Будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой комроты Яшкин, подполковник Зарубин, получившие звание Героев.

Обескровив зарвавшегося противника в осенних боях, два могучих фронта начнут глубокий охват группировки вражеских войск, засидевшейся на берегу, с севера и с юга. Давно потерявшая надежды на блицкриг, но зацикленная на идее реванша, все еще не желающая верить в свое окончательное крушение, гитлеровская свора до глубокой зимы удерживала на Великой реке, возле никому уже не нужных плацдармов значительные силы. Когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные фронты хлынут к границе и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит, наконец, отдать приказ об отводе своих войск от Великой реки — отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку и, в конце-концов, растрепанные фашистские дивизии будут загнаны в такую же, как возле Великокриницкого плацдарма, земную неудобь, в голоснежье.

Голодные, изнуренные, больные, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы замерзать тысячами, терять и бросать раненых, их станут грызть одичавшие собаки, волки, крысы, и, наконец, Бог

смиляется над ними: загнанные в пустынное, овражное пространство, остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу конницей, расщепают, разнесут в клочья снарядами и минами преследующие их советские войска.

*Овсянка — Красноярск,  
1992–1994 гг.*

Скачать другие книги [Виктора Астафьева](#).

Подборка "[20 лучших книг о Великой Отечественной войне](#)"

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

*Сор* — отмель, поросшая камышом и кугой.

«Ииком» — «лириком».